



М.М.
ПРИШВИН



Михаил Пришвин

М.М.ПРИШВИН

Собрание сочинений

М.М.ПРИШВИН

Собрание сочинений

В ВОСЬМИ ТОМАХ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. В. Кожин, В. В. Круглеевская, Ю. С. Мелентьев,
В. О. Осипов, П. В. Палневский, В. М. Песков,
Л. А. Рязанова, А. А. Сурков



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

М.М.ПРИШВИН

Собрание сочинений

ТОМ ПЯТЫЙ

ЛЕСНАЯ КАПЕЛЬ
РАССКАЗЫ О ЛЕНИНГРАДСКИХ
ДЕТЯХ
ПОВЕСТЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
КЛАДОВАЯ СОЛНЦА
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1938 — 1953 ГОДОВ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

P2
П77

Подготовка текста и комментарии
В. В. Круглеевской и Л. П. Платоновой

Оформление художника
А. В. Лепятского

Иллюстрации художника
Ф. В. Домогацкого

П $\frac{4702010200-257}{028(01)-83}$ подписное

© Состав, комментарии, оформление, иллюстрации Издательство
«Художественная литература», 1983 г

ЛЕСНАЯ КАПЕЛЬ





ФАЦЕЛИЯ

(Поэма)

ПУСТЫНЯ

В пустыне мысли могут быть только свои, вот почему и боятся пустыни, что боятся остаться наедине с самим собой.

Давным-давно это было, но былшем еще не поросло, и я не дам порастать, пока сам буду жив. В то далекое «чеховское» время мы, два агронома, люди между собой почти незнакомые, ехали в тележке в старый Волоколамский уезд по делам травосеяния. По пути нам было целое поле цветущей синей медоносной травы фацелии. В солнечный день, среди нашей нежной подмосковной природы это яркое поле цветов казалось чудесным явлением. Синие птицы как будто бы из далекой страны прилетели, ночевали тут и оставили после себя это синее поле. Сколько же там, мне думалось, в этой медоносной синей траве теперь гудит насекомых. Но ничего не было слышно из-за тарахтенья тележки по сухой дороге. Очарованный этой силой земли, я забыл о делах травосеяния и, только чтоб

послушать гул жизни в цветах, попросил товарища остановить лошадь.

Сколько времени мы стояли, сколько я был там с синими птицами, не могу сказать. Полетав душой вместе с пчелами, я обратился к агроному, чтобы он тронул лошадь, и тут только заметил, что этот тучный человек с круглым заветренным простонародным лицом наблюдал меня и разглядывал с удивлением.

— Зачем мы останавливались? — спросил он.

— Да, вот, — ответил я, — пчел мне захотелось послушать.

Агроном тронул лошадь. Теперь я, в свою очередь, взгляделся в него сбоку и что-то заметил. Еще раз глянул на него, еще, и понял, что этот до крайности практический человек тоже о чем-то задумался, поняв через посредство, быть может, меня роскошную силу цветов этой фацелии.

Его молчанье мне становилось неловким. Я спросил его о чем-то незначительном, лишь бы не молчать, но он на вопрос мой не обратил ни малейшего внимания. Похоже было, что мое какое-то неделовое отношение к природе, быть может, просто даже молодость моя, почти юность, вызвали в нем свое собственное время, когда каждый почти бывает поэтом.

Чтобы окончательно вернуть этого тучного красного человека с широким затылком к действительной жизни, я поставил ему по тому времени очень серьезный практический вопрос.

— По-моему, — сказал я, — без поддержки кооперации наша пропаганда травосеяния — пустая болтовня.

— А была ли у вас, — спросил он, — когда-нибудь своя Фацелия?

— Как так? — изумился я.

— Ну да, — повторил он, — была ли *она*?

Я понял и ответил, как подобает мужчине, что, конечно, была, что как же иначе...

— И приходила? — продолжал он свой допрос.

— Да, приходила...

— Куда же делась-то?

Мне стало больно. Я ничего не сказал, но только слегка руками развел, в смысле: нет ее, исчезла. Потом, подумав, сказал о фацелии:

— Как будто ночевали синие птицы и оставили свои синие перья.

Он помолчал, глубоко взгляделся в меня и заключил по-своему:

— Ну, значит, больше она уже не придет.

И, оглядев синее поле фацелии, сказал:

— От синей птицы этой лежат только синие перышки.

Мне показалось, будто он силился, силился и наконец завалил над моей могилой плиту: я еще ждал до сих пор, а тут как будто навсегда кончилось, и *она никогда* не придет.

Сам же он вдруг зарыдал. Тогда для меня его широкий затылок, его плутоватые, жиром заплывшие глазки, его мясистый подбородок исчезли, и стало жаль человека, всего человека в его вспышках жизненной силы. Я хотел сказать ему что-то хорошее, взял вожжи в свои руки, подъехал к воде, намочил платок, освежил его. Вскоре он оправился, вытер глаза, взял вожжи опять в свои руки, и мы поехали по-прежнему.

Через некоторое время я решился опять высказать, как мне казалось тогда, вполне самостоятельную мысль о травосеянии, что без поддержки кооперации мы никогда не убедим крестьян ввести в севооборот клевер.

— А ночки-то были? — спросил он, не обращая никакого внимания на мои деловые слова.

— Конечно, были, — ответил я как настоящий мужчина.

Он опять задумался и — такой мучитель! — опять спросил:

— Что же, одна только ночка была?

Мне надоело, я чуть-чуть рассердился, овладел собой и на вопрос, одна или две, ответил словами Пушкина:

— «Вся жизнь — одна ли, две ли ночи».

СИНИЕ ПЕРЫШКИ

На иных березах, обращенных к солнцу, появились сережки золотые, чудесные, нерукотворные. На других только наклюнулись почки, на третьих раскрылись и уселись, как удивленные всему на свете, маленькие зеленые птички. Там на тонких веточках сидят, вот и там, и там... И все это нам, людям, не просто почки, а мгновенья: пропустим — не вернутся. И только из множества множеств кто-то один счастливцев, стоящий на очереди, осмелеет, протянет руку и успеет схватить.

Лимонница, желтая бабочка, сидит на бруснике, сложив

крылья в один листик: пока солнце не согреет ее, она не полетит и не может лететь, и вовсе даже не хочет спастись от моих протянутых к ней пальцев.

Черная бабочка с тонкой белой каймой, монашенка, обмерла в холодной росе и, не дождавшись утреннего луча, отчего-то упала вниз, как железная.

Видел ли кто-нибудь, как умирает лед на лугу в лучах солнца? Вчера еще это был богатый ручей: видно по мусору, оставленному им на лугу. Ночь была теплая, и он успел за ночь унести почти всю свою воду и присоединить ее к большой воде. Последние остатки под утро схватил мороз и сделал из них кружева на лугу. Скоро солнце изорвало все эти кружева, и каждая льдинка отдельно умирала, падая на землю золотыми каплями. Видел ли кто-нибудь эти капли? Соединял ли собственную жизнь свою с этими каплями, думал ли о том, что, не хвати мороз, тоже, может быть, и он достиг бы большого, как океан, мира человеческого творчества?

Вчера зацвела черемуха, и весь город тащил себе из лесу ветки с белыми цветами. Я знаю в лесу одно дерево: сколько уж лет оно борется за свою жизнь, старается выше расти, уйти от рук ломающих. И удалось — теперь черемуха стоит вся голая, как пальма, без единого сучка, так что и залезть невозможно, а на самом верху расцвела. Другая же так и не справилась, захирела, и сейчас от нее торчат только палки.

Бывает, человек до последнего доходит в тоске по человеку, а вот жизнь не складывается, случая такого не выходит, чтобы завязались какие-нибудь глубокие личные отношения. При такой основной нехватке нельзя удовлетвориться каким-нибудь занятием, все равно, астрономией или химией, искусством, музыкой: тогда мир разделяется на внутренний и внешний так резко, что... Ну вот как бывало: от бесчеловечья вся сердечная жизнь вкладывалась в какую-нибудь собачонку, и жизнь этой собачонки становилась фактом безмерно более значительным, чем какое-нибудь величайшее открытие в физике, обещающее в будущем человеку даровой хлеб. Виноват ли отдавший все свое человеческое чувство собаке? Да, виноват. Ведь у меня от синей птицы моей юности — моей Фацелии — до сих пор в душе хранятся же синие перышки!

РЕКА ПОД ТУЧАМИ

Ночью мысль какая-то неясная была в душе, я вышел на воздух и мысль свою в реке увидал.

Вчера эта река при открытом небе перекликалась со звездами, со всем миром. Сегодня закрылось небо, и река лежала под тучами, как под одеялом, и больше с миром не перекликалась, — нет! И вот тут-то я узнал в реке свою мысль о себе, что не виновен я тоже, как и река, если не могу перекликаться со всем миром, закрытый от него темными покрывалами моей тоски об утраченной Фацелии. Так я и видел эту реку, что под темными тучами не могла перекликаться со всеми, но все равно оставалась рекой и сияла во тьме и бежала. А в темноте под тучами рыба, чуя тепло в природе, плескалась гораздо сильнее и громче вчерашнего, когда звезды сияли и сильно морозило.

РАЗЛУКА

Какое чудесное утро: и роса, и грибы, и птицы... Но только ведь это уже осень. Березки желтеют, трепетная осина шепчет: «Нет опоры в поэзии: роса высохнет, птицы улетят, тугие грибы все развалятся в прах... Нет опоры...» И так надо мне эту разлуку принять и куда-то лететь вместе с листьями.

ТЯГА

Все было прекрасно на этой тяге, но вальдшнеп не прилетел. Я погрузился в свои воспоминания: сейчас вот вальдшнеп не прилетел, а в далеком прошлом — она не пришла. Она любила меня, но ей казалось этого недостаточно, чтобы ответить вполне моему сильному чувству. И она не пришла. И так я ушел с этой «тяги» своей и больше не встречал ее никогда.

Такой сейчас чудесный вечер, птицы поют, все есть, но вальдшнеп не прилетел. Столкнулись две струйки в ручье, послышался всплеск, и ничего: по-прежнему вода мягко катится по весеннему лугу.

А после оказалось, раздумывал я: из этого, что она не пришла, сложилось счастье моей жизни. Вышло так, что образ ее мало-помалу с годами исчезал, а чувство оставалось и жило в вечных поисках образа и не находило его, обращаясь с родственным вниманием к явлениям жизни всей нашей земли, всего мира. Так на место одного лица

стало *все* как лицо, и я любовался всю жизнь свою чертами этого необъятного лица, каждую весну что-то прибавлял к своим наблюдениям. Я был счастлив, и единственно чего мне еще не хватало, это чтобы счастливы, как я, были все.

Так вот оно чем объясняется, что моя литература остается жить: потому что это моя собственная жизнь. И всякий, кажется мне, мог бы, как я: попробуй-ка, забудь свои неудачи в любви и перенеси свое чувство в слово, и у тебя будут непременно читатели.

И я думаю теперь, что счастье вовсе не зависит от того, пришла она или не пришла, счастье зависит лишь от любви, была она или не была, самая любовь есть счастье, и эту любовь нельзя отделять от «таланта».

Так я думал, пока не стемнело, и я вдруг понял, что больше вальдшнеп не прилетит. Тогда резкая боль пронзила меня, и я прошептал про себя: «Охотник, охотник, отчего ты тогда ее не удержал!»

АРИШИН ВОПРОС

Когда эта женщина ушла от меня, Ариша спросила:
— А кто у ней муж?

— Не знаю,— сказал я,— не спрашивал. И не все ли нам-то равно, кто у ней муж.

— Как же так «все равно», — сказала Ариша, — сколько сидели с ней, разговаривали, и не знаете, кто у ней муж, я бы спросила.

В следующий раз, когда она пришла ко мне, вспомнился Аришин вопрос, но я опять не спросил, кто у ней муж. Я потому не спросил, что она мне чем-то понравилась, и догадываюсь, именно тем, что глаза ее напомнили мне возлюбленную моей юности чудесную Фацелию. То или другое, но она мне нравилась именно тем же, чем некогда и Фацелия: она не возбуждала во мне помыслов о сближении, напротив, этот мой интерес к ней отталкивал всякое бытовое внимание. Никакого дела мне теперь не было до ее мужа, семьи, дома.

Когда она собралась уходить, мне вздумалось, после трудной работы, подышать воздухом, быть может и проводить ее до дому. Мы вышли, было морозно. Черная река зябла, и струйки пара перебегали всюду, и от ледяных заберегов слышался шорох. Такая была страшная вода, бездна такая, что казалось, и самый несчастный, кто

решился бы утонуть, взглянув в эту черную бездну, вернулся к себе домой радостный и прошептал, разводя самовар:

— Вздор-то какой — топиться! Там еще хуже нашего. Тут-то я хоть чаю попью.

— А у вас есть чувство природы? — спросил я свою новую Фацелию.

— А что это? — спросила она, в свою очередь.

Она была образованная женщина и сотни раз читала и слышала о чувстве природы. Но вопрос ее был такой простой, искренний. Не оставалось никакого сомнения: она действительно не знала, что такое чувство природы.

«И как она могла знать, — подумалось мне, — если она-то, может быть, эта моя Фацелия, и есть сама «природа». Эта мысль поразила меня.

Еще раз захотелось мне с этим новым пониманием заглянуть в милые глаза и через них внутрь той самой моей «природы», желанной и вечно девственной и вечно рождающей.

Но было совсем темно, и взлет моего большого чувства попал в темноту и вернулся назад. Какая-то вторая моя натура вновь поставила этот Аришин вопрос.

В это время мы проходили по большому чугунному мосту, и, как только я открыл рот, чтобы задать своей чудесной Фацелии Аришин вопрос, сзади себя я услышал чугунные шаги. Я не хотел обернуться и посмотреть, какой великан шел по чугунному мосту. Я знал, кто он был: он был командор, карающая сила за бесплодность мечты моей юности, поэтической мечты, вновь подменяющей мне подлинную любовь человеческую.

И когда я поравнялся с ним, он только тронул меня, и я полетел через барьер в черную бездну.

Я очнулся в постели и подумал: «Не так-то уж глуп, как я думал, этот бытовой Аришин вопрос: если бы я в юности своей не подменил любовь свою мечтою, я не потерял бы свою Фацелию и сейчас через много лет не приснилась бы черная бездна».

БЕЗДНА

Если кто скажет, что бездна тянет его в нее броситься, то это значит: он сильный, стоит у края ее и удерживается. Слабого бездна не тянет и отбрасывает на покойные безопасные берега.

Бездна — испытание силы всему живому, той силы, которую нельзя ничем заменить.

Но, сильный, помни: может быть, придет такой час и такая бездна откроется, что скажет тебе: «Уйди прочь, ты не можешь». Нужно вовремя отходить от бездны, сохраняя в себе последнюю силу на крайний, на последний случай, и жить до конца в постоянном сознании: хоть раз, да могу; и тогда может случиться, что человек победит даже смерть последним, страстным желанием жизни.

РОССТАНЬ

Стоит столб, и от него идут три дороги; по одной, по другой, по третьей идти — везде беда разная, но гибель одна. К счастью, иду я не в ту сторону, где дороги расходятся, а оттуда назад, — для меня гибельные дороги у столба не расходятся, а сходятся. Я рад столбу и верной единой дорогой возвращаюсь к себе домой, вспоминая у росстани свои бедствия

КАПЛЯ И КАМЕНЬ

Лед крепкий под окном, но солнце пригревает, с крыш свесились сосульки — началась капель. «Я! я! я!» — звенит каждая капля, умирая; жизнь ее — доля секунды. «Я!» — боль о бессилии.

Но вот во льду уже ямка, промоина, он тает, его уже нет, а с крыши все еще звенит светлая капель.

Капля, падая на камень, четко выговаривает: «Я!» Камень большой и крепкий, ему, может быть, еще тысячу лет здесь лежать, а капля живет одно мгновение, и это мгновение — боль бессилия. И все же: «капля долбит камень», многие «я» сливаются в «мы», такое могучее, что не только продолбит камень, а иной раз и унесет его в бурном потоке.

ГРАММОФОН

До того тяжела была утрата друга, что о внутреннем моем страданье стали замечать и посторонние. Жена моего хозяина это заметила и потихоньку спросила меня, чем это

я так расстроен. Я встретил первого человека, проявившего живое участие, и все ей рассказал о Фацелии.

— Ну, я вас сейчас вылечу, — сказала хозяйка и велела мне отнести в сад ее граммофон. Там было много цветущей сирени. Еще там была посеяна фацелия, и ярко-синяя цветущая поляна вся гудела пчелами. Добрая женщина принесла пластинку, завела, и в граммофоне знаменитый в то время певец Собинов запел арию Ленского. Хозяйка восхищенно смотрела на меня, готовая помочь мне всем, чем могла. Каждое слово певца процветало любовью, пропитывалось медом фацелии, веяло ароматом сирени.

С тех пор прошло множество лет. И когда мне случается слышать где-нибудь арию Ленского, то все непременно возвращается: пчелы, синяя фацелия, сирень и моя добрая хозяйка. Тогда я не понял, но теперь знаю, что она действительно вылечила меня от безысходной тоски, и когда все вокруг меня начинают с презрением говорить о мещанстве граммофона — я молчу.

АППЕТИТ К ЖИЗНИ

Приходил расстроенный человек, назвался «читателем» и просил у меня такого слова, которое могло бы ему спасти жизнь.

— Вы же, — говорит он, — слову служите, и видно по вашим писаниям, что слово такое знаете. Скажите мне такое слово.

Я сказал, что таких слов про себя для особого случая не держу, если бы знал их, то сказал.

Никаких отговорок слышать он не хотел: вынь да положь. До того расстроен, что плакал. И когда уходил и в передней увидел свой узелок с сапогами, еще больше заплакал. Он объяснил, что, надевая дома валенки, вспомнил, — возможна оттепель, и захватил сапоги.

— Значит же, — сказал он, — сохраняется во мне такой аппетит к жизни, что подумал о возможности весенней оттепели.

Когда он это сказал, я вдруг вспомнил, как я сам свою беду-утрату погасил некогда подобным ожиданием весны, сколько из этого родилось потом у меня слов утешения, и мне стало радостно на душе: я знаю слова утешения и написал их, но только читатель попался мне плохой.

И тогда я вспомнил кое-что и неизвестному человеку сказал, как сумел.

КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ

В мире нет ничего чужого, мы так устроены, что видим только свое; один видит больше, другой видит меньше, но все — только свое и ничего больше.

Приходишь в себя, обыкновенно разглядывая какую-нибудь подробность, сущую мелочь, через которую и входишь в тот мир, где «я» делается душой всего. Много лет я думал над этой подробностью, мелочью, которая является воротами в желанный мир. Я храню множество памятных случаев, но отчего, при каких условиях является самое родственное внимание, на почве которого происходит встреча, разобрать до конца до сих пор не могу. Ключа тут, вероятно, быть и не может: ведь это был бы ключ к счастью. Знаю одно, что вертеть надо разными ключами, вертеть до тех пор, пока замок не откроется.

После, когда захочешь другой раз открыть этим ключом, — не откроется, и окажется, что тогда замок открылся сам. Но ты продолжай вертеть каким-нибудь ключом, в этом весь твой метод — вертеть, трудиться с верой, любовью, — и замок тогда непременно откроется сам.

Сегодня в хаосе цветов и звуков роскошного луга синей фацелии один солнечный лучик попал на венчик крохотной гвоздики, и она вспыхнула рубиновым огнем и привлекла мое родственное внимание ко всему миру цветов и звуков. Венчик крохотной гвоздики в этот раз и стал ключом моего счастья.

ГЁТЕ ОШИБСЯ

Первый раз обратил внимание, что иволги поют на разные лады, и вспомнил мысль Гёте о том, что природа создает безличное, а только человек личен. Нет, я думаю, что только человек способен создавать наряду с духовными ценностями совершенно безликие механизмы, а в природе именно все лично, вплоть до самых законов природы: даже и эти законы изменяются в живой природе. Так не все верно говорил даже и Гёте.

БРАЧНЫЙ ДЕНЬ

Тихое солнечное утро. Предраассветный мороз все прибрал, подсушил, где причесал, где подстриг, но солнце очень скоро расстроило все его утреннее дело, все пустило

в ход, и на припеке острия зеленой травы начали отделять свои пузырьки.

Не знаю и не хочу знать, как называется то дерево, на котором я увидел родные хохлатые почки, но в этот миг все пережитые мною весны стали мне как одна весна, одно чувство, и вся природа явилась мне как брачный сон наяву.

Ранняя весна возвращает меня к тому дню, от которого начинаются все мои сны. Мне долго казалось, что это острое чувство природы мне осталось от первой встречи себя, как ребенка, с природой. Но теперь я хорошо понимаю, что само чувство природы начинается от встречи моей с человеком.

Это началось в далекой молодости, когда я был на чужбине, когда впервые мелькнуло, что, может быть, необходимо расстаться с этой любовью к Фацелии, и когда на этой стороне стало так больно, что пальцем потрогай по телу — и душа отзывается, то на другой стороне, взамен, встал великий мир моей радости. Казалось, так легко заменить свою боль от утраты Фацелии причастностью к благословенному человеческому труду, в котором живет красота и радость. Тогда я и вспомнил и узнал себя ребенком в природе. На чужбине родина моя показалась во всей своей пленительной силе, и вот, когда встала ярко первая встреча с природой, и родной человек в родной стране показался прекрасным.

СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ

Ранней весной до того непостоянно в природе, что радоваться можно только мгновеньями. Для всех грязь, ветер, стужа и дождь, но для избранных есть такие мгновенья, каких не бывает во всем году.

Ранней весной никому нельзя к погоде приспособиться: лови мгновение, как дитя, и будь счастлив. А вся-то беда людей и состоит в том, что они привыкают ко всему и успокаиваются.

Ранней весной каждый раз мне кажется, что не я один, а и все могли бы быть счастливы и что счастье творческое могло бы сделаться религией человечества. Творческое... а какое еще бывает счастье? Я ошибся — не творческое, а просто счастье, потому что нетворческое счастье — это довольство человека, живущего за тремя замками.

СКРЫТАЯ СИЛА

Скрытая сила (так я буду ее называть) определила мое писательство и мой оптимизм: моя радость похожа на сок хвойных деревьев, на эту ароматную смолу, закрывающую рану. Мы бы ничего не знали о лесной смоле, если бы у хвойных деревьев не было врагов, ранящих их древесину: при каждом поранении дерева выделяют наплывающий на рану ароматный бальзам.

Так и у людей, как у деревьев: иногда у сильного человека от боли душевной рождается поэзия, как у деревьев — смола.

МЫШЬ

Мышь в половодье плыла долго по воде в поисках земли. Измученная, наконец-то увидела торчащий из-под воды куст и забралась на его вершину. До сих пор мышь эта жила, как все мыши, смотрела на них, все делала, как они, и жила. А вот теперь сама подумай, как жить. И на вечерней заре солнечный луч красный так странно осветил лобик мышиный, как лоб человеческий, и эти обыкновенные мышиные глазки-бусинки черные вспыхнули красным огнем, и в них вспыхнул смысл всеми покинутой мыши, той особенной, которая единственный раз пришла в мир, и если не найдет средства спасенья, то навсегда уйдет; и бесчисленные поколения новых мышей никогда больше не породят точно такую же мышь.

Со мной в юности было, как с этим мышонком: не вода, а любовь, тоже стихия, охватила меня. Я потерял тогда свою Фацелию, но в беде своей что-то понял, и когда спала любовная стихия, пришел к людям, как к спасительному берегу, со своим словом о любви.

БЕРЕЗЫ

Сквозь прелые листья и соломины пробивается зелень, лист жил, трава жила, и теперь, пожив хорошо, как удобрение переходят в новую зеленую жизнь. Страшно представить себя вместе с ними: понять ценность свою в таком обращении природы. Стоит мне что-нибудь выбрать, облюбовать, будь это лист, трава или вот эти две небольшие сестры-березки, как все, избранное мною, так же как и я сам, не совпадает в моем представлении с удобрительной ценностью их предшественников.

Избранные мною сестры-березки небольшие еще, в рост человека, они растут рядом, как одно дерево. Пока не распустились еще листья и надутые почки, как бусинки, на фоне неба видна вся тончайшая сеть веточек этих двух сплетенных берез. Несколько лет подряд во время движения березового сока я люблю эту изящную сеть живых веточек, замечаю, сколько прибавилось новых, вникаю в историю жизни сложнейшего существа дерева, похожего на целое государство, объединенное одной державой ствола. Много чудесного вижу я в этих березах и часто думаю о дереве, существующем независимо от меня и даже расширяющем мою собственную душу при сближении.

Сегодня вечер холодный, и я немного расстроен. Мне сегодня мои прежние догадки о «душе» березы представляются эстетическим бредом: это я, лично я, поэтизирую березки и открываю в них душу. На самом же деле нет ничего...

И вдруг при совершенно безоблачном небе на лицо мое сверху капнуло. Я подумал о пролетевшей птице какой-нибудь, поднял голову вверх: птицы нигде не было, а на лицо с безоблачного неба снова капнуло. Тогда я увидел, что на березе, под которой стоял я, высоко надо мной был поломан сучок и с него капал на меня березовый сок.

Тогда я, опять оживленный, вернулся мыслью к моим березкам, вспоминая друга, который в своей возлюбленной видел Мадонну; когда же с ней ближе сошелся, разочаровался и назвал свое чувство абстракцией половой любви. Много раз по-разному я думал об этом, и теперь березовый сок дал новое направление мысли о друге и его Мадонне.

«Бывает, — думал я, — человек не как мой друг поступает, бывает, человек, как я сам, вовсе не расстается со своей Фацелией и носит ее в себе, делая что-нибудь вместе со всеми, а любовь скрывая от всех. Но ведь где любовь, там и «душа»; и у возлюбленной и у березы».

И опять в этот вечер, под влиянием дождя березового сока, я видел, что у моих двух сестер-березок есть своя «душа».

ОСЕННИЕ ЛИСТИКИ

Перед самым восходом солнца на поляну ложится первый мороз. Притаиться, подождать у края, — что там только делается, на лесной поляне! В полумраке рассвета приходят невидимые лесные существа и потом начинают по

всей поляне расстилать белые холсты. Первые же лучи солнца убирают холсты, и остается на белом зеленое место. Мало-помалу белое все исчезает, и только в тени деревьев и кочек долго еще сохраняются беленькие клинушки.

На голубом небе между золотыми деревьями не поймешь, что творится. Уносит ветер листы или стайками собрались мелкие птички и несутся в теплые далекие края.

Ветер — заботливый хозяин. За лето везде побывает, и у него даже в самых густых местах не остается ни одного незнакомого листика. А вот осень пришла — и заботливый хозяин убирает свой урожай.

Листья, падая, шепчутся, прощаясь навек. У них ведь так всегда: раз ты оторвался от родимого царства, то и прощайся, погиб.

Я вспомнил опять Фацелию, и в осенний день сердце мое, как весной, наполнилось радостью, мне почудилось: я оторвался от нее, как лист, но я не лист, я человек. Может быть, для меня так и надо было: с этого отрыва, от этой утраты ее, может быть, началась моя настоящая близость со всем человеческим миром.

ДЕРЕВЬЯ В ПЛЕНУ

Дерево верхней своей мутовкой, как ладонью, забирало падающий снег, и такой от этого вырос ком, что вершина березы стала гнуться. И случилось, в оттепель падал опять снег и прилипал к тому кому, и ветка верхняя с комом согнула аркой все дерево, пока, наконец, вершина с тем огромным комом не погрузилась в снег на земле и этим не была закреплена до самой весны. Под этой аркой всю зиму проходили звери и люди изредка на лыжах. Рядом гордые ели смотрели сверху на согнутую березу, как смотрят люди, рожденные повелевать, на своих подчиненных.

Весной береза возвратилась к тем елям, и если бы в эту особенно снежную зиму она не согнулась, то потом и зимой и летом она оставалась бы среди елей, но раз уж согнулась, то теперь при самом малом снеге она наклонялась и в конце концов непременно каждый год аркой склонялась над тропинкой.

Страшно бывает в снежную зиму войти в молодой лес: да ведь и невозможно войти. Там, где летом шел по широкой дорожке, теперь через эту дорожку лежат согнутые деревья, и так низко, что только зайцу под ними и пробежать. Но я знаю одно простое волшебное средство, чтобы

идти по такой дорожке, самому не сгибая спины. Я выламываю себе хорошую увесистую палочку, и стоит мне только этой палочкой хорошенько стукнуть по склоненному дереву, как снег валится вниз со всеми своими фигурами, дерево прыгает вверх и уступает дорогу. Медленно так я иду и волшебными ударами освобождаю множество деревьев.

живой дымок

Вспомнилось, как вчера ночью в Москве я проснулся и по дыму в окне узнал время: был предрассветный час. Где-то из какого-то дома из чьей-то трубы выходил дымок, едва различимый в темноте и прямой, как колонна, дрожащая в мареве. И никого живого не было, только этот живой дымок был, и сердце мое живое волновалось, как этот дымок, и вся душа была вверх в полнейшей тишине. Так некоторое время, припав лбом к стеклу, я и побыл наедине с дымом в этот предрассветный час.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

Время, когда березки последнее свое золото сыпают на ели и на уснувшие муравейники. Я замечаю даже блеск хвоинок на тропе в лучах заходящего солнца и все иду, любясь, иду без конца по лесной тропе, и лес мне становится таким же, как море, и опушка его, как берег на море, а полянка в лесу, как остров. На этом острове стоит тесно несколько елок, под ними я сел отдохнуть. У этих елок, оказывается, вся жизнь вверх. Там, в богатстве шишек, хозяйствует белка, клесты и, наверное, еще много неизвестных мне существ. Внизу же под елями, как на черном ходу, все мрачно, и только смотришь, как летит шелуха.

Если пользоваться умным вниманием к жизни и питать сочувствие ко всякой твари, можно и здесь читать увлекательную книгу: вот хотя бы об этих семечках елей, падающих вниз при шелушении шишек клестами и белками. Когда-то одно такое семечко упало под березой между ее обнаженными корнями. Елка, прикрытая от ожогов солнца и морозов березой, стала расти, продвигаясь между наружными корнями березы вниз, встретила там новые корни березы, и своих корней елке некуда девать. Тогда она подняла свои корешки поверх березовых, обогнула их и на той стороне впустила в землю. Теперь эта ель обогнала березу и стоит рядом с ней со сплетенными корнями.

ДВИЖЕНИЕ

Цветущий луг возле бочага. Я прислонил велосипед к дереву, а сам сел на бревно, мне захотелось после движения собраться с мыслями. Движение так выводит из себя, что не скоро и соберешься. Не в том состоит победа над машиной, что научаешься бараньей вертеть, а в том, что при всяком движении сохраняешь свою внутреннюю тишину. Ведь чем тише сам, тем больше замечаешь и ценишь движение жизни.

БОЛЬШАЯ ВОДА

Сказано у Гёте недвусмысленно, что, созерцая природу, человек все лучшее, о чем он говорит, берет из себя. Но почему же, бывает, подходишь к большой воде с такой мелкой душонкой, раздробленной еще больше какой-нибудь домашней ссорой, а взглянул на большую воду — и душа стала большой, и все простил великодушно?

ЗАМЕТКА НА СТАРОСТЬ

Начиная с момента нашей посадки в Вежах на лодку и кончая приездом в Загорск, не было ни одного даже малейшего столкновения с людьми, и поездка прошла без сучка без задоринки. К старости надо твердо помнить, что всякая ссора со своими людьми, всякий «выход из себя» стоит чего-то себе, что это самое-самое бесполезное расходование самого себя, и этого надо бояться больше всего на свете: работа над этим есть что-то вроде необходимости перехода к растительной пище.

ПАСТУШЬЯ СВИРЕЛЬ

Дни переходят в очень жаркие, но росы еще сильные, прохладные. Скотину стали выгонять рано и в полдень пригонять, спасать от слепней. Пастушья свирель имеет способность проникать в каждый дом и достигать каждой спящей души.

Сегодня мелодия проникла в меня, и я допустил для себя возможность удовлетворения жизнью совершенно простой, в которой настоящее добро выходило бы без вся-

ких усилий, а прямо как непереносимое следствие жизни, которую ведешь для себя. А мое общение с человеком происходило бы в силу того, что хочется с человеком поговорить, хочется обласкать детей. Никаких подходов и загадок, все само собой должно выходить: внимания ждет человек, а не денег.

БЕДНАЯ МЫСЛЬ

Внезапно стало теплеть. Пестя занялся рыбой, поставил в торфяном пруду сети на карасей и заметил место: против сети на берегу стояло около десяти маленьких, в рост человека, березок. Солнце садилось пухлое. Лег спать: рев лягушек, соловьи и все, что дает бурная «тропическая ночь».

Только бывает так, что, когда совсем хорошо, бедному человеку в голову приходит бедная мысль и не дает возможности воспользоваться счастьем тропической ночи. Пете пришло в голову, что кто-то, как в прошлом году, подсмотрел за ним и украл его сети. На рассвете он бежит к тому месту и действительно видит: там люди стоят на том самом месте, где он поставил сети. В злобе, готовый биться за сети с десятком людей, он бежит туда и вдруг останавливается и улыбается: это не люди — это за ночь те десять березок оделись и будто люди стоят.

ПОЮЩИЕ ДВЕРИ

Глядя на ульи с пчелами, летающими туда и сюда в солнечном свете: туда легкими, сюда обремененными цветочной пылью, — легко представляешь себе мир людей и вещей согласованных, вещей, обжитых до того, что они, как двери в «Старосветских помещиках», поют.

На пасеке я всегда вспоминаю старосветских помещиков, как они были для Гоголя: в смешных старичках с их поющими дверями Гоголю чудилась возможность гармонической и совершенной любви людей на земле.

CIRCULUS VITIOSUS

Когда-то я дивился, как не стыдно жить лысым, откуда берут они охоту и на что рассчитывают, расправляя нижние последние длинные волосы по всей лысине, примазывая их

чем-то даже довольно прочно. Лысые, пузатые люди во фраках, старые девы с желтыми щеками, в бриллиантах и бархате. Как не стыдно всем им показываться при белом свете и рядиться в богатые одежды? Прошло два, три десятка лет, и мне пришлось зачесывать волосы свои наперед, и кто-то открыл однажды их и сказал: зачем вы закрываете, у вас такой правильный лоб, превосходная лысина. И вот я мало-помалу совершенно примирился с лысиной. Я со всеми примирился недостатками... Примирился даже с утратой своей юношеской Фацелии. Лысые, пузатые, желтые, больные не беспокоят моего воображения, и только не могу еще перешагнуть через бездарных. Но думаю, что и талант тоже, как лысина: может талант пройти, писать не захочется, и с этим тоже помирись. Ведь не ты же сам создал свой талант, у тебя это выросло, как густые волосы, и он тоже, если так оставить, вылезет, как волосы: писатель «испишется». Не в таланте дело, а в том, кто управляет талантом. Вот уж этого утратить нельзя, эта утрата незаменима: это уж не лысина, не брюхо, это я сам. И пока «я сам» существует, нечего плакать об утраченном; ведь говорят: «снявши голову, по волосам не плачут», значит — можно сказать и так: «была бы голова, а волосы вырастут».

РАССТАВАНИЕ И ВСТРЕЧА

Наблюдал я с восхищением начало потока. На одном холме стояло дерево — очень высокая елка. Капли дождя собирались с ветвей на ствол, укрупнялись, перескакивали на изгибах ствола и часто погасали в густых светло-зеленых лишайниках, одевающих ствол. В самом низу дерева было изогнуто, и капли из-под лишайников тут брали прямую линию вниз, в спокойную лужу с пузырями. Кроме этого, и прямо с веток падали разные капли, по-разному звучали.

На моих глазах маленькое озеро под деревом прорвало, поток под снегом понесся к дороге, ставшей теперь плотинной. Новорожденный поток был такой силы, что дорогу-плотину прорвало, и вода помчалась вниз по сорочьему царству к речке. Ольшаник у берега речки был затоплен, с каждой ветки в заводь падали капли и давали множество пузырей. И все эти пузыри, медленно двигаясь по заводу к потоку, вдруг там срывались и неслись по реке вместе с пеной.

В тумане то и дело показывались, пролетая, какие-то птички, но я не мог определить, какие это. Птички на лету пищали. Но за гулом реки я не мог понять их писка. Они садились вдали на группу стоявших возле реки деревьев. Туда я направился узнать, какие это к нам гости так рано пожаловали из теплых краев.

Под гул потока и музыку звонких капель я, как бывает это и при настоящей человеческой музыке, завертелся мыслью о себе, вокруг своего больного места, которое столько лет не может зажить... Это верчение мало-помалу привело меня к отчетливой мысли о начале человека: что это еще не человек, когда он, отдаваясь влечению к счастью, живет вместе с этими потоками, пузырями, птицами. Человек начинается в тот момент, когда он со всем этим расстанется: тут первая ступень сознания. Так со ступеньки на ступеньку я начал, забывая все, восходить через боль свою к отвлеченному человеку. Я очнулся, услышав песнь зяблика. Ушам своим не поверил, но скоро понял, что те птички, летевшие из тумана, те ранние гости — были все зяблики. Тысячи зябликов все летели, все пели, садились на деревья и во множестве рассыпались по зяби, и я в первый раз понял, что слово «зяблик» происходит от «зяби». Но самое главное при встрече с этими желанными птичками был страх, — что, будь их поменьше, я, думая о себе, очень возможно, и вовсе бы их пропустил.

«Так вот, — раздумывал я, — сегодня я пропущу зябликов, а завтра пропущу хорошего живого человека, и он погибнет без моего внимания». Я понял, что в этой моей отвлеченности было начало какого-то основного большого заблуждения.

ДОЧЬ ФАЦЕЛИИ

Я потерял ее вовсе из виду, и с тех пор много лет прошло. Я до того утратил ее черты, что не мог бы по лицу узнать ее. И только вот одни глаза, похожие на две северные звездочки, это я бы, конечно, узнал.

И случилось однажды, я зашел в комиссионный магазин купить себе одну вещь. Мне удалось эту вещь найти и купить. С чеком в руке я стал в очередь. Рядом же была очередь вторая, из тех, у кого были только крупные деньги: в кассе не было разменных денег. Одна молодая женщина из той очереди попросила у меня разменять пять рублей: ей нужно было всего только лишь два рубля. У меня было

мелких только два рубля, и я охотно предложил взять от меня эти два рубля...

Вероятно, она не поняла меня, что я желаю просто отдать ей, подарить деньги. А может быть, она была такая милая, что победила в себе чувство ложного стыда и хотела стать выше условных мелочей. К сожалению, протягивая деньги, я взглянул на нее и вдруг узнал те самые глаза, те самые две северные звездочки, как у Фацелии. В одно мгновение это я успел через глаза заглянуть внутрь ее души и мне успело мелькнуть, что, может быть, это дочь «ее»...

Но денег от меня после такого заглядывания взять оказалось невозможным. А может быть, она только тут успела сообразить, что деньги я хочу ей, незнакомой, подарить.

Подумаешь, деньги-то какие, всего два рубля! Я протянул руку с деньгами.

— Нет! — сказала она. — Так взять я от вас не могу.

А я-то в ту минуту, узнавая те глаза, готов был отдать ей все, что у меня было, я готов был по одному ее слову побежать куда-то и принести ей еще и еще...

Умоляющим взглядом, как нищий из нищих, я поглядел и попросил:

— Возьмите же...

— Нет! — повторила она.

И когда у меня сделался вид совершенно несчастного, брошенного, измученного бездомьем человека, она что-то вдруг поняла, улыбнулась тою самой прежней своей улыбкой Фацелии и сказала:

— Мы сделаем так: вы у меня возьмете пять рублей и мне дадите два. Хотите?

С восторгом я взял у нее пять рублей и видел, что восторг мой она хорошо поняла и оценила.

СТАРАЯ ЛИПА

Думал о старой липе с такой морщинистой корой. Сколько времени она утешала старого хозяина и утешает меня, вовсе и не думая ничего о нас! Я смотрю на ее бескорыстное служение людям, и у меня, как душистый липовый цвет, распускается надежда: может, когда-нибудь и я вместе с ней процвету.

РАДОСТЬ

Горе, скопясь в одной душе больше и больше, может в какой-то прекрасный день вспыхнуть, как сено, и все сгореть огнем необычайной радости

ПОБЕДА

Друг мой, ни на севере, ни на юге нет тебе места, если сам поражен: вся природа побежденному человеку — поле, где была проиграна битва. Но если победа, — а ведь всякая победа — это победа над самим собой, — если даже дикие болота одни были свидетелем твоей победы, то и они процветут необычайной красотой, и весна останется тебе навсегда, одна весна, слава победе.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА

Быть может, эта весна моя последняя. Да, конечно, каждый молодой и старый, встречая весну, должен думать, что, может быть, это его последняя весна и больше он к ней никогда не вернется. От этой мысли радость весны усиливается в сто тысяч раз, и каждая мелочь, зяблик какой-нибудь, даже слово, откуда-то прилетевшее, являются со своими собственными лицами, со своим особенным заявлением на право существования и участия и для них тоже в последней весне.

БЛИЗКАЯ РАЗЛУКА

Осенью, конечно, все шепчет кругом о близкой разлуке, в радостный солнечный день к этому шепоту присоединяется задорное: хоть один, да мой! И я думаю, что, может быть, и вся наша жизнь проходит, как день, и вся мудрость жизненная сводится к тому же самому: одна только жизнь, единственная, как осенью единственный солнечный день, один день, а мой!

КУКУШКА

Кукушка во время моего отдыха на поваленной березе, не заметив меня, села где-то почти рядом и с каким-то придыханием, вроде того, как если бы нам сказать: «А ну-ка, попробую, что будет?» — кукукнула.

— Раз! — сказал я, по старой привычке загадывая, сколько лет еще остается мне жить.

— Два!

И только она выговорила свое «ку» из третьего раза, и только собрался я сказать свое «три»...

— Кук! — выговорила она и улетела.

Свое «три» я так и не сказал. Маловато вышло мне жить, но это не обидно, я достаточно жил, а вот обидно, что если эти два с чем-то года будешь все собираться для какого-нибудь большущего дела, и вот соберешься, начнешь, а там вдруг «кук!»... Все кончится!

Так стоит ли собираться?

«Не стоит!» — подумал я.

Но, встав, бросил последний взгляд на березу — и сразу все расцвело в душе моей: эта чудесная упавшая береза для последней своей, для одной только нынешней весны раскрывает смолистые почки.

УЛЫБКА ЗЕМЛИ

В больших горах, как на Кавказе, всюду остались следы титанической борьбы и событий в жизни земной коры, похожие на страдания и гримасы ужаса на лице человеческого. Там прямо на глазах вода разрезает горы и падают камни и рассыпаются мало-помалу. Может быть, когда-то и у нас в Московской области тоже была такая борьба, только давно это прошло, и вода до того умерила стихии, что как будто здесь наконец-то земля улыбнулась зелеными лесистыми холмами.

Бродишь глазами по этим милым холмам и, вспоминая свое прошлое, иной раз подумаешь: «Нет, не хочу опять повторять, не хочу опять быть молодым!» И улыбнешься вместе с землей и чему-то обрадуешься.

СОЛНЦЕ В ЛЕСУ

Такой лес, что солнце не сразу и увидишь, только по огненным пятнам и стрелам догадаешься, что вон там оно спряталось за большим деревом и бросает оттуда в темный лес свои ранние утренние косые лучи...

С поляны сияющей входишь в темный лес, как в пещеру, но когда осмотришься, — до чего хорошо! Невозможно сказать, до чего прекрасно бывает в темном лесу в яркий солнечный день. Никто, я думаю, не удержится, чтобы не

дать полную свободу своей привязанной разными заботами мысли. Тогда обрадованная мысль летает от одного солнечного пятна к другому, вдруг обнимет по пути на солнечной поляне елочку, стройную, как башенка, соблазнится, как девочка, ничего не понимающая, белизной березки, спрячет в ее зеленых кудрях вспыхнувшее личико и помчится, вспыхивая в лучах, от поляны к поляне.

СТАРЫЙ СКВОРЕЦ

Скворцы вывелись и улетели, и давно уже их место в скворечнике занято воробьями. Но до сих пор на ту же яблоню прилетает в хорошее росистое утро старый скворец и поет.

Вот странно, казалось бы, все уже кончено, самка давно вывела, детеныши выросли и улетели... Для чего же старый скворец прилетает каждое утро на яблоню, где прошла его весна, и поет?

Удивляюсь скворцу, и под песню его, косноязычную и смешную, сам в какой-то неясной надежде, ни для чего иногда тоже кое-что сочиню.

ПТИЧИК

Птичик, самый малый, сел на вершинный палец самой высокой ели, и, видно, он там недаром сел, тоже славил зарю; клюв его маленький раскрывался, но песня не достигала земли, и по всему виду птички можно было понять: дело ее — славить, а не в том, чтобы песня достигала земли и славил птичку.

ЦВЕТУЩИЕ ТРАВЫ

Как рожь на полях, так в лугах тоже зацвели все злаки, и когда злачинку покачивало насекомое, она окутывалась пылью, как золотым облаком. Все травы цветут, и даже подорожники, — какая трава подорожник, а тоже весь в белых бусинках.

Раковые шейки, медуницы, всякие колоски, пуговки, шишечки на тонких стебельках приветствуют нас. Сколько их прошло, пока мы столько лет жили, а не узнать, кажется, все те же шейки, колоски, старые друзья. Здравствуйте, еще раз здравствуйте, милые!

РАСЦВЕТ ШИПОВНИКА

Шиповник, наверное, с весны еще пробрался внутрь по стволу к молодой осинке и вот теперь, когда время пришло осинке справлять свои именины, вся она вспыхнула красными благоухающими дикими розами. Гудят пчелы и осы, бьют шмели, все летят поздравлять и на именинах роски попить и медку домой захватить.

СЫТЫЕ ПУЗЫРИ

Весь день дождь и парит. Синица звенит не как раньше — брачным голосом в теплом луче. Теперь под дождем она звенит непрерывно и даже как будто от этого похудела: такая тоненькая на ветке. Ворона не хочет даже подняться на дерево, токует прямо на дороге, кланяется, давится, хрипит, задыхается от желания.

Весна воды началась стремительно. Снег на полях и в лесу стал зернистым, можно ходить, продвигая ноги, как лыжи. Вокруг елей в лесу стоят маленькие спокойные озера. На открытых полянах торопливый дождь не дает на лужах вставать пузырям. Но в озерках под елками капли с сучьев падают тяжелые, и каждая, падая в воду, дает сытый, довольный пузырь. Я люблю эти пузыри, они мне напоминают маленьких детей, похожих одновременно и на отца и на мать.

РОДНОЙ САМОВАР

Бывает такая тишина, такая ясность в душе. Смотришь на человека всякого с таким вниманием: если красив — восхищаешься, если плох — пожалеешь. В любой вещи тогда чувствуешь душу создавшего ее человека.

Вот сейчас самовар ставлю, самовар, прослуживший мне тридцать лет, — и стараюсь, как бы самовар, так и быть уж на радости, пусть родной самовар, вскипая, слезу не пролил.

РИТМ

Есть в моей природе постоянное стремление к ритму. Бывает, встанешь рано, выйдешь на росу, радость охватит, и тут решаешь, что надо *каждое* утро так выходить. Почему же каждое? Потому что волна идет за волной...

Никто в природе так не затаивается, как вода, и только перед большой и радостной зарей бывает так на сердце человека: притаишься, соберешься, и как будто сумел, достал себя из той глубины, где есть проток в мир всеобщего родства, зачерпнул там живой воды и вернулся в наш человеческий мир, — и тут навстречу тебе лучезарная тишь воды, широкой, цветистой, большой.

МОЛОДЫЕ ЛИСТИКИ

Ели цветут красными свечами и пылят желтой мучицей. У старого огромного пня я сел прямо на землю; пень этот внутри — совершенно труха и, наверное, рассыпался бы вовсе, если бы твердая крайняя древесина не растрескалась дощечками, как в бочках, и каждая дощечка не прислонилась бы к трухе и не держала бы ее. А из трухи выросла березка и теперь распустилась. И множество разных трав ягодных, цветущих снизу, поднимались к этому старому огромному пню.

Пень удержал меня, я сидел рядом с березкой, старался услышать шелест трепещущих листиков и не мог ничего услышать. Но ветер был довольно сильный, и по елям приходила сюда лесная музыка волнами, редкими и могучими. Вот убежит волна далеко и не придет, и шумовая завеса упадет, откроется на короткую минуту полная тишина, и зяблик этим воспользуется: раскатится бойко, настойчиво. Радостно слушать его, — подумаешь, как жить хорошо на земле! Но мне хочется услышать, как шепчутся бледно-желтые ароматно-блестящие и еще маленькие листья моей березы. Нет! Они такие нежные, что только трепещутся, блестят, пахнут, но не шумят.

У СТАРОГО ПНЯ

Пусто никогда не бывает в лесу, и если кажется пусто, то сам виноват.

Старые умершие деревья, их огромные старые пни окружаются в лесу полным покоем, сквозь ветви падают на их темноту горячие лучи, от теплого пня вокруг все согревается, все растет, движется, пень прорастает всякой зеленью, покрывается всякими цветами. На одном только светлом солнечном пятнышке на горячем месте расположи-

лись десять кузнечиков, две ящерицы, шесть больших мух, две жужелицы... Вокруг высокие папоротники собрались, как гости, редко ворвется к ним самое нежное дыхание где-то шумящего ветра, и вот в гостиной у старого пня один папоротник наклонится к другому, шепнет что-то, и тот шепнет третьему, и все гости обмениваются мыслями.

У РУЧЬЯ

Березки теперь давно оделись и утопают в высокой траве, а когда я снимал их, то была первая весна, и в снегу под этой березкой, темнея на голубом, начинался первый ручеек. С тех пор, пока разоделась березка и выросли под ними разные травы с колосками и шишечками и шейками разных цветов, много, много воды утекло из ручья, и сам ручей тот до того зарос в темно-зеленой густоте непроницаемой осокой, что не знаю, есть ли еще в нем теперь хоть сколько-нибудь воды. И так точно было со мной в это время: сколько воды утекло с тех пор, как мы расстались, и по виду моему никому не узнать, что ручей души моей все еще жив.

ПЕСНЯ ВОДЫ

Весна воды собирает родственные звуки; бывает, долго не можешь понять, что это: вода булькает, или тетерева бормочут, или лягушки урчат. Все вместе сливается в одну песню воды, и над ней согласно всему блеет бекас божьим баранчиком, в согласии с водой вальдшнеп хрипит и таинственно ухает выпь: все это странное пенье птиц вышло из песни весенней воды.

ЭОЛОВА АРФА

Повислые под кручей частые длинные корни деревьев теперь под темными сводами берега превратились в сосульки и, нарастая больше и больше, достигли воды. И когда ветерок, даже самый ласковый, весенний, волновал воду и маленькие волны достигали под кручей концов сосулечек, то волновали их, они качались, стуча друг о друга, звенели, и этот звук был первый звук весны, эолова арфа.

ПЕРВЫЙ ЦВЕТOK

Думал, случайный ветерок шевельнул старым листом, а это вылетела первая бабочка. Думал, в глазах это порябило, а это оказался первый цветок.

Солнечно-росистое это утро, как неоткрытая земля, неизведанный слой небес, утро такое единственное, никто еще не вставал, ничего никто не видал, и ты сам видишь впервые.

Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в затишных местах одуванчики, и, может быть, где-нибудь в сырости черной тени белеет ландыш. Соловьям помогать взялись бойкие летние птички — подкрапивники, и особенно хороша флейта иволги. Всюду беспокойная трескотня дроздов, и дятел очень устал искать живой корм для своих маленьких, присел вдали от них на суку просто отдохнуть.

Вставай же, друг мой! Собери в пучок лучи своего счастья, будь смелей, начинай борьбу, помогай солнцу! Вот слушай, и кукушка взялась тебе помогать. Гляди, лунь плывет над водой: это же не простой лунь, в это утро он первый и единственный, и вот сороки, сверкая росой, вышли на дорожку, — завтра так точно сверкать они уже не будут, и день-то будет не тот, — и эти сороки выйдут где-нибудь в другом месте. Это утро единственное, ни один человек его еще не видел на всем земном шаре: только видишь ты и твой неведомый друг.

И десятки тысяч лет жили на земле люди, копили, передавая друг другу, радость, чтобы ты пришел, поднял ее, собрал в пучки ее стрелы и обрадовался. Смелей же, смелей!

Враг мой! Ты вовсе не знаешь, и если узнаешь, тебе никогда не понять, из чего я сплел радость людям. Но если ты не понимаешь моего лучшего, то чего же ты хватаешься за мои ошибки и на основе таких мелких пустяков поднимаешь свое обвинение против меня? Проходи мимо и не мешай нам радоваться.

И опять расширится душа: елки, березки, — и не могу оторвать своих глаз от зеленых свечей на соснах и от молодых красных шишек на елках. Елки, березки, до чего хорошо!

ВЕРХНЯЯ МУТОВКА

Утром лежал вчерашний снег. Потом выглянуло солнце, и при северном холодном ветре весь день носились тяжелые облака, то открывая солнце, то опять закрывая и угрожая...

В лесу же в заветрии как ни в чем не бывало продолжалась весенняя жизнь...

Какая восхитительная сказка бывает в лесу, когда со всех этажей леса свешиваются, сходятся, переплетаются ветви, еще не одетые, но с цветами-сережками или с зелеными длинными напряженными почками.

Жгутики зеленые черемухи, в бузине красная кашница с волосками, в ранней иве из-под ее прежнего волосатого вербного одеяльца выбиваются мельчайшие желтенькие цветочки, составляющие потом в целом как бы желтого, только что выбившегося из яичной скорлупы цыпленка.

Даже стволы нестарых елей покрылись, как шерстью, зелеными хвоинками, а на самом верхнем пальце самой верхней мутовки явно показывается новый узел новой будущей мутовки...

Не о том я говорю, чтобы мы, взрослые, сложные люди, возвращались бы к детству, а к тому, чтобы в себе сами хранили бы каждый своего младенца, не забывали бы о нем никогда и строили жизнь свою, как дерево: эта младенческая первая мутовка у дерева всегда наверху, на свету, а ствол — это его сила, это мы, взрослые.

Лети же, лети, майский снег! Пусть все живое помнит Мороза и прячется, и там, в норке своей, в трещинке, в щелке мечтает о зеленой мутовочке в лучах великого света: это не пустая мечта, она значит, что мы в ствол уходим, а деточки — в рост.

ПШЕНИЧНОЕ ЗЕРНО

Теперь и шекспировская сила воображенья не подавляет меня как писателя: я хорошо знаю, что если б мне удалось без воображенья, а просто терпеливой раскопкой найти в себе крупинку такого, чем все люди живут, и об этом рассказать, то сам Шекспир, как брата, позвал бы меня в свой охотничий замок, и ему бы и в голову не пришло противопоставлять величайшую силу своего таланта пшеничному зерну моей веры в какого-то друга.

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ

Тут, на этой цветущей лесной поляне, давно когда-то жили: вон там, видно, обрыто было, там вырыто, там, наверно, дом стоял, здесь погреб, и на лужайке по густо-зеленому цвету полосы травы можно догадаться, что это была дорога, по которой ходил давно умерший человек.

Я иду этой полоской и чувствую, от чего-нибудь чувства мои и понимание до того могут перемениться, такое во мне может произойти, что того давно умершего человека я могу узнать в себе самом, и как шел он тогда по своей дороге и как теперь в виде «я» идет по густо-зеленой траве.

И когда воскрес во мне самый тот человек, под огромным дубом я увидел по свежей зеленой траве темно-зеленое изображение другого, тоже огромного дерева. Чуть подумав об этом, я догадался, что другой дуб, росший долго вместе с этим, давно упал, давно рассыпался в прах и стал удобреннем, создавшим густую зелень на свежей траве.

ВЕЧЕР ОСВЯЩЕНИЯ ПОЧЕК

Почки раскрываются, шоколадные с зелеными хвостиками, и на каждом зеленом клювике висит большая прозрачная светлая капля. Возьмешь одну почку, разотрешь между пальцами, и потом долго все пахнет тебе ароматной смолой березы, тополя или особенным воспоминательным запахом черемухи: вспоминаешь, как, бывало, забирался наверх по дереву за ягодками, блестящими, чернолаковыми, и ел их горстями прямо с косточками, и почему-то от этого никогда ничего, кроме хорошего, не бывало.

Вечер теплый и такая тишина, что ждешь чего-то напряженно: должно же что-нибудь случиться в такой тишине. И вот, кажется, пришло: кажется, начинают шептаться между собой деревья: береза белая с другой березой белой издали перекликаются, осинка молодая стала на поляне, как зеленая свеча, находит себе такую же свечу, черемуха черемухе подает ветку с раскрытыми почками. И так, если с нами сравнить, мы звуками перекликаемся, а у них аромат: сейчас каждая порода окружена своим ароматом.

Когда начало темнеть, стали в темноте исчезать почки, но капли на них светились, и, даже когда ничего нельзя было понять в темной тесноте кустарников, капли светились, одни только капли да небо: капли брали у неба свой свет и светили нам в темном лесу.

Мне казалось, будто я весь собрался в одну смолистую почку и хочу раскрыться навстречу единственному неведомому другу, такому прекрасному, что при одном только ожидании его все преграды движению моему рассыпаются ничтожною пылью.

Если хочешь понять душу леса, найди лесной ручей и отправляйся берегом его вверх или вниз. Я иду берегом своего любимого ручья самой ранней весной. И вот что я тут вижу, и слышу, и думаю.

Вижу я, как на мелком месте текущая вода встречает преграду в корнях елей, и от этого журчит о корни и распускает пузыри. Рождаясь, эти пузыри быстро мчатся и тут же лопаются, но большая часть их сбивается дальше у нового препятствия в далеко видный белоснежный ком.

Новые и новые препятствия встречает вода, и ничего ей от этого не делается, только собирается в струйки, будто сжимает мускулы в неизбежной борьбе.

Водная дрожь от солнца бросается тенью на ствол елки, на травы, и тени бегут по стволам, по травам, и в дрожи этой рождается звук, и чудится, будто травы растут под музыку, и видишь согласие теней.

С мелкоширокого плёса вода устремляется в узкую приглубь, и от этой бесшумной устремленности вот и кажется, будто вода мускулы сжала, а солнце это подхватывает, и напряженные тени струй бегут по стволам и по травкам.

А то вот большой завал, и вода как бы ропщет, и далеко слышен этот ропот и переплеск. Но это не слабость и не жалоба, не отчаяние, вода этих человеческих чувств вовсе не знает, каждый ручей уверен в том, что добежит до свободной воды, и даже если встретится гора, пусть и такая, как Эльбрус, он разрежет пополам Эльбрус, а рано ли, поздно ли, — добежит...

Рябь же на воде, схваченная солнцем, и тень, как дымок, перебегает вечно по деревьям и травам, и под звуки ручья раскрываются смолистые почки, и травы поднимаются из-под воды и на берегах.

А вот тихий омут с поваленным внутри его деревом; тут блестящие жучки-вертунки распускают рябь на тихой воде.

Под сдержанный ропот воды струи катятся уверенно и на радости не могут не перекликнуться: сходятся могучие струи в одну большую и, встречаясь, сливаются, говорят и перекликаются: это перекличка всех приходящих и расходящихся струй.

Вода задевает бутоны новорожденных желтых цветов, и так рождается водная дрожь от цветов. Так жизнь ручья

проходит то пузырями и пеной, а то в радостной перекличке среди цветов и танцующих теней.

Дерево давно и плотно легло на ручей и даже по-зеленело от времени, но ручей нашел себе выход под деревом и быстриком, с трепетными тенями бьет и журчит.

Некоторые травы уже давно вышли из-под воды и теперь на струе постоянно кланяются и отвечают вместе и трепету теней, и ходу ручья.

Пусть завал на пути, пусть! Препятствия делают жизнь: не будь их, вода бы безжизненно сразу ушла в океан, как из безжизненного тела уходит непонятная жизнь.

На пути явилась широкая, приглубная низина. Ручей, не жалея воды, наполнил ее и побежал дальше, оставляя эту заводь жить своей собственной жизнью.

Согнулся широкий куст под напором зимних снегов и теперь опустил в ручей множество веток, как паук, и, еще серый, насел на ручей и шевелит всеми своими длинными ножками.

Семена елей плывут и осин.

Весь проход ручья через лес — это путь длительной борьбы, и так создается тут время. И так длится борьба, и в этой длительности успевают зародиться жизнь и мое сознание.

Да, не будь этих препятствий на каждом шагу, вода бы сразу ушла, и вовсе бы не было жизни-времени...

В борьбе своей у ручья есть усилие, струи, как мускулы, скручиваются, но нет никакого сомнения в том, что рано ли, поздно ли он попадет в океан к свободной воде, и вот это «рано ли, поздно ли» и есть самое-самое время, самая-самая жизнь.

И я про себя, глядя на этот бодрый ручей, тоже думаю: рано ли, поздно ли, попаду в большую воду, и пусть я здесь даже буду последним, там примут меня непременно за первого. Там, в большой воде, в океане, ведь все первые, потому что нет конца жизни.

Перекликаются струи, напрягаясь, у сжатых берегов, выговаривают свое: «рано ли, поздно ли». И так весь день и всю ночь журчит это «рано ли, поздно ли». И пока не убежит последняя капля, пока не пересохнет весенний ручей, вода без усталости будет твердить: «Рано ли, поздно ли, мы попадем в океан».

По заберегам отрезана весенняя вода круглой лагункой, и в ней осталась от разлива щучка в плену.

А то вдруг придешь к такому тихому месту ручья, что слышишь, как на весь-то лес урчит снегирь и зяблик шуршит старой листвой.

А то мощные струи, весь ручей в две струи под косым углом сходятся и всей силой своей ударяет в кручь, укрепленную множеством могучих корней вековой ели.

Так хорошо было, что я сел на корни и, отдыхая, слышал, как там внизу, под кручей, перекликались уверенно могучие струи, они пе-ре-кли-кались в своем «рано ли, поздно ли».

В осиновой мелочи расплескалась вода, как целое озеро, и, собравшись в одном углу, стала падать с обрыва высотой в метр, и от этого стало бубнить далеко. Так Бубнило бубнит, а на озерке тихая дрожь, мелкая дрожь, и тесные осинки, опрокинутые там под водой, змейками убегают вниз беспрерывно и не могут убежать от самих себя.

Привязал меня ручей к себе, и не могу я отойти в сторону, скучно становится.

Вышел на какую-то лесную дорогу, и тут теперь самая низенькая трава, такая зеленая, сказать — почти ядовитая, и по бокам две колеи, переполненные водой.

На самых молодых березках зеленеют и ярко сияют ароматной смолой почки, но лес еще не одет, и на этот еще голый лес в нынешнем году прилетела кукушка: кукушка на голый лес — считается нехорошо.

Вот уже двенадцатый год, как я рано, не одетой весной, когда цветет только волчье лыко, анемоны и примулы, прохожу этой вырубкой. Кусты, деревья, даже пни мне тут так хорошо знакомы, что дикая вырубка мне стала как сад: каждый куст, каждую сосенку, елочку обласкал, и они все стали моими, и это все равно, что я их посадил, это мой собственный сад.

Из этого своего «сада» я вернулся к ручью и смотрел тут на большое лесное событие: огромная вековая ель, подточенная ручьем, свалилась со всеми своими старыми и новыми шишками, всем множеством веток своих легла на ручей, и о каждую ветку теперь билась струйка и, протекая, твердила, перекликаясь с другими: «Рано ли, поздно ли...»

Ручей выбежал из глухого леса на поляну и в открытых теплых лучах солнца разлился широким плесом. Тут вышел из воды первый желтый цветок, и, как соты, лежала икра лягушек, такая спелая, что через прозрачные ячейки просвечивали черные головастики. Тут же над самой водой

носились во множестве голубоватые мушки величиной почти в блоху, и тут же падали в воду, откуда-то вылетали и падали, и в этом, кажется, и была их короткая жизнь. Блестящий, как медный, завертелся на тихой воде жучок водяной, и наездник скакал во все стороны и не шевелил даже воду. Лимонница, большая и яркая, летела над тихой водой. Маленькие лужицы вокруг тихой заводи поросли травой и цветами, а пуховые вербочки на ранней иве процвели и стали похожи на маленьких цыплят в желтом пуху.

Что такое случилось с ручьем? Половина воды отдельным ручьем пошла в сторону, другая половина в другую. Может быть, в борьбе своей за веру в свое «рано ли, поздно ли» вода разделилась: одна вода говорила, что вот этот путь раньше приведет к цели, другая в другой стороне увидела короткий путь, и так они разошлись, и обежали большой круг, и заключили большой остров между собой, и опять вместе радостно сошлись и поняли: нет разных дорог для воды, все пути рано ли, поздно ли непременно приведут ее в океан.

И глаз мой обласкан, и ухо все время слышит: «рано ли, поздно ли», и аромат смолы тополей и березовой почки — все сошлось в одно, и мне стало так, что лучше и быть не могло, и некуда мне было больше стремиться. Я опустился между корнями дерева, прижался к стволу, лицо повернул к теплему солнцу, и тогда пришла моя желанная минута и остановилась, и последним человеком от земли я первый вошел в цветущий мир.

Ручей мой пришел в океан.

РЕКИ ЦВЕТОВ

Там, где тогда мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов.

И мне так хорошо было пройтись по этому лугу; я думал: «Значит, недаром неслись весной мутные потоки».

ЖИВЫЕ НОЧИ

Дня три или четыре тому назад произошел огромный и последний уступ в движении весны. Тепло и дожди обратили нашу природу в парник, воздух насыщен ароматом молодых смолистых листов тополей, берез и цветущей ивы. Начались настоящие теплые *живые ночи*. Хорошо с высоты

достижений такого дня оглянуться назад и ненастные дни ввести, как необходимые, для создания этих чудесных живых ночей.

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ДОЖДИК

Солнышко на восходе показалось и мягко закрылось, пошел дождь, такой теплый и живительный для растения, как нам любовь.

Да, этот теплый дождь, падающий на смолистые почки оживающих растений, так нежно касается коры, прямо тут же под каплями изменяющей цвет, что чувствуешь: эта теплая небесная вода для растений то же самое, что для нас любовь. И та же самая любовь, как и у нас, та же самая их вода — любовь — внизу обмывала, ласкала корни высокого дерева, и вот оно сейчас от этой любви — воды — рухнуло и стало мостом с одного берега на другой, а небесный дождь — любовь — продолжает падать и на поваленное дерево с обнаженными корнями, и от этой самой любви, от которой оно повалилось, теперь раскрываются почки и пахнут смолистыми ароматами, и будет оно цвести этой весной, как и все, цвести и давать жизнь другим...

ВОДА И ЛЮБОВЬ

Животным, от букашки до человека, самая близкая стихия — это любовь, а растениям — вода: они жаждут ее, и она к ним приходит с земли и с неба, как у нас бывает земная любовь и небесная...

ЧЕРЕМУХА

Сочувствуя поваленной березе, я отдыхал на ней и смотрел на большую черемуху, то забывая ее, то опять с изумлением к ней возвращаясь: мне казалось, будто черемуха тут же на глазах одевалась в свои прозрачные, сделанные как будто из зеленого шума, одежды: да, среди серых, еще не одетых деревьев и частых кустов она была зеленая, и в то же время через эту зелень я видел сзади нее частые белые березки. Но когда я поднялся и захотел проститься с зеленой черемухой, мне показалось, будто сзади нее и не было видно березок. Что же это такое? Или это я сам выдумал, будто были березки, или... или черемуха оделась в то время, как я отдыхал...

СОСНЫ

Как хочется мне, чтобы эти сосны вечно стояли, и еще хочется, чтобы они были мои собственные и я мог бы вечно смотреть на них и любить. Вот к этому «сохранить навеки» и «присвоить» и стремится художник: из тех же самых элементов создаются томы Шекспира и сундуки Плюшкина.

ГЛОТОК МОЛОКА

Чашка с молоком стояла возле носа Лады, она отвертывалась. Позвали меня. «Лада,— сказал я,— надо поесть». Она подняла голову, забила прутom. Я погладил ее, от ласки жизнь заиграла в ее глазах. «Кушай, Лада»,— повторил я и подвинул блюдце поближе.

Она протянула нос к молоку и залакала. Значит, через мою ласку ей жизни прибавилось. И, может быть, именно эти несколько глотков молока решали борьбу в пользу жизни. Таким глотком молока и решается в мире дело любви.

ХОЗЯЙКА

Какая отличная хозяйка и мать эта Анна Даниловна: две комнаты в полном порядке, несмотря на то, что четверо маленьких и сама еще служит уборщицей в билетной кассе железной дороги. Вспоминаешь старую деревню, погруженную в навоз, неухоженных детей, пьяниц, расположившихся на бабьем труде... как будто на небо поднялся! Но когда я об этом сказал Анне Даниловне, она очень запечалилась и сказала мне, что очень тоскует по своей родине, все бы бросила и сейчас бы туда поехала.

— А вас, Василий Захарович,— спросил я мужа ее,— тоже тянет в деревню, на родину?

— Нет,— ответил он,— меня никуда не тянет.

Оказалось, он из Самарского края и единственный из своей семьи спасся в 1920 году от голода. Мальчиком он поступил в деревню в батраки к старику одному и ушел от старика без гроша. Только вот взял себе в деревне Анну Даниловну и поступил рабочим на судоверфь.

— Почему же вас на родину не тянет? — спросил я его.

Он улыбнулся, чуть-чуть перемигнулся с женой и стеснительно сказал:

— Вот моя родина.

Цветут сначала ландыши, потом шиповники: всему есть свое время цвести. Но бывает, целый месяц пройдет с тех пор, как отцветут ландыши, а где-нибудь в самой черной лесной глуши цветет себе один и благоухает. И так очень редко, но бывает и с человеком. Бывает, где-то в затишье, в тени жизненной, незнаемый человек; о нем думают: «отжил», и мимо пройдут. А он вдруг неожиданно выйдет, засветится и зацветет.

РОМАШКА

Радость какая! на лугу в лесу встретилась ромашка, самая обыкновенная «любит — не любит». При этой радостной встрече я вернулся к мысли о том, что лес раскрывается только для тех, кто умеет чувствовать к его существам родственное внимание. Вот эта первая ромашка, завидев идущего, загадывает: «Любит — не любит?» «Не заметил, проходит, не видя: не любит, любит только себя. Или заметил... О, радость какая: он любит! Но если он любит, то как все хорошо: если он любит, то может даже сорвать».

ЛЮБОВЬ

Никаких следов того, что люди называют *любовью*, не было в жизни этого старого художника. Вся любовь его, все, чем люди живут для себя, у него было отдано искусству. Обвеянный своими видениями, окутанный вуалью поэзии, он сохранился ребенком, удовлетворяясь взрывами смертельной тоски и опьянением радостью от жизни природы. Прошло бы, может быть, немного времени, и он умер, уверенный, что такая и есть вся жизнь на земле...

Но вот однажды пришла к нему женщина, и он ей, а не мечте своей, пролепетал свое *люблю*.

Так все говорят, и Фацелия, ожидая от художника особенного и необыкновенного выражения чувства, спросила:

— А что это значит «люблю»?

— Это значит, — сказал он, — что, если у меня останется последний кусок хлеба, я не стану его есть и отдам тебе, если ты будешь больна, я не отойду от тебя, если для тебя надо будет работать, я впрягусь как осел.

И он еще много насказал ей такого, что люди выносят из-за любви.

Фацелия напрасно ждала небывалого.

— Отдать последний кусок хлеба, ходить за больной, работать ослом, — повторила она, — да ведь это же у всех, так все делают...

— А мне этого и хочется, — ответил художник, — чтобы у меня было теперь, как у всех. Я же об этом именно и говорю, что наконец-то испытываю великое счастье не считать себя человеком особенным, одиноким и быть, как все хорошие люди.



ЛЕСНАЯ КАПЕЛЬ

ДЕРЕВО

КОРЕНЬ



Вижу, как перед восходом солнца блестящий опускается на западе месяц — в этот раз настолько дальше вчерашнего, что так и не отразился в полёе.

То солнце покажется, то закроется облаками, и думаешь: «Вот дождь пойдет», — и все нет дождя. Постепенно теплеет.

Вчера горячие лучи солнца не совсем еще покончили с новым льдом, и он, тонкий, острый, остался широкой лентой у берегов, и синяя зыбь свободной воды тревожит его, и от этого звук получается похожим на тот, когда ребяташки по тонкому льду швыряют камешки: будто большой стаей птички-щобетуны летят.

В некоторых местах полёя от вчерашнего льда остался слой, подобный летней раске: чайки плывут по нем, остав-

ляя след за собой, но мыши, удравшие с берега от мальчишек, по такой ледяной кашнице бегут, не проваливаясь.

Гляжу на единственное во всей пойме деревцо — вяз перед моим окном, вижу, как все перелетные птички присаживаются на него: зяблики, щеглы, зорянки, и все думаю и думаю о том дереве, на которое когда-то, измученный жизнью, присел, да так и слился с ним, и корни того дерева стали моими корнями в родной земле. Так в своей перелетной жизни я и стал когда-то на свой корень.

БЕРЕЗЫ

Зимой березы таятся в хвойном лесу, а весной, когда листья разворачиваются, кажется, будто березы из темного леса выходят на опушку. Это бывает до тех пор, пока листва на березах не потемнеет и более или менее не сравняется с цветом хвойных деревьев. И еще бывает осенью, когда березки, перед тем как скрыться, прощаются с нами своим золотом.

ЛЕСНОЙ ШАТЕР

Столетние усилия дерева сделали свое: верхние ветви свои эта ель вынесла к свету, но нижние ветки — детки, сколько ни тащила их наверх матушка, остались внизу, сложились шатром, поросли зелеными бородами, и под этим непроницаемым для дождя и света шатром поселился...

— Кто там поселился?

Мы возвращались с охоты мимо этой ели. Лада что-то почуяла внутри нее и стала. Мы думали: «Выскочит или вылетит?»

Что-то шарахнулось и убежало. Что это было, так и не дознались.

ЕЛЬ И БЕРЕЗКА

Ель хороша только при сильном солнечном свете: тогда ее обычная чернота просвечивает самой густой, самой сильной зеленью. А березка мила и при солнце, и в самый серый день, и при дождике.

СВЕТОТЕНИ

Береза и осина — самые светолюбивые деревья, и особенно, мне кажется, осина. У нее ведь каждый листик трепещет и со всех сторон купается в свете. Осина светолю-

бывая, а под осиной растут тенелюбивые травы, папоротники, хвощи. Такой густой осинник, что зайцу не проскочить, а тут еще в густоте из-под низу выбилась высокая крапива... И так везде в мире: где свет, там и тень.

ХМЕЛЬ

Высокая ель над омутом до того умершая, что даже длинные бороды зеленых лишайников почернели, сжались, попадали. Эту ель облюбовал хмель, стал по ней подниматься выше и выше, — и что он увидел с высоты, и что случилось в природе, пока он подымался?

ЖИЗНЬ НА РЕМЕШКЕ

Прошлый год, чтобы заметить место на вырубке, мы сломали молодую березку; она повисла почти только на одном узеньком ремешке коры. В нынешнем году я узнал то место, и вот удивление: березка эта висела зеленая, потому что, вероятно, ремешок коры подавал сок висящим сучьям.

ВОЛЧЬЕ ЛЫКО

Как только друг ушел от меня и я оглянулся вокруг себя, внимание мое остановил старый пенёк, весь истыканный пустыми еловыми шишками.

Тут дятел работал над ними всю зиму: вокруг пня толстым слоем лежали эти шишки, он их всю зиму таскал сюда и шелушил.

А из-под низу сквозь этот слой выбилось на свет, на свою вольную волюшку волчье лыко и сейчас расцвело маленькими малиновыми цветочками. Стебелек у этого самого первого весеннего цветка и вправду такой же крепкий, как лыко, и еще крепче: волчье лыко. Без ножа оторвать цветок от земли почти невозможно, и, пожалуй, этого и не надобно делать: цветок волчьего лыка издали пахнет чудесно, как гиацинт, но стоит его поднести к носу поближе, то запахнет так худо, хуже, чем волком. Смотрю на него сейчас и дивлюсь и по нем вспоминаю некоторых знакомых людей: издали очень хороши, а подойдешь поближе — запахнут, как волки.

ПЕНЬ-МУРАВЕЙНИК

Есть старые пни в лесу, все покрытые, как швейцарский сыр, дырочками и сохранившие прочную свою форму... Если, однако, придется сесть на такой пень, то перегородки между дырочками, очевидно, разрушаются, и чувствуешь, что сам на пне немного осел. И когда почувствуешь, что немного осел, то вставай немедленно: из каждой дырочки этого пня под тобой выползет множество муравьев, и ноздреватый пень окажется весь сплошным муравейником, сохранившим обличие пня.

ЗАРАСТАЮЩАЯ ПОЛЯНА

Лесная поляна. Вышел я, стал под березкой... Что делается! Елки, одна к другой, так сильно густели, и вдруг останавливались все у большой поляны. Там, на другой стороне поляны, были тоже ели и тоже остановились, не смея двинуться дальше. И так, кругом всей поляны, стояли густые высокие ели, каждая высылая впереди себя березку. Вся большая поляна была покрыта зелеными бугорками. Это было все наработано когда-то кротами и потом заросло и покрылось мохом. На эти взрытые кротами холмики падало семя и вырастали березки, а под березкой, под ее материнской защитой от мороза и солнца вырастала тенелюбивая елочка. И так, высокие ели, не смея открыто сами выслать своих малышей на полянку, высылали их под покровом березок и под их защитой переходили поляну.

Пройдет сколько-то положенных для дерева лет, и вся поляна зарастет одними елками, а березы-покровительницы зачахнут в тени.

ТРУПЫ ДЕРЕВЬЕВ

Трупы деревьев — это не то, что зловонные трупы животных. Вот береза упала и утонула в раковых шейках и заросла Иван-да-Марьей. Вся береста на ее старой коре от старости завернулась трубочками, и в каждой трубочке непременно живет кто-нибудь.

ЛЕСНАЯ КНИГА

Лесная книга дается только тем, кто хочет читать ее без всякой ощутимой пользы для себя или корысти, даже нужен тебе гриб или орех, и то будет мешать тебе, и не хватит внимания вникнуть в ход лесной жизни.

Лес молодой осиновый, подлесок ореховый, под орехами живет папоротник со сниткой, и третьим сожителем у них хвощ.

Надо учиться ходить в лесу, оглядывая деревья с самого низу и до верху, а то обыкновенно смотришь или вниз, или прямо перед собой, и что делается в верхнем этаже — не видишь.

Травы такой росой обдаются, что им все равно как после дождя, и даже кусты в росе. До какого же лесного этажа хватает роса?

ДЕРЕВЬЯ НА СЛУЖБЕ

Во всех искусственных насаждениях, парках, бульварах деревья не только сами по себе, но и несут службу для человека, для чистоты его воздуха, для человеческого отдыха: тут человеку хорошо дышится, хорошо думается. В лесу же человеку приходится не только наслаждаться деревьями, а и учиться, да, человеку у деревьев учиться.

НА ТЯГЕ

Посвистывая очень удачно рябчика в ожидании вальдшнепа, наметил вспомнить всю флору и фауну лесную, как встречалась она мне в личном моем опыте, выискивая постепенно сюжет, объединяющий всю экологическую многоярусность леса. Чудесно, например, что землеройка, попав в глубокую колею, вынуждена ночью бежать в ней до самой деревни. Она может встретиться и с полевкой, и с лисицей, и сова может броситься, и колесо телеги человеческой может раздавить.

ТЕМНЫЙ ЛЕС

Темный лес хорош в яркий солнечный день, — тут и прохлада, и чудеса световые: райской птицей кажется дрозд или сойка, когда они, пролетая, пересекут солнечный луч; листья простейшей рябины в подлеске вспыхивают зеленым светом, как в сказках Шехерезады.

Чем ниже спускаешься чащей к речке, тем гуще заросли, тем больше прохлада, пока, наконец, в черноте теневой, между завитыми хмелем ольхами, не блеснет вода

бочага и не покажется на берегу его влажный песок. Надо тихо идти: можно увидеть, как гóрлинка тут пьет воду. После на песке можно любоваться отпечатками ее лапок и рядом — всевозможных лесных жителей: вот и лисица прошла...

Оттого лес называется *темным*, что солнце смотрит в него, как в оконце, и не все видит. Так вот нельзя ему увидеть барсучьи норы и возле них хорошо утрамбованную песчаную площадку, где катаются молодые барсуки. Нор тут нарыто множество, и, по-видимому, все из-за лисы, которая поселяется в барсучьих норах и вонью своей, неопрятностью выживает барсука. Но место замечательное, переменить не хочется: песчаный холм, со всех сторон овраги, и все такой чащей заросло, что солнце смотрит и ничего увидеть не может в свое небольшое окошко.

ЗВУКИ МАШИН

Когда ударит оружие на полигоне, нам в лесу кажется, будто где-то тут в ельнике глухарь взлетел. А когда захлопает на шоссе мотоцикл, в лесу — будто где-то рябчики порхают. Но когда по-настоящему гроыхнет глухарь в лесу, уже знаешь: это глухарь. И птицы тоже, как мы, привыкают к звукам машин, и токующий тетерев под грохот заводимого трактора слышит, как подбирается к нему лисичка или подкрадывается охотник.

ЛЕСНОЕ КЛАДБИЩЕ

Выхватили на дрова полосу леса и почему-то не вывезли все, так и остались на вырубке поленицы, местами вовсе исчезнувшие в молодом осиннике с огромными светло-зелеными листьями или в частом ельнике. Кто понимает жизнь леса, нет ничего интересней таких вырубок, потому что лес — это книга за семью печатями, а рубка — страница развернутой книги. После рубки соснового леса солнце сюда ворвалось и выросли оттого гигантские травы, которые не давали прорасть семенам сосны и ели. Маленькие осинки, буйно густые и лопухие, однако, побеждают даже траву и вырастают, несмотря ни на что. Когда осинник заглушит траву, тенелюбивая елка начинает расти в осиннике, обрастает его, и оттого ель обыкновенно сменяет сосну. На этой вырубке, однако, был смешанный лес, но самое главное, что тут были заболо-

ченные моховые пятна, которые оживились и очень повеселели с тех пор, как лес был вырублен.

И вот на этой вырубке теперь можно было прочесть всю жизнь леса, во всем ее разнообразии: тут был и мох со своими голубыми и красными ягодами, красный мох и зеленый, мелкозвездчатый и крупный и редкие пятна белого ягеля, со вкрапленными в него красными брусничинами, ерник... Всюду, возле старых пней, на их черном фоне, ярко светились в солнечных лучах молоденькие сосны, и ели, и березки. Буйная смена жизни вселяла веселые надежды, и черные пни, эти обнаженные могилы прежних высоких деревьев, вовсе не удручали своим видом, как это бывает на человеческих кладбищах.

Дерево умирает по-разному. Вот береза, та гниет изнутри, так что долго принимаешь ствол ее белый за дерево. Между тем там внутри только труха. Эта древесинная губка напитана водой и довольно тяжелая: если такое дерево толкнуть и не оберечься, то верхние куски могут, падая, ушибить и даже убить. Часто видишь, березовый пенек стоит, как букет: одна только береста остается белым воротником, одна она, смолистая, не гниет, а изнутри, на трухе — и цветы, и новые деревца. Ель и сосна после смерти роняют прежде всего кору, она сваливается вниз кусками, как одежда, и лежит грудой под деревом. Потом валится верхушка, сучья и, наконец, разваливается и самый пенек.

Если всматриваться в подробности земного ковра, то руины какого-нибудь пня покажутся не менее живописны, чем руины дворцового и башенного быта. Множество цветов, грибов, папоротников спешат возместить собой распад когда-то великого дерева. Но прежде всего и оно само, тут же возле пня, продолжается маленьким деревцом. Мох, ярко-зеленый, крупнозвездный, с частыми бурными молоточками, спешит укрыть голые коленки, которыми дерево когда-то держалось в земле; на этом мху часто бывают гигантские красные, в тарелку, сыроежки. Светло-зеленые папоротники, красная земляника, брусника, голубая черника обступают развалины. Бывает, нитям ползущей клюквы понадобится зачем-то перебраться через пенек; глядишь, вот и ее кроваво-красные ягоды на тонких нитях с мельчайшими листиками висят, чрезвычайно украшая развалины пня.

ВОДА

НЕРЛЬ



Река Нерль течет по болоту, и хорошо здесь только до тех пор, пока не ожил комар. Ее приток Кубря — веселая, соловьиная река. На одной, крутой, стороне ее — лес, такой же дикий, как на Нерли, на другой — пахотные поля. Нерль обросла ольхой и черемухой, и едешь по ней на лодке, как под зелеными сводами. И соловьев здесь так много, как и в больших усадебных садах черноземного края.

Мы ехали на своей лодочке; впереди нас сетью на небе были сережки, цветы неодетых деревьев: сережки ольхи, желтые цыплятки ранней ивы и еще разные бутоны и крупные, полуоткрытые почки черемухи. Как грациозны и как стыдливы эти веточки неодетых деревьев, кажется, лучше застенчивых девушек!

В неодетом лесу при запоздалой весне все было видно насквозь: видны гнезда разных птиц, видны сами поющие птицы, соловьи с булькающими горлышками, зяблики, певчие дрозды, лесные голуби. И кукушка на виду куковала, и тетерев ходил, токуя, по суку, бормотал.

Хмель местами вовсе обвил ольху и черемуху, и одна зеленая ветвь, пробиваясь из-под хмеля, старого, прошлогоднего, была похожа на Лаокоона, обвитого змеями.

Впереди плавали четыре кряковых селезня. Когда мы приблизились и хотели стрелять из винтовочки, три взлетели, а четвертый оказался подстрелом с перебитым крылом. Мы избавили бескрылую птицу от мучительной жизни, положили на нос лодки и пользовались ею как передним планом при фотографировании речки.

ОТРАЖЕНИЯ

Снимал чудесные последние белые тропинки в лесу («черепок»). Бывает, тропинка обрывается, из-под нее показывается колей, наполненная водой, с отражениями деревьев; бывает, белая прерывается маленьким озером, бывает, и вовсе уходит под воду и оттуда, из глубины, сама виднеется среди огромного отраженного леса. Туда, на ту сторону этого моря, в моих сапогах нельзя перейти, нельзя и подойти к тому большому лесу, но к отражениям я подо-

шел и даже могу их снимать. Больше! Вовсе не прибегая к самолету, не оглушая себя мотором, перед ясной лужицей талой воды я могу стоять и любоваться небольшим облаком подо мной.

НАЧАЛО ВЕСНЫ ВОДЫ

Нельзя сказать, чтобы я удалился так, что не слышно было города; все было слышно: и гудки электровоза, и стукотня всякая, но это было не важно, потому что у леса была своя тишина, очень действенная и увлекающая мое внимание к себе целиком: городского гула я вовсе не слышал.

Я шел, не замечая дождя, но он был. Я впервые догадался о дожде, когда пришел к молодому березняку: он стал чуть-чуть розовым от первой встречи с небесной водой, и большие серые капли висели на ветках, такие большие, почти как вербы.

Дошел до Черного моста, и тут оказалось, что ручей еще глубоко в сугробах, и только лишь кое-где виднеются воронки с водой. Так что сегодня я был свидетелем самого первого начала весны воды.

На обратном пути я этот сегодняшний выход на волю обдумывал как выход к воде: перееду в этом году к реке, куда-нибудь в Кострому. Еще в моих планах было не связывать жизнь свою с каким-нибудь местом: и пусть Москва, пусть Загорск, пусть Кострома — на каждом месте должен быть я сам со своим водоемом, в который вбегают ручьи и реки тех мест.

ДОРОГА

Оледенелая, натруженная, набитая копытами лошадей и полозьями саней, занавоженная дорога уходила прямо в чистое море воды и оттуда, в прозрачности, показывалась вместе с весенними облаками, преображенная и прекрасная.

ОЗЕРКО

Вода или коварная, или ей в большом своем деле не до того: она плеснет на ходу и бежит, а, глядишь, после спада на лугу озерко осталось без всякого стока, и в озерке щука, в чистой мелкой воде большая рыбина среди луга, у всех на виду...

В ДЕБРЯХ ОЛЬХИ

Дебри затопленной ольхи, веточки с сережками у самой воды. Струйки всякого рода, прямые, круговые, задумчивые заводи с отражением веток, с сережками, борьба возле застрявших в развилинах деревьев льдин: тут струйки все собираются на помощь друг другу, и шумят, и уносят белую дорогу уплывающих пузырей.

БОЧАГИ

С двух сторон глубокие омуты, а между ними столько песку нанесло, что на перекате даже и курица перейдет, и так в середине лета останутся одни бочаги, и дообщение между ними тайное и невидимое: кажется, будто вода стоит в бочагах, а положишь палочку на воду — и она поплывет по течению.

РЕЧКИ ЧЕРНЫЕ И ГОЛУБЫЕ

В лесах я люблю речки с черной водой и желтыми цветами на берегах; в полях реки текут голубые и цветы возле них разные.

ПОДСОСЕННАЯ ЗАВОДЬ

Кубря — прозрачная, глубоководная, со своими видными с берега чудесными подводными лесами, со своими широкими заводами — прекрасна, такой прекрасной реки я в жизни своей не видал. Иду тихо по берегу, разглядываю подводные чудеса и плавающих между зелеными растениями рыб. Бывает, эти растения показываются, как зеленый туман, сгрудившийся в облако, и начинаешь думать, что из этой массы, может быть, оформясь, и произошли все подводные дива.

Блюдца лилий и нити, идущие от них в глубину, так грациозны, что представляется, будто возникли они от удара тонкого музыкального пальца по клавишам фортепьяно. С одной переходишь глазами по всей реке, и кажется тогда, что все эти подводные растения с их чудесными рыбками вышли из музыки: песенка отзвучала когда-то, а они все тут остались.

Я переполнен счастьем. мне хочется открыть всем глаза на возможности для человека жить прекрасно, дышать таким солнечно-морозным воздухом, смотреть и слушать

лилии, угадывать их музыку. Но что я могу сделать, если ни Шекспир, ни Данте, ни Пушкин не могли пересилить и приподнять завесу...

Эти лилии мне говорят теперь, что творчество есть расширение Настоящего до Будущего: настоящее становится так широко, что захватывает в себя и все будущее.

ЛЕСНЫЕ ГОСТИ

СЛОЖНАЯ ПРОСТОТА



Надо очень дорожить встречей с животными, делать записи даже и без лирического отклика. Я обыкновенно ищу в себе такого отклика, — он бывает побудительным мотивом к писанию. Но случается, просто запишешь, например, что белка переходила по бревну, запишешь без всякого отношения к себе внутреннему, — и выходит, непонятно почему, тоже хорошо. В этом надо упражняться, потому что это уже не натурализм у меня, а что-то очень сложное в своей простоте.

ПУСТЫРЬ

Может быть, когда-то на этом пустыре сосны стояли и их срубили, и, может быть, после, пользуясь добром, оставленным в песке этими соснами, люди растили хлеба. Теперь следа не осталось тут человеческого: все поросло мохом и вереском, сухими цветами — бессмертниками, из-под ног с треском вылетают кузнечики — трескунки — на красных и голубых крылышках. Заслышав шорох, спрятался в куст черныш, в надежде, что авось мимо пройдет человек, очарованный пустынностью такой никому не нужной земли. Мы бы и прошли, но Лада почуяла и, как неживая, стала против куста... Мы стали по сторонам куста и прекрасную птицу взяли себе на обед.

ЛЕСНОЙ ОМУТ

Серая бабочка, вроде большой моли, свалилась и легла в омут на спину треугольником, и так, живая, была как бы распята своими крылышками на воде. Она непрерывно шевелила ножками, от этого сама шевелилась, и все движение маленькой бабочки по всему омуту расходилось частыми кругами с мелкой волной. Под бабочкой спокойно во

множестве плавали головастики, несмотря на волну, как посуху носились наездники, завертывали свои петли на воде жучки-вертунки, а щуренок у камня в тени стал палочкой, — схватил бы, наверно, бабочку, но, вероятно, там, внизу, не понимал мелкой волны. Под водой, конечно, какая волна!

Но над водой эта мелкая непрерывная волна от бьющейся бабочки в тихом омуте как будто возбуждала всеобщее внимание. Тут и смородина дикая свесила к самой воде свои крупные зеленые еще ягоды, и отцветшая мать-мачеха росой и водой подсвежала свои листья, и зеленый молодой хмель вьюном поднимался выше и выше на высокую сухую, покрытую длинными зелеными бородами ель, и там, внизу за камнями, куда не заходила волна от трепетной бабочки, опрокинулся весь лес с высоких берегов и до самого синего неба.

По-моему, щуренок рано или поздно вышел бы из своего оцепенения, обратил бы внимание на круги по всему бочагу. Но, глядя на бабочку, я вспомнил свою борьбу: тоже не раз приходилось лежать на спине и в отчаянии биться за свободу руками, ногами и всем, что ни попало. Вспомнил время своей неволи, ударил по омуту камнем и такую в омуте поднял волну, что она подняла бабочку, выправила ее и помогла подняться ей на воздух. Так вот своя беда учит понимать и чужую.

ЗВЕРИ

Все бранятся зверем; хуже нет, когда скажут: «Вот настоящий зверь». А между тем у зверей этих хранится бездонный запас нежности. Сколько заложено в природе любви — можно видеть, когда дети зверей разлучаются с родной матерью и на место родной становится чужая.

Маленького слепого лисенка вынули из норы, дали воспитывать молочной кошке, и она вслепую любила его, и он ласкался к ней, как к родной матери.

Окотилась кошка, котят забросили, другая вскоре окотилась в том же лукошке, ей оставили одного. Тогда обе кошки стали кормить одного котенка: родная уйдет, лезет в лукошко чужая, как будто в молоке ее заключается повелительная сила, которая все чужое роднит. И не только волк, даже тигр будет с величайшей нежностью заглядывать в глаза, если человек выходит его и с малых лет станет ему вместо матери.

А у собак перед всеми зверьми особенная любовь к человеку. Характер этой любви такой же, как любовь слепцов к молочной матери. Собака, выхваченная из дикой жизни, сохранила, вероятно, чувство утраты всей матери-природы и на веру отдалась человеку, как матери. По собаке заметнее всего, какая возможность любви заложена в звере и вообще в дикой природе.

ОТРАЖЕНИЕ

Вода сегодня такая тихая, что кулик над водой и его отражение в воде были совершенно одинаковые: казалось, летели нам навстречу два кулика. Весной в первую прогулку Ладе разрешается гоняться за птичками. Она заметила двух летящих куликов, — они летели прямо на нее, скрытую от них кустиком. Лада наметилась. Какого кулика она избрала себе, настоящего, летящего над водой, или его отражение в воде? Оба были похожи между собой, как две капли воды.

Ладино дело, погоню за летящими куликами, я перевел на свое: погоню за своей какой-то птицей в моем словесном искусстве. Разве все мое дело не в том состоит, чтобы убежечься от погони за призраком?

Вот бедная Лада выбрала себе отражение и, наверно, думая, что сейчас поймает живого кулика, сделала мгновенно с высокого берега скачок и бухнула в воду.

ВОРОНЫ

Пробуя ружье, ранил ворону, — она отлетела немного и села на дерево. Другие вороны покружились над нею и улетели, но одна спустилась и села с ней рядом. Я подошел так близко, что всякая ворона непременно бы улетела. Но эта остается сидеть. Как бы теперь узнать, что это было: присела ворона к раненой по чувству связи с ней, как у нас, у людей, говорят: по дружбе или симпатии? Быть может, эта раненая ворона была дочерью и, как обыкновенно, мать прилетела к ребенку своему для защиты, как у Тургенева описана тетеревиха-матка: раненая, вся в крови прибежала на манок. Так постоянно бывает в куриной породе.

Но при мысли о хищной вороне является и такая неприятная мысль: вторая-то ворона, присевшая к раненой, быть может, чуяла кровь и, опьяненная мечтой о возможности близкого кровавого пира, села потеснее к обре-

ченной на смерть вороне и уже по возникшему чувству собственности не хотела оставить ее в минуту опасности.

Но если в первом случае есть опасность антропоморфизма, перенесения на ворону человеческого чувства, то в этом последнем случае есть опасность вороно-морфизма, то есть, что если ворона, то уж непременно хищница.

БЕЛИЧЬЯ ПАМЯТЬ

Думаю о белках: понятно, если большой запас, ты помнишь о нем легко, но мы видим сейчас по следам, что вот здесь белка через снег пробилась в мох, достала спрятанные там с осени два ореха, тут же их съела, потом, отбежав десяток метров, опять нырнула, опять оставила в снегу скорлупу от двух-трех орехов и через несколько метров сделала третью полазку. Нельзя же предположить, что она чужая орех через талый слой снега и обмерзлого льда. Значит, помнила с осени о двух орехах во мху в стольких-то сантиметрах от ели... Притом, помня, она могла не отмеривать сантиметры, а прямо на глаз с точностью определять: нырнула и доставала.

ЗЕМЛЕРОЙКА

Вдруг на моих глазах плотно убитая дождями и снегом листва на земле вздыбилась, отдельные листики стали на ребро, потом в другом месте послышался писк и показался хоботок и потом все животное величиной с наперсток — землеройка.

В новой траншее, прорытой нами вчера, оказалась землеройка. Это самое маленькое позвоночное, над которым все мы ходим в лесу, и может быть даже так, что под каждым шагом нашим в земле живет один или два зверька. Мехом своим землеройка напоминает крота: мех короткий, ровный, плотный, с синеватым отливом. На мышь совсем не похожа: рыльце хоботком, страшно живая, прыгает высоко в банке, дали червя — сразу съела. Петя стал рыть новую траншею, и когда показывался червяк, клал его землеройке в эмалированную кружку в 12 см высотой.

Было задумано испытать, сколько она может подряд съесть червей. После того на этой же землеройке мы хотели испытать, что она вообще может съесть: давали ей все. В заключение мы решили испробовать, правда ли, что

солнечный прямой луч, как рассказывают, землеройку убивает. Так, убив подземное существо солнечным лучом, мы рассчитывали взвесить ее, смерить, как надо, исследовать внутренности, положить потом в муравейник и так очистить скелет. Да мало ли чего мы хотели? Еще хотели достать крота и посадить их вместе.

Но все наши замыслы так и остались неосуществленными: землеройка выпрыгнула через 12 см высоты на землю, а земля ей, как рыбе вода, и мгновенно исчезла.

Появление на свет этого необычайного зверька и его мгновенное исчезновение долго не отпускало мысль мою на свободу и все держало ее под землей, куда погружены корни деревьев.

ГУСЬ НА СОЛНЦЕ

Вернулось солнце. Гусь запускал свою длинную шею в ведро, доставал себе воду клювом, поплескивал водой на себя, почесывал что-то под каждым пером, шевелил подвижным, как на пружинке, хвостом. А когда все вымыл, все вычистил, то поднял вверх к солнцу высоко свой серебряный, мокро-сверкающий клюв и загоготал.

УТКА

Утка гуляет ночью, а перед зарей, до мороза, спешит к гнезду; если нужно уйти, то прикрывает чем-нибудь яйца. Когда найдешь неприкрытые, значит — она спугнута, и не успела.

ТЕТЕРЕВА НА ТОКУ

Тетерева на току вызывают на бой, воинственно перекликаются, и тетерки на заре со всех сторон бегут к току. Если испугаешь тетерку и она взлетит, то и самец взлетает, но, я думаю, не потому, что ему тетерка нужна, а хлопанье ее крыльев — для него сигнал опасности.

ЛЕСНЫЕ ЖИЛИЩА

Мы нашли осинку со старым дятловым гнездом, которое сейчас облюбовала пара скворцов. Еще видели одно старое квадратное дупло, очевидно *желны*, и узенькую длинную щелку на осине, из которой выскочила гаечка.

Нашли на елях два гайна, темные клубки прутьев, в которых снизу ничего не разглядишь. Оба гайна помещались на елках средней высоты, так что во всем большом лесе белки занимали средний этаж. Нам удалось также застать белку внизу и загнать ее невысоко на дерево. Белка была еще во всем зимнем меху.

Сарычи вились над вершинами деревьев, очевидно, тоже у гнезда. Караульный ворон чуть ли не за полкилометра от своего гнезда с криком совершал свой облет.

С необычайной быстротой промчалась тетерка и удачно сбила полет преследующего ее ястреба. Промажнувшись, он разочарованно уселся на сук дерева. У него была белая голова: по-видимому, это был кречет или сокол.

Дупла дятлов приходится искать точно так же, как и грибы: все время напряженно смотришь перед собой по сторонам, куда только хватает зрения, и все вниз и вниз, хотя дупла дятлов, конечно, вверх. Это оттого, что именно вот в это время дятлы начинают долбить себе гнезда и роняют светлую посорку на еще темную, не покрытую зеленью землю. По этим посоркам и узнаешь, какое дерево избрал себе дятел. По-видимому, ему не так-то легко выбрать себе подходящее дерево: постоянно видишь вблизи дупла, отработанного дятлом, брошенные наклевиши на этом дереве или на соседних. Замечательно, что огромное большинство найденных нами дупел располагалось непременно под осиновым грибком. Делается это, чтобы предохранить гнезда от дождя или гриб показывает дятлу выгодное ему, мягкое для долбления место, — мы пока решить не могли.

Интересно было дупло у верхушки небольшой распадающейся от гниения березы. Высота ее — метра четыре, одно дупло было у самого верха, другое делалось немного пониже, под грибком. Рядом с этим стволом дерева валялась его верхняя часть, трухлявая, насыщенная, как губка, водой. И самый ствол с дуплом плохо держался, — стоило чуть качнуть его, и он бы свалился. Но, может быть, долбежка была не для гнезда.

БЕРЕСТЯНАЯ ТРУБОЧКА

Я нашел удивительную берестяную трубочку. Весной, когда береста влажная, человек вырежет кусок ее для себя, тогда остальная береста по кругу начинает свертываться

в трубочку. После, вместе с теплом, береста сохнет и все туже и туже закругляется. На следующую весну висят уже на березах трубочки, и так их бывает много, что не обращаешь внимания.

Но сегодня, выискивая дупло, я захотел посмотреть, нет ли чего в такой трубочке. В первой же трубочке я нашел хороший орех, так плотно прихваченный, что с трудом палочкой удалось его вытолкнуть. Вокруг берез не было орешников, и в трубочку орех не мог попасть «сам». По всей вероятности, это его белка спрятала, наверное, понимая, что трубка будет закрываться все крепче и орех не выпадет. Но мало ореха: снизу в трубочке под прикрытием ореха устроился паучишко и всю внутренность ее наполнил паутиной. После мне пришли догадки, что не белка воткнула орех, а ореховка, может быть, выкравшая его из гнезда белки.

ПОСРАМЛЕНИЕ ВОРА

Бьюшка, пока мы разводили машину, занялась двумя костями. Одна сорока, жертвуя собой, подскочила к носу собаки. Другая, когда Бьюшка кинулась на сороку, схватила кость и унесла. Всего было семь сорок, и после первой удачи они повели атаку на вторую кость, но теперь Бьюшка поняла их политику и грызла кость, как будто не обращая на сорок никакого внимания.

Но это состояние вооруженного мира длилось лишь до поры до времени. Одна сорока до того обнаглела, что забыла о сорочьей организации и на свой страх и риск подошла к морде Бьюшки. Она хотела обратить внимание на себя и в это мгновение выхватить кость.

Бьюшка, однако, замысел этот хорошо поняла и не только не бросилась на сороку, напротив, заметив ее косым глазом, освободила кость и на мгновение отвернула морду в сторону. Это самое мгновение сорока и улучила для нападения: она схватила кость и даже успела повернуться в противоположную сторону, успела ударить крыльями по земле так, что пыль полетела. И только бы, только бы еще одно мгновение, чтобы в воздух подняться, как вдруг Бьюшка схватила ее. Кость выпала.

Сорока рванулась и вырвалась, но весь радужный длинный узкий сорочий хвост остался у Бьюшки в зубах и торчал из пасти собаки длинным кинжалом.

Видел ли кто-нибудь сороку без хвоста? Знает ли,

в какую смешную и невозможно жалкую птицу превращается эта блестящая воровка куриных и всяких яиц? Бесхвостая сорока села на ближайшее дерево, все другие прилетели к ней. И было видно по всему стрекотанию, по суете, что нет в сорочьем быту большей беды, большего срама, как лишиться сороке хвоста.

НА СВИСТОК

На свисток, кроме рябчика, прилетела та самая ореховка, которая сидела на четырех яйцах и теперь вывела птенцов, безобразных, с огромными ртами. Для них надо много собирать пищи, вот она и юлит. Прилетели две местные гаечки, дупла которых мы никак не можем найти: придется как-нибудь проследить за ними. С большой высоты (просто удивительно, как он мог расслышать такой слабый звук) спустился ястреб-тетеревятник, парил на месте, разглядывая рябчика, и вдруг, заметив меня, бросился как угорелый.

Это были местные жители — ведь в большом, неизвестном лесу почти каждое существо живет на определенном клочке, и среди них только очень немногие мигрируют (если не считать сезонных перелетов).

САРЫЧ

Сарыч еще дремал на суке в полдерева. Бесшумно я подкатил к нему на велосипеде и стал для отдыха в ту самую позу, которую велосипедист принимает, беседуя с возлюбленной: она что-нибудь делает. Пусть полет огурцы, а он, опираясь — как «гусар на саблю» — на раму велосипеда, сверху ей улыбается. Сарыч, однако, учуял меня, перевернулся весь ко мне, опознал человека, опять перевернулся в прежнее положение и, улета, развернул свои огромные крылья.

ТРИ НОРЫ

Сегодня возле барсучьей норы вспомнил три норы на Желтой круче в Кабардино-Балкарии. Там, разобрав следы на песке, прочитал я большую историю сожительства барсука, лисицы и дикого кота.

Нору выкопал барсук для себя, но в эту нору подвалили к нему в сожительство лисица и кот. Неопрятная лисица

своей вонью скоро выжила барсука и кота. Барсук тогда выкопал себе нору повыше и поселился в ней вместе с котом, а вонючка лисица осталась в старой норе.

ЩУКА

В нашей ставной сети щука остановилась и так запуталась, что стояла неподвижная, как сук. И лягушка села на нее и так присосалась, что мы долго не могли ее оторвать от щуки даже палкой.

Так вот щука, на что уж подвижной, сильный, страшный хищник, и то — вот стоило ей только остановиться — и сейчас же лягушка насела. Оттого, вероятно, хищники в своих злодействах никогда не останавливаются.

КРОТ

Крот выкопал себе нору и отдал земле свои глаза, и вывернул себе лапы, чтобы удобней было копать, и стал жить по законам земли на всех правах подземного жителя. Но подкралась вода и залила кротовую родину. Для чего это нужно ей было, по какому закону и праву она подобралась к мирному жителю и выгнала его на свет?

Крот сделал перемычку, но под давлением воды перемычка распалась, он сделал вторую, потом третью; четвертую сделать не успел, вода хлынула, и он с большим трудом должен был выбраться, темный, слепой, в подсолнечный мир. Он плыл по широкой воде и не думал, конечно, и не мог допустить себе в голову какой-нибудь протест и крикнуть воде: «Ужо тебе», — крикнуть, как Евгений Медному Всаднику. Крот плыл в ужасе, но без протеста; это не он, а я за него, я, человек, сын похитителя огня, стал против коварной силы воды.

Это я, человек, взялся строить плотину против воды. И сошлось нас тут много, и вышла наша плотина великая, на славу.

А крот мой переменял хозяина и стал зависеть не от воды, а от человека.

СЛЕД БАРСУКА

На траве, седой от росы, был большой след, который я принимал за след человека. Мне до того хотелось быть одному на охоте, что след другого человека меня испугал,

как Робинзона. Но мало-помалу я догадался: это не человек, а барсук возвращался рано утром в нору из ночных своих походов.

ПТИЦЫ

Молодой сарыч, огромно-нелепый и вялый, вылетел из чащи на поляну и неумело сел на самый нижний сук дерева.

Рябчики выпорхнули и расселись по елкам и березкам, маленькие — в воробья, а уже отлично летают, и сторожкие, совсем как большие. Мать близко сидит на березе, очень сдержанно и глухо дает им знать о себе, и когда издает звук, хвостик у нее покачивается.

КОРМЛЕНИЕ

Почти каждая птица появляется с червем в носу и, несмотря на это, пищит.

Сарыч, когда низко летит над лесом, иногда в это время почему-то кряхтит, не свистит, как обыкновенно, а именно кряхтит: этот звук у него, наверно, связан с кормлением детей.

Сегодня наблюдал, как гаечка, не выпуская червяка, присела на сучок отдохнуть и почесала в одно мгновение о сучок попеременно обе щеки.

ЗАКАТ

Весь день было перемененно: то моросило, то прояснялось. В лесу, когда прояснялось, вспоминалась своя прежняя боль и как эту боль отпускало: лес теперь, казалось мне, был болен той же болезнью. Вдруг сорока крикнула совсем по-другому, похоже было на галку, и через этот крик впервые я понял родство между этими столь разными птицами. Дятел, как будто не веря перемене погоды, не стучал по стволу, как дятел, а как маленький ползунок, опрокинувшись, бегал по стволу и ронял вниз посорки. Как только погода утвердилось, дятел принялся за свою работу.

Закат солнца был невидим, но после долго в облаках горело и светило в промежутках черных стволов.

НА ПЕСКЕ

Жарко и сухо. На Крючикове стоит береза, и под ней осыпается песок вниз в овраг. Корни из года в год обнажаются, и береза скоро вся упадет. Но много ли места нужно, чтобы птичке порадоваться! На песке возле корней та самая трясогузка, в образе которой еще в древнем Египте художники представляли душу человеческую. И вот сейчас прилетел к трясогузке самец, распустил крылышки, надулся и петушком медленно, чиркая концами крыльев по песку, сделал круг полный и потоптал свою самочку.

ВОРОНА И КРЫСА

Видел по пути множество уток и пролетающих гусей. Еще видел, как пять ворон пытались схватить водяную крысу и та им все не давалась, и наконец одна ворона ухватила крысу за хвост и благополучно бы завладела ею, но другие вороны набросились, она растерялась, выронила крысу, и началась та же борьба.

Выслушав этот рассказ, наш егерь рассказал о таком же случае борьбы вороны с горностаем и как горностаей впился в нее: ворона едва стряхнула, и поспешила на дерево, и все оттуда с опаской смотрела в сторону, где был горностаей.

ВАЛЬДШНЕПЫ

Над муравейником на елке так странно тикала какая-то птица, и я по этому звуку, слышанному мной, но забытому, никак не мог догадаться, какая она. Трудно было и разглядеть в густоте, пришлось тихо стоять и ждать событий.

Но комары кусали, я взял ветку рябины, и как только махнул, рядом в осиннике, очень частом, всполыхнулась, застряла в кроне дерева и едва выбилась какая-то птица.

Тогда я почему-то сразу догадался и вспомнил звук, издаваемый птицей-матерью на елке: это была семья вальдшнепов. Слышал и читал о том, что самка вальдшнепа при опасности подхватывает птенца и летит с ним. Сам не видал.

ПОД СНЕГОМ

Удалось слышать, как мышь под снегом грызла корешок.

ДЯТЕЛ

Видел дятла: летел короткий (хвостик у него ведь маленький), насадив себе на клюв большую еловую шишку. Он сел на березу, где у него была мастерская для шелушения шишек. Пробежав вверх по стволу с шишкой на клюве до знакомого места, он увидел, что в развилине, где у него защемляются шишки, торчала отработанная и несброшенная шишка, и новую шишку ему некуда было девать. И нельзя было ему, нечем было сбросить старую: клюв был занят.

Тогда дятел, совсем как сделал бы в его положении человек, новую шишку зажал между грудью своей и деревом, а освобожденным клювом быстро выбросил старую шишку, потом новую поместил в свою мастерскую и заработал.

Такой он умный, всегда бодрый, оживленный и деловой.

ПОСЛЕДНИЕ ЦВЕТЫ

Опять морозная ночь. Утром на поле увидел группу уцелевших голубых колокольчиков, — на одном из них сидел шмель. Я сорвал колокольчик, шмель не слетел, стряхнул шмеля, он упал. Я положил его под горячий луч, он ожил, оправился и полетел. А на раковой шейке точно так же за ночь оцепенела красная стрекоза и на моих глазах оправилась под горячим лучом и полетела. И кузнечики в огромном числе стали сыпаться из-под ног, а среди них были трескунки, взлетающие с треском вверх, голубые и ярко-красные.

СИЛАЧ

Земля, разрыхленная муравьиной работой, сверху покрылась брусникой, а под ягодой зародился гриб и, мало-помалу напирая своей упругой шляпкой, поднял вверх над собой целый свод с брусникой, и сам, совершенно белый, показался на свет.

БАРСУКИ

Поехал зимой около Рождества на пойму за сеном, шевельнул вилами стог, а в нем барсук зимовал.

А то еще было: ребятишки собрались бить барсуков. Пустили в нору собаку. Барсучиха выбежала. Увидели

ребятишки, что барсучиха тихо бегают, что можно догнать, не стали стрелять и бросились за ней. Догнали. Что делать? Ружья побросали у нор, палок в руках нет, голыми руками взять боязно. А между тем барсучиха нашла себе новый ход под землю и скрылась. Собака вытащила гнездо и барсучонка: порядочный, с хорошего щенка.

НОЧЕВКИ ЗАЙЦА

Со мной шел маленький Миша по заячьему следу. Вчера моя собака пригнала этого зайца сюда, к самому городу, из далекого леса. Интересно было узнать, вернулся ли заяц на старое место в лес, либо на некоторое время остался жить здесь около людей в парке или хорошо заросшем овраге.

Обошли... Если он возвратился, то по третьему следу. Нашли третий. Я сказал: «По тому следу он возвратился к себе в старый лес». След был свеженький. Мише и представилось, что заяц только что прошел. «Где же он ночевал?» — спросил Миша.

На мгновение вопрос этот сбил меня с толку, но я опомнился и ответил: «Это мы ночуем, а заяц ночью живет: ночью он прошел здесь, а дnevать ушел в лес, и там теперь он лежит, отдыхает. Это мы ночуем, а зайцы днюют, и им днем гораздо страшнее, чем нам ночью».

ЗАПОЗДАЛАЯ КРЯКВА

В крутых берегах, в густом ольшанике, речка сужалась до того, что ее можно было перескочить. Тут и от лесного тепла, и от силы течения вода не замерзала, и тут задержалась и коротала последние деньки перед зимой запоздалая кряква. Не видя ее в густом ольшанике, мы слышали только шум взлета, крик, и выстрелить удалось, только когда она была высоко над ольхой. Одна из дробинок попала ей в крыло, которое сломалось, кряква полетела вниз головой, как бутылка.

Подстреленная в крыло кряква ищет обыкновенно спасенья в воде, ныряет и затаивается в корнях, высунув только свой темный незаметный носик. Случается, охотник из сил выбьется: вот же тут упала, сам видел, своими глазами, а найти никак не может.

То место, куда летела наша подбитая кряква, было как раз поворотное: речка отсюда поворачивает, расширяясь на

плёсе, как пруд, и тут она на спокойном открытом месте замерзла, сохранив на поверхности вид совершенно прозрачной воды.

Падая на эту поверхность вниз головой, криквя собралась было нырнуть и вдруг ударилась. Лед не проломился от удара. Ошеломленная криквя поднялась и пошла на своих красных лапках. Бьюшка, увидев, бросилась за ней, но провалилась, вернулась, подумала и опять, растопыря лапы, раскорякой медленно пошла, пошла и добрала...

СОРОКА

Мы дожидались возвращения гончей и глядели на дальнюю опушку леса через поле, где долго гоняли лисицу. Лисица давно уже понорилась, а Трубач не возвращался. Вглядываясь в опушку леса, мы увидали в бинокль, что на одном дереве сидела сорока с опущенным хвостом. Тогда мы догадались, что она глядела куда-то вниз и что-то переждала.

Подумали немного, и все стало ясно: там лежала внизу пададь, и, вероятно, кто-то над ней хозяйствовал, а сорока дожидалась, когда этот «кто-то» уйдет. Мы пошли туда, и, оказалось, правда: наш Трубач терзал дохлого барана.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА

Тот ум, которым все живут в природе, перенимая его от предков: иные прямо в утробе матери, чтобы, выйдя на свет, прямо же встать на четыре ноги, протянуть губы к сосцам, иные наживают его в гнезде, чтобы потом без всякого ученья броситься вниз и полететь, — этот всеобщий и как бы задний ум всей природы встретился с умом передним, человеческим, в котором зарождаются всякие планы, и вот началась кутерьма у зверей: все мечутся в поисках своего прежнего логова, лежки, домика...

ПАУКИ

Дожди замучили. Мало обещает и нынешний вечер: солнце село в плотную синюю завесу. Долго я дожидался в надежде, что хоть под самый конец выглянет солнце и я усну с надеждой на долгожданное росистое утро, когда можно фотографировать орошенные сети пауков. Нет! Синяя завеса разорвалась, только уж когда солнце село,

и тогда на синее вышла красная птица, а в другом месте сидел на коне красный человек.

Ночевал я вместе с хозяйским сыном Сережей в сенном сарае, у самой вырубки, на которой я наблюдаю жизнь лесных ткачей — тенетных пауков, с крестом на своем бочонке. Сверкала отдаленная молния, и через щелки сарая, сквозь мои закрытые веки, этот свет молнии начинал в моей голове неленые повести. Так, между прочим, снилось мне, будто люди додумались использовать для чего-то паутину и, чтобы в ночное время заставить пауков работать, осветили леса прожекторами. Рано утром, до восхода, пришла к сараю мать Сережи Домна Ивановна и стала его будить:

— Молотить пора, вставай, Сережа!

— Работают ли пауки? — спросил я.

Хозяйка моя уже приучена и заинтересована моими наблюдениями. Через короткое время она отвечает:

— Плохо.

— Ну, плохо же, — говорю я, — верно, быть дождю, а ведь гумно-то у вас некрытое.

— Ничего не подделаешь, — ответила Домна Ивановна, — старой муки и на колобок не осталось, помолотим, сколько успеем, а там будет видно.

Сережа встал и пошел молотить.

Выйдя из сарая, я увидел в небе борьбу света с темными облаками, и впечатление оставалось такое, что солнце победит. А роса была уже сильная. Утро определилось серым, роса же обильная, так обыкновенно не бывает.

Я обрадовался росисто-серому утру и пошел снимать работу пауков в надежде, что солнце не будет мешать мне ореолами и при плохой погоде снимки с выдержкой выйдут у меня лучше моментальных солнечных. Когда же я пришел на вчерашнее место, то не только новых сетей, но не пашел и старых. Предполагаю, что сети за сутки просто истрепались, изодрала мошकारа. По всей вероятности, пауки делают сети в предраассветный час. Но как раз ночью сегодня сверкала молния, и можно было ожидать ненастья.

И они не работали.

Впрочем, не было того, чтобы они совсем не работали: там и тут, в особенности на земле, виднелись сети, но это была ничтожная часть в сравнении с тем, что бывает в светозарное утро. Поглядев на эти сети немногих пауков,

я подумал: значит, и пауки неодинаковы, есть поумней и поглупей.

После часовой борьбы за свет с тучами солнце наконец осилило.

Быть может, пауки и начали бы работу, но очень сильная была роса. Нет! Скорей всего еще в предрассветный час пауки уже предчувствовали ненастье.

У птиц тоже не было обычного оживления. Тетерева совершенно молчали. Вот это уж не обманывало. Журавли молчали на пойме. Ястреба — и то не так часто попадались, как обыкновенно. Потом стало чрезвычайно тихо, душно и раздумчиво, как бывает перед грозой. События в атмосфере нарастали с такой быстротой, что не только домой бежать, но успеть бы только найти для защиты от ливня хорошую ель.

И только я устроился, как грянула гроза и ливень. Но я такую нашел ель, что, будь целый день ливень, на меня бы и не капнуло. Как люблю я сидеть при сильном дожде под елкой и думать. Зверушки, птицы в это время точно так же сидят. Да, думать... Но самое замечательное, что можно и не думать, и еще больше, дойдешь до такого счастья, что скажешь себе: «Не думай, сиди так, пахнет хорошо, и слушай!» И вот сидишь и ничего совершенно не думаешь: только слышишь и чуешь. Так, вероятно, и зверушки сидят.

Дождь оказался бесконечным, я вылез из-под елки и пошел себе под дождем домой. В деревне был переполох, решительно все обманулись погодой и теперь с ругательством мокрые возвращались с работы. Увидев свою хозяйку, я сказал: «Вот видите, Домна Ивановна, пауки, оказывается, лучше нас понимают: только редкий вышел на работу из пауков, а у нас все обманулись». — «А как же?» — ответила Домна Ивановна и впилась в меня своими глазами, маленькими, как муравьиные головки.

В деревне вечером очень пахло овинами. Оранжевая заря задержалась, и на ней долго оставались силуэты избышек, овинов, лозин. Под самый конец на луга пробрался белый, низкий, плотный туман, и потом началась сильно звездная ночь.

Тот укрядчивый туман, что вчера выполз на луга, перед восходом солнца встал, и когда солнце взошло, быстро свернулся белой радугой и разошелся. Пала самая сильная

матовая роса. Затоковали тетерева. На пойме закричали журавли. Паутины так много, что собака приходит слепая. На лугах все цветочки связаны паутиной и непременно висит паучья ловчая сеть, в росе похожая на кружево. Особенно красивы эти зарощенные сети на фоне темных елок. Я начал снимать не только самые сети, но также и способ их прикрепления. Тончайший жемчуг росы на паутинках часто сиял на солнце радугой, и главное, что все эти удивительно красивые сложные сооружения, казалось, сами возникли из росы и солнца, как в сказке, и так получалось все, что, воистину, ни в сказке сказать, ни пером описать.

Вечером курятся овины и пахнет дымком почему-то особенно сильно, когда молодой месяц уходит за черный бор. Утром на восходе роса заливает травы и пахнет сладко хлебом из каждой избы. Колхозники дождались нови.

Серпик луны, довольно уже толстенький, несколько задержался над черным бором. Ночь была прохладная, звездная. Солнце же взошло не совсем чисто. Я пробовал снять его с лучами, стремящимися вверх из-за облака.

Обильная роса сразу обозначила все ловушки пауков: и воздушные и наземные. Сегодня я разобрал, что наземные ловушки тоже не так просты, как кажутся, что обыкновенно они представляют из себя маленькие шатры, вершина которых прицеплена к соломинке или цветку.

Разглядывая первую воздушную ловушку, я добрался до телефонной станции; ловушка была устроена на ветке ивы, засохшей, потому что заяц обглодал ее кору; телефонная же станция заключалась в скорченном засохшем листике, окруженном паутиной, вероятно, чтобы не развевался. Сам хозяин сидел внутри и не выходил даже на мои колебания сигнальной паутины, вероятно, боялся росы, которая вообще не дает ходу паукам.

Еще я видел такое же устройство на березе, подрезанной и засохшей, и делаю предположение, что пауки любят устраиваться на засохших растениях: чем-то удобней на них, может быть, и улов больше.

В селках жилище паука бывает под лапкой, часто перетянутой паутиной, чтобы хвоинки не пропускали дождя. Точно так же устроено и в можжевельниках. До чего тяжела становится паутина с росой, что ветки можжевельника сгибаются аркой, а цветочки, притянутые пауками к строительству, иногда сгибаются до самой земли.

Иные пауки вышли, чтобы хватать добычу, иные строили сети, иные чинили поврежденные. Я выбрал себе одного средней величины. Его ловушка была между маленькой елкой и сосенкой. На другой стороне этой же елки, совсем по соседству, работал другой хозяин. У меня есть догадка, что пауки делают свои сети в предрассветный час, до росы. Мой же паук по какой-то причине не успел закончить свою сеть до росы и теперь продолжал. Роса, впрочем, еще не совсем сошла, так что я мог и наблюдать его работу, и фотографировать.

В заутренний час были построены пауком все радиусы круга, и на них у концов обведено уже несколько кругов. Мне показалось, что радиусы сделаны из более тонкого материала, чем круги, но, возможно, это обманывала роса, сохранившаяся на кругах. За бóльшую тонкость лучей-радиусов говорит еще то, что паутинный круг, покрытый росой, в центре своем кажется пустым, хотя, если присмотреться ближе, частые радиусы вовсе не обрываются, а сходятся в точку. В лупу я следил за работой на самом близком расстоянии. Почему-то паук не боялся меня и вообще относился ко мне приблизительно так же, как я к солнцу, которое тоже смотрело на мою работу, но не мешало. Собственно рабочих инструментов, как мне показалось, у паука было два — одной лапкой он притягивал ту паутину, к которой должна быть приставлена новая, другой подхватывал выпускаемую паутину и притягивал: тюк, и готово; и опять притягивается место прикрепления, и опять: тюк! — волшебным грациозным броском, и вот радужным светом сверкает на солнце новая созданная часть ловушки. Иногда легкое дуновение ветерка колебало сеть, и паук не совсем точно на желаемом месте скреплял концы; иногда мельчайшее насекомое, пролетая, задевало, да и мало ли что еще: вероятно, и я тоже чуть-чуть колебал нити своим дыханием.

От всего этого работа получалась не совсем машинная, а как бы ручная, и как все делается в природе: ведь ни один листик на дереве не сложится точно с другим.

Я хотел фотографировать паука на самом близком расстоянии, допускаемом линзой, всего в восьми сантиметрах, но при этом чуть-чуть, вероятно, задел сеть. Паук мгновенно бросил работу и быстро убежал на свою телефонную станцию. Почему же он не принял моего толчка за те колебания, которые происходят, когда попадет в сеть насекомое? Вероятно, он это понимает.

С другой стороны той же елки работал другой хозяин поменьше, но не строил вновь, а только чинил свою сеть. Что это близкое соседство двух пауков — случайное? Они сошлись тут потому, что по всем расчетам это самое удобное место для лова? Или, может быть, малый паук — самец?

Невольно я поддался не научному наблюдению, а, так сказать, *дачному* антропоморфизму и анимизму, которые приносят такой ужасный вред нашему пониманию мира как органического целого: довольно одному такому «дачнику», представляющему собой радиовещательную станцию, создать легенду, как миллионы приемников на сотни лет повторяют нелепую выдумку.

К легенде присоединяется какой-нибудь миф, и вот осел, возможно умнейшее животное, навсегда *осел*. Может быть, только через тысячелетия козел освободится от черта и осел от «осла», и за все эти тысячелетия каждый отдельный, скажем, *личный*, козел ведь непременно же должен из-за черта и осел из-за какого-то «осла» быть в жизни своего рода лишенцем.

А паук? Все соединяют с образом его кровопийцу, пузатого кулака. Содрогаются от одного только вида: пузатый и с такими длинными лапами. Возможно, далекие наши азиатские предки-кочевники гибли от скорпионов, и страх перешел на этих мирных артистов труда, охотников, влекущих за собой целый шар материалов для постройки своих ловушек.

Почему ласточки, уничтожающие тысячами драгоценных нам пчел, пользуются общей симпатией? Потому ли, что они красивы? Какой вздор! Если всмотреться, то паук, работающий в росе и солнце, в тысячу раз красивей и умней ласточки, но дело в том, что всмотреться трудно!

Я не мог фотографировать против солнца и вместо этого с часами в руках следил за работой починки, прикидывая, во сколько времени паук может сделать сеть в четверть аршина диаметром. У меня получалось, что на это понадобится ему час-два: очень скоро работает.

Вернувшись к наблюдению за первым пауком, я увидел там, в центре ловушки, что-то большое и большую возню. Это попалась большая серая муха с зеленой головой, та «дурная муха», от укуса которой сильно вздувается кожа. Паук с невероятным проворством опутывал ее паутиной и, сделав из нее совершенно неподвижную мумию, схватил ее

ловко и быстро унес к себе на телефонную станцию под лапку ели.

Минут через пятнадцать, не более, он выпил из дурной мухи жизнь и вернулся заделывать дыры в сети, причиненные борьбой с большой мухой. Работа его была ритмически мерная. Я и снимал и любовался, вдумываясь и разрушая вековую неправду о пауках, сознавая радостно, что мне воистину за это прощается сорок моих грехов.

Между прочим, по соседству со мной работал тоже полезнейший дятел, доктор деревьев. Время от времени я обращал внимание на его долбню и удивлялся, какая же, значит, у него здоровенная шея, если может давать столь сильный толчок длинному клюву. Желна — эта черная птица с огненной головой — где-то неподвижно жалобно пищала. Ныл канюк. Драла горло сойка. Время от времени давали свои сигналы на пойме многочисленные журавли.

Солнце взошло чистое. Роса. Жаркий день. Муха и комар во всей силе, и это мне приходится замечать впервые, чтобы после Ильина дня гнус не уменьшался. На осине в десять утра застал глухаря. Вероятно, он с вечера клевал лист, заночевал, клевал поутру и задержался.

Сегодня наблюдал жизнь паука просто в сухом листе, который держался в воздухе на паутине; сигнальная паутина отсюда шла к ловушке, которая была под тяжестью росы так тяжела, что ветка можжевельника согнулась аркой.

Еще я видел гнездо пауچه в живом еще, но скорченном листе, на обратной стороне которого были вздутия величинной в брусничину, — в них, наверно, и были заделаны яички.

Еще очень красива была сухая береза, вся сплошь покрытая сетями пауков-охотников. Я пробовал это снимать, но солнце давало ореол, а отклониться нельзя было из-за того, что сетки пауков становились неосвещенными.

Еще видел, как один паук, несмотря на росу, принялся доделывать сеть и устроил ее всю не более как в полчаса. На моих глазах он поймал карамору и еще муху, а мошкары попадалось такое множество, что он не обращал на нее никакого внимания, а может быть, даже и был недоволен, потому что каждая немного надрывала сеть.

Читал с огорчением одну книгу, в которой паук изобра-

жается злостным хищником, кровопийцей, порождением мрака. Но как же так? Паук — живая рабочая тварь, плетет сети, ловит добычу... Какая же разница в таком случае с рыбаком! Спросил об этом Домну Ивановну, она возмутилась: «Какие глупости вам приходят в голову, рыбаки же дело делают». — «Так и пауки же, — сказал я, — тоже дело делают: не будь их, нас бы совсем мухи заели. И рыбаки разве иначе живут? Совершенно так же ловят живую тварь, поедают, остатки продают, на выручку прикупают веревки, нитки, ткнут новые сети, строят новые лодки, рожают новых рыбаков, выхаживают. И пауки так...»

Домна Ивановна слушать меня не стала.

Сегодня солнце скорее прежнего расправилось с росой, и когда я захотел проверить ловушки, то не мог ничего увидеть ни на ветках, ни на земле. Вот только сейчас я наслаждался великой красотой этого сказочного царства, и вдруг оно все стало невидимо. Как в полсках шапки-невидимки, я иногда задевал лицом или рукой паутину только для того, чтобы убедиться в существовании невидимого паутинного царства. Единственное, что выдавало паутину, — это сам паук, особенно когда он был большой.

ДИЕТА

Я стоял на тяге там, где всю зиму лоси стояли и где каждая осинка была окольцована зубами лосей и каждое белое кольцо сложилось из длинных полосок шириной в лосиный зуб. Из сломанного сучка соседней березы время от времени собиралась самая светлая, самая чистая капля, и я ловил ее языком.

И думал я, что легче так жаждущему человеку от этих капель напиться, чем огромному лосю наесться полосками осиновой коры, шириной в зуб. И, конечно, неправильно, что мы столько едим. По возвращении домой устанавливаю себе подмаривающую диету и спанье на воздухе в спальном мешке.

ЦАПЛЯ

Ночью в избе стало очень душно. Я вышел на крыльцо и сел на лавочку. Звездное небо все было в облачных пятнах. Медведица без хвоста, Плеяды вовсе исчезли. Все двигалось и переменялось. То вдруг открывался хвост

Медведицы, то закрывалась кастрюля. Вдали же играла зарница.

Чувство всей жизни по себе самому, свойственное мне в хорошие часы, охватило меня, и вдруг в эту минуту я услышал в небе знакомый мне — осенний, совершенно как человеческий — крик: «А!» Через полминуты крик этот повторился вдали много слабее и еще ровно через такой же промежуток опять чуть слышно повторился еще раз. А потом я, вероятно, не слышал, а только по догадке понял направление полета цапли — оттуда все слышал и слышал это очень странное цаплино «А!».

Вскоре из хаоса определилась туча, сверкнула молния, пошел теплый летний дождь. Тогда в комнате стало возможно открыть все окна, потому что комары в дождь не влетают, и в прохладе под шумок так приятно стало дремать и понимать весь мир в себе самом.

ГОСТИ

Гости у нас были. От штабелей дров рядом (два года лежат в ожидании большой воды) пришла к нам трясогузка, просто из любопытства, только чтобы на нас поглядеть. Мы рассчитали, что нам этих дров хватило бы для отопления лет на пятьдесят — вот сколько их было! И за несколько лет лежки бесполезной на ветру, под дождями и на солнце дрова эти потемнели, многие штабеля наклонились друг к другу, некоторые живописно рассыпались. Множество насекомых развелось в гниющих дровах, и в громадном числе тут поселились трясогузки. Мы скоро открыли способ, как снимать этих маленьких птичек на близком расстоянии: если она сидит на той стороне штабеля и надо ее к себе подзвать, для этого надо показаться издали и тут же от нее спрятаться. Тогда трясогузка, заинтересованная, побежит по краешку штабеля и с уголка заглянет на тебя, и ты увидишь ее на том самом полence, куда заранее навел аппарат.

Бывает очень похоже на игру в палочки-постукалочки, только там дети играют, а тут я, старый человек, играю с птичкой.

Прилетел журавль и сел на той стороне речки в желтом болоте среди кочек и стал, наклонившись, разгуливать.

Скопа, рыбный хищник, прилетела и, высматривая себе внизу добычу, останавливалась в воздухе, пряла крыльями.

Коршун, с круглой выемкой на хвосте, прилетел и парил высоко.

Прилетел болотный лунь, большой любитель птичьих яиц. Тогда все трясогузки вылетели из дров и помчались за ним, как комары. К трясогузкам вскоре присоединились вороны, сторожа своих гнезд. У громадного хищника был очень жалкий вид, такая махина и мчится в ужасе, улепетывает, удирает во все лопатки.

Слышалось «ву-ву» у витютней.

Неустанно куковала в бору кукушка.

Цапля вымахнула из сухих старых тростников.

Совсем рядом бормотал неустанно тетерев.

Болотная овсянка плакала и раскачивалась на одной тоненькой тростинке.

Землеройка пискнула в старой листве.

И когда стало еще теплей, то листья черемухи, как птички с зелеными крылышками, тоже, как гости, прилетели и сели, фиолетовая анемона пришла, волчье лыко и так дальше, пока не стали показываться в зеленых почках все этажи леса.

Еще была ранняя ива, и к ней прилетела пчела, и шмель загудел, и бабочка сложила крылышки.

Лисица, лохматая, озабоченная, мелькнула в тростниках.

Гадюка просыхала, свернувшись на кочке.

И казалось, этому чудесному времени не будет конца. Но сегодня, перепрыгивая с кочки на кочку в болоте, я что-то заметил в воде, наклонился и увидел там бесчисленное множество комариных жгутиков.

Пройдет еще немного, они окрылятся, выйдут из воды и станут ногами на воду, для них твердую, соберутся с духом, полетят и загудят. Тогда солнечный день станет серым от кровопивцев. Но эта великая армия охраняет девственность болотного леса и не дает дачникам использовать красоту этих девственных мест.

Пошла плотва. Приехали на лодке два рыбака. И когда мы сложились, чтобы уехать, тут же на нашем месте они развели костер, повесили котелок, поскоблили плотву и потом без хлеба хлебали уху и ели рыбу.

На этом единственном сухом местечке, наверно, и первобытный рыбак тоже разводил костры, и тут же стала наша машина. Когда же мы сняли и палатку, в которой у нас была кухня, то на место палатки прилетели овсянки что-то клевать. И это были наши последние гости.

ВРЕМЕНА ГОДА

Времена года любят капризничать,
но, по существу, вернее их ничего нет на
свете: весна, лето, осень, зима

НАЧАЛО ВЕСНЫ СВЕТА



Восемнадцатого января утром было минус 20, а среди дня с крыши капало. Этот день весь с утра до ночи как бы цвел и блестел, как кристалл. Ели, засыпанные снегом, стояли как алебастровые и весь день сменяли цвет от розового до голубого. На небе долго провисел обрывок бледного месяца, внизу же, по горизонту, распределялись цвета. Все в этом первом дне весны света было прекрасно, и мы провели его на охоте. Несмотря на сильный мороз, зайцы ложились плотно и не в болотах, как им полагается ложиться в мороз, а на полях, в кустиках, в островках близ опушки.

РУБИНОВЫЙ ГЛАЗ

Морозная тишина. Вечереет. Темнеют кусты не одетого леса, будто это сам лес собирает к ночи свои думы. Через тьму кустов глядит солнце рубиновым глазом, через кусты этот красный глаз не больше человеческого.

ВЕСЕННИЙ МОРОЗ

Мороз и северная буря этой ночью ворвались в дело солнца и столько напутали: даже голубые фиалки были покрыты кристаллами снега и ломались в руках, и казалось, даже солнцу этим утром было стыдно в таком сраме вставать. Не легко было все поправить, но солнце весной не может быть посрамлено, и уже в восьмом часу утра на придорожной луже, открытой солнечным лучам, поскакали наездники.

ГОЛУБЫЕ ТЕНИ

Возобновилась тишина, морозная и светлая. Вчерашняя пороша лежит по насту, как пудра со сверкающими блестками. Наст нигде не проваливается и на поле, на солнце, держит еще лучше, чем в тени. Каждый кустик старого полынка, репейника, былинки, травинки, как в

зеркало, глядится в эту сверкающую порошу и видит себя голубым и прекрасным. Я пробовал это снимать в логу, где много натоптала лисица.

МЕДЛЕННАЯ ВЕСНА

Ночью не было мороза. День сложился серый, но не теплый. Весна, конечно, движется: в пруду, еще не совсем растаявшем, лягушки высунулись, урчат вполголоса. И это похоже, будто вдали по шоссе катят к нам сотни телег. Продолжается пахота. Исчезают последние клочки снега. Но нет того парного тепла от земли, нет уюта возле воды. Нам этот ход весны кажется медленным, хотя весна все-таки ранняя. Неуютно кажется потому, что снега не было зимой, выпал он недавно, и теперь преждевременно открытая земля не по времени холодна. Орех цветет, но еще не пылит, птичка зацепит сережки, и еще нет дымка. Листва из-под снега вышла плотно слежалая, серая.

Вчера вальдшнеп воткнул нос в эту листву, чтобы достать из-под нее червяка; в это время мы подошли, и он вынужден был взлететь, не сбросив с клюва надетый слой листьев старой осины. Я успел его убить, и мы сосчитали: на клюве у него было надето десять старых осиновых листиков.

ДОРОГА В КОНЦЕ МАРТА

Днем слетаются на весеннюю дорогу кормиться все весенние птицы; ночью, чтобы не вязнуть до ушей в зернистом снегу, по дороге проходят звери. И долго еще по рыжей дороге, по навозу, предохраняющему лед от таяния, будет ездить человек на санях. Дорога мало-помалу делается плотной для бегущих к ней весенних ручьев. Человек со своим мальчуганом ехал на санях, когда из ручьев на одной стороне дороги слилось целое озеро. С большой силой давила вода на плотину, и когда новый поток прибавил воды, плотина не выдержала, разломилась, и шумный поток пересек путь едущим на санях.

ПРИРОДНЫЕ БАРОМЕТРЫ

То дождик, то солнышко. Я снимал свой ручей, и когда промочил ногу и хотел сесть на муравьиную кочку (по зимней привычке), то заметил, что муравьи выползли

и плотной массой, один к одному, сидели и ждали чего-то или приходили в себя перед началом работы. А несколько дней тому назад перед большим морозом тоже было очень тепло, и мы дивились, почему нет муравьев, почему береза еще не дает сока. После того хватил ночной мороз в 18 градусов, и теперь нам стало понятно: и береза и муравьи знали это по ледяной земле. Теперь же земля растаяла, и береза дала сок, и муравьи выползают.

ВЕСЕННИЙ РУЧЕЙ

Слушал на тяге воду. По луговой ложине вода катилась бесшумно, только иногда встречались струйка со струйкой, и от этого всплескивало. И, слушая, ожидая следующий всплеск, спрашивал я себя, отчего это? Может быть, там вверху снег, из-под которого вытекал ручей, время от времени обваливался, и это событие в жизни ручья здесь передавалось столкновением струек, а может быть... Мало что может быть! Ведь если только вникнуть в жизнь одного весеннего ручья, то окажется, что понять ее в совершенстве можно, только если понять жизнь вселенной, проведенной через себя самого.

ПЕРВЫЕ РУЧЬИ

Я услышал легкий с голубиным гульканьем взлет птицы и бросился к собаке проверить, правда ли, что это прилетели вальдшнепы. Но Кента спокойно бегала. Я вернулся назад любоваться разливом и опять услышал на ходу тот же самый голубино-гулькающий звук. И еще и еще. Наконец я догадался не двигаться больше, когда послышится этот звук. И мало-помалу звук стал непрерывным, и я понял, что где-то под снегом так поет самый маленький ручеек. Мне так это понравилось, что я пошел, прислушиваясь к другим ручьям, с удивлением узнавая по голосам их разные существа.

ЗАПОЗДАЛЫЙ РУЧЕЙ

В лесу тепло. Зеленеет трава: такая яркая среди серых кустов! Какие тропинки! Какая задумчивость, тишина! Кукушка начала первого мая и теперь осмелела. Бормочет тетерев и на вечерней заре. Звезды, как вербочки, распухают в прозрачных облаках. В темноте белеют березки. Растут сморчки. Осины выбросили червяки свои серые.

Весенний ручей запоздал, не успел совсем сбежать и теперь струится по зеленой траве, и в ручей капает сок из полой ветки березы.

ВЕСНА ВОДЫ

Снег еще глубок, но так зернист, что даже заяц проваливается до земли и своим брюхом чешет снег наверху.

После дороги птицы перелетают кормиться на поля, на те места, где стало черно.

Все березы на дожде как бы радостно плачут, сверкая летят вниз капли, гаснут в снегу, отчего мало-помалу снег становится зернистым.

Последние хрустящие остатки льда на дороге — их называют черепками. И то ледяное ложе, по которому бежал поток, тоже размыло и размякло: под водой на этом желтом ложе заяц, перебегая на ту сторону ночью, оставил следы.

РУЧЕЙ И ТРОПИНКА

Вытаяла возле бора тропинка сухая, и рядом с ней шумит ручей: так вдоль опушки по солнцепеку и бегут, уходя вдаль, ручей и тропинка, а за ручьем на северном склоне среди хвойных деревьев лежит сибирский таежный нетронутый снег.

СВЕТЛАЯ КАПЕЛЬ

Солнце и ветер. Весенний свет. Синицы и клесты поют брачным голосом. Коряга наста от лыжи, как стекло, со звоном разлетается. Мелкий березник на фоне темного бора в лучах солнца становится розовым. Солнечный луч на железной крыше создает нечто вроде горного ледника, изпод которого, как в настоящем леднике, струится вода рекой, и от этого ледник отступает. Все шире и шире темнеет между ледником и краем крыши полоса нагретого железа. Тоненькая струйка с теплой крыши попадает на холодную сосульку, висющую в тени на морозе. От этого вода, коснувшись сосульки, замерзает, и так сосулька утром сверху растет в толщину. Когда солнце, обогнув крышу, заглянуло на сосульку, мороз исчез, и поток из ледника сбежал по сосулке, стал падать золотыми каплями вниз, и это везде на крышах, и до вечера всюду в городе падали вниз золотые интересные капли.

Далеко еще до вечера стало морозить в тени, и хотя еще

на крыше ледник все отступал и ручей струился по сосульке, все-таки некоторые капельки на самом конце ее в тени стали примерзать, и чем дальше, тем больше. Сосулька к вечеру стала расти в длину. А на другой день опять солнце, и опять ледник отступает, и сосулька растет утром в толщину, а вечером в длину: каждый день все толще, все длиннее.

ОКЛАДНОЙ ТЕПЛЫЙ ДОЖДЬ

Большие зеленеют почки на липе перед моим окном, и на каждой почке светлая капля, такая же большая, как и почка. От почки к почке вниз по тонкому сучку скатывается капля, сливается с другой возле другой почки и падает на землю. А там выше по коре большого сука, будто река по руслу, бежит невидимо сплошная вода и по малым каплям и веточкам распределяется и заменяет упавшие капли. И так все дерево в каплях, и все дерево капает.

Полтора суток без перерыву лил дождь. Шоссейная дорога стала как в весеннюю распутицу. Я снял ее и еще снимал тут около дороги крестики молодой сосны с крупными каплями дождя: верх крестика без капель я ставил на небо, а низ, обрамленный крупными каплями, держал на фоне темного леса, чтобы капли на темном светились.

СВЕТ КАПЕЛЕК

Ночью было очень тяжело возвращаться из леса, но никакая усталость не могла победить радостного сознания, что я был сегодня свидетелем начала буйной весны с цветами и ценьем птиц.

В неодетом лесу ранние ивы, как люстры, как грезы, виденья. Сморчки, примулы, анемоны, волчье лыко, освещение почек, свет капелек на ветвях.

ПЕРЕД ВЕЧЕРОМ

Среди дня от жаркого ветра стало очень тепло, и вечером на тяге определилась новая фаза весны. Почти одновременно зацвела ранняя ива, и запел полным голосом певчий дрозд, и заволновалась поверхность прудов от лягушек, и наполнился вечерний воздух их разнообразными голосами. Землеройки гонялись перед вечером и в своей стихии в осиновой листве были нам так же недоступны, как рыба в воде.

Бывает, остатки бледного истлевающего льда на лугу перекликаются днем с обрывками истлевающего в солнечных лучах бледного месяца.

Большой хищник, вернувшийся с юга, летел мне навстречу и, разглядев, кто я, вдруг круто повернул обратно.

Сороки слышали хруст льда под моими ногами и тревожно отзывались в глубине леса. Но и лед тоже трещал сам по себе, просто от солнца. Сороки в глубине леса понимали тот и этот треск и только на мой отзывались.

Лесные голуби начали гурковать.

Пожалуй, что пора и пчел выставять.

НАСТ

Опять ясный день с солнечным морозом, и ручьи по колеям на дороге, и жаркий час на сугробах, в лесах, заваленных снегом.

Вылез, по брюхо утопая в сугробах, на лесную поляну, где пробегает мой любимый ручей. Нашел обнажение воды из-под снега возле берез и это снимал как начало весны воды. Ночью мороз был так силен, что наст не везде проваливался, зато уж как провалишься, так здорово достается. Сейчас можно поутру забраться по насту глубоко в лес, и в полдень, когда разогреет, там в лесу и останешься, не вылезешь и будешь ждать ночного мороза, пока он не намостит.

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА

Еще несколько дней, какая-нибудь неделя — и весь этот невероятный хлам в лесу природа начнет закрывать цветами, травами, зеленеющими мхами, тонкой молодой порослью. Трогательно смотреть, как природа заботливо убирает два раза в год свой желтый сухой и мертвый костяк: один раз весной она закрывает его от нашего глаза цветами, другой раз осенью — снегом.

Еще цветут орехи и ольха, и их золотые сережки еще и сейчас дымятся от прикосновения птичек, но не в них теперь дело: они живут, но их время прошло. Сейчас удивляют и господствуют множеством своим и красотой синие

цветики звездочкой. Изредка попадает, но тоже удивляет волчье лыко.

Лед растаял на лесной дороге, остался навоз, и на этот навоз, как будто чуя его, налетело из еловых и сосновых шишек множество семян.

ОРЕХОВЫЕ ДЫМКИ

Барометр падает, но вместо благодетельного теплого дождя приходит холодный ветер. И все-таки весна продолжает продвигаться. За сегодняшний день позеленели лужайки сначала по краям ручьев, потом по южным склонам берегов, возле дороги, и к вечеру зеленело везде на земле. Красивы были волнистые линии пахоты на полях — нарастающее черное с поглощаемой зеленью. Почки на черемухе сегодня превратились в зеленые копья. Ореховые сережки начали пылить, и под каждой порхающей в орешнике птичкой взлетал дымок.

СЛЕЗЫ РАДОСТИ

Ночью поехали в Териброво, вышли на глухарей в час ночи и под непрерывным дождем проходили в лесу бесплодно до восьми. Ни одна птичка не пикнула. При возвращении увидел осину с набухшими почками, — ту, которая в прошлый раз в темноте на морозе так пахла. А дождь шел до утра.

И встало серое утро, и лес, умытый в слезах радости или горя, — не поймешь. Но даже через стены дома слышалась птичка, и через это мы поняли, что не горе, а радость сверкала за окном на ветках березы.

ГРОЗА

К обеду поднялся очень сильный ветер, и в частом осиннике, еще не покрытом листьями, стволы стучали друг о друга, и это было тревожно слушать. Вечером началась гроза довольно сильная. Лада от страха забралась ко мне под кровать. Она вообще обезумела, и это продолжалось у нее всю ночь, хотя гроза уже и прошла. Только утром в шесть часов я вытащил ее на двор и показал, какая хорошая, свежая утренняя погода. Тогда она быстро пришла в себя.

ОТЦВЕТАЕТ ЧЕРЕМУХА

По лопухам, по крапиве, по всякой зеленой траве рассыпались белые лепестки: отцветает черемуха. Зато расцвела бузина и под нею внизу земляника. Некоторые бутоны ландышей тоже раскрылись, бурые листья осин стали нежно-зелеными, взошедший овес зелеными солдатыками расставился по черному полю. В болотах поднялась высоко осока, дала в темную бездну зеленую тень, по черной воде завертелись жучки-вертунки, полетели от одного зеленого острова осоки к другому голубые стрекозы.

Иду белой тропой по крапивной заросли, так сильно пахнет крапивой, что все тело начинает чесаться. С тревожным криком семейные дрозды гонят дальше и дальше от своих гнезд хищную ворону. Все интересно: каждая мелочь в жизни бесчисленных тварей рассказывает о брачном движении всей жизни на земле.

СУКОВАТОЕ БРЕВНО

Пыльца цветущих растений так засыпала лесную речку, что в ней перестали отражаться береговые высокие деревья и облака. Весенний переход с берега на берег по суковатому бревну висит так высоко, что упадешь и расшибешься.

Никому он не нужен теперь, этот переход, речку можно переходить просто по камешкам. Но белка идет там и во рту несет что-то длинное. Остановится, поработает над этим длинным, может быть поест, — и дальше. В конце перехода я пугнул ее в надежде, что она выронит добычу и я рассмотрю, что это такое, или, может быть, она вскочит на осину. Белка, испугнутая, действительно бросилась вверх по осине вместе с добычей, но не задержалась, а большим полетом с самой верхушки перелетела вместе с добычей на елку и там спряталась в густоте.

ОСИНОВЫЙ ПУХ

Снимал жгутики с осины, распускающие пух. Против ветра, солнца, как пушинки, летели пчелы, не разберешь даже — пух или пчела, семя ли растения летит для прорастания, или насекомое летит за добычей.

Так тихо, что за ночь летающий осиновый пух осел на дороги, на заводы, и все это словно снегом покрыто. Вспомнилась осиновая роща, где пух в ней лежал толстым слоем. Мы его подожгли, огонь метнулся по роще, и стало все черным.

Осиновый пух — это большое событие весны. В это время поют соловьи, поют кукушки и иволги. Но тут же поют уже и летние подкрапивнички.

Время вылета осинового пуха меня каждый раз, каждую весну чем-то огорчает: растрата семян тут, кажется, больше даже, чем у рыб во время икрометания, и это подавляет меня и тревожит.

В то время, когда со старых осин летит пух, молодые переодеваются из своей коричневой младенческой одежды в зеленую, как деревенские девушки в годовой праздник показываются на гулянье то в одном наряде, то в другом.

В человека вошли все элементы природы, и если он только захочет, то может перекликнуться со всем существующим вне его.

Вот хотя бы эта сломленная, сброшенная ветром ветка осины — до чего же судьба ее нам трогательна: лежа на земле, на дороге, в колеях, выдерживая не один день на себе тяжесть телег, она все-таки живет, пушится, и ветер отрывает и несет ее семена...

Пашут трактором, а где нельзя — лошадью, сеют рядовой сеялкой, а где нельзя — из лукошка по-старинному, и любо смотреть в подробности их выполнения...

После дождя горячее солнце создало в лесу парник с одуряющим ароматом роста и тления: роста березовых почек и молодой травы и тоже ароматного, но по-другому, тления прошлогодних листьев. Старое сено, соломины, мочально-желтые кочки — все порастает зеленой травой. Позеленели и березовые сережки. С осин летят семеногусеницы и виснут на всем. Вот совсем недавно торчала высоко прошлогодняя высокая густая метелка белоуса; раскачиваясь, сколько раз, наверное, она спугивала и зайца и птичку. Осиневая гусеница упала на нее и сломала ее навсегда, и новая зеленая трава сделает ее невидимой, но это еще не скоро, еще долго будет старый желтый скелет одеваться, обрастать зеленым телом новой весны.

Третий день уже сеет ветер осинкой, а земля без устали требует все больше и больше семян. Поднялся ветерок, и еще больше полетело семян осиновых. Вся земля закрыта осиновыми червяками. Миллионы семян ложатся, и только немного из миллиона прорастет, и все-таки осинник вырастет вначале такой густой, что заяц, встретив его на пути, обожит.

Между маленькими осинками скоро начнется борьба корнями за землю и ветвями за свет. Осинник начинает

прореживаться, и когда достигнет высоты роста человека, заяц тут начнет ходить глотать кору. Когда поднимется светолюбивый осиновый лес, под его пологом, прижимаясь робко к осинкам, пойдут теневыносливые елки, мало-помалу они обгонят осины, задушат своей тенью светолюбивое дерево с вечно трепещущими листьями...

Когда погибнет весь осиновый лес и на его месте завоюет сибирский ветер в еловой тайге, одна осина где-нибудь в стороне на поляне уцелеет, в ней будет много дупел, узлов, дятлы начнут долбить ее, скворцы поселятся в дуплах дятлов, дикие голуби, синичка, белка побывает, куница. И когда упадет это большое дерево, местные зайцы придут зимой глотать кору, за этими зайцами — лисицы: тут будет звериный клуб. И так, подобно этой осине, надо изобразить весь связанный чем-то лесной мир.

Я даже устал смотреть на этот посев: ведь я — человек и живу в постоянной смене горя и радости. Вот я утомлен, не надо мне этих осин, этой весны, вот мне кажется, даже самое «я» мое растворяется в боли, даже сама боль исчезает, — нет ничего. Так на старом пне, опустив голову на руки, глаза в землю, сижу я, не обращая никакого внимания, что осиновые гусеницы осыпают меня. Ничего ни плохого, ни хорошего... Существу, как продолжение старого пня, осыпаемого семенами осины.

Но вот я отдохнул, с удивлением из необычно приятного моря спокойствия прихожу в себя, оглядываюсь и опять все замечаю и всему радуюсь.

РАДОСТЬ ПРИЛЕТА

Заметил на полях множество певчих дроздов; они слетали с полей на березы и пели: певчий гомон стоял в лесу. И это было, вероятно, с прилету.

НЕДОВОЛЬНАЯ ЛЯГУШКА

Даже вода взволновалась, — вот до чего взыгрались лягушки. Потом они вышли из воды и разбрелись по земле: вечером было, — что ни шаг, то лягушка.

В эту теплую ночь все лягушки тихонечко урчали, и даже те урчали, кто был недоволен судьбой: в такую-то ночь стало хорошо и недовольной лягушке, и она вышла из себя и, как все, заурчала.

ПЕРВЫЙ РАК

Гремел гром, и шел дождь, и сквозь дождь лучило солнце и раскидывалась широкая радуга от края до края. В это время распускалась черемуха, и кусты дикой смородины над самой водой позеленели. Тогда из какой-то рачьей печуры высунул голову и шевельнул усом своим первый рак.

ЗВОНКОЕ УТРО

Звонкое радостное утро. Первая настоящая роса. Рыба прыгала. На горе токовали два раздутых петуха, и с ними было шесть тетерок. Один петух обходил всех вокруг, как у оленей ирвас обходит своих важенков. Встретив на пути другого петуха, он отгонял его, и опять обходил, и опять дрался. Вспыхнули в серых лесах ранние ивы — дерево, на котором цвет, как желтые пуховые цыплята, и пахнет все медом.

СУДЬИ

На самом закате слышал трель дятла. До самого заката спорили на пойме три дятла — кто сильнее всех даст трель. Журавль взялся судить и начал кричать, и другие тоже имели свои мнения и начали кричать, и каждый старался громче, и до того дошли судьи, что вовсе забыли о дятлах, которые смолкли перед вечерней зарей. Судьи заняты были только тем, чтобы им друг друга перекричать. Но вот пришел человек, запел, и стало понятным, из-за чего все стараются.

ЗАЯЧЬЯ ШЕРСТЬ

Снег встречается, как великая редкость. Белая, надранная в весенних боях при линьке заячья шерсть села на темную землю. Так много было зайцев этой зимой, что везде видишь на осиновом сером листовом подстиле клоки белой заячьей шерсти.

Позеленевшая трава кривоколенцем загибалась среди осиновых стволов по серому осиновому подстилу между длинными желтыми соломинами и метелками белоуса. По этому первому зеленому пути вышел линяющий заяц, еще белый, но в клочьях.

ДВИЖЕНИЕ ВЕСНЫ

После хвойных засеменились осины, все поляны завалены их гусеницами. Слежу, как зелень пробивается через солому и сено прошлого года. Слежу, как вяжут, вяжут зеленые ковры, больше и больше гудит насекомых.

НЕОДЕТАЯ ВЕСНА

Наша Кубря вышла из Ляхова болота под Переславлем и впадает в Нерль между селами Андриановом и Григоровом. А Нерль впадает в Волгу под Калязином. Кубря — наша любимая река, к берегам которой с великим трудом мы продвигаем неодетой весной свою машину «Мазай».

Тут Кубря выбежала из-под моста к шоссе и вскоре вспомнила: забыла что-то там, под мостом, — вроде того, как я иногда спохватываюсь, что забыл бумажник, — и вернулась другим следом почти рядом с первым и, не добежав до моста, нашла у себя забытое и опять побежала вперед.

Так по этому лугу она три раза прошла, два следа вперед, один след назад, и от этих поворотов на маленьком лугу возле самого леса вышло шесть берегов, густо поросших ольхой, и в этой путанице образовался тут полуостров с такой маленькой шейкой, что только Мазаю проехать. Рассказывают, что какой-то пьяница однажды так и не мог разобраться в излучинах речки, пошел напролом и утонул.

Мы же, хорошо зная это место, отлично проехали и так близко стали к воде, что Мазай отразился внизу в облаках среди безлиственно цветущих деревьев: сережки золотые ольхи качались над его кузовом, серые червяки осины залезали в окошки и ранняя ива с соцветиями ярко-желтыми, похожими на маленьких цыплят, только что вылупившихся из яйца.

ЦВЕТУТ БЕРЕЗКИ

Когда старые березы цветут и золотистые сережки скрывают от нас наверху уже раскрытые маленькие листы, внизу на молодых везде видишь ярко-зеленые листики величиной в дождевую каплю, но все-таки весь лес еще серый или шоколадный, — вот тогда встречается черемуха и поражает: до чего же листья ее на сером кажутся большими и яркими. Бутоны черемухи уже готовы. Кукушка поет

самым сочным голосом. Соловей учится, настраивается. Чертова теща и та в это время очаровательна, потому что не поднялась еще со своими колючками, а лежит на земле большой красивой звездой. Из-под черной лесной воды выбиваются и тут же над водой раскрываются ядовито-желтые цветы...

ВЕСЕННИЙ ПЕРЕВОРОТ

Днем на небе были на одной высоте «кошачьи хвосты», на другой — плыл огромный неисчислимый флот кучевых облаков. Мы не могли узнать, что наступает и что проходит: циклон или антициклон.

Вот теперь вечером все и сказалось: именно в этот вечер совершился долгожданный переворот, переход от неодоетой весны к зеленеющей весне.

Случилось это так: мы шли в разведку в диком лесу. Остатки желтых тростников на кочках между елками и березками напоминали нам, какую непроницаемую для солнечных лучей, какую непроходимую глушь представляет собой этот лес летом и осенью. Но глушь эта нам была мила, потому что в лесу теплело и чувствовалась во всем весна. Вдруг блеснула вода, и мы с большой радостью узнали в этой воде Нерль. Мы пришли прямо на берег и будто попали сразу же в другую страну с теплым климатом: бурно кипела жизнь, пели все болотные птицы, бекасы, дупеля токовали, будто Конек-горбунок скакал в темнеющем воздухе, токовали тетерева, дали сигнал свой трубный почти возле нас журавли; словом, тут было все наше любимое, и даже утки сели против нас на чистую воду. И ни малейшего звука от человека: ни свистка, ни тутуканья мотора.

В этот час и совершился переворот, и начало все расти и распускаться.

СОЛНЕЧНАЯ ОПУШКА

На рассвете дня и на рассвете года все равно: опушка леса является убежищем жизни.

Солнце встает, и куда только ни попадет луч, — везде все просыпается, а там внизу, в темных глубоких овражных местах, наверное, спят часов до семи.

У края опушки лен с вершок ростом и во льну — хвощ. Что это за диво восточное — хвощ-минарет, в росе, в лучах восходящего солнца!

Когда обсохли хвощи, стрекозы стали сторожкими и особенно тени боятся...

ВРЕМЯ

Ячмень сеют, когда молодой скворец голову в окшке показывает.

КРАСНАЯ СТРЕКОЗА

Обмерли на голубом цветке-колокольчике две спаренные красные стрекозы. Я положил их на песок под солнечный горячий луч. И они, оживленные солнцем, возвращенные солнцем к жизни, в первые миги оживания стали каждая думать лишь о себе: только бы освободиться. И разошлись и полетели каждая сама по себе.

КРАСНЫЕ ШИШКИ

Росы холодные и свежий ветер днем умеряют летний жар. И только потому еще можно ходить в лесу, а то бы теперь видимо-невидимо было слепней днем, а по утрам и по вечерам комаров. По-настоящему теперь бы время мчаться обезумевшим от слепней лошадям в поле прямо с повозками.

В свежее солнечное утро иду я в лес полями. Рабочие люди спокойно отдыхают, окутываясь паром своего дыхания. Лесная лужайка вся насыщена росой холодной, насекомые спят, многие цветы еще не раскрывали венчиков. Шевелятся только листья осины, с гладкой верхней стороны листья уже обсохли, на нижней бархатная роса держится мелким бисером.

— Здравствуйте, знакомые елочки, как поживаете, что нового?

И они отвечают, что все благополучно, что за это время молодые красные шишки дошли до половины настоящей величины. Это правда, это можно проверить: старые пустые рядом с молодыми висят на деревьях.

Из еловых пропастей я поднимаюсь к солнечной опушке, по пути в глуши встречается ландыш, он еще сохранил всю свою форму, но слегка пожелтел и больше не пахнет.

ШМЕЛЬ И ЦВЕТОНОЖКА

Какая нежная цветоножка у раковой шейки, как трудно держать ей, как она обременена своим толстым цветком!

А вот когда на эту шейку, и так-то тяжелую, толстую, усядется огромной тяжести шмель, цветоножка поддастся, наклонится, шмель, встревоженный, рассерженно загудит, начнет опять устраиваться: цветоножка все гнется, он все жундит, пока она догнется до предела, покорится, он же всосется и замолчит.

СТРАДНАЯ ПОРА

У дятлов теперь в лесу совсем мало трелей, не до трелей теперь, когда собственной башкой, как балдой, и собственным носом, как долотом, весь день приходится гнезда долбить.

МОЙ ГРИБ

В грибном лесу одна полянка другой полянке руку подает через кусты, и когда эти кусты переходишь, на полянке тебя встречает твой гриб. Тут искать нечего: твой гриб всегда на тебя смотрит.

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Бабочка, совсем черная, с тонкой белой каймой, сядет и становится, как моль, — треугольником. А то из этих же маленьких бабочек есть голубая, всем очень знакомая. Эта когда сядет на былинку, то делается как цветок. Пройдешь мимо и за бабочку ни за что не сочтешь, цветок и цветок: «анютины глазки».

ИВАН-ЧАЙ

Вот и лето настало, в прохладе лесной заблагоухала белая, как фарфоровая, «ночная красавица», и у пня стал на солнцепеке во весь свой великолепный рост красавец наших лесов — Иван-чай.

БАЛ НА РЕКЕ

Желтые лилии раскрыты с самого восхода солнца, белые раскрываются часов в десять. Когда все белые раскроются, на реке начинается бал.

В Териброве первым деревенским кузнечиком был парторг: он первый вколотил бабку в пенё и стал молотком на этой бабке отбивать свою косу. Так этот звук начался и пошел теперь на все время покоса звенеть соединенно с кузнечиками...

Вот теперь везде в лесах, на полянах понемногу выкашивают, теперь в лесах везде люди, теперь уже в лесу сам с собой не поговоришь. А как этого иногда хочется! Ведь у писателя все, что каждый человек должен держать про себя, составляет главный материал, душу его дела: его «про себя» должно стать всеобщим достоянием. Чем больше писатель, тем в книге его больше этого «про себя» — валюты всей вещи. Вот в лесу именно тем особенно хорошо, что можно упражняться сколько угодно в этих интимных диалогах. Бывает, так ведешь себя с цветком, с бабочкой, с жуком, сердечно беседуешь со шмелем, и если в это время всхрапнет где-нибудь лошадь, то весь вздрогнешь от мысли: нет ли где-нибудь с лошадей и человека, не подслушивает ли он сейчас твою интимную беседу со шмелем.

Теперь в лесах везде косят. Теперь не стоит вступать в интимную беседу с цветами, жуками и пчелами.

ВЕТЕР В ЛЕСУ

Ветрено, прохладно и ясно. В лесу «лес шумит», и через шум слышна яркая летняя песенка подкрапивника.

Лес шумит только вверх, в среднем ярусе, в молодом осиннике только дрожат и чуть слышно постукивают друг о друга нежные круглые листики. Внизу в травах полная тишина, и в ней слышно, работает шмель.

Вспомнились чудачки Ф.: среди лета бросились дачу искать. Когда выезжают дачники из Москвы, все птицы на яйцах постятся, высиживают своих птенцов.

СУШЬ

Продолжается сушь великая. Речка пересохла совершенно, мостики деревьев, когда-то поваленных водой, остались, и тропинка охотников по уткам сохранилась на берегу, и на песочке свежие следы птиц и зверушек, по старой памяти приходящих сюда за водой. Они, правда, находят воду для питья кое-где в бочажках.

РОЖЬ НАЛИВАЕТ

Рожь наливает. Жара. По вечерам солнце косыми лучами ложится на рожь. Тогда каждая полоска ржи как перина: это вышло оттого, что воде между полосками было хорошо стекать. Так на перинке со скатами рожь выходит лучше. В лучах заходящего солнца теперь каждая полоска-перина так пышна, так привлекательна, что самому на каждую хочется лечь и поспать.

ВАРЕНЬЕ

Вернулся в десятом часу на ту холодную спящую лужайку, на которую сегодня пришел ранним утром. В солнечном огне все гудело в цветах, заваривалось, благоухало, как будто все вместе тут общими силами варили варенье.

ГОРЛИНКА

Мирный звук воркующей горлинки свидетельствует в лесу всем живущим: жизнь продолжается.

ЗАКАТ ГОДА

Для всех теперь только начало лета, а у нас закат года: деньки ведь уже убывают, и, если рожь зацвела, значит, по пальцам можно подсчитать, когда ее будут жать.

В косых утренних лучах на опушке ослепительная белизна берез блее мраморных колонн. Тут, под березами, еще цветет своими необыкновенными цветами крушина, боюсь, что плохо завязалась рябина, а малина сильная и смородина сильная, с большими зелеными ягодами.

С каждым днем теперь все реже и реже слышится в лесу «ку-ку», и все больше и больше нарастает сытое летнее молчание с перекличкой детей и родителей. Как редчайший случай — барабанная трель дятла. Услышишь вблизи, даже вздрогнешь и думаешь: «Нет ли кого?» Нет больше общего зеленого шума, вот и певчий дрозд — поет как хорошо, но поет он один-одинешенек... Может быть, эта песенка теперь и лучше звучит — впереди самое лучшее время, ведь это самое начало лета, через два дня Семик. Но все равно, того чего-то больше уж нет, то прошло, начался закат года.

ОСИНКАМ ХОЛОДНО

В солнечный день осенью на опушке елового леса собрались молодые разноцветные осинки. густо одна к другой, как будто им там, в еловом лесу, стало холодно и они вышли погреться на опушку, как у нас в деревнях люди выходят на солнышко и сидят на завалянках.

ОСЕНЬ

В деревне овинный дух.

На утренней заре весело стучат гуськи — дубовые носки.

Гриб лезет и лезет.

О МУДРОСТИ

Слова мудрости, как осенние листья, падают без всяких усилий.

ОСЕННЯЯ РОСКА

Заосеняло. Мухи стучат в потолок. Воробьи табунытся. Грачи — на убранных полях. Сороки семьями пасутся на дорогах. Роски холодные, серые. Иная росинка в пазухе листа весь день просверкает...

ЛИСТОПАД

Вот из густых елок вышел под березу заяц и остановился, увидя большую поляну. Не посмел прямо идти на ту сторону и пошел кругом всей поляны от березки к березке. Вот он остановился, прислушался... Кто боится чего-то в лесу, то лучше не ходи, пока падают листья и шепчутся. Слушает заяц: все ему кажется, будто кто-то шепчется сзади и крадется. Можно, конечно, и трусливому зайцу набраться храбрости и не оглядываться, но тут бывает другое: ты не побоялся, не поддался обману падающих листьев, а как раз вот тут кто-то воспользовался и тебя сзади под шумок схватил в зубы.

ОСЕНЬ

Ехал сюда — рожь начинала желтеть. Теперь уезжаю обратно — эту рожь люди едят, и новая опять зеленеет. Тогда деревья в лесу сливались в одну зеленую массу,

теперь каждое является само собой. И такая уж осень всегда. Она раздевает массу деревьев не сразу, каждому дает немного времени побыть и покрасоваться отдельно.

РОСА

С полей, с лугов, с вод поднялись туманы и растаяли в небесной лазури, но в лесу туманы застряли надолго. Солнце поднимается выше, лучи сквозь лесной туман проникают в глубину чащи, и на них там, в чаще, можно смотреть прямо и даже считать и фотографировать.

Зеленые дорожки в лесу все будто курятся, туман везде поднимается, вода пузырьками садится на листья, на хвоинки елок, на паучьи сети, на телеграфную проволоку. И по мере того, как поднимается солнце и разогревается воздух, капли на телеграфной проволоке начинают сливаться одна с другой и редеть. Наверное, то же самое делается и на деревьях: там тоже сливаются капли.

И когда, наконец, солнце стало порядочно греть на телеграфной проволоке, большие радужные капли начали падать на землю. И то же самое в лесу хвойном и лиственном — не дождь пошел, а как будто пролились радостные слезы. В особенности трепетно-радостна была осина, когда упавшая сверху одна капля приводила в движение чуткий лист, и так все ниже, все сильнее вся осина, в полном безветрии сверкая, дрожала от падающей капли.

В это время и некоторые высоконастороженные сети пауков пообсохли, и пауки стали подтягивать свои сигнальные нити. Застучал дятел по елке, заклевал дрозд на рябине.

ВЕТРЕННЫЙ ДЕНЬ

Этот свежий осенний ветер умеет нежно разговаривать с охотником, как сами охотники часто болтают между собой от избытка радостных ожиданий. Можно говорить и можно молчать: разговор и молчанье легкие у охотника. Бывает, охотник оживленно что-то рассказывает, но вдруг мелькнуло что-нибудь в воздухе, охотник посмотрел туда и потом: «А о чем я рассказывал?» Не вспомнилось, и — ничего: можно что-нибудь другое начать. Так и ветер охотничий осенью постоянно шепчет о чем-то и, не досказав одно, переходит к другому: вот донеслось бормотанье молодого тетерева и перестало, кричат журавли...

Сегодня на рассвете одна пышная береза выступила из леса на поляну, как в кринолине, и другая, робкая, худенькая, роняла лист за листком на темную елку. Вслед за этим, пока рассветало больше и больше, разные деревья мне стали показываться по-разному. Это всегда бывает в начале осени, когда после пышного и общего всем лета начинается большая перемена и деревья все по-разному начинают переживать листопад.

Так ведь и у людей: на радости все похожи друг на друга, и только от горя, в борьбе за лучшее, все начинают выступать лично. Если смотреть по-человечески, то осенью лес изображает нам рождение личности.

А как же иначе смотреть? Это мелькнувшее сравнение настроило меня очень радостно, и весь я собрался и с родственным вниманием оглянулея вокруг себя. Вот кочка, расчесанная лапками тетеревей. Раньше, бывало, непременно в ямке такой кочки находишь перышко тетерева или глухаря, и если оно рябое, то знаешь, что копалась самка, если черное — петух. Теперь в ямках расчесанных кочек лежат не перышки птиц, а опавшие желтые листики. А то вот старая-престарая сыроежка, огромная, как тарелка, вся красная, и края от старости завернулись вверх, и в это блюдо налилась вода, и в блюде плавает желтый листик березы.

ВСХОДЫ

Двойное небо, когда облака шли в разные стороны, кончилось дождем на два дня, и дождь кончился ледянистыми облаками. Но солнце засияло поутру, не обращая внимания на этот заговор неба, и я поснешил идти на охоту с камерой. Выходила из-под земли посеянная рожь солдатиками; каждый из этих солдатиков был в красном до самой земли, а штык зеленый, и на каждом штыку висела громадная, в брусничину, капля, сверкавшая на солнце то прямо, как солнце, то радужно, как алмаз. Когда я прикинул к глазу визирку камеры и мне явилась картина войска в красных рубашках с зелеными ружьями и сверкающими у каждого солдатика отдельными солницами, — восторг мой был безмерный. Не обращая никакого внимания на грязь, я улегся на живот и пробовал на разные лады снять эти всходы.

Нет, оказалось, моими средствами нельзя было снять: ведь красные рубашки солдатиков непременно должны были выйти темными и слиться с землей, а брусничины росы при большой диафрагме выйдут только передние, если же сильно задиафрагмировать и поставить на постоянный фокус, то они выйдут слишком мелкими. Не все возьмешь камерой, но не будь камеры, не лег бы я в грязь и на живот и не заметил бы, что всходящие ржинки похожи на красных солдатиков с зелеными ружьями.

ОСЕННИЙ РАССВЕТ

Есть осенние одуванчики, они много меньше летних, и крепче их, и не по одному сидят на ножке, а часто штук по десяти. Я снимал их. Стрекозы все привесились и уснули. Еще много снимал белое солнце, которое ныряло в облаках, то показываясь, то исчезая.

Никогда не надо упускать случая снимать в лесу резкий луч света. Хорошо бы добиться, чтобы выходила на снимке сказка росы. На фоне бересты снимал плаунки в два и в три рожка, те самые, на которых бывает известная «мучка-пльвучка».

И так во все это росистое утро радость прыгала во мне и не смущала печаль человеческая. Чего мне и вправду смущаться, если так рано, что все горюны еще спят. Когда же они проснутся и загорюют, обсохнет роса, и тогда я еще успею печаль их принять к сердцу. Горюны всего мира, не упрекайте меня!

ПАРАШЮТ

В такой тишине, когда без кузнечиков в траве в своих собственных ушах пели кузнечики, с березы, затертой высокими елями, слетел медленно вниз желтый листик. Он слетел в такой тишине, когда и осиновый листик не шевелился. Казалось, движение листика привлекло внимание всех, и все ели, березы и сосны со всеми листиками, сучками, хвонками и даже кусты, даже трава под кустами дивились и спрашивали: «Как мог в такой тишине стронуться с места и двигаться листик?» И, повинуясь всеобщей просьбе узнать, сам ли собой сдвинулся листик, я пошел к нему и узнал. Нет, не сам собой сдвинулся листик: это паук, желая спуститься, отяжелил его и сделал своим парашютом: на этом листике опустился небольшой паучишко.

Утро малоросистое. Вовсе нет паутин на вырубках. Очень тихо. Слышно желну, сойку, дрозда. Рябина очень краснеет, березки начинают желтеть. Над скошенной травой изредка перелетают белые, чуть побольше моли, бабочки.

ЗАВОДЬ

Среди обгорелых от лесного пожара в прошлом году деревьев сохранилась одна небольшая осинка на самом краю высокого яра, против нашей Казенной заводи. Возле этой осинки летом стог поставили, и теперь осенью от времени он стал желтым, а осинка ярко-красной, пылающей. Далеко видишь этот стог и осинку и узнаешь нашу заводь, где сомов столько же, сколько в большом городе жителей, где по утрам шелеспер, страшный хищник, выбрасывается на стаю рыбок и так хлещет хвостом по воде, что рыбки перевертываются вверх брюхом, и хищник их поедает.

Мелкой рыбицы (мальков) так много в воде, что от удара весла впереди часто выскакивает наверх целая стайка, будто кто-то ее вверх подбросил. На удочку рыба уже плохо берется, а сомы по ночам идут на лягушку, только лягушек в этом году по случаю сухмени очень мало, так же мало и пауков, и этими красными осенними днями в лесу вовсе нет паутины.

Несмотря на морозы, на Кубре еще встречаются цветущие лилии, а маленьких мелких цветочков, похожих на землянику, на воде целые поляны, как белые скатерти. Лилии белые лежали на блюдах зеленых, и грациозные ножки их в чистой воде так глубоко виднелись, что если достать их, смериться, то, пожалуй, нас и двух на них не хватило бы.

ПЕРВЫЙ МОРОЗ

Ночь прошла под большой чистой луной, и к утру лег первый мороз. Все было седое, но лужи не замерзли. Когда явилось солнце и разогрело, то деревья и травы обдались такой сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли.

Особенно хороша была сверкающая сверху донизу королева — сосна. Молодой собакой прыгала в груди моей радость.

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

Осень длится, как узкий путь с крутыми заворотами. То мороз, то дождь, и вдруг снег, как зимой, метель белая с воем, и опять солнце, опять тепло и зеленеет. Вдали, в самом конце, березка стоит с золотыми листиками: как обмерзла, так и осталась, и больше уже ветер с нее не может сорвать последних листов, — все, что можно было, сорвал.

Самая поздняя осень — это когда от морозов рябина сморщится и станет, как говорят, «сладкой». В это время самая поздняя осень до того сходится близко с самой ранней весной, что по себе только и узнаешь отличие дня осеннего и весеннего — осенью думается: «Вот переживу эту зиму и еще одной весне обрадуюсь».

Тогда думаешь, что и все так в жизни непременно должно быть: надо поморить себя, натрудить, и после того можно и радоваться чему-нибудь. Вспомнилась басня «Стрекоза и муравей» и суровая речь муравья: «Ты все пела — это дело, так поди же попляши». А ранней весной точно в такой же день ждешь радости без всяких заслуг; придет весна, ты оживешь в ней и полетишь, как стрекоза, вовсе не раздумывая о муравье.

БЫСТРИК

Вот полянка, где между двумя ручьями я недавно белые грибы собирал. Теперь она вся белая: каждый пенек покрыт белой скатертью, и даже красная рябина морозом напудрена. Большой и спокойный ручей замерз, а маленький быстрик все еще бьется.

ЗВЕЗДНАЯ ПОРОША

Вчера вечером порошило из ничего, как будто это со звезд падали снежинки и сверкали внизу при электричестве, как звезды. К утру из этого сложилась порошка чрезвычайно нежная: дунь — и нет ее. Но этого было довольно, чтобы отметился свежий заячий след. Мы поехали и зайцев поднимали.

Сегодня приехал в Москву и сразу узнал: на мостовой лежит та же самая звездная пороша, и такая легкая, что

когда сел воробей и потом вскоре поднялся, то от крыльев его взлетела целая туча звездочек, а на мостовой без них осталось далеко заметное темное пятно.

ДЕРЕВЬЯ В СНЕГУ

Снежная пороша. В лесу очень тихо и так тепло, что только вот не тает. Деревья окружены снегом, ели повесили громадные тяжелые лапы, березы склонились и некоторые даже согнулись макушками до самой земли и стали кружевными арками. Так вот и у деревьев, как у людей: ни одна елка не склонится ни под какой тяжестью, разве что сломится, а береза чуть что — и склоняется. Ель царствует со своей верхней мутовкой, а береза плачет.

В лесной снежной тишине фигуры из снега стали так выразительны, что странно становится: «Отчего, — думаешь, — они ничего не скажут друг другу, разве только меня заметили и стесняются?» И когда полетел снег, то казалось, будто слышишь шепот снежинок, как разговор между странными фигурами.

КРИСТАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Закончили охоту на зайцев: начались двойные следы, заяц гонялся за зайцем. День весь сверкал кристаллом от зари до зари. Среди дня солнце значительно пригревало, ветерок покачивал ветки деревьев, и оттого падали фигурки, рассыпались в воздухе пылью, и эта мельчайшая пыль снова взлетала и сверкала на солнце искорками.

Верхняя мутовка высокой ели, как ваза, собирала внутрь себя снег больше, больше, пока, наконец, этот ком не скрыл в себе даже тот высокий палец ели, на который весенней порой на вечерней заре садится птичка-невеличка и поет свою песенку.

СУМЕРКИ

На ясном небе стрела за стрелой показались кошачьи хвосты, и температура повысилась до минус 15. К вечеру небо закрылось. Закачались от ветра высокие ели, теряя разом все свои подарки. Внизу же под ними — засыпанные снегом елочки, похожие на какие-то безобидные задумчивые существа, смутились.

Небо чистое. Восход роскошный в тишине. Мороз минус 12. Трубоч по белой тропе гонит одним чутьем.

Весь день в лесу был золотой, а вечером заря горела в полнеба. Это была северная заря, вся малиново-блестящая, как в елочных игрушках бывало, в бонбоньерках с выстрелом, особая прозрачная бумага, через которую посмотришь на свет, и все бывает окрашено в какой-нибудь вишневый цвет. Однако на живом небе было не одно только красное: посредине шла густо-синяя стрельчатая полоса, ложась на красном, как дирижабль, а по краям разные прослойки тончайших оттенков, дополнительных к основным цветам.

Полный расцвет зари продолжался какие-нибудь четверть часа. Молодой месяц стоял против красного на голубом, будто он увидел это в первый раз и удивился.

СЛЕДЫ ЧЕЛОВЕКА

МОЙ ДОМ



Люблю следы человека в природе, когда он идет босой ногой между деревьями: след одного, другого, и вот складывается извилистая тропинка на зеленой траве, на мхах и на выступающих корнях деревьев, среди папоротников, между соснами, вниз и по кладочкам через ручей, и опять круто вверх, поднимаясь по корням деревьев, как по лесенке.

Эх, дорогие мои, только вспомнить свою тропинку, есть о чем рассказать: походила, походила моя нога по лесам, и по степям, и по горам, и дом мой был везде, где мне удавалось хорошо сочинять свои сказки.

МЕД

Кончились майские холода, стало тепло, и зажухла черемуха. Зато наметились бутоны рябины и расцветает сирень. Зацветет рябина, и кончится весна, а когда рябина покраснеет, кончится лето, и тогда осенью мы откроем охоту и до самой зимы будем на охоте встречаться с красными ягодами рябины.

Сказать, какой именно запах у черемухи, невозможно: не с чем сравнить и не скажешь. В первый раз, когда весной я понюхаю, мне вспоминается детство, мои родные, и я думаю о них, что ведь и они тоже нюхали черемуху и не могли, как и я, сказать, чем она пахнет. И деды, и прадеды, и те, что жили в то время, когда пелась былина о полку Игоре, и много еще раньше, в совсем забытые времена, — все была черемуха, и пел соловей, и было множество разных трав, и цветов, и певчих птиц, и связанных с ними разных чувств и переживаний, составляющих наше чувство родины. В запахе одной только черемухи соединяешься со всем прошлым. И вот она отцветает. В последний раз я хочу поднести цветы к себе — в последней и напрасной надежде понять наконец-то, чем все-таки пахнет черемуха. С удивлением чувствую, что цветы пахнут медом. Да, вот я вспомнил, перед самым концом своим цветы черемухи пахнут не собой, как мы привыкли, а медом, и это говорит мне, что недаром были цветы... Пусть они теперь падают, но зато сколько же собрано меду!

ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

На больших лесных полянах после человека, бывает, остается рябина, смородина, и тоже на густой зеленой траве узнаешь по угольку, по кирпичику, что жил когда-то здесь человек. Когда же уверишься, что действительно жил человек, то как будто в шуме ветра издалека начинают доноситься слова, даже совсем близко шепнут тебе. Тогда вспомнишь своих родных и умерших друзей, одних пожалеешь, что не дожили и ничего нового не знают, других — кондовых — хорошо, что не дожили!

ЦВЕТЫ

Иван-да-Марья всегда собираются вместе в такую тесноту, что я вспоминаю, глядя на эти цветы, прежних мужиков, как они тогда беззаветно плодились и теснились на своих клочках и по всей необъятной стране вопили: «Земли, земли!»

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Какая трава, какая роса! Расцвела в полную силу черемуха, зацветают вишенки, летит осиновый пух. Вот великое переселение лесов, вот пример безжалостной силы числа: сколькомиллионная часть этих пушинок посеется и вырастет.

ВЕСЕННИЙ ХЛАМ

Весенний хлам в лесу до тех пор, пока не закроется зеленью, торчит, кричит, колет глаза, каждый сухой прут как будто выговаривает: вот я, вот я. И так у людей тоже — беспорядочных, хаотичных — никогда почему-то нет времени все в себе прибрать, свой беспорядок они прикрывают широтою взглядов (русский человек особенно ею гордился), а это приводит в конце концов попросту к эгоизму, самому черному.

В наше время это поняли, русской «широте» пришел конец. Вот почему у нас норма культурных ценностей, выраженная словом «образование», есть в то же время и гарантия против старого дикого индивидуализма.

СТАРЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Как хочется жить на земле, где старые деревья видели моего деда и прадеда еще маленькими... Впрочем, хочется видеть эти деревья, но никак не дедов и прадедов — елецких купцов.

АВТОМОБИЛЬ

Бывало, по деревне в шляпе пройдешь, и за одну только шляпу тебя назовут барином. Теперь же в автомобиле приедешь — и только гражданин. Это оттого, что машина в деревне считается вещью государственной и прежде всего подумают, что ты приехал по казенным делам.

Мне случилось однажды приехать на собственной машине, и когда в деревне узнали, что машина собственная и что я сам писатель, то тут же решили: «Ну, значит, подарил Максим Горький».

С автомобилем и всякими благами, в расчете на личное к себе почтение, в деревне можно сильно просчитаться. Люди теперь привыкли к тому, что автомобиль не собственный, а связан с положением.

Я живо помню, как, например, в старое время генеральский чин от самого генерала разливался на вещи: генеральский мундир, генеральские туфли, ордена продолжали действовать после смерти генерала на генеральшу и генеральских детей. Даже теперь, после революции, встречаешь иногда липу в бурьяне, и колхозники говорят: «Тут жил генерал!»

Теперь почитают, конечно, должность, но положения из должности никакого не получается, человек остается таким, как и все. Казалось бы, положение писателя, старого, известного, как мое, — иное дело. Но нет! Сегодня сын пошел прописываться к председателю сельсовета, и он сказал, что сегодня ему некогда, а завтра он свободен весь день. «Хочешь, — сказал он, — сам приходи, хочешь — пришли старика». Признаюсь, что «пришли старика» меня чуть-чуть покорило, но, подумав, я улыбнулся и с удовольствием расстался со своим генеральским положением.

ГЕКТОР И АНДРОМАХА

Рано утром на велосипеде я поехал на Вифанский пруд, остановился передохнуть и одуматься на пляже, где в непосредственной близости друг к другу в трусиках и без трусиков купаются загорские мужчины и женщины. Они все знают друг друга, и тем самым устраняется необходимость церемониться: знакомство обеспечивает благопристойность; и, конечно, ничего, можно купаться здесь и вовсе без трусиков.

Хорошо иногда побывать в людных местах, когда на них нет никого. Тогда люди не сбивают мысль и в то же время ты не в пустыне: что ни услышишь, на что ни кинешь взгляд, все имеет отношение к людям. Вот на том месте, где вчера еще вечером столько пересидело людей, чтобы раздеться и броситься в воду, в эту ночь слепой крот из своей темной норы выбросил глину, и она сложилась округлым холмиком, как девственная грудь.

Слышна иволга — золотая птица непрерывно поет, это значит — у людей начинает рожь наливать и скоро тоже начнет золотиться. Вот раскрываются желтые лилии, и слышно издали — люди идут купаться. И опять я возвращаюсь к свежему холмику, вырытому кротом на том месте, где сидели вчера, быть может, прелестные девушки. Будь я отец, непременно я обратил бы внимание своего мальчика на этот очаровательный холмик из глины и рассказал бы ему что-нибудь поучительное из жизни кротов и людей...

Голоса приблизились. Показался военный, молодой человек, очень бравый, со своим годовичком на руках. Вот она, новая Россия, новая страна, обновленный народ. Никогда раньше в старой России нельзя было видеть молодого военного с младенцем на руках: младенца раньше всегда тащила бедная женщина. Но мало того, вот рядом с Гекто-

ром идет его Андромаха, без всякого стеснения, может быть, даже с гордостью, выставя свой беременный живот.

Здравствуй, племя молодое, незнакомое!

Солнце больше пригревает, после желтых лилий малопомалу начинают раскрываться на воде белые. Слышатся молодые женские голоса. Приходят две молодые стройные комсомолки. Что делать? Мне приходится отодвинуться несколько дальше, к мужскому пляжу: они-то не стесняются, но, к сожалению, я воспитан в приличии условного умеренного аскетизма, и с этой точки зрения как-то неловко находиться от купальщиц так близко. Но не могу же я глаз своих оторвать от красавца Гектора, его годовичка, Андромахи, не могу не заметить того, чем гордится эта женщина, не могу оторвать глаз от чистейших прекрасных форм молодых девушек.

Но вот опять мое условное аскетическое воспитание преодолевает, и я отвожу глаза. Нет! От этих форм никуда не уйдешь. В том же свете я вижу холмик из глины, сложенный кротом на месте, где люди купаются. К этой мертвой будто бы глине я присоединяю свое человеческое творчество и, представляя себя отцом, говорю:

— Сын мой, посмотри, полюбуйся на этих купальщиц, на этот холмик, сложенный за ночь кротом, подумай о том, что даже кроты стремятся создать совершенные формы: храни же ты, человек, чистый взгляд, чтобы обладать совершенной красотой.

ВЗЯТОК

Приходил пчеловод Саня, предложил перевести моих пчел на веранду — теперь уже не замерзнут.

— Мы теперь, — сказал я, — скоро сами будем, как пчелы.

— И доведут! — живо ответил Саня.

Я думал, он в недобром смысле сказал, а он, оказалось, думал о пчеле совсем по-другому.

— Собственность, — сказал Саня, — теперь уже, можно сказать, исчезла. Еще немного, и мы тоже, как пчелы, будем за взятки стоять, не собственность будет нашей целью, а «взятки».

С этим я не мог не согласиться и не пожелать от души, чтобы у людей на первом месте была не собственность, а взятка, то есть личное участие в создании общественного блага.

Между тем в те годы, когда все началось, я не раз содрогался от мысли, что со временем мы будем как пчелы. Наверное, это происходило от страха перед тем, что заставят для взятка бросить свой талант: я смешивал талант свой с собственностью, и оттого был заодно с собственниками и боялся общественного улья.

ДЕТИ

Коля, мальчик парторга, — с серыми глазами, природный мужчина. Он редко смеется, всегда в нем самостоятельная мысль и стойкость в доведении всякого поручения до конца. Лида, сестра его, когда карие глаза заблестят, то этим весь глаз заполняется, щеки вспыхивают, всегда готова подпрыгнуть, застыдившись, обхватить дерево, спрятать в нем вспыхнувшее лицо. Природная женщина.

САЛО

Вспомнил Зою с подругой — девочками в Москве в голодное время. Вышли они из дому, видят — у ног большой сверток, посмотрели — сало! Сообразили — сало было опущено на веревочке из форточки, и веревка оборвалась. Они взяли сало и решили: если бедные люди — отдать, а если богатые и дурные, то съесть. К сожалению, сало потеряли бедные люди, и пришлось отдать.

КОРОВИЙ ПРАЗДНИК

Маячила мне корова впереди на улице, и странно мне было, что корова прыгает. И догадка явилась: «Уж не выгоняют ли коров, не Егорьев ли день?» От мечты своей отдаленной стал приходить в себя и определяться во времени, и так мало-помалу пришел в себя и убедился, что правильно: по веселой корове узнал, что сегодня действительно чудесный коровий праздник — Егорьев день.

ГЛУБОКИЙ ФОКУС

Солнечный день с легким утренником. Сажусь в машину и еду в Торбеевское охотхозяйство.

Снимал мостик в солнечных лучах: был когда-то настоящий мост, но развалился, остались столбы, и теперь не на все, а только на два перекинули жерди, прибили поручни

и ходят. Сняв с этой стороны, я перешел по мостику на другую сторону и стал дожидаться человека, чтобы снять мост с человеком и потом сравнить, как же лучше, с человеком или без человека. И вот треснуло в кустах что-то, — идет! Нет, это треснул лед под лучами. И пошло и пошло стрелять во всех сторонах. А человек с котомкой на спине пришел бесшумно...

Снимал скворцов, поющих везде и всеми голосами.

Снимал чудесные лужи на дороге с оторочками из белых кружев.

Снимал опушки березовые и самые березы — до того белые в лучах утреннего солнца, что эта белизна принималась как свойство жизни, как цвет лица, как девичий стыд.

Осиновые же опушки не были так яркие, как березовые, зато были они теплее и глубже, на них было множество птиц, бегающих по земле и распевających на деревьях, певчих и всяких дроздов и скворцов. Треск льдинок под моими ногами был далеко слышен птицам, и они не улетали, а только издали вытягивали шеи навстречу мне.

Снимал сережки ольхи над водой, истлевающий лед на дорогах.

Снимал в тени лесных густых, но неодетых деревьев нагромождение льдин на маленьком ручье. Дно этого ручья было ледяное и от лесной темной воды желтое, и видно, что дно это стало уже мягкое: этой ночью заяц переходил вброд этот ручей, и от его лапок на желтом дне оставались следы.

Еще снимал я освещенный ярко старый, очень морщинистый пенёк, наверху которого, как на столе, росла елочка. Снимая, и несколько раз, этот пенёк с елочкой, я ставил глубокий фокус, чтобы вышла и окружающая эту пару (пенёк и елку) обстановка. Родственное внимание, открывающее мне в лесу такие сюжеты, было в это время тоже на таком глубоком фокусе, что, снимая этот старый пенёк с молоденькой елкой, я вспомнил старого Грига, как он однажды, вернувшись из горной прогулки, увидел на пороге своего дома маленькую девочку и с тех пор до смерти не расставался с ней и сочинял для нее песенки.

ЧЕЛОВЕК В ЛЕСУ

Смотрел на рыбака, плывущего на лодке в тростниках. Водяные курочки, тростники, вода и отраженные в ней деревья, и весь мир, и все вокруг как бы ставило вопрос,

и в этой фигуре плывущего человека всем им был ответ: вот плывет он, о ком вы спрашиваете и ждете, это ваш собственный Разум плывет.

СУДЬЯ НА ОХОТЕ

Мой приятель, народный судья, с вечера отправился в болота на уток и остался там у реки до утреннего обратного перелета птиц на плеса. С вечера ему удалось только раз выстрелить по крякве, потому что в тишине и сырости дым после выстрела непроницаемым небом лег на плес, и он даже не знал — осталась утка убитой на плесе или же улетела. Вскоре после того густой туман побежал с берегов и закрыл народного судью на всю ночь. Ему этот лежащий на болотах туман был непроницаем; тускло виднелись редкие самые большие звезды, потом на некоторое время все скрылось небесное, как самое солнце нам скрывается в пасмурный день. Ночь лунная и звездная красовалась над этим белым одеялом, плотно покрывшим болота Дубны. Перед самым рассветом, когда холоднеет, народный судья озяб и проснулся. Но не сразу решился он подняться, ему думалось, правый бок его лежал на сене, так было ему тепло сравнительно с левым. Он попробовал перевернуться, но в этот момент понял, что лежит в воде правым боком: вода кажется ему теплым сеном сравнительно с холодеющим в предрассветный час воздухом.

В это время по тропинке на холме я шел под звездами к чуть белеющему востоку и думал о судье, закрытом от меня белым одеялом тумана: думал я, что если не случится в этот час перемены, то судье уток не стрелять этим утром. Я не завидовал судье, утиному охотнику, и со всей радостью шел с собакой на дупелиную высыпку.

ЗНАКОМЫЙ БЕКАС

Жил у нас под Загорском бекас, до того известный всем, что я однажды в гнезде у него нашел футлярчик от пенсне и догадался об охотнике: это, наверное, мой знакомый судья. Встретив его сегодня на улице, я передал ему футлярчик.

ДЕНИС

Денис Алексеев — колхозник; когда приезжаешь к нему, сует мне в автомобиль гуся или пару уток. В этом отношении он чувствует свое превосходство над человеком,

имеющим собственный автомобиль: тот должен расходоваться, у того все купленное, а это *свое*. Этим он, с одной стороны, утверждает свое превосходство натурального хозяина, с другой — это, конечно, подарок, свидетельство вольных, непокупаемых отношений между людьми.

Вот было, Денис однажды привел мне гончую, и я заплатил ему двести рублей. Собака не годилась. Я отвез ему назад, и он мне сказал, что деньги истратил, но скоро продаст гусей и принесет.

— А может быть, — сказал он, — гусями возьмете?

— Можно, — ответил я, — и гусями.

— Хорошо, — сказал он, — я вам представлю гусей.

Прошел год и еще год, и все сроки прошли. Денис гусей не доставил. На третью осень приезжаю к нему на охоту, и, оказывается, злое предчувствие не обмануло меня: Денис помер. И когда я уезжал, старуха его вынесла мне гуся и две курицы и все уговаривала меня взять хоть это, и повторяла на все лады, что покойник строго-настрого наказывал ей долг свой гусями отдать.

ЭХО

Первое мое впечатление от колхозника Ш. было очень хорошее, и разговор был деловой. Но я проговорился, и ему открылось, что я тот самый писатель-охотник, о котором он много слышался. Тогда он бросил рассказывать о хозяйстве и повел меня к себе показывать охотничье ружье. Он рассказывал много невероятного о своих охотах в Сибири на медведей, потом перешел на рысей, что будто бы на его родине в Усть-Сысольске рыси бросаются на человека — прямо с дерева на горло. А когда я усомнился, то прибавил еще, что у них все охотники для защиты от рысей ходят с железными воротниками. Услыхав этот вздор, я понес свой: что в наших лесах есть муравей, от укуса которого... Я сказал, что для защиты от его укуса надо носить железный футляр на особенно чувствительном месте. На этот мой рассказ он прибавил свой, что будто, когда к медведю подходишь, то сердце столь сильно бьется, что в лесу слышно эхо.

— Неужели же вы сами слышали эхо своего сердца?

— У меня самого от медведя сердце не бьется — себя не слышно, и я не трус, но у товарищей слышу постоянно: так в лесу и перекатывается...

ЩУКА

Мы ехали по реке, поравнялись с молодым человеком в белом картузе; он был чрезвычайно взволнован, бормотал сам с собой, ругался. И когда мы с воды спросили берег: «В чем дело?..» — молодой человек очень обрадовался и все рассказал: на рогатку ему попалась большая щука, и он ее почти вытянул, но вдруг леска оборвалась, и щука исчезла в воде. Что же делать, — простился: это бывает со всеми... Но вот радость: эта щука всплывает брюхом вверх, и ветерок медленно гонит ее к берегу. Дождался, схватил, а она как хватит, вырвалась, и вот уже час прошел, больше не показывается.

— Вы как же ее схватили? — спросил Петя.

— Обеими руками за брюхо.

— Ну вот, щук, что ли, вам никогда не приходилось держать: надо было пальцами впиться в глаза.

— Знаю, что в глаза, да ведь она была мертвая, она плыла брюхом вверх.

— Мало ли что плыла, с ними надо ухо остро держать, бдительность нужна, товарищ.

Но рыбаку было не до шуток; вспомнив, наверное, как глушили рыбу ручными гранатами, он ответил с ожесточением: «Бомбами их, чертей, надо глушить!»

МАСТЕРСКАЯ ДЯТЛА

ЛОДОЧКА



Золотая сеть солнечных зайчиков на речном перекате. Темно-синие стрекозы в тростинках и елочках хвоща. И у каждой стрекозы есть своя хвощовая елочка или тростинка, слетит с нее и опять возвращается домой на свой хвощ.

Очумелые, млявые вороны вывели и теперь отдыхают.

Листик, самый маленький, на паутине спустился к реке и вот крутится, вот крутится!

Так и еду на своей лодочке вниз по реке и думаю о природе; мне природа теперь — некое неведомое в своем начале, Данное, из которого очень недавно вышел и сам человек и начал свое создавать из этого Данного, — создавать вторую природу.

Мы так радуемся грибу, когда его находим, что, кажется, и он с нами радуется. То вырос гриб сам в лесу, и мы так его находим в свой праздничный день, а то вырастает гриб шампиньон, нами посеянный в подвале и выхоженный. Там — радуешься тому, что само выросло и досталось нам даром, здесь — радуемся тому, что сами вырастили. Там гриб сам, здесь — мы сами.

Гриб растет только до того времени, пока его не найдут: после этого он делается предметом потребления. Так точно и писатель растет... Одну книгу возьмут, и опять из той же подземной грибницы, пользуясь теплым дождиком, надо расти, пока не придет и не откроет тебя потребитель и не срежет тебя под корешок. В молчании под сенью листьев и хвой совершается творчество.

МАСТЕРСКАЯ ДЯТЛА

Мы бродили весною в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц, дятлов, сов. Вдруг в той стороне, где у нас раньше было намечено интересное дерево, мы услышали звук пилы. То была, как нам говорили, заготовка дров из сухостойного леса для одного стекольного завода. Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было поздно. Вокруг пня срезанной осины лежало множество пустых еловых шишек: это все дятел ошелушил за долгую зиму, собирал, носил на эту осину, закладывая между двумя сучками и долбил. Осина эта была мастерской дятла.

Два старика, единоличники, только и занимались тем, что круглый год пилили лес. И вид у стариков был, как у старых грешников, осужденных на вечную заготовку дров.

— Вы вроде дятла, — сказали мы и указали на шишки его мастерской.

— Это вам за грехи, старые проказники, — и мы указали им на срезанную осинку.

— Вам велено резать сухостойные деревья, а вы что сделали?

— Дятел дырки наделал, — ответили грешники, — мы поглядели и, конечно, спилили.

Стали все вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и только на небольшом пространстве, — не было метра в длину, — внутри ствола прошел червяк. Дятел, очевидно, выслушал осину, как доктор, понял пустоту,

оставляемую червем, и приступил к операции извлечения червя. Пока он долбил свою дырку, червяк прошел выше: дятел ошибся. И третий раз и четвертый... Нетолстый ствол осины походил на свирель с клапанами: семь дырок сделал хирург-дятел и только на восьмой захватил червяка, вытащил и спас осину. Мы вырезали этот кусок, как замечательный экспонат для музея.

— Видите, — сказали мы старикам, — это лесной доктор, он спас осину.

Старики подивились. Один из них даже нам подмигнул и сказал:

— Так и у нас в нашей работе, может быть, тоже не одни пустые шишки.

Я же все перевел на себя, как писателя, и подумал: «И у меня тоже не одни пустые слова».

СТИЛЬ

Друг мой, из мирообъемлющей страсти рождается стиль художника, и только это имея и зная в себе, учись сдерживать ее и выговаривать осторожно, и так родится твой стиль художника из личной твоей всепожирающей потребности, а не из простой выучки мастерству.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

По насыпи женщины шли за дровами в лес, а другие уже несли хворост. Женщины устали, но где-то и для них был май и все прекрасное, только не говорили они о мае. «Моя печка все принимает, — говорила одна женщина другой, — в моей печке все горит».

Нет, не осенью по слякоти несли женщины дрова, а в мае среди начинающих зеленеть деревьев и первых цветов, и они были рады маю. Но если бы они могли заглянуть внутрь меня, идущего в будний день наслаждаться маем, больше! — посвятившего жизнь этому чему-то, что у всех между прочим... просто сказка. Вот оно что значит сказка: это то, что показывается нам «между делом».

ВЕЧНОЕ ПЕРО

Можно сделаться большим художником, имея вовсе даже небольшой талант. Для этого в написанном надо уметь находить вечные строки (в том смысле, как говорят «вечное перо»). По этим удавшимся вечным строкам надо

строить новое произведение, искать в новом, что удалось. Так, восходя все больше и больше, надо насыщать свои произведения «вечными» строчками, вечно стремясь к совершеннейшему. И, работая всю жизнь, как я указываю, можно чувствовать себя довольно уверенным. Большинство же работают неуверенно, исходя из таланта, пишут, «как бог дал». Они очень скоро исписываются, мелькнув в обществе «королями сезона» — «бог дал, бог и взял».

РОДСТВЕННОЕ ВНИМАНИЕ

Чтобы описать дерево, скалу, реку, мотылька на цветке или в корнях дерева живущую землеройку, нужна жизнь человека, и не для сравнения и очеловечения дерева, камня или животного нужна жизнь человека, а как внутренняя сила движения, как мотор в автомобиле. Нужно самому автору в таланте своем дожить до того, чтобы все это до крайности далекое стало близким и возможным для человеческого понимания.

УТРАТА

Я шел сегодня с тем утренним восторгом в душе, который ищет себе предмета для воплощения и обыкновенно быстро находит в чем-нибудь: может быть, сарыч тяжело и неохотно слетит с влажного дерева, может быть, наградят тебя ели обилием урожая светло-зеленых своих шишек, может быть, заметишь — красный тугой грибок лезет, оглянись — там другой, третий, и по всей поляне все грибы и грибы...

Я бросился на грибы, собрал их и дальше пошел, не отводя глаз от земли. Я был теперь связан определенной целью исканья грибов, я был весь целиком этим поглощен и больше не мог ничего открывать в природе.

МЫСЛЬ

Сегодня мороз небольшой, корки не было, и мы, утомленные, только к восьми часам вернулись с гона. Когда измученное тело начинает отдыхать, то мысли приходят в голову все радостные. Мысль тогда понимаешь как явление отдыха тела. И это объясняет, почему мои книги имеют успех в санаториях.

Запомнить, что зимой на рассвете ели бывают совсем черные в снегу.

МЕЛЬНИЦА ДОН КИХОТА

Когда я читаю о рыцаре печального образа, как он с копьём наперевес мчится к мельнице, я всегда вхожу в положение мельницы: ведь это случайность, каприз автора пустить ее в ход как раз в то время, когда мчался на нее Дон Кихот. Если бы дело происходило в безветренный день, то ведь очень возможно, что рыцарь проломал бы ей крылья и лишил бы на некоторое время население возможности обмолотить свое зерно.

Я живо вхожу в положение мирной, беззащитной, всем необходимой мельницы, и всей душой в эту минуту ненавижу я рыцаря, наделенного всеми хорошими качествами, и только смешного, но не страшного.

А он страшен...

В ТРЕТЬЯКОВКЕ

Утро — яркое, после обеда — жара. Смотрел еще раз Левитана и узнавал в его пейзаже без человека самого Левитана: клáди в лесу через ручей, и нет человека, и в то же время чувствуешь, что как бы прозрачной невидимой тенью проходит по этим кладям человек, и этот человек есть сам Левитан. Близко мне, но сумрачно и односторонне, не хватает радости: чтобы виден был человек вне себя от радости, с бесконечно расширенной душой.

СКАЗКА

Сказка — это момент устойчивости в равновесии духа и тела. Сказка — это связь с приходящим и уходящим. Я обдумываю сказку о строительстве Беломорского канала и смотрю на Каменный мост. Его заканчивают, и теперь ясно видно, что всякое строительство, здание ли это, в котором будут жить, мост ли, по которому будут ходить, — есть поглощение будущим настоящего, и эпоха усиленного строительства в истории есть создание будущего. Мое дело в строительстве — писать свою сказку. Смотрю на строителей моста и обещаю эту весну мобилизоваться: да не будет у меня места ни в деревне, ни в городе, мое место там, где созидается моя сказка.

МОЙ СТОЛ

Стол мой запущен, он похож на лес: контуры рисуют умственного работника, а в деталях хаос, ничего не понять никому, кроме самого хозяина. Так выходит в лесу ежик, перебирает листву: он все знает. И так я за своим столом.

ЧУВСТВО СВЯЗИ

Серая Сова говорит, что из чувства связи со всем миром каким-то образом выходит самоограничение. Это хорошо, я это очень знаю, только называл то же самое смирением. В этом самом ограничении в свете чувства целого зарождается страстная любовь к жизни, а из любви к жизни — потребность родственного внимания. И этому, именно вот этому надо учить людей в наше время, когда все собираются друг друга уничтожать.

СЛОВО И СЕМЯ

На опушке разговорился с пахущим колхозником о том, что как неправильно в природе устроено: сколько надо выбросить даром семян, чтобы вышел осинник.

— Впрочем, и у людей так же бывает, — сказал я. — Взять хотя бы нас, писателей: сколько слов пропадает, пока из одного что-нибудь вырастает.

— Значит, — заключил мои слова колхозник, — если даже писатели сеют пустыми словами, можно ли спрашивать нам с осины?

МЕТЕЛЬ

Бывает в душе как будто метель, мысли летят, летят, и никак ни одну не поймашь, и в то же время нет ни малейшей тоски, и вся эта метель мыслей в душе совершается как бы при солнечном свете. Из этого внутреннего мира, где никак теперь невозможно поймать мысль, чтобы ею заняться, я выглядываю наконец в мир внешний и вижу, что там тоже при полном солнечном свете по серебряному насту тоже перебегают струйки поземки-метелицы.

Необычно прекрасным кажется мир, когда он соответственно продолжает и бесконечно расширяет и усиливает мир внутренний. Я узнаю сейчас весну света по теням: дорога моя примята саними, правая сторона ее — голубая

тень, левая — ярко-серебряная. Сам же идешь по санному углублению, и кажется тебе, что так можешь идти бесконечно.

РАСШИРЕНИЕ ДУШИ

В прикосновении с чем-нибудь новым, невиданным душа ширится, и кажется, ты смотришь на все первым глазом, и вот этим я в свое время широко пользовался: ездил в новые невиданные края и схватывал и питался. «Корень жизни» написан мною исключительно по первому глазу и потому удался.

В этой способности захватывать в себя мир при помощи первого глаза есть предел емкости: после трех месяцев всасывания в себя чего-то нового у меня способность эта прекращается и смотреть ни на что больше вовсе не хочется. Потому-то вначале так боишься пропускать даром минуты: ты знаешь, что время ограничено, задержат тебя по-пустому — и ты навсегда пропустишь.

Мне однажды привелось пробыть на Кавказе больше трех месяцев, ежедневно принимая в себя большую дозу сильных впечатлений, и после того плыть три дня по морю. И вот до чего я был перегружен впечатлениями, что за три дня езды при совершенном безветрии от всего Черного моря сохранился во мне какой-то не очень большой голубой круг.

ЛИЧНОЕ

Если я занимаюсь дома в часы отдыха каким-нибудь любительством: собака там есть у меня любимая, или птица, или там что-нибудь есть — маленький коврик, который я каждое утро прячу под матрац, а вечером на ночь расстилаю с любовью для своей босой ноги у кровати, и множество всего другого интимно-личного, как у всех, в том числе, конечно, разные мечтанья, желанья, почти беспредметные — так вот, если люблю все это, ценю, невольно придаю какое-то всему этому живому личному особенное значение, то как вдруг все это унижится, и, мало того, стыдно станет за все, когда это личное, бесполезное вдруг предстанет перед глазами общества. И пусть перед этим объективным глазом все мое личное явится, как никому не нужный хлам плюшкинской кладовой, — не в этом дело, а страшно, что ты сам заражаешься этим общим судом, и тебе самому становится

стыдно, что ты в такое время занимаешься подобной ерундой. Первый росток личности всегда находится под угрозой: росток еще не окреп.

Так вот, сколько раз, прочитав злобную заметку о своих книгах, проникался я этим самоуничижающим чувством к своей плюшкинской литературной кладовой и сколько раз восстанавливался во всем том своем хозяйстве, когда друзья подавали свой голос за мой хлам.

ДОВЕРИЕ К СЕБЕ

Мало-помалу определяется, что не так уж очень надо гоняться за материалами: довольно взглянуть, и можно писать. Я это понимаю как рост доверия к себе самому. Много изучают и проверяют себя при научной работе, но в искусстве самое главное — доверие к себе, к своему первому взгляду. Только надо помнить всегда, что эта простота восприятия и это доверие к себе обретаются сложнейшим трудом.

КЛАД ЧЕЛОВЕКА

Из черноты омутов овражных, сырых, темноподвальных этажей леса через ольху, повитую хмелем, и крапиву выбираешься наверх к цветущему лугу с бабочками, обставленному громадными сверкающими волнами древесных кущ. Тогда знаешь наверняка, всем своим существом понимаешь вокруг, какие это огромные несобранные богатства, перед которыми ничто все догадки о кладах Ивановой ночи. Напротив, случайно вспомнив о кладах, поражаешься бедности и какой-то низменности человеческого воображения. Вот они — без всякой чертовщины прямо перед тобой лежат не собранные человеком богатства. Не под землей они где-нибудь, а тут вот прямо перед тобой лежат: поди и возьми! Обрадованный, стоишь перед ними и дивишься человеку, не протянувшему еще руки к этим подлинным богатствам, к этому истинному счастью. Сказать бы, открыть, но как скажешь, чтобы тебе не ответили славой, не уничтожили бы всего счастья, приписав его личным особенностям.

СВОЯ МЫСЛЬ

К скольким тысячам вопросов служит ключом это знание, что в творчестве работает только своя мысль и она одна определяет основную силу творчества. И как это

вышло, что я только на шестьдесят пятом году жизни своей об этом наконец-то догадался. Это значит, однако, что душа моя и теперь продолжает жить и развиваться. Знать-то, конечно, знаешь, но мысль тогда лишь годится для творчества, когда она своя мысль, а своей она становится, когда делается душевной мыслью. Пусть мысль миллионы раз высказывалась, но когда она является как душевная мысль, она всегда бывает новая мысль: это своего рода личное ее возрождение. Вот поймать этот поток личного возрождения мысли и значит — вступить на творческий путь. Это чудесное и случилось со мной, когда я впервые взялся за перо.

ПРЕДКИ

Счастье старости состоит в том постоянном обогащении, когда думаешь о прошлом: люди встают мертвые, и одни тут же ложатся в могилу свою, другие впервые только и показываются в своем настоящем значении, становятся понятными.

У стены темных елей багряные осины и темные золотые березки сами собой расположились в тот особенный порядок, как часто располагаются скалы в горах, облака, а также пятна времени на обоях в комнате и особенно волнистые линии вокруг сучков на деревянных стенах, о которых говорил еще Леонардо. Фигуры, возникающие в облаках, в скалах, в лесах, в комнатах из пятен и сучков, часто дают нам образы давно умерших полузабытых людей. Месяц в облаках был однажды в таком сочетании, что показалось лицо моего двоюродного брата, и так выразительно, что я в первый раз в жизни своей понял истинный смысл этого умершего человека.

ГОЛОД ЧЕЛОВЕКА

Красотой природы насыщаешься, как пищей: тебе дано столько-то вместить, и больше не можешь. Но если ты сумеешь это выразить, то рано или поздно придет человек другой и на твое прибавит свое, а после другого третий, дальше, дальше: человек в красоте ненасытим.

ВЫХОД НА ВОЛЮ

Все серое, дорога рыжая, на окнах первые слезы весны. Я вышел из дому, и как только вступил в лес, душа моя расширилась, и я вышел в большой мир.

Глядя на огромное дерево, я думал о малейшем корешке его под землей, об этом почти волоске с головкой, укрытой чехликом, пробивающем себе извилистый путь в почве в поисках пищи. Да, вот именно это чувство какого-то огромного целого, в котором ты определяешь сейчас назначение твоего личного корешка, и есть именно то, что я почувствовал в лесу, когда вошел в него и обрадовался. И радость моя была похожа совсем на радость при восходе солнца.

Но какое же это трепетное чувство! Сколько раз я пытался проследить его возникновение и овладеть им навсегда, как ключами счастья, и так и не мог. Знаю, что это расширение души происходит после какого-нибудь стеснения, как результат неясной мучительной борьбы с пошлостью; я знаю, что мои книги являются свидетельством многих одержанных мною побед, но я вовсе не уверен в том, что, когда явится какое-нибудь последнее стеснение, вроде какого-нибудь рака желудка, я выйду на волю и в этой великой борьбе.

Знаю еще, что когда является этот выход на волю, то необычайно усиливается родственное внимание. Так вот я, радостно сливаясь сейчас со всей жизнью, в то же время не упускаю из виду одну маленькую, движущуюся впереди меня черную головку на белом снегу. Дорога, по которой я иду, наезжена розвальнями; внизу рыжее корыто, выбитое копытами, края корыта плоские, белые, твердые, — это широко вытерто грядками розвальней, и по этим краям хорошо идти. Так я иду по такой боковинке и знаю, что за извилиной дороги по рыжему корыту от меня птица бежит, ее голова мне видна на фоне белой стороны дороги, и по голове я догадываюсь, что птица эта очень красивая, с голубыми крыльями сойка. Когда выпрямилась дорога, я увидел, что рядом с сойкой бежали от меня красный снегирь и два поползня.

ОБРАЗ

Почему это равняется настоящему открытию, если даже общеизвестную мысль, о чем люди говорят повседневно, удастся высказать образами? Не потому ли это бывает иногда, что люди, повторяя мысль, утрачивают смысл ее и вновь узнают, когда мысль является в образе?

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ТРОН

В художественной вещи красота красотой, но сила ее заключается в правде: может быть бессильная красота (эстетизм), но правда бессильная не бывает.

Были люди сильные и смелые, и великие артисты были, и великие художники, но суть русского человека — не в красоте, не в силе, а в правде. Если же весь даже люд, вся видимость пропитается ложью, то для основного человека культуры это не будет основой, и он знает, что эта ложь есть дело врага и непременно пройдет.

Не в красоте, а только в правде великие художники черпали силу для своих великих произведений, и это наивно-младенческое преклонение перед правдой, бесконечное смирение художника перед величием правды создало в нашей литературе наш реализм; да, в этом и есть сущность нашего реализма: это подвижническое смирение художника перед правдой.

СЛУЖБА СВОБОДЕ

В состав свободы входит способность *служить*: я служу свободе, я не потребляю ее, и моя служба приводит к накоплению моей свободы в том смысле, что если я захочу чего-нибудь, то и могу достать. И так точно жил скупой рыцарь, только у него в сундуках было золото, а у меня в моих папках слова.

КРАСОТА

Красота есть свидетельство личности. И даже в безличной красоте природы, если разобраться, видна творческая личность. Одни люди, пораженные красотой ландшафта, вспоминают художника, создавшего такую картину: «Левитан, настоящий Левитан!» Другие сами впервые узнали красоту ландшафта и тем самым создают его.

В свое время мы боролись с эстетизмом, потому что интерес к красоте отнимал всякий вкус к революционной морали. Декаденты взвились было против этой морали, как боги, но это был только эксцесс: сейчас же они были остановлены богоискательством, а это — революцией. Между тем личное право служить красоте существует как свидетельство личности, и доказать его можно лишь путем творчества.

ОБРАЗЫ НАШИХ УТРАТ

Я думаю об искусстве, что оно всегда дает нам образы наших личных утрат, — как же иначе? Непременно я должен полюбить что-то, расстаться, оборвать брачный полет и залечивать боль образами утраченного. Все поэты потому также начинают петь о природе, что утрачивают природное богатство, свойственное всем. Ведь мы, люди, миллионы лет двигаясь вперед, теряли способность плавать, летать или сидеть, как листики на черенках, прикрепленные к могучему стволу дерева, или ползать по тонким стеблям растений, качаясь от ветра, кружиться в воздухе семенным пушком, пылить воздух спорами, — мы были всем и многое утратили такое хорошее, что очень хотелось бы опять иметь. И только потому, что мы в родстве со всем миром, восстанавливаем мы силою родственного внимания общую связь и открываем свое же личное в людях другого образа жизни, даже в животных, даже в растениях, даже и в камнях.

ИГРА

Никакими полезностями не интересуюсь, но ценности собираю, и они через меня становятся полезными для других. Тешит именно то, что только через меня, собирающего их вполне бескорыстно, они становятся полезными, что я, вовсе не думая о пользе себе и другим, собираю, и только через мою игру они становятся полезными людям. Значит, есть путь на земле — жить играя.

ПИСАТЕЛЬ — ЖИВОПИСЦУ

До полудня из «кошачьих хвостов» светило солнце. После обеда теплый мелкий дождик-парун. Так чудесно это все складывается для урожая. До обеда снимал возле Глинкова маленькую речку в черемухе еще в полном цвету; снимал папоротники с загнутыми колечком верхушками, мать-мачеху, группы желтых цветов в реке. Поедом ели меня комары, но тут же пели соловьи прямо над ухом, горлинки ворковали, иволги перекликались, надрывались лесные голуби. Не только снимал, но даже и записывал в книжечку, потому что мне было хорошо, линии моего опыта в жизни иногда сходились, и от этого рождалась мысль.

Но так же точно работает и живописец над своими этюдами, — не было бы ничего удивительного видеть живописца, работающего в болоте. Почему же на писателя в этом положении странно смотреть? Вероятно, потому, что писатель в общем понимании есть благополучный художник и живет в кабинете.

ЛЮФТ

Смотрю, как один казах режет барана, а другой казах (акын) поет стихи о том же, о том, что казах режет горло барану. Я никак не могу себе представить, чтобы акын одновременно и резал барана и пел. По-моему, для того, чтобы петь о баране, у поэта должна быть еще какая-то пустота, вроде как «люфт» в рулевом рычаге машины.

Освобождающая от прямого действия пустота непременно входит в состав души поэта, все равно как на мельничном колесе непременно должны быть пустые ящики, в которые льется вода. Льется чужая жизнь в пустоты поэтического колеса и тут принимается, как своя собственная, и этот миг пребывания чужого в своем порождает не менее полезное действие, чем тоже очень кратковременное наполнение пустой ячейки турбины.

МОЯ ОХОТА

Некоторые приписывают мой хороший вид питанью и воздуху: «Вы прекрасно выглядите, наверное, по своему обыкновению, в лесу живете. Как охота?» Я всегда вежливо отвечаю, что лес и охота самые лучшие условия для здоровья... Мой лес! Моя охота! Если бы только побывали они в болотных комариных лесах, часами бы погуляли под песни слепней! И тоже — охота моя! Внешней обыкновенной охотой я скрываю, оправдываю в глазах всех мою внутреннюю охоту. Я охотник за своей собственной душой, которую нахожу, узнаю то в еловых молодых шишках, то в белке, то в папоротнике, на который через лесное окошко упал солнечный луч, то на поляне, сплошь покрытой цветами. Можно ли за этим охотиться? Можно ли кому-нибудь об этом прямо сказать? Прямо никто не поймет, конечно, но когда имеешь цель: убить куропатку, тогда под предлогом куропатки можно описывать и охоту свою за той прекрасной душой человека, которая частью приходится и на меня.

И вид мой хороший («прекрасно выглядите») происходит не от воздуха болотных лесов и не от питания: оно самое

обыкновенное. Я надеждой живу и радостью своих находок, и я имею возможность этим питаться, потому что более или менее хорошо подготовился на тот случай, если на вопрос мой кукушке о том, сколько мне жить, она, не докончив свое «ку-ку», ответит мне «кук» и улетит.

ВОДЯНАЯ КРЫСА

Это было в апреле на пойме, где разлив затопил леса. Кустиками над водой торчали верхушки деревьев. Я подъехал к ним на челноке, и тут на одной ветке в лучах вечернего солнца сидела водяная крыса. Она потеряла свою родину, и это событие в ее личной крысиной судьбе было не общее крысиное, а чисто личное: для спасения своего она не могла применить общий крысиный опыт, как делают все крысы и как делала она сама всю жизнь и только этим жила, и опыта этого ей было довольно. Теперь она стала как человек и должна была для своего спасения придумать что-то свое личное. Она плыла, наверное, издалека и до того была утомлена, что не бросилась в воду, даже когда я стал в упор смотреть на нее. В лучах заходящего солнца лоб ее округлился, как у человека, и что-то прекрасное, человеческое было в ее глазах, обыкновенно черных, теперь кровавого цвета, в луче заходящего солнца. Прекрасным был мне отблеск разума в крысиной судьбе, и я думал: вот и тут человек есть, в этой крысе, и везде он может быть. И тихо, боясь нарушить покой отдыхающей водяной крысы, я стал отодвигать назад свой челн.

ЦВЕТСОЗИДАЮЩАЯ СИЛА

Отдыхая в машине, гляжу на лес, засыпанный снегом, расцвеченный лучами заходящего солнца, и мне возвращается старая душевная мысль о том, что удержать эту красоту можно только красками и что тут в красках все дело. И мне вспомнилось одно подслушанное определение: пространство — это цветосозидающая сила...

БОЛЬШЕ ТРЕХ

Один в лесу, или вдвоем, или втроем, а когда на охоте нас больше трех, то это так много, и тогда можно быть опять как один. Вот почему город — убежище не только коллективного, но всего личного, творческого.

Перед окном моим весь еще не залитый круг луга ровно покрыт проталинами, лужицами и белыми снежными кружками, и все эти пятна, белые, синие и желтые, рассекает белая полоска, уходящая вдаль. Невозможна в природе такая прямая полоска, увидишь — и сразу догадаешься, что это зимняя тропа человека. Но вот и на небе вижу — такая же ровная прямая разделяет одни облака от других. Смотришь на такую прямую почти суеверно: только человек бы мог провести, но какой же там в облаках человек!

И вдруг из-за облаков на синее выплывает самолет, и все становится понятным: эту прямую на небе оставил за собой человек. Так на земле и на небе идет борьба за прямую.

ВРАГ

Слышу, треплется где-то какой-то мотор, но я в мыслях своих так далек от моторов, что не различаю — от самолета это звук, или от автомобиля, или пришел он через окно какой-нибудь фабрики, слышу — треплется звук, а спроси — и не скажу. Так и с людьми бывает: видишь, знаешь, лицо знакомое и весь знаком, а имя не вспомнишь: треплется какой-то человек. И какой это ужас: он подходит к тебе, улыбается, разговаривает, как очень близкий человек, и ты с ним тоже улыбаешься, шутишь. Но вдруг он побледнел: он понял. И я побледнел: вижу всего насквозь, а не могу назвать. «Да вы просто не узнаете меня», — говорит он жестким голосом. И тут — о счастье! — я вспомнил. «А если узнали, то назовите», — требует он. И я спокойно говорю: «Какой вы странный, и как вас-то мне и не узнать». Так один раз я спасся, а был один случай: я не узнал, он же догадался, что я его не узнал. И стал моим врагом.

ЕЩЕ ВРАГ

Ходил в баню. Показалось, будто П. вошел и сел около меня. Я не стал на него смотреть, а то, боюсь, будет меня ругать за сына. Ухожу, а он за мной. Сажусь у крана. Он садится возле. Долго моемся рядом. Неловко. Встаю и тихонечко удираю в другую комнату.

«Ну, — думаю, — отделался, враг за мной не пойдет».

Не тут-то было: враг идет вслед за мной с шайкой, мочалкой и мылом. И опять рядом садится. «Ну, — ду-

маю, — наверное, теперь он меня бить будет». На всякий случай переставил шайку к правой руке, чтобы схватить ее вовремя, крепко взял ее за ушки и решился, наконец решился: поднял глаза на врага и замер... Враг оказался не П., и настолько не враг, что попросил меня потереть ему спину.

Так вот сколько бывает случаев возникновения страха и неприязни к человеку только из-за того, что не хочешь глаз поднять и посмотреть на него.

Сколько раз так бывало со мной: собрался врага шайкой хватить, а вместо этого намыливаешь мочалку и трешь ему спину.

ЧИТАТЕЛИ

Вечером девушки наши привезли мне из Москвы покрышки для машины. На электричке их хотели оштрафовать и стали составлять протокол. Но какой-то военный («весь осыпанный ромбами»), услышав, что шины для Пришвина, вдруг вскочил и стал говорить, что Пришвина — писателя — он читал и готов ручаться за него, и если надо — заплатит штраф. Тогда и кондуктор, составлявший протокол, остановился и пробормотал: «Я, кажется, тоже что-то читал», — и, обещая сейчас вернуться, вышел и больше не возвращался.

АНТЕЙ

Есть тайны кельи отшельника, которые они все огулом относят к искушениям «дьявола». Такие же тайны есть и у всякого настоящего писателя. Одна из этих тайн — это, что я лучше всех. Другая состоит в унижительных обидах: там-то не упомянули, там обошли... От этих ночных келейных мыслей чувствуешь себя деревом с гнилой сердцевинной. А когда явится утренняя бодрость, открываешь окно, слышишь бормотание тетеревов, клики скворцов, видишь напряженные соком шоколадные ветки берез, серые гусеницы зацветающих осин, то, напротив, чувствуешь себя победителем всего в себе мелкого и по себе понимаешь, почему возрождался Антей, прикасаясь к земле.

РАССКАЗЫ О ЛЕНИНГРАДСКИХ ДЕТЯХ





БОТИК

На берегу Плещеева озера, вблизи древнего русского города Переславля-Залесского, на красивом холме расположена усадьба Ботик, где хранится ботик Петра Первого, один из дедушек русского флота. В летние тихие дни отсюда виднеются с противоположного берега спокойные отражения в тихих водах древних церквей, холмов с городищами, собор XI века и много такого, на что и сам Петр, со своим Санкт-Петербургом, смотрел как на древности.

Мало найдется под Москвой мест красивее Ботика: с высоты овалом шесть на девять верст стелется озеро, совершенно прозрачное, с чудеснейшим пляжем; направо, часто из дымки, выступает древний город, как невидимый град, налево — леса, не дачные, а дикие, с лосями, медведями, и уходят, почти без перерыва, на север.

Двадцать лет тому назад мы жили здесь совсем уединенно, в белом дворце, среди старинных берез, будто бы екатерининского времени. Только один раз в году, в Петров день, когда расцветают все травы, сюда во множестве собирались переславские граждане почтить память Петра. В другое время редким, случайным посетителям усадьбы

мы показывали памятник, поставленный в 1852 году владимирским дворянством Петру Великому. На этом памятнике золотыми буквами по серому мрамору был написан грозный указ царя о неминуемом возмездии потомкам переславских воевод, если они не будут беречь остатки его потешного флота. После чтения грозного указа всегда оставлял в нас тяжелое впечатление вид жалкого ботика с перепревшими канатами, единственного уцелевшего суденышка от многих Петровских галер и фрегатов. Каждому посетителю должно было приходиться в голову при виде ботика, что не поздно ли хватилось переславское дворянство, что, пожалуй, не миновать уже потомкам воевод петровского возмездия.

Характерным для натуры Петра было непрерывное стремительное движение вперед, и это так было прекрасно понято Фальконе и Пушкиным, давшими нам образ гиганта на бронзовом коне. Трудно себе вообразить после этих памятников что-нибудь более жалкое, чем то мраморное пресс-папье, что стоит на Ботике. В пределах сил наших мы решили устроить из Ботика памятник чисто в духе Петра: устроили в прекрасном белом каменном доме географическую станцию.

Помнится, один из ученых, работавший на этой станции (если не изменяет мне память, профессор Ласточкин), предлагал ставить научные опыты здесь не больше как лет на пять, потому что через пять лет берега красивейшего озера средней России должны быть плотно заселены санаториями, курортами и дачами.

Не сбылось профессорское пророчество. Берега Плещеева озера еще остаются пустынными.

После географической станции на короткое время здесь мелькнула станция биологическая, потом здесь был дом отдыха, потом техническая школа и другие учреждения, вытеснявшие друг друга.

Во время блокады Ленинграда сюда эвакуировали детей, чьи матери погибли в Ленинграде. Дети были очень истощены — косточки да мешочки, — но наша простая и сильная природа пришла им на помощь, и к тому времени, когда запел соловей, детишки оправились, забегали, запели, защебетали.

Вот тогда прошлое потешного флота Петра и наличие самого детского ботика — все вместе связалось, как будто сам Петр обрадовался детям и отменил свой суровый указ о возмездии.

ДЕТИ

Двадцать лет тому назад мы пришли на Ботик и, прикоснувшись к местной природе, в себе самих открыли детей, способных радоваться при добывании себе пищи ружьем в лесу и сетью в озере. С нами был пожилой художник, совершенный ребенок душой, и, глядя на него, нам приходило в голову, что, может быть, каждый настоящий художник хранит в себе ребенка своего, как нежная мать, и воспитывает его, как разумный отец. Мы сами тогда благодаря художнику настроились, как дети, и восхищались природой.

Какие были тогда над Ботиком звезды!

Теперь мы пришли сюда измученные не своим личным горем, а ужасным бедствием всего человечества на земле, общим горем, ломающим личную жизнь.

И вот они опять над Ботиком, те же самые большие, блестящие лучистые звезды. Какие они теперь стали холодные, какие стойко-равнодушные к человеческому горю! Очень больно было при виде этих пустых звезд расставаться со всем лучшим в своем прошлом: никаких сказок мы больше не видели за этими благополучно неизменными украшениями небесного свода. Но, конечно, это были только сокровенные поэтические чувствования, мы не могли к звездам предъявить какие-то требования: все разочарование было только от того, что мы сами больше уже не были просты, как дети. Но когда потом прибежали к нам дети, в их глазах мы узнали сказки детства, теперь как будто сошедшие со звезд. Мы очень обрадовались этому чувству, как будто вдруг нашли свое лучшее распределенным в этих карих, и синих, и черных, и голубых детских чистых глазах.

Мы брали их за руки и на руки, мы позволяли каждому прикоснуться к нашей одежде и очень внимательно слушали их щебет и лепет.

Ленинградские дети, никогда еще не имевшие тесной близости с живой природой, рассказали прежде всего о сером быстро бегающем зайце.

— С огромным хвостом! — выкрикнул голос из толпы.

— Неправда, — ответили мы, — у зайца хвост — небольшая белая пуховочка, и у охотников называется не хвостом, а цветком.

— Неправда! — выкрикнул тот же голос. — У всех зайцев, может быть, и цветок, а у нашего, все мы видели, вот какой огромный хвостик!

Еще рассказали нам о котенке, который забрался к вороне в гнездо, и ворона выклевала ему глаз.

— Глядите, вон он идет, одноглазый!

— Ах, бедный!

— Нет, он не бедный, так ему и надо: зачем он лез в чужое гнездо!

Еще рассказали о лягушке: она прыгала, ее поймали, пожалели немного, чтобы удержать, а она после того прыгать больше не стала.

— Ах вы, безобразники! Вы замучили лягушку, а это, может быть, и была сама лягушка-царевна!

И рассказали им по-своему, как выйдет, о лягушке-царевне. Вероятно, вышло неплохо: все дети были растроганы, все жалели лягушку-царевну и обещались никогда лягушек не душить.

— Пусть себе прыгают!

— Лягушек не будем душить, — сказал один маленький бутузик, — но если медведь придет?

— Медведей тут близко нет, медведь не придет.

— Как же так? Вчера ночью к нам медведь приходил. Ночью я сам слышу: стук-стук! — отворяется дверь, и входит огромный медведь, и прямо ко мне, а я во весь голос орать. Прибежали скоро няни, а медведь убежал.

— Медведей, — сказали мы, — не бойся: они очень человека боятся.

И рассказали им действительный случай с нами на Севере, когда мы целый месяц в тайге искали встречи с медведем и не могли встретиться. Но когда сели в лодку и поплыли, то медведь вышел из леса и долго смотрел нам вслед, как мы плыли вниз по реке.

— Чего же вы его не били?

— А не видели.

— А как же узнали, что он глядел?

— После один охотник рассказал: он видел с другого берега из своего шалаша.

И еще этот охотник рассказал, будто бы, когда река повернула и мы скрылись из виду, медведь залез на высокое дерево и оттуда опять долго глядел. А под конец помахал нам лапой, язык нам показал, слез с дерева и убежал в лес.

Рассказывая о медведе, мы сидели на широком пне, а дети плотно прижались к нам, как, бывает, многочисленные отпрыски обступают тесно пенёк материнского дерева. Все дети были чистенько и заботливо убраны, вполне здоровые, с розовыми и загорелыми личиками. Но только как-то уж очень плотно они к нам прижимались, слишком тянулись к нам. Так бывает в лесу, когда срежут дерево и корневая сила выбрасывает пуки свежих отпрысков, и листики на них как-то очень уж зелены, кора слишком нежная, стволы чересчур частые кругом обнимают пустое место: дерева-матери нет, а внизу пенёк.

Маленькая девочка Мария Тереза, дочь испанской комсомолки, умершей в Ленинграде, гордая, нелюдимая, робко-застенчиво опустив глаза, спросила: не позволим ли мы ей называть нас папой и мамой? Вслед за Терезой все начали просить нас об этом.

Так мы были на месте умершего дерева-матери, и бедные человеческие отпрыски спрашивали нас:

— Не вы ли пришли, наши папа и мама?

Что нам было сказать!.. Когда видишь крошечные существа четырех, пяти лет, тянущиеся к нам с вопросом: «Не вы ли папа и мама?» — это потрясает и сразу открывает и делает понятными потерявшие от частого повторения первоначальный свой смысл слова: родина-мать и отечество.

ЖИЗНЬ ВОЗЛЕ ПНЯ

Нигде не найдешь в лесу жизни более обильной и страстной, как возле старого пня. И мы тут сидели на пне, радуясь, что ребяташки так жадно слушают нас. Мы спросили одного мальчугана:

— Скажи, милый, кого ты больше любишь: папу или маму.

— Папу, — ответил мальчик, — я, конечно, больше, люблю: папа с нами играл, наш папа был, как мы.

— А мама?

— Мама готовила на кухне, стирала белье.

Это значило у мальчика, что папа мог играть с ним, а маме было трудно. И еще это значило: мама умерла, но это страшно, об этом лучше молчать, а папа жив.

— Твой папа на фронте? Что он там делает?

— Пишет письма.

Значит, есть надежда, что он вернется и опять будет играть. Короче говоря, мальчик ответил, как ответил бы любой из побегов, обступающих старый пень:

— Мне хочется жить, и это я «больше люблю».

Бедный мальчуган! Сколько весен еще надо петь соловью свою песенку, чтобы ребячьему сердцу победить пережитое, чтобы снова вошла в это испуганное сердечко и навсегда там осталась прекрасная мама его первого детства!

ПАПА-ДОКТОР

Доктор в колонии — чуть ли не единственный мужчина в женском царстве, обслуживающем семейку человек в триста. Приводят к нему мальчика Мишу с накожной болезнью, последствием ленинградского голодания. Приходится сделать небольшую операцию.

Доктор готовит инструменты. Мальчик бледнеет.

— Не бойся, мальчик, я хочу тебе помочь. Не будешь бояться?

— Не буду.

— Начинаю, держись.

— Держусь.

— Больно?

— Не хочу больно, держусь.

— Молодец. Вот и все.

Миша счастлив. Миша очарован добрым доктором, возбудившим в нем мужество, преодолевающее боль. И вот тогда из безобманной, целомудренной, застенчивой природы сердечной поднимается чувство благодарности.

Неуверенно, робко, вспыхнув, Миша говорит:

— Доктор, разреши мне звать тебя папой?

— А разве нет у тебя папы?

— Папа на фронте, далеко, тот папа мой, а ты будешь здесь нашим папой.

Доктор согласился при обещании мальчика держать договор в тайне.

Вечером, при обходе, в спальне все дети разом закричали доктору:

— Наш папа идет!

Доктор не обрадовался этому назначению своему — быть общим папой. Он человек деловой, должен блюсти дисциплину, он им доктор, а не папа. Да так и запретил,

и тому мальчику Мише запретил за то, что он не сохранил тайны.

— Болтун! — сказал он ему.

И проворчал в нашу сторону:

— Извольте понимать эту мудрость: «будьте как дети», если дети эти — плуты и разбойники.

После занятий доктор, однако, своим перочинным ножом сделал змея для детей, запустил его вместе с ними, и тут дети забыли запрещение и опять сделали доктора папой. И видно было, что сам доктор радовался, как ребенок.

Тогда мы подошли к доктору, запускавшему змея, и повторили его слова:

— Извольте понимать эту мудрость: «будьте как дети».

БУЛОЧКА

Один из старших мальчиков внес на руках рыженькую девочку, всю в ямочках-улыбках: улыбки были на щеках и даже на локотках.

— Это у нас, — сказала мама-директор, — самая счастливая, ведь ей всего только три года, и благодаря этому она живет в полном забвении горя. Звать ее Зина, но мы попросту зовем ее Булочкой.

— Правда, булочка, — сказали мы, — к этим ямкам-улыбкам не хватает только коринки и тмину.

— Нет, — ответила директорша, — мы ее не за то зовем Булочкой. Я ее действительно нашла у дверей булочной на снегу. От слабости она уже не открывала глаза. А в кармане ее шубки была записка от матери: она прощалась с дочкой Зиной, фамилии в записке вовсе не было. Спросите теперь ее, кто ее мама, где ее мама взяла?

— Булочка, где твоя мама? — спросили мы.

— Вот моя мама, — ответила Зиночка.

И обняла директоршу, как настоящую маму, и прижмалась к груди ее, как настоящая маленькая дочка.

— Смотрите, как поправилась, — говорила нам с настоящей материнской гордостью счастливая мать, подбрасывая Булочку, как мячик, к потолку.

— А где тебя мама нашла? — спросили мы.

Булочка, не моргнув глазом, с полной детской уверенностью ответила:

— Мама купила меня в булочной.

ПАПА-ГЕНЕРАЛ

Однажды приехал на своей машине знатный военный в генеральском чине и в больших орденах. Он вышел к детям с кулечком конфет и поровну всем сам разделил. Когда кончилась суета разбора конфет, все дети начали молча жевать, и только один Ваня преодолел страсть к конфетке и предпочел сначала поблагодарить генерала.

— Разрешите мне, — сказал он генералу, — называть вас своим папой?

— А у тебя разве нет своего?

— Был у меня папа, — ответил сирота, — а теперь нет папы.

Генерал взял мальчика за руку, пошел к маме-директору. Там они долго о чем-то говорили и что-то записывали. После того военный посадил мальчика в машину свою и увез.

Через месяц от мальчика получилось известие: генерал увез его на Дальний Восток.

Где это такая страна — Дальний Восток? Какая это страна, что там? Стали допытываться и узнали, что там Тихий океан, что вороны там не серые, а черные, что сороки там голубые и много прекрасного, чего у нас нет. И всем захотелось попасть в эту чудесную страну с голубыми сороками, но ведь без папы не попасть туда, может быть, потому-то он и папа, что он увозит детей на Дальний Восток.

— Почему же он, — спрашивали мальчики с завистью, — одного только Ваню выбрал себе?

Воспитательница не нашлась, как объяснить детям, что есть во всякой любви минута личной встречи, и объяснила простым «потому», все сведя к скучному уроку.

— Вы же сами знаете, — отвечала она, — прежде чем класть конфетку в рот, Ваня поблагодарил генерала, и потому тот согласился сделаться папой. Вот бы и вам так поблагодарить, и был бы Дальний Восток, а вы, глупенькие, съели по конфетке — с вас и довольно.

МЫШИ

Была в Ленинграде одна малодушная мать. Она оставила на улице свою девочку с обманной запиской о том, что с собой решила покончить и просит приютить ее ребенка.

Такая была мать, что даже забыла упомянуть в записке имя своей девочки, и ее стали звать Зиной, хотя она была Сашей. Бросив дочь — развязав себе руки, эта мать сама как-то ухитрилась устроиться на больничный паек и потом благополучно выбраться из Ленинграда в безопасные от голода края Ярославской области.

Мало того, когда почти через год девочку выводили, и она очень полюбила свою новую прекрасную маму, старая ведьма явилась в колонию со своими родовыми материнскими правами.

Прекрасная мама вовсе не была от природы прекрасной. У нее было простое рязанское лицо, но она сама себя по необходимости сделала для всей своей семьи в триста человек детей прекрасной. Она знала, что дети красоту не принимают целиком и сразу, как мы, а складывают ее, подобно тому, как складывают из кубиков разные интересные фигуры.

Вот почему она, педагог по призванию, постаралась спасти из Ленинграда свои наряды, всякие цветистые кофточки, среди которых одна была золотистая крепдешиновая. Создавая детям образ прекрасной мамы, она старалась им показываться в разных кофточках, а по праздникам — в золотистой крепдешиновой. А какие у мамы туфельки, какой платочек дивный с цветочком на уголку, как чудесно от нее пахнет душистым мылом! И, может быть, даже алые губки на пудре ребенок встречал, как мы встречаем полоску зари.

Какое дело маленьким детям до того, что эта их прекрасная мама с рязанским лицом в поисках продовольствия для семейки в триста душ под дождем, по десятку километров пешком месит грязь по району, что грачом торчит на грузовике, путешествуя в область. Дети ничего этого пока знать не должны, прекрасная мама, входя к ним, все это должна забывать, все отбрасывать: ей необходимо быть мамой прекрасной.

Теперь пришла прежняя мама, небольшая женщина в мышинного цвета платке, с хитрыми, пронзительными, кругло муравьиными глазками, с невозможным сплетеньем на лице своем хитрейших мышинных ходов. После прекрасной мамы к Зиночке как будто какая-то мышинная королева пришла и шепелявила ей какие-то мышинные непонятные слова.

Зиночка так понимала ее:

— Тише, мыши! Шаша-шаша!

— Что она говорит? — спросила Зиночка, широко открывая глаза.

— Шаша-шаша, — шепелявила мышинная королева.

— Да не Саша она, — отвечала начальница, — она у нас Зина.

И тут оказалось, что Зина — по-настоящему была Сашей.

— Здравствуй, Шаша.

Зина ничего не ответила.

— Поди ко мне, моя Шаша.

— Не пойду, — ответила Зина. — Вот еще!

— Что вы с ней сделали? — допрашивала мышинная королева. — Какая она стала у вас невеселая, грубая и старую маму свою забыла.

— Мы думали, — ответила начальница, — старая мама ее умерла: в записке так было. Но уж если настоящая мама нашлась — девочка скоро привыкнет к вам, и вы обе будете счастливы. И она у нас вовсе не грубая. Вот, посмотрите.

И предложила ей поглядеть в замочную скважину. Сама вышла в соседнюю комнату и через некоторое время кликнула к себе Зиночку.

Мышиная королева стала на колени перед скважиной и видела, как вбежала радостно-солнечная девочка и бросилась на колени к своей новой маме и как она щебетала ей о своем всем детском: и о зайце с огромным хвостом, и о медведе, путешествующем по ночам к детям из спальни в спальню, и о какой-то золотой куколке в клевере, и, с ужасом, вся сжавшись, о серой мышинной королеве, и с широко открытыми глазами повторяла:

— Шаша, тише, шиши-мыши...

Старая мама смирилась и даже пожелала остаться в детдоме кладовщицей. Одно было заключено с нею условие, что дочку ее теперь звать только Зиной.

Так незаметной кладовщицей мышинная королева спряталась в тень. Так бывает в темном бору, когда врывается в него солнечный луч: светлюбивые существа собираются на траве в лучах, а темные блошки и все такое спешит спрятаться в тень, падающую от деревьев, и их там бывает не видно. И так целый день по движенью солнца перемещаются падающие тени на светлых полянах, и с ними перемещаются темные блошки, хитрые паучки и вся лесная нечистая тварь.

Мало-помалу Зиночка чаще и чаще стала скрываться куда-то вниз, в подвальную кладовую к мышинной королеве

и ясных глаз своей прекрасной мамы больше не встречала своими прежними большими глазами, прятала их, косилась, выглядывала из щелок, постепенно делалась замкнутой, угрюмой и грубой.

Однажды, когда Зиночка исчезла, прекрасная мама тихонечко по ступенькам стала спускаться туда, в подвальную жизнь мышинной королевы, невольно с улыбкой повторяла про себя: «Шаша, тише, шиши-мыши!» В самом низу она остановилась. Светилась одна только замочная скважина.

— Тише, мыши!

И прекрасная мама, — чего только не приходилось ей выносить за детей! — она не постеснялась в своей небесного цвета юбке и крепдешиновой золотистой кофточке опуститься на колени на грязный каменный пол перед замочной скважиной мышинной королевы. Там в сводчатом подвале за столиком у окна сидела мышинная королева, а Зиночка против нее чайной ложечкой кушала какую-то золотистого цвета прелесть.

— Кушай, Шаша, кушай! — повторяла мышинная королева.

Прекрасная мама скоро догадалась: Зина ела ростовское морковное повидло, за которое в области была такая борьба и так она берегла его для детских праздников. Мыши нашли к нему лазейку, и Зиночка кушала сворованное мышами добро.

— Кушай, Шаша, — повторяла королева, подкладывая еще и еще из банки на блюдечко.

А после того появился кулечек с изюмом, с черносливом, с пряниками на меду — тоже все знакомое, тоже все помнится: какая борьба была и какая победа, и сколько потом, пока из области дошло до района и из района в детдом, разные мыши из детских прелестей растащили себе в норки.

Прекрасная мама встала с колен, открыла дверь и вошла, словно свет ворвался в темный бор.

— Ты ли это, Зиночка? — сказала она. — Но только не бойся, ничего не пугайся, как мыши. Ты больше не будешь ходить сюда?

— Не буду, — прошептала Зиночка.

И по-прежнему открыла большие глаза.

— Иди за мной.

И Зиночка пошла за новой мамой по лесенке.

— Шаша, шаша, — шепелявила мышинная королева.

Зиначка не оглядывалась. Зиначка ушла от нее, страшно думать! — может быть, навсегда.

Так бывает в пасмурный день, когда в травах смешивается жизнь светлюбивых и темных существ, — вдруг ворвется солнце, и все разделится: светлюбивые остаются в лучах, а темные ползут в тень...

КОЗОЧКА

Из Берендеева на Ботик стала ходить повариха, хорошая, ласковая женщина, Аграфена Ивановна: никогда к детям она не придет с пустыми руками и одевается всегда чистенько, дети это очень ценят. Женщина она бездетная, за мужем своим, бывало, ходила как за ребенком, но муж пропал без вести на фронте. Поплакала, люди утешили: не одна ведь она такая осталась на свете, а на людях и смерть красна.

Очень полюбилась этой бездетной вдове в детдоме на Ботике одна девочка, Валя — маленькая, тонкая, в струнку, личико всегда удивленное, будто молоденькая козочка. С этой девочкой стала Аграфена Ивановна отдельно прогуливаться, сказки ей сказывала, сама утешалась ею, конечно, как дочкой, и мало-помалу стала подумывать, не взять ли и вправду ее себе навсегда в дочки. На счастье Аграфены Ивановны, маленькая Валя после болезни вовсе забыла свое прошлое в Ленинграде: и где там жила, и какая там у нее была мама, и кто папа. Все воспитательницы в один голос уверяли, что не было случая, когда бы Валя хоть один раз вспомнила что-либо из своего прошлого.

— Вы только посмотрите, — говорили они, — на ее личико: не то она чему-то удивляется, не то вслушивается, не то вспоминает. Она уверена, что вы ее настоящая мама. Берите ее и будьте счастливы.

— То-то вот и боюсь, — отвечала Аграфена Ивановна, — что она удивленная и как будто силится что-то вспомнить. Возьму я ее, а она вдруг вспомнит, — что ж тогда?

Крепко подумав, все взвесив, совсем было решила вдова взять себе в утешение Валу, но при оформлении вдруг явилось препятствие. Хотя в детдоме все были уверены, что отец Вали погиб — об этом говорили и прибывшие

с фронта бойцы: погиб у них на глазах, — но справки о смерти не было, значит, по закону нельзя было отдать на сторону девочку.

— Возьмите, — говорили ей, — условно, приедет отец — возвратите, а может быть, и замуж за него выйдете.

— Будет вам шутить! — отвечала Аграфена Ивановна, — замуж я не выйду, а дочку так брать страшно, все будет думаться: придет час и отберут. Нет уж, что уж тут, брать так брать, а так уж — что уж тут!

После этих слов повариха целый месяц крепилась, не заглядывала на Ботик. Но, конечно, дома, в своем желтом домике в Берендееве, тосковала по дочке, плакала, а девочка тоже не могла утешиться ничем: мама ее бросила! А когда повариха не выдержала и опять пришла с большими гостинцами, — вот была встреча! И опять все уговаривали взять условно, и опять Аграфена Ивановна упорно повторяла свое:

— Брать так брать, а то уж, что уж так-то брать!

Так длилось месяца два. В августе пришла бумага о смерти отца Вали, и Аграфена Ивановна увезла свою дочку в Берендеево.

Кого прельстит рыженький блеклый домик в три окошка, обращенных в туманы Берендеева болота! Никому со стороны не мило, а себе-то как дорого. Все ведь тут сделано руками своих близких людей; тут они рождались, жили, помирали и обо всем память оставили. Собачку отнимут от матери, принесут в чужой дом, и то, бывает, пузатый кутинок озирается вокруг мутно-голубыми глазами, хочет что-то узнать, поскулит. А Вале, девочке-сироте, было в рыжем домике все на радость. Валя ко всему тянется, весело ей, как будто и в самом деле пришла в свой родной домик, к настоящей маме. Очень обрадовалась Аграфена Ивановна и, чтобы девочке свой домик совсем как рай показать, завела патефон.

Сейчас и на Ботике есть патефон, а в то время, когда Валью брали, дети там патефона вовсе не слышали, и Валя не могла помнить патефон вовсе. Но патефон заиграл, и девочка широко открыла глаза.

«Соловей мой, соловей, — пел патефон, — голосистый соловей...»

Козочка удивилась, прислушалась, стала кругом ози- раться, что-то узнавать, вспоминать...

— А где же клеточка? — вдруг спросила она.

— Какая клеточка?

— С маленькой птичкой. Вот она тут висела.

Не успела ответить о птичке, а Валя опять:

— Вот тут столик был, и на нем куколки мои...

— погоди,— вспомнила Аграфена Ивановна,— сейчас я их достану, я их спрятала.

Достала свою хорошую куклу из сундука.

— Это не та. это не моя!!

И вдруг у маленькой Козочки что-то сверкнуло в глазах: в этот миг, верно, девочка и вспомнила все свое ленинградское.

— Мама,— закричала она,— это не ты!

И залилась... А патефон все пел:

Соловей мой, соловей

Когда пластинка кончилась и соловей перестал петь, вдруг и Аграфена Ивановна свое горе вспомнила, закричала, заголосила, с размаху ударилась головой об стену и упала к столу. Она то поднимет со стола голову, то опять уронит, и стонет, и всхлипывает. Эта беда пересилила Валино горе, девочка обнимает ее, теребит и повторяет:

— Мамочка, милая, перестань! Я все вспомнила, я тебя тоже люблю, ты же теперь моя настоящая мама.

И две женщины, большая и маленькая, обнимаясь, понимали друг друга, как равные.

РОМАН

Когда мальчика взяли в детдом, он сам подробно, в полном сознании, все рассказал о гибели своей матери, и этот рассказ подробно записан в книге детдома. Через несколько дней мальчик заболел менингитом, и за ним днем и ночью ухаживала Анна Михайловна. Эта обыкновенная женщина, с обыкновенными слабостями, в те дни действительно была прекрасна и боролась за жизнь мальчика целыми ночами, не закрывая глаз. Когда менингит был побежден, началась новая борьба с дифтерией, и когда прошел дифтерит, начались тяжелые последствия голодной болезни.

Сам доктор называл выздоровление Вовочки биологическим чудом и после «чуда» — делом рук Анны Михайловны. Трудно представить нам, что переживал мальчик во

время борьбы его за жизнь. Но можно догадываться, что в минуты просветления его сознания образ новой мамы замещал прежний, и мало-помалу Вовочка, выздоравливая, выходил из старой жизни в новую с полным забвением всего, что было с ним в страшные дни блокады.

Можно сказать, прежний Вовочка умер, и от него, как надгробный памятник, осталась в книгах детдома только запись рассказа о гибели его старой мамы. Новый Вовочка вышел на свет силой материнской любви своей новой мамы, сохраняющей от него ревниво тайну его мучительного прошлого. И тут нет ничего особенного: каждая мать во всей радости своей, обращенной к младенцу, в сердце своем таит тревогу и скорбь...

Стороной, от людей, узнал наконец отец Вовочки о гибели жены своей в Ленинграде и о спасении сына, и что за мальчиком самоотверженно ухаживает новая женщина, и что ребенок вовсе забыл свое прошлое.

«Вовочка, мальчик мой милый, — писал он, — как же ты не помнишь белую дорожку в траве и как мы с тобой по этой дорожке гоним лошадку на колесах, как ты захотел на нее взобраться и упал, а на дорожке этой были муравьи, и ты их испугался и закричал, и мы с муравьиной тропинки перешли на чистую...»

Конечно, Анна Михайловна скрыла от Вовочки это письмо и сама написала отцу, чтобы для жизни Вовочки он постарался забыть свое прошлое.

«Боюсь Вам сказать, — писала она, — как это «забыть». Может быть, вы возьмете, большой Вовочка, пример с Вашего маленького: он болел и со мной выздоравливал и теперь живет и любит меня не меньше, чем старую маму. Я осмелюсь напомнить Вам, что для большого Вовочки наша родина, как для маленького, — тоже ведь как мать и что Вы так много для нее делаете. Простите, мне трудно выразить то, что я чувствую: сейчас у нас поют соловьи, и мне кажется, что они в пении своем тоже трудятся. Вот я сейчас вижу перед окном одного: дождик начинается, на него уже каплет, а он все поет, и одна капелька уже висит на носике, и он ее стряхнул и поет. Трудится он и не для себя поет, и будет петь на другой год пусть другой соловей, но песенка все та же. И так вот и я тоже вместо старой мамы тружусь, и песенка моя Вовочке все та же, и Вы тоже свою жизнь отдаете. И все это вместе складывается — и выходит родина, для которой мы все живем: кажется — для себя, а выходит — для родины».

Так писала Анна Михайловна, сама того не зная, что делает для Вовочки-отца то же самое, что и для сына его. И письма с фронта в детдоме получались все чаще и чаще.

В последнем своем письме он писал:

«Соловьи и у нас тут на фронте поют, только я до сих пор не обращал на них никакого внимания. Но теперь, после Ваших писем, слышу: поют и даже не очень считаются с грохотом нашей артиллерии.

Теперь мне видится далеко за нашим фронтом и за нашим рабочим тылом вот эта благословенная страна, где, как Вы мило пишете, трудятся для нас соловьи. Я это понимаю и не благодарю Вас: за такое хорошее не благодарят».

На этом письме переписка надолго обрывается. Кажется, Вовочка-отец вышел из строя бойцов... Но Анна Михайловна не оставляла его, как и маленького Вовочку, когда тот был и для докторов безнадежным. Она все писала на фронт по прежнему адресу и все ждала письма, все ждала и ждала.

Он был тяжело ранен. Когда же выздоровел, то опять возвратился в строй. Однажды под вечер он вернулся в свою часть из опасной разведки, и ему вручили целую пачку давно искавших его писем. После многих бессонных ночей он еле мог держаться на ногах, теперь бы только спать и спать. Но при взгляде на почерк он встряхнулся, и сон прошел.

Вечерело, мелко-убористые строчки невозможно стало разбирать на воздухе, и не хотелось идти в тесноту к товарищам и там при всех читать.

Тогда недалеко от наших батарей он увидел яркий огонь: это горел ковыль в степи, вечерний ветерок его раздувал, и костер, кем-то разведенный, быстро становился степным пожаром, ползущим в безопасную сторону. Он подошел к огню, взял первое письмо и, читая его, пошел невольно вслед за пожаром.

Может быть, и видел его кто-нибудь так, идущим с письмом из далекой страны соловьев вслед за пожаром? А может быть, и не один боец, исполнив свое обычное дело, тоже шел с письмом за огоньком...

Рассвет остановил этих странников и вернул их из страны соловьев к обычному делу.

Рассказывая об этих странствиях вслед за степным пожаром, Вовочка-отец писал:

«Милый друг, я кончаю письмо: слышу, опять взялась наша артиллерия. И знаете, я не забочусь о снарядах,

о силах, — этого хватит у нас, я думаю лишь о том, чтобы хватило Ваших материнских сил для победы».

Так он выздоравливал. И еще он сделал в этом письме на уголке маленькую приписочку: «Милый друг, если я вернусь, не согласитесь ли Вы...»

Прочитав эту приписочку, Анна Михайловна улыбнулась и, сильно помолодев, посмотрела на себя в зеркало.

БАБУШКА И ВНУЧКА

При детдоме на Ботике живет одна бабушка, Евдокия Ивановна, ей нужно бывает три раза в день спускаться вниз по крутой лестнице покормить своих цыплят. Трудно ей, старой, недужной, спускаться, но зато уж как достигнет своей лавочки, придет в себя, то непременно что-нибудь увидит свое, удивится как-нибудь, по-своему отзовется и примет участие.

Может быть, даже всеми замечаемый семейный характер этой детской колонии исходит больше всего от этой как будто никому не нужной бабушки.

Всю свою жизнь она прожила в Ленинграде на службе у хороших людей и так верно служила, что о себе-то, пожалуй что, и забыла, и вот теперь только, на Ботике, вспомнила и всему на старости лет удивилась. И первое, что удивило ее, — это соловей.

Всю свою жизнь она безвыездно прожила в Ленинграде и не удосужилась даже хотя бы раз весной попасть на Острова и там послушать соловья. Так вся жизнь прошла без соловья, и оказалось, что хорошие-то люди, пожалуй, вяжут крепче дурных: от хороших не убежишь.

И вот, после небывалой катастрофы, после опасной эвакуации под бомбами по Ладожскому озеру, после страха замерзнуть на том же Ботике, если бы повторились прошлогодние морозы, пришла весна, и наконец-то для нашей бабушки запел соловей.

— Бабушка, — сказали ей, — откройте окно, вечер прекрасный!

— Что вы, милые, гроза еще не прошла!

— Смело открывайте, гроза прошла, радуга.

Открыли окно в парк. Теплая сырость после грозы собралась в тесной ароматной чаще акаций, сирени, черемухи и ясеней.

— Ну вот, слушайте же, бабушка, вот это поет соловей.

— Где соловей?

— А вот и слушайте: вот свистит.

— Слышу.

— Вот колено выводит, а вот покатился...

— Дивно как! — шепчет бабушка.

И села у подоконника. Да так всю ночь, как молоденькая, и просидела. И была ей песня соловья, наверно, мила и прекрасна больше, чем нам: мы слушали с детства без понимания и, может быть, своего-то соловья, предназначенного, чтобы самому, вот такому-то, еще один раз услышать, — и пропустили.

— Озорник-то какой! — повторяла, радуясь, бабушка.

И мы, завидуя ей, говорили друг другу:

— Зачем живем мы не как надо, зачем спешим и все смешиваем? Своего соловья надо дожидаться, своего соловья надо заслужить, как заслужила его эта бабушка!

Теперь уже почти целый месяц прошел с тех пор, как запел этот первый бабушкин соловей. Теперь их уже сотни поют кругом в кустах, уже цветет шиповник, и слышно — бьет в полях перепел, и в сырых лугах горло дерет дергач.

Маленькие дети выпались, позавтракали, свеженькие, чистенькие выходят группами из дому и направляются — какие к огородам, какие просто в траву и цветы между старыми березами.

Каждую группу, как ягнят, пасет отдельная воспитательница и следит, как бы не отбилась от стада какая-нибудь овечка.

Своим зорким глазом бабушка заметила одну такую, совсем маленькую, и скоро узнала: это Мария Тереза Рыбакова. Имя этой девочки содержит всю историю ее жизни. Во время испанских событий прибыла вместе с испанскими детьми мать Терезы. Она здесь вышла замуж за комсомольца Рыбакова, погибла вместе с мужем своим в Ленинграде и оставила после себя крохотное существо, Марию Терезу. Ну вот она теперь идет, испанка, в русской траве, в цветах, видна только ее головка со вздернутым носиком.

Тереза идет к бабушке не просто, она даже и не идет, и группу свою не бросает. Она сделает один только самый маленький шаг в сторону бабушки и остановится, и потом через какое-то время еще один, и чем дальше от группы, чем ближе к бабушке, тем обильнее текут из глазок ее слезинки. В случае теперь ее бы поймали, она бы сказала, может быть, что заблудилась в высокой траве и не знает,

как из нее выйти, и по слезам поняли бы, что она говорит правду. Но никто на нее, такую маленькую, не обращает никакого внимания, следит за ней одна только бабушка и замечает, как мало-помалу сокращается расстояние между нею и девочкой.

— Вот уж хитрая-то, — бормочет она и улыбается.

Но бледное личико и горючие слезы испаночки между березами смутили даже и бабушку.

— Чего ты плачешь?

— Головка болит.

— А может быть, и животик?

— И животик тоже болит.

Бабушка все поняла, и, делать нечего: приходится Терезу лечить. С трудом, опираясь на костыль, поднимается бабушка, за ней медленно движется Тереза, за Терезой — большая курица, за курицей бегут чистенькие цыпленки.

Вот добрались наверх, в комнату бабушки.

Тут на постели такое местечко, где Тереза чувствует дом, знает, что она у себя.

Бабушка ничего не спрашивает, а только одно:

— Так у тебя головка болит?

— Болит, бабушка.

— На-ко, вот тебе от головки.

И дает ей чашечку молочка с сухарем.

— Что у тебя еще, кажется, животик болит?

— Да, и животик.

— Ну вот, на тебе и от животика.

И дает ей еще ломтик хлеба с морковным повидлом. Тереза поела, повеселела, улыбнулась и говорит бабушке:

— Ну вот, бабушка, мне кажется, теперь у меня все прошло.

— Вот и хорошо, дитяtko, иди с богом! — благословляет русская бабушка испанскую внучку.

ПРЕДРАССВЕТНЫЙ ЧАС

Почему это в предрассветный час те же самые звезды приходят к нам на душу совсем по-иному, чем вечером?

Я думаю, оттого это, что не одни мы, а вся природа трепещет, вставая навстречу солнцу, и эта сила жизни нам передается, и сильному утренняя звезда указывает новый

путь. И еще самое главное, что вечерние звезды — хозяева, и ты входишь в их власть, а утром не они тебе, а ты сам им говоришь свое «здравствуй». И когда при красной заре последний бесенок в лесу превратится в сучок, ты обернешься назад на голубое и сам, сильный, скажешь бледнеющим немощным звездам: «Прощайте!»

Ну, вот и совсем рассвело, и черные стволы высоких деревьев легли на белый снег длинными голубыми тенями. Даже палочка можжевельная и та процвела, и заголубели серебряные волны моего прекрасного пути. Да, много еще до весны света, но бывает такой счастливый денек и в декабре: и мороз невелик, и на небе ни одного облачка, и все хорошо.

В этих голубых волнах на серебряном показываются черные, как жуки, детишки с салазками. Навстречу им идет собачка по тропе, остановилась, спросила ушками: «Кто это?»

Вильнула хвостиком и оборвала; это значило: «Как будто это вы, но не знаю, как будто тоже и не вы».

Вдруг завиляла хвостом, закрутила, узнала: «Это вы!»

Она бы пустилась в прыжки даже по снегу, даже до ушей утопая, но дети шли по тропинке той же самой, по какой она шла им навстречу. Умная собачка поняла, что ей незачем идти: они к ней сами придут.

И она остановилась, смотрит на детей, как они идут, и, стоя на месте, перебирает нетерпеливо передними тонкими ножками: то ли мысленно шла сама к ним, то ли представляла себе, как они идут, и по-своему торопила их ножками: «Скорей шевелитесь, гражданае!»

СОЛОВЕЙ

С цветущей веткой дикой яблони и с пучком ландышей по разным лесным тропинкам идут люди, потерявшие друг друга во время войны.

Сколько воды пронес лесной ручей с тех пор, как они потеряли друг друга! Раненые свои души они уже начали лечить прекрасными цветами весны и слушают радостно-утешительное пение птиц.

И вдруг на перекрестке тропинок эти люди встречаются, узнаются и, обнимая друг друга, топчут ногами в забытые брошенные цветы и не слушают ни соловьев, ни зябликов.

Но у соловьев свой закон: они должны трудиться — петь, несмотря на то, слушают их эти люди или не слушают: петь навсегда и на всех.

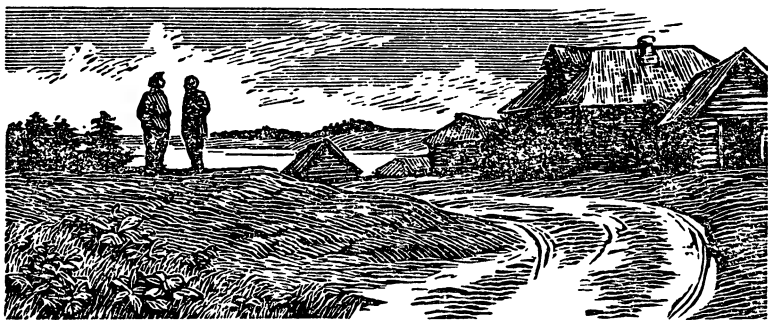
Вот и они, эти двое с веткой дикой яблони и пучком ландышей, когда обнялись и порадовались, опять поднимают брошенные цветы и слушают опять зябликов и соловьев.

И эти бедные детишки, спасенные от холода и голода, в какой радости они снова бегают среди цветов, летающих птиц, жуков и бабочек!

У них у всех нет родной мамы: она умерла, и ее никем не заменишь! Но соловей поет свою вечную песню радости. Маленький человечек хватается за песенку и по песенке, как по лесенке, поднимается выше и создает себе новый, прекрасный мир: ему помогают лучшие силы страны и природы.

ПОВЕСТЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ





І. ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Как в самую глухую зиму по какой-нибудь узенькой алой зорьке под вечер предчувствуешь весну света, так и когда рожь зацветет, начинаешь особенно дорожить золотыми деньками нашего короткого лета и хозяйски отсчитываешь: две недели рожь будет цвести, две недели зерно наливает, две недели созревает, а там...

Вскоре после того, как рожь уберут, из леса на опушку начинают выступать разные деревца особенного вида и своим нарядом как бы выговаривать:

— Видите, я не такое, как все, — я желтенькое!

Другое хвалится, что золотое, третье краснеется.

И так вот, когда из всего еще зеленого леса начинают по опушке расставляться деревца отдельного вида, это значит — скоро всему тенистому летнему лесу наступит конец.

Но сейчас до этого еще далеко: рожь только что зацветает.

Вся рожь нашего богатого совхоза простирается между выселками, где мы только что перед войной построились, и усадьбой совхоза.

Мы ходили в усадьбу на работу каждый день сокращенным путем, и оттого через все большое поле от наших ног легла между стенами высокой ржи плотная белая озорная тропа.

В первый раз моя любимица Милочка встретилась со своим Сережей на этой озорной белой тропе, когда рожь зацвела.

И их простую любовь я хотел бы вознести, как царь Соломон вознес ее в Песни Песней.

Знаю, что и в то далекое время были войны, истребляющие все население городов и областей, и что такая великая беда не помешала царю поднять до небес священную песню любви.

Но сейчас, когда гремит война и все пьют мирскую чашу страданий, я не в силах писать, как мне хочется.

К тому же, позвольте заметить, я вовсе и не писатель. Образование мое, извините, недостаточное: по своей профессии я только слесарь и токарь, точу по металлу, или сверлю, или опиливаю железо — мысль моя скована делом. Но как только, бывало, освобожусь от работы, сейчас же принимаюсь учиться. В долгом опыте жизни восполнял я свое образование, и носок моего сапога туда-сюда прошел по всей русской земле.

Много я книг перечитал, прежде чем выбрал из них себе в вечные спутники десять мудрецов и, перечитывая их во множестве раз, приобрел священное уважение к слову. Я прошу заметить читателя, что величайшим русским писателем я научился понимать Пушкина, но никак не Гоголя. Признаюсь, что Гоголя я даже и не причитал к тем десяти избранным мною мудрецам. И он у меня с давних пор стоял на особой полочке, как изгнанник, но, правда, в двух изданиях: в роскошном переплете и своем собственном, как я умел сам переплестать, — в ситчике.

Это следует заметить, что все признанные мною писатели были в единственном экземпляре, и большей частью в ситчике, а отвергаемый в двух, и одно было роскошное, в красном сафьяновом переплете.

С детства этого Гоголя я ужасно боялся и повесть его «Страшная месть» ни разу не мог дочитать до конца. Страшный колдун потрясает меня и теперь, когда я читаю те страницы, где показывается в горах из облаков Мститель — всадник с мертвыми очами, и тень его, месть, начинает распространяться по всей земле. И сейчас, когда весь мир содрогается от войны, я, вспомнив всадника-

Мстителя, складываю на груди крепко-накрепко ладони, прижимаю локти к бокам и чувствую, будто тело мое дрожит мелкой дрожью. Мне кажется в это время, что вся небывалая мировая война есть тень того всадника-Мстителя.

Так и поставил я Гоголя, как испуганный ребенок, на особую полочку, и бывает со мной, что даже если только погляжу в ту сторону — затоскую, и так, недовольный собой, прохожу весь день.

Не с Гоголем была всю жизнь душа моя, а вот на кого мне хотелось быть похожим, — осмеливаюсь сказать, — на русского летописца Нестора. В свое время понял я такой идеал человека, читая с благоговением «Русскую историю» Ключевского. Сквозь туман далекого прошлого, из темных лесов нашей родины светит мне его лампада, и мне хотелось бы тоже быть таким стариком: простым, скромным, как он, и, как молодой, устремленным с верой в грядущие времена.

Не раз в жизни встречал я таких простых и мудрых людей, притаенных в народе. Верю, что и сейчас, сию даже минуту, в самые тяжкие дни войны этой, где-нибудь такой человек намотал себе на ухо веревочки от очков и пишет.

Но пусть он сам и не пишет — все равно: в поступках своих он не будет слепо подчиняться судьбе и непременно послужит великому делу любовной связи людей между собою.

Для примера я возьму Мирона Ивановича Коршунова из Подгорной слободы нашего Переславля: старик моих лет и тоже, как я, запойный читатель. Нужно бы большой том написать о его жизни, как он в свое время, приняв по правде мысли Льва Толстого, отдал лет десять, чтобы из-под них освободиться, и как, освободившись от Толстого, лет на пятнадцать попал к Достоевскому. А когда пришел коммунизм, он понял это ученье как любовь к человеку. Но мало того, что люди такие, как я говорю, у нас были повсюду, люди, рожденные и связанные духом деятелей русской сердечной мысли, — дети их тоже выходили, зараженные чтением.

Большеглазого сына Мирона Ивановича Алешу я помню с детства за книжкой и не знаю, кем бы ему стать при таком чтении и уличном озорстве, если бы МIRON Иванович вовремя не опамятовался и не отдал его в ученье на бухгалтера. С малолетства любил я этого мальчишку. Глазища

большие, серые, и сам как кот: не поймешь, что в нем — добро или зло. Но когда опустит веки и лягут длинные черные ресницы, как гребешки на нежной коже, то через это почему-то понимаешь добро в этом мальчике.

Еще могу назвать читателя-самоучку из Переславля Гаврилу Алексеевича Староверова. Только должен сказать, что он уж не такой самородок, как мы с Мироном. Отец его был священником кладбищенской церкви, и в Гавриле была поповская кровь.

Не из-за неспособности или озорства в свое время выгнали Гаврилу из четвертого класса духовного училища, а из-за наследственной любви его к жизни деревьев: мальчик не учился, а все время копался в саду. Сад у отца был очень хороший, и мальчик с малых лет обмазывал яблоньки, вырезал волчки, окучивал и так стал понимать жизнь дерева. А это я заметил — у всех хороших садовников их любовь к дереву создает постоянство.

После смерти отца Гаврила Алексеевич жил арендой садов и как стал за ящик старостой в отцовской кладбищенской церкви, так и простоял за ним всю жизнь, как дуб. А когда у него подрос сынишка Ваня, то мальчик стал рядом с отцом возле ящика, и было очень похоже, будто рядом с большим, старым дубом стал подниматься тоненький, молодой. Отец хорошо сделал, что, когда пришло время, оторвал Ваню от сада и отдал его в техникум учиться агрономии.

Так мы жили в Переславле, читатели, одной семьей. Но все мы читали разное. Мирон Иванович искал себе, можно сказать, хорошего поведения; Гаврила Алексеевич, по любознательности своей и постоянству, искал понимания прошлой жизни родного края; мне же, как я говорил, хотелось самому сделаться писателем, но не для славы, а вот как Нестор был — летописцем, соединяющим поколения людей.

Так еще раз прошу: извините меня, я человек простого труда, учился на медные деньги, и вот вы теперь поймете меня, что, втайне мечтая написать о любви Милочки, как царь Соломон, я смотрю на Нестора, пишу не как мне хочется, а держусь в краях чаши, испиваемой всем народом.

Сейчас, когда пришло это страданье, я будто впервые мыслью своею вошел в свою жизнь, и мне стало ясно: если я правдиво расскажу о том, как мы жили в нашем поселке во время войны, этим я и выполню свое малое дело.

II. ПЕРЕСЛАВСКАЯ КРУЧА

Наш древний городок Переславль укрывается до сих пор в стороне от железных дорог и не совсем похож на другие русские города. Домики его, как в приморских городах, стоят в одну линию близко к берегу большого Плещеева озера, окруженного лесами. К этим богатствам природы — лесам и воде — присоединяются древности: монастыри на холмах и церкви.

Чайки белеют, вода голубеет, леса зеленеют, кресты жаром горят на солнце, и кто в первый раз видит — ему кажется очень красиво. Мы же сами, переславцы, до того привыкли глядеть на все, что перестали и удивляться.

Но в праздник, бывало, мы с женами и ребятами шли в рыбацкую слободу, садились в свою большую лодку и в поветерь катили под парусом через все озеро — девять верст, а если было тихо, держались берега и шли вплыву, упираясь шестом в плотное песчаное дно. С того далекого берега, где из озера вытекает извилистая речка Векса, наш обыкновенный Переславль казался выступающим из воды чудесным городом, подобным невидимому граду Китежу.

Дальше мы плыли вниз по реке, такой извилистой, что один рыбак с одной излучины мог дотянуться до другой и подать с руки в руку приятелю шкалик вина. Берега этой речки, болотные, низкие, в желтых цветах, в летнее время были неприступны: земля топкая, слепень, гнус и комар тучами. Но там и тут на этой жидкой земле возвышались песчаные холмы-борины, на них росли сосны, и комар туда не летел.

У одной большой заводи такая борина обрывалась и называлась у нас издавна *Кручею*. Вот тут-то, на этой нашей любимой Круче, мы и проводили наши праздники и, возвращаясь, глядели на свой родной Переславль веселыми глазами.

Не раз беседовал я на этой Круче у костра с приятелями: Мироном Ивановичем и Гаврилой Алексеевичем, обменивался с ними мыслями, в то время как наши женщины варили уху, а ребята Алеша и Ваня выхватывали из воды окуней и щук.

Дивился я сам себе на этой Круче, что будто радуешься большой красоте, между тем как никакой красоты вокруг не было и показать нечего: крутой осыпанный песчаный берег с обнаженными корнями сосен, какое дерево висит, какое упало, гниет, и темной полосой легла от него на песке

осыпанная мертвая хвоя. Но почему же так себе-то кажется, будто нет на свете прекраснее этого места, и знаешь, что так же думали об этом наши отцы, деды, прадеды?

Гаврила же Алексеевич, наш краевед, выкапывал из кротовых куч черепки, угольки, кремниевые стрелки и так дознался, что тут и первобытный человек рыбу варил.

— Чего же, — спрашивал я, — дивимся мы на эти черепки с уголками и чему мы на них радуемся: ведь в этом нет ничего?

— Конечно, ничего, — отвечал Гаврила Алексеевич. — А вот Ключевский какую написал книгу по этим пустякам. И так и сама книга: кому дорога, а кому и в книге нет ничего.

Куда махнул! А между тем как теперь вспомнишь во время войны, то непременно на немца подумаешь: то же и он думал — нет ничего — и ошибся.

Но и в то время, когда мы радовались на своей Круче, враг уже и тогда точил на нас нож, и кто-то об этом знал и принимал меры. Жизнь, конечно, сохнет от думы, и нам жить хотелось, и мы не хотели думать об этом, что враг на нас точит нож...

Началось с того, что в Переславле построили фабрику для тех целей, о которых нам не хотелось думать вперед. Для этой фабрики нужно было большое топливо, и строители остановились на торфе, а лучший торф, оказалось, лежал вокруг нашей Кручи. Тогда в короткое время вековой лес на Круче спилили и настроили из него много барakov и домиков.

С концом Кручи кончились наши праздники, жизнь стала в корне переменяться. Смешно вспомнить, в первое время наши переславцы возмущались и жужжали, как пчелы в улье, если по нему постучать. Помню, один старичок пенсионер, слушая радио в своем домике, целыми днями ругался с громкоговорителем и посылал его ко всем чертям за уничтожение Кручи.

Но с каждым днем простые люди умнели и против воли проникали в тайный смысл событий, и хотя и не могли сами сделать прямых выводов, но всеми средствами, кто как мог, приспособлялись к новому времени.

Скажу хотя бы про нашу компанию: вначале было — не только служить на этой новой фабрике никто из нас не хотел, но даже мимо Кручи той перестали ездить, и когда приходилось это — не глядели в ту сторону.

Но мало-помалу подросли ребята, и мы, старики, пони-

мая, что нужно им в своем времени жить, глядя на них, подобрели и на все эти предрассудки махнули рукой. Переславцы валом повалили на фабрику, и мы все, читатели, перестали с неприязнью на кого-то вспоминать свою старую Кручу.

И как время летит! Давно ли Ваню и Алешу я на руках держал, а вот уже Ваня кончил сельскохозяйственный техникум, Алеша стал бухгалтером, и оба мальчика поступили в то самое торфяное предприятие, где была наша любимая Круча. И я с ними тоже устроился там. Мирон Иванович остался служить в городе на фабрике, а Гаврила Алексеевич незадолго до войны скончался — царство ему небесное!

III. НА ЛЬДИНЕ

Вспоминаю теперь Гаврилу Алексеевича, как он, иконописный старец, стоял в церкви за ящиком, неколебимый ни войнами, ни революциями, и рядом с ним стоял его тоненький Ваня, каждый год насаиваясь, как дерево. И я думаю — вот кому бы стать летописцем: церковному старосте Гавриле Алексеевичу Староверову.

Но как только подумаю и Староверова сравню с Нестором, ничего у меня не выходит: как ни спокоен был Нестор, но и сам тоже двигался вместе с медленным потоком прежней старинной жизни. А наш Гаврила Алексеевич сохранил только форму летописца, сам же он как дерево стоял на берегу непонятного потока жизни.

Так не искушает ли и меня образ летописца Нестора тоже так остановиться на берегу?

Бывает, встанешь рано, соберешься с мыслями, и только наполнился — вдруг заговорит радио. Не утерпишь, прислушаешься и мысль свою, с которой вставал, потеряешь. Тогда начинаешь жадно читать газету, выпрашивать о чем-нибудь людей, прислушиваться, с тайной целью найти потерянную мысль. И случается, когда вдруг ее вспомнишь, то как-то слишком сильно ей обрадуешься, пожалуй, так, что и мысленка-то сама по себе не стоит такой бурной радости.

Тоже не стоит теряться и горевать так сильно, когда найденная мысль опять потеряется.

Вот я и считаю, что с такими капризами, как у меня, не может быть летописца.

Что же делать? Если на своем стоять, то вот так и бу-

дешь за ящиком, как стоял Гаврила Алексеевич полстолетия и ушел, ничего не поняв.

Что же делать? Душа человека похожа на море: вечные бури на поверхности, и в глубине тишина. Как бы я рад был уйти от бурь в тишину, но там, в глубине, и темно, и воздуха нет. Нечего делать! Приходится бурю принять.

Так меняю я свой образец поведения летописца Нестора на героя, плывущего на льдине в водах Северного полюса. Каждое мгновение эта льдина может столкнуться с другой и рассыпаться вдребезги: самому себя спасти невозможно, и герой мой совсем даже и мысль потерял о себе. Но это ученый герой, окруженный инструментами, ему нужно списывать показания термометров, барометров, секстантов, а бумажки с показаниями запечатывать в бутылки и пускать их в море с надеждой, что морское течение принесет к людям. В этой деловой спешке у исследователя может быть одна только единственная мысль о себе: помирать собирайся — рожь сей.

Вот и я теперь хотел бы писать, как этот герой, только не о северной природе, а о душах людей, меня окружающих и никому не ведомых.

IV. ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Сын покойного Гаврилы Алексеевича Ваня теперь уже лет пятнадцать работает у нас на торфу агрономом, а сын Мирона Ивановича Алеша тоже у нас бухгалтером. Ребята эти мне были как родные дети, и мои десять мудрецов — русских писателей — стали их учителями, точно так же, как и моими. Жили мы первые годы очень хорошо в небольшом итееровском домике под соснами — единственными деревьями, уцелевшими на всей площади нашей бывшей красавицы Кручи. У Алеши была небольшая квартира в две комнаты внизу против меня через коридор. У Вани тоже было две комнаты на втором этаже, как раз у меня над головой. Но пока не женились, оба они все свободное время проводили у меня, и мы вместе в складчину тут и праздники устраивали, и вместе читали моих мудрецов.

Покойный Гаврила Алексеевич просил меня, умирая, не забывать его Ваню и наставлять; но какое тут наставлять! Этот Ваня у нас в совхозе и первый деляга, и особенным даром обладал не задевать ничем злых или нетерпимых людей.

Тайное мое желание было, напротив, вовлечь его как-нибудь в борьбу и зажечь, но бывают такие русские люди: есть и ум, и знание, и собой пригож, а вот ничем его из себя не выбьешь, и, когда станешь в упор против него, чтобы только высказался, он покраснеет и совсем замолчит.

И сколько ни читали мы с ним, сколько ни разбирались, все у него так выходило, что слова мудрецов не задевают глубину внутренней жизни, и она там в своей сокровенности идет по каким-то иным, словами не выразимым законам. Но все объяснилось в характере Вани, когда он женился на Анне Александровне Меркуловой, дочери бывшего самого крупного в Переславле лесопромышленника.

Красота бывает, конечно, как я понимаю, очень разная: одна красота вся в живость идет — в движение, как у птички ласточки, другая вся собирается, как у лебедя, в важность: женщина Анна Александровна была дородная и важная. Ваню красавица взяла себе, конечно, потому, что угадала его, сразу поняла его верную душу и, полюбив, определила его себе навсегда. И тут Ваня определился весь: в послушании своем Анне Александровне он сразу нашел себе вечность, как и отец его Гаврила Алексеевич, конечно же, чувствовал вечность, больше полстолетия простояв в одной и той же кладбищенской церкви за ящиком.

Совсем другой был Алеша: церковная благопристойность и неподвижность, сиявшая вокруг Гаврилы Алексеевича, мне кажется, его чуть ли не с детства от себя отталкивала, и отсюда, вероятно, и шло его озорство. Он, конечно, мог бы унаследовать свое вольнодумство от толстовца, отца своего, но ведь вольнодумство Мирона Ивановича стоило послушания Гаврилы Алексеевича: извольте под властью Толстого провести десять лет, а потом под властью Достоевского, и так всегда под чьей-нибудь властью.

Но у Алеши все шло от себя.

Вспоминается мне то время, когда нас всех застала перепись в доме Гаврилы Алексеевича, в саду его. Хозяин только что нарезал меду, и мы уселись под яблонями за стол пить чай с медом. Не помню, по какому-то случаю Гаврила сказал:

— В наших переславских властях вечности нет.

Ах, вот и вспомнил: разговор о «вечности» начался от Мирона Ивановича — он спросил, где бы теперь ему для своего улья вошину купить. И тут оказалось, что в том доме, где продавали вошину, теперь сберкасса и что сбер-

касса эта за год уже шесть раз переезжала. Услыхав, что касса шесть раз переехала и опять выгнала общество пчеловодства, Гаврила Алексеевич тут-то и высказал свою твердую мысль, что у переславских властей вечности нет. Тогда-то озорной мальчишка Алешка и выпали:

— Ни в чем вечности нет!

— Как ни в чем, — вспылil Гаврила, — а бог?

И только-только Гаврила стал краснеть, чтобы разразиться гневом праведным и схватить озорника за ухо, вдруг к нам в сад и входят девушки-переписчицы, и все, кого они захватили тут в саду, немедленно должны были заполнить анкеты всесоюзной переписи населения.

Тогда-то вот Алеша, взяв у девушки свой лист, покопался злодейски на Гаврилу и в графе «исповедание» написал: *неверующий*.

«На-ка, вот, выкуси!» — такое было у мальчишки выражение, когда он передавал свой лист Гавриле. И тогда роли переменялись: старик только хотел было схватить мальчишку за ухо, и вдруг тот как бы сам ухватил его.

Сердце мое стеснилось от жалости: лицо старика в серебряной бороде, нежное, с легким румянцем, как у ребенка, всегда ясное, спокойное, вдруг стало белым как снег, исказилось страданием.

— Алеша, — сказал он, вставая, голосом притворно ласковым, — возьми с собой лист, и зайдем на минутку в дом.

Вскоре, смотрим, оба спускаются назад с лесенки. Гаврила радостный, а у Алеши глаза опущены и по щекам размазаны слезы. Спокойно собрав все наши листы, Гаврила отдал их девушкам-переписчицам, и мы пили чай и об этом ничего между собой не говорили.

Только уже после смерти Гаврилы однажды у Алеши развязался язык, и мне одному с глазу на глаз он признался: Гаврила заставил его вычеркнуть из анкеты слово «неверующий». И как заставил! Когда они пришли в дом, старик посадил Алешу за стол, положил перед ним анкету, сам же опустился перед Алешей, озорным мальчиком, на колени и с рыданиями умолял его:

— Алешенька, не губи свою душу! Нельзя, милый мой, о себе написать, что неверующий! От этого потом уже не откажешься, и это уже навсегда, на вечность пойдет. На коленях тебя прошу, зачеркни!

Страшна вечность была Алеше, но страшнее вечности был ему этот седой старик перед ним на коленях.

И он зачеркнул.

Но думаю я теперь, тут-то и родился в нем, как потом оказалось, человек, враждующий с вечностью, человек, готовый всю далекую вечность отдать, чтобы только сейчас поднять упавшего перед ним старика...

Алеша женился на одной переславской девушке, блондинке с синими глазами — Милочке: птичка и птичка вольная. Посмотрел я на них, вспомнил прошлое и подумал, что, пожалуй, в этом браке тоже вечности нет.

V. НАШ ДОМ

Что это за человек теперь, спрашиваю, кто за два с половиной года войны не пережил в себе сто, а может быть, даже и тысячу обыкновенных наших прежних лет! Вот почему, наверно, теперь так и трудно рассказывать о всем, что было там назади перед войной.

Теперь в простоте своей я, как хозяин маленького, своими руками выстроенного дома, начинаю понимать людей на войне: они, отдавая жизнь свою, рубя врагов, лес рубят для нашего великого дома. Полагаю, что и у них там, на фронте, у каждого есть мечта остаться в живых и потом, когда война кончится, счастливо устроиться с семьей в своем знакомом, с детства любимом уголке необъятной нашей родины.

Как из всех этих желаний складывается общее дело, я понимаю по нашему поселку: каждый из нас строил дом для себя, а вышел поселок, и через несколько десятков лет обитатель моего домика будет считать его своим, и тогда-то окажется, что я рубил его не только для себя, но и для него.

Однако в то время перед войной я рубил вполне для себя, и еще, может быть, много лет пройдет, пока окажется в этом домике кто-то другой.

Напротив, на войне, на передовых позициях, мечта о своем в один миг переходит к другому: прощай, товарищ, будь счастлив! — и все кончено.

Подумаешь об этом скором превращении себя в другого там, на войне, и трудно становится рассказывать о том времени, когда, строя дом, каждый думал о себе самом на всю вечность. За войну мы так много пережили, что, коснись меня теперь строить дом для себя, — я не решился бы, как тогда, идти к директору лесу просить.

VI. В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ

Началось все наше строительство, конечно, от большой тесноты и постоянных обид женщин, теснящихся в общей кухне. В нашем маленьком двухэтажном доме нас размещалось шесть семей, и это был еще самый счастливый итееровский домик. Другие жили еще теснее. Но я должен сказать, что в наших лучших итееровских условиях больше было ропота и обид, чем у них в тесноте.

Там в совершенной тесноте люди как-то больше дорожили питанием, чем жилплощадью. Напротив, многие из нас предпочли бы недоедать, лишь бы в жилплощади иметь свой уголок. Я это не особой природой нашей или образованием объясняю, а что у пришлых из деревень рабочих настоящая их желанная жизнь была в своем деревенском доме, здесь же он жил временно. У нас, напротив, ни у кого ничего своего не было, и жизнь в этой тесноте для нас была не временная, а вся наша постоянная жизнь.

Находились, однако, даже и в таких условиях чудачки, кто утешал нас своей мудростью: «В тесноте, да не в обиде». А как же не в обиде, если за одной плитой горит шесть примусов, а у каждого примуса не одна, а часто две-три женщины: жены, тещи, бабушки и всякие племянницы и свояченицы.

Не хочу я, конечно, говорить чего-нибудь худого о наших женщинах; за исключением немногих, все были славные и милые, но теснота заедала всех. Возьму, к примеру, нашу Милочку, Людмилу Михайловну: маленькая молоденькая женщина, сказать бы лучше девушка, вся как незабудка на зеленом стебельке в кувшинчике, всегда веселая, всегда ласковая и до смешного добрая. Бывало, только и слышишь: «Милочка, принеси сковородку, Милочка, дай воды», — и так без конца всем делает, со всеми ласковая, а между тем сколько обид получает.

Нет, нет! что бы там ни говорили учителя смирения и терпения, я знаю, никто с этого меня не собьет: есть предел тесноте и обидам, когда именно даже нравственным долгом ставит себе человек дать обидчику сдачи и разломать тесноту.

Тоже и жена Вани-агронома Анна Александровна, дородная красавица с тремя хорошенькими детками: знаете ту силу красоты, когда она распространяется и на других переходит свободно и радостно, как власть и добро. Бывало,

как войдет в кухню, как будто и свету прибавится, а выходит со слезами на глазах и вся в красных пятнах.

Тоже и Лидия Федоровна, медицинская сестра, до того порядочная, расчетливая и аккуратная женщина, смеялась над нашими хозяйками, как они постоянно чего-нибудь ищут. Это, конечно, не всем нравилось, и за немецкую свою аккуратность Лидия Федоровна часто получала острый русский ответ. Неделями, месяцами, даже годами не забывала она свою обиду и ходила с поджатой губой.

Сейчас я назвал самых интересных, самых достойных и красивых наших женщин, а ведь были, как и везде, злющие кошки, были никогда не смолкающие старухи, были живые скелеты, и даже была одна настоящая, как у Гоголя, ведьма.

Да, ты побывай-ка, проповедник смирения и терпения, сначала в нашей кухне, приготовь-ка себе обед, а потом и говори свое: «В тесноте, да не в обиде».

Никакого согласия не было у нас, и как всегда в таких случаях, жизнь мало-помалу приводит к полному разладу и заставляет людей браться за ум.

Произошло у нас в кухне такое, о чем потом связно рассказать никто не умел. Вышло вроде того, что ведьма обернулась в кошку, а кошка большой чугунок со щами, заготовленными дня на три, опрокинула на горячую плиту, и поднявшийся пар на время скрыл все в кухне. Когда же разошелся — все увидели: большой чугунок в опрокидку сидит на голове нашей чопорной медсестры Лидии Федоровны.

Вот тогда-то наша достойнейшая красавица Анна Александровна с пылающими щеками, с взволнованной грудью вышла из кухни, разыскала своего агронома и отрезала:

— Иван Гаврилович, иди сейчас же домой и сложи мне буржуйку: в кухню я больше никогда не пойду.

— Сию минуту, дружок, — ответил Ваня и пошел складывать печку.

VII. ДВОЙНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

С тех пор как Ваня сошелся с Анной Александровной, он, по-моему, как счастливый золотоискатель, нашел себе неисчерпаемый рудник. Он был один из редких у нас теперь счастливцев, какие в определенной им судьбой женщине находят себе вторую мать и так слушаются ее, как

маленькие, и живут с нею всю жизнь, как маленькие с родной матерью.

На него-то вот именно я и намекал как на поборника старинного русского завета: в тесноте, да не в обиде. Завет сам по себе неплохой, если понимать его в том смысле, что первой причиной обид наших нужно считать недоброе состояние наших душ. Но у таких людей, как Иван Гаврилович, выходило это вроде того, что от самой тесноты и не должно быть обиды и что, значит, не надо бороться с теснотой самой по себе, а лишь улаживать между собой наши житейские отношения.

За эти двенадцать лет нашей жизни я вовлек ребят в чтение, мы с ними вместе в долгие вечера разбирали вопросы о выходе из нравственных тупиков, поставленные нашими десятью русскими мудрецами. Удивительно было, что с годами споры наши не затихали, а, напротив, все разгорались.

Ваня упорно твердил, что людей освобождать можно, лишь поскольку они сами себя изнутри освободили, и что, значит, выход к добру можно найти только в себе самом.

— С себя надо начинать, — говорил он, — и этому нужно учиться. На современном языке это называется «мобилизация внутренних ресурсов».

— Знаем мы вас, попов, — отвечал Алеша, — за чаем сидишь и говоришь о мобилизации внутренних ресурсов, а придет настоящая мобилизация, — и я — не я, и лошадь не моя, и сам в кусты.

— Ну, это, конечно, правда твоя, так у нас постоянно бывает, — добродушно смеялся верным словам Иван Гаврилович.

Не со зла спорили эти люди, а, по правде говоря, до войны времечка еще у нас хватало за чаем бороться в воздухе своими мягкими языками. Ваня в этой безобидной борьбе исходил из готовых залежей в своей природе. Из нового он выбирал только хорошее. И так душевное богатство скоплялось у него, как торф: поживал — наживал — складывал в душу свою, как торф складывается в лесу.

Но мой бедный Алеша спотыкался о каждую новую мысль и переживал сам за свой счет.

Перед тем как нам всем разойтись из нашего итееровского домика по своим углам, был у нас замечательный спор. Все началось разговором о реставрации церкви в нашем городе, о том, что все готово для службы, да только за малым дело: попа никак не могут найти; приходил один,

очень старый, пожаловался на зубы: без зубов, мол, нет и голоса. Прихожане сложились по рублю на верующего едока и вставили ему зубы. А когда вставили, то оказалось, что это вовсе даже совсем и не поп.

Посмеялись мы над этим случаем, и тут Алексей Миронович шутя и говорит:

— Вот бы тебе так, Иван Гаврилович, славный бы из тебя вышел поп: зубы здоровые, прихожанам не нужно тебе и зубы вставлять.

На эти споры Иван Гаврилович, намекая на то, что Алеша часто ищет спасения в политэкономии и другом подобном, ответил так:

— А тебе, Алеша, я посоветовал бы поступить в коммунисты: там проповедуют материализм. Хороший бы, бескорыстный вышел из тебя коммунист. И как бы тебе пригодилась там твоя двойная бухгалтерия.

Это слово «двойная бухгалтерия» в наших идейных спорах всегда означало нравственный крах. От этого Алеша вдруг переменялся в лице, зашагал по комнате, как бы раздумывая, говорить ему о чем-то своем или помолчать. Пройдя несколько раз взад и вперед, он остановился, посмотрел на нас испытующими чужими глазами и решился сказать:

— Насчет двойной бухгалтерии я думаю: скорее всего у вас-то, попов, она и есть двойная, со счетами богу и кесарю, а материализм, как ты говоришь, этот счет двойной выправляет. Тут один путь к правде. Одним словом, я к этому шагу долго про себя готовился и теперь решился: я уже кандидат партии. И ты прав: я буду неплохим коммунистом.

Тут Ваня смешался в свою очередь. Ему было это совсем неожиданно, и тихонечко, упираясь глазами в свое чайное блюдечко, он спросил:

— Ну, а как же, Алеша, наши прошлые споры с тобой и наши согласия?

И больше ничего не сказал. Да и не надо было. Алеша своими большими серыми глазами уперся в светлый блик на своей чайной ложечке и сказал:

— Что же делать! Приходится нам разойтись. Вот откроется скоро наша церковь, соберутся со всех сторон нищие, ты им по копеечке дашь, перекрестишься, а может, дашь и три рубля, скажешь: «на всех», и в церковь войдешь, сам будешь молиться, а нищие будут деньги делить

— Что же плохого ты в этом видишь?

— Извини меня, так просто я не могу. Мне надо от этих уродов, собравшихся во имя Христа, отделаться как-то по-серьезному, по-современному.

— Чем же плоха тебе милостыня и чем она несерьезна?

— Несерьезна, по-моему, тем, что время такой милостыни прошло. Теперь это дело двойной бухгалтерии: милостыней с бедностью не справишься.

— Что ты мелешь, Алеша!

— Да, милостыней своей ты только себя утешаешь. А всякий настоящий современный благотворитель — это экономист и хозяин, и это потруднее, чем твоя трешница.

Тихонько, и все не отрываясь от чайного блюдечка, спросил Иван Гаврилович:

— Ты все сказал?

— Нет, не все. Ты хочешь все вопросы решить благополучно за чайком! Хочешь, как на исповеди попы говорят, когда им свалишь грехи: «Все тебе, раб божий, прощается». И прощенный раб уходит, ничего не поняв, и все забывает. А я молюсь: все понять, ничего не забыть и не простить.

— Как же так: «не простить»?!

— А так: хочу жить и основному врагу не прощать.

Признаюсь, сам я, слушая этот спор ребят, как их учитель, смешался, перебирая про себя мысли всех наших учителей — десяти мудрецов, и ни одного из них не нашел, кто бы учил не прощать.

— Эх ты, раб непрощеный,— сказал Иван Гаврилович,— испытай, как тебе хочется, поживи непрощеным рабом. Ну что ж делать, остается нам разойтись.

Я посмотрел на Алешу, какое у него было в эту минуту лицо хорошее, изнутри светилось, и понял про себя: не из-за волюшки своей, не из-за озорства он с богом заспорил, а так, видно, уж ему надо.

VIII. КЛЮЧ ПРАВДЫ

Последний спор наших мужчин между собой и последняя ссора женщин на кухне сошлись в одно время и внешне привели нас к выходу из тесноты: Алексей Мироныч, узнав о решении Анны Александровны стеснить свою жизнь и устроить кухню в комнате, увидел неправду в таком выходе из тесноты и, как говорят у нас, «пошел на принцип»: он собрал нас всех у директора, сумел убедить

начальство и всех нас в необходимости активной борьбы с теснотой.

Не будь налицо всего нашего начальства, я уверен, Иван Гаврилович никак не допустил бы торжества Алешиных «внешних средств» в борьбе с теснотой. Но задушевные мысли Ивана Гавриловича редко выходили за порог нашего итееровского домика и до смерти боялись общих собраний. Когда дело дошло до голосования, сам же Иван Гаврилович поднял руку за строительство поселка, и после дружного согласия каждый из нас получил лесной участок. В то время, перед войной, строительство таких поселков очень поощрялось, и это было правильно: ничего, кроме пользы, от них не было.

Начал себе рубить дом, конечно, самый ретивый из нас, Алексей Мироныч, работал он ежедневно с каким-то своим приятелем из колхозников, и когда все увидали, что дело у него идет отлично, принялись, кто как мог, рубить себе дом. Скоро рассказываешь, но, конечно, в жизни наш поселок устроился не сразу: много было разных мелких споров и ссор. Но как бы там ни было, поселок все-таки однажды был закончен, и мы все друзьями сошлись у нашего студеного ключа праздновать победу маленького человека над своими серыми буднями.

Замечательный был этот ключ: вода холодная и чистая сливалась с одного камня на другой, пониже его аршина на полтора, и музыкальный звук от этого паденья разного тона, смотря по силе струи, в ночной тишине наполнял собой весь лес. Немного подальше от этого падения воды к бегущей струйке присоединились другие ключики, и так начинался рассекающий весь лес наш знаменитый ручей Вертунок.

Празднуя день победы нашей, я напомнил ребятам моим, Ване и Алеше, замечательное описание русской природы у Ключевского, как у него дан тоже такой Вертунок: между корнями и камнями, извиваясь, приспособляясь, струится русский ключ правды и после мучительной борьбы выходит в конце концов в океан.

— Давайте, друзья, — предложил я первый тост, — выпьем за правду и назовем и этот ключ, и этот поселок в честь правды.

— Назовем «Ключ правды»! — воскликнул Алеша.

— Под Москвой, — сказал Ваня, — уже есть такой поселок и станция в честь газеты «Правда». Зачем нам повторять. Давайте лучше назовем «Верный путь».

Тогда все бывшие с нами застройщики — служащие и рабочие нашего совхоза, каждый вспомнил по одному колхозу, и при общем смехе оказалось, что «Верных путей» в советской России великое множество.

— А «Ключ правды» будет единственный, — сказал Алеша. — Пусть там, где-то под Москвой, и есть станция «Правда», все равно ключ от правды будет у нас.

После того единогласно было принято всеми название нашему поселку и ручью «Ключ правды». Так Алеша опять вышел победителем в борьбе своей с Ваней. И тот, как всегда в таких случаях, добродушно улыбаясь, поднял руку за «Ключ».

— Я потому, — сказал он, — предложил «Верный путь», что правда — это только между людьми. Побольше правды есть еще истина, и верный путь может быть путем и к правде и к истине.

— Нет, Ваня, — схватился Алеша, — верных путей твоих бесчисленное множество, и в таком имени всякий может приятно укрыться, а правда колет глаза, и ключ правды у нас будет единственный.

На людях спор этот о правде и об истине, конечно, не мог разгореться, как, бывало, у меня за столом, но тем, кто знал Алешу и Ваню, можно было хорошо понять их намеки. Алеша, выпив рюмочку, теперь называл истину Вани аптекой, в которую некоторые люди идут за готовыми лекарствами утешения и отпущения грехов.

— За истиной, — говорил он, — идут в аптеку люди-потребители, понимающие, что за них кто-то трудился, страдал, и потому сами они могут жить спокойно, без личного усилия. А в правде без личного усилия жить невозможно. В правде могут жить только люди-производители. Вот отчего она всем потребителям колет глаза.

IX. НА МОХОВОЙ ПОДУШКЕ

Конца этого спора я, признаться, не дослушал и, устроившись хорошо на мягкой моховой подушке, прикурнул, и мне привиделся великолепный дворец из «Шехерезады», а может быть, из «Синей Бороды». В этом дворце было множество комнат, и чего ни захочешь — все есть. Но только в одну комнату вход запрещен под страхом, что как вой-

дешь в нее, так и весь этот волшебный замок исчезнет. На дверях же этой запрещенной комнаты написано «правда».

Мне представилось тогда, будто ключ от запрещенной комнаты у меня в кармане и через это я чувствую, что весь дворец в моей воле: слушаюсь — и все хорошо, не слушаюсь, дерзну открыть дверь — и сразу все кончится.

Но это было не в том смысле, что за дверью нет правды, а что даром она не дается человеку: открою, мол, дверь — и весь труд. Нет, ты сам потрудишься, послужи ей, создай эту правду — в этом и ключ: создашь — и дверь сама собой откроется.

Скорей всего, однако, в настоящем сне я видел только дворец Шехерезады с запрещенной комнатой, и все, что вышло о правде, то это, наверно, было в полусне, когда свободно придумываешь что-то по поводу сна.

В то же время мне было это и откровением для целей писательских: мне всегда было особенно трудно писать из-за того, что когда пишешь по правде, то написанное кажется неинтересным для читателей, а когда начнешь выдумывать, то получается завлекательно, поднимаешься высоко над землей, но по природной честности моей трудовой, как вспомнишь о правде — так все и рассыпается, и написанное представляется себе самому блажной выдумкой.

Но теперь, когда мне привиделся сон, то с ключом правды в кармане показалось мне возможным выдумывать сколько угодно.

С ключом поверят мне, если я скажу даже так, что редкая птица может долететь до середины Днепра.

Х. ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР

Сейчас, сиротской зимой этого тысяча девятьсот сорок четвертого года, бывает, пахнет ветерком южным, теплым, совершенно как бывало у нас прежде во второй половине марта. Бывало, примешь щекой такой ветерок, и сердце забьется от особенной радости, данной как будто в оправдание тебя перед всеми: скоро придет весна, и не тебе одному, а всем будет хорошо, и, значит, твоя радость есть радость не за себя одного, а за всего человека.

Только теперь, этой сиротской зимой, когда теплый ветер напомнит близость весны, дивлюсь я себе, как мог я тогда жить довольным щенком и питаться такой мечтой, будто если тебе весна хороша, так она и всем хороша.

Теперь с особым уважением смотрю я на тех немногих, кто не верил ни весне, ни солнцу, ни всей природе, зная по человеческой глубине своей, какая беда предстоит на путях. Преклоняюсь перед теми провидцами, но не завидую им и скорее всего в будущем, когда минует беда, по слабости своей опять вернусь к прежнему и предпочту жить щенком, чем угадывать будущее.

Но теперь даже самые хорошие, самые достойные чувства того времени мне показываются, как корабль Мечта: пришел, показался и ушел навсегда, а я, бедный, босой, стою на камнях, холодных и острых.

Только не думайте, конечно, что я унываю и больше не жду уже своего корабля: я даже наверное знаю, что рано ли, поздно ли придет за мной мой корабль, но это не будет Мечта, а такой корабль, что на него можно будет сесть и поплыть.

XI. НА ПЧЕЛЬНИКЕ

Теперь я продолжаю рассказывать, как мы перебрались на собственные участки и как застала нас вскоре зима врасплох, но до того нам хотелось быть у себя, что предпочли зябнуть без печек, чем возвращаться к старому.

Зато весну мы почуяли далеко до капли, прямо после того, как солнце пошло на лето, а зима на мороз: в это время бывает иногда — показываются тонкие алые зорьки, и по ним догадываешься, что уже движется солнце на лето. С этих алых зорек наступающей весны света и начало у нас разгораться страстное ожидание настоящей весны, когда орут вороны и петухи во всю мочь.

Наконец пришло и это желанное время года, началась возня с удобрением участков, разделкой огородов. Встречаясь друг с другом, с веселыми лицами спрашивали: «Ну, как?» Выслушивали терпеливо и участливо длинный рассказ о том, как сосед избавился от мошки, спас капустную рассаду, или что счастливо раздобыл себе лошаденку и окупил картошку. И так, мало-помалу и в совхозе, и на колхозных полях зацвела рожь.

И вот в самый разгар цветения ржи, когда золотистая пыльца дозорной тучкой носилась над полем, выпал мне чудесный день отдыха. С утра и до вечера я огораживал свой участок давно припасенными жердями. И по мере того как земля моя окружалась и становилась моею, мне так было, будто и я становился растением и корни мои уходили

далеко вглубь, а ствол поднимался вверх к солнцу, как все цветы, деревья и соломинки ржи.

Так вот и было мне, будто сам я стою каким-то не то колоском, не то деревцем, соединенный корнями с глубокими недрами матери-земли, и пчелы мои двумя темнеющими столбами — одни улетают за взятком, другие возвращаются, нагруженные, и корабль мой Мечта тоже с ними куда-то отправляется и возвращается, полный драгоценной добычи.

Закончив работу, сел я покурить на камень. Рабочий день кончался, и улетающий столб пчел становился все тоньше и жиже, а прилетающий — толще. Полевой мышонok высунул из норки усики и, толстый, вылез и поплелся себе по бороздке. Вечерело все гуще, и наконец я заметил: сквозь елку на меня глядели чьи-то глаза: это сова там, внутри елки, ждала темноты.

Вдруг откуда ни возьмись является передо мной трехтонный грузовик, и выходит из него маленький колченогий человек в шоферской кепке, в замасленном комбинезоне и говорит мне, прихвастывая своей образованностью:

— Гражданин научный профессор, пустите меня ночевать.

Поглядел я на него, послушал, как он вывертывал слова, и показался он мне подозрительным.

— Чего, — отвечаю я, — проситься вам в дом, когда на улице в это время каждый кустик ночевать пустит.

— Как, — говорит, — вам не стыдно отказывать мне при таких обстоятельствах человеческой жизни в мировом масштабе.

— Ночуйте, — говорю, — в машине.

— Как в машине я буду ночевать, поглядите, какая у меня нога: в машине протянуться нельзя, и нога моя затекает.

И опять за свое:

— Удивляюсь, как вы не реагируете на мировые события. При такой всемирной заворошке люди добреют.

— Какой такой заворошке?

В это самое время он наконец догадался, что я ничего не знаю о событиях мирового значения.

— Понимаю, — говорит, — вы тут на пчельнике ничего не знаете о всеобщей беде. Пустите ночевать, и я сейчас вам все расскажу.

— Ночевать, — отвечаю ему, — я пушу вас, только скорее говорите, если есть что сказать.

Тогда он ухмыляется, как победитель, и потрясает меня такими словами:

— Сегодня, двадцать второго июня, напал на нас немец, весь немец вышел от Баренцева моря до Черного, и на мать русских городов Киев уже сброшены бомбы.

Батюшки-светы, пчелки золотые мои, ягодки лесные, грибочки-опеночки, прощайте, родные!

Оторвалось мое сердце, и корабль мой Мечта уплыл.

Краснослового шофера я, конечно, пустил ночевать и накормил всем, что только нашлось у меня. Вот от того раза я стал чувствовать, будто великий дом строится на все человечество, а у меня только смешной маленький домик без печки, с одной буржуйкой и выводной железкой за форточку.

ХII. ПРИШЛА БЕДА — ОТВОРЯЙ ВОРОТА

В этот раз не было у нас кометы, как в ту отечественную войну, когда к нам француз приходил, и через полста лет после того Лев Толстой в своей книге «Война и мир» не забыл об этой комете. Появись и в эту отечественную войну звезда с хвостом, наверно бы и я не забыл сказать о ней, как это постоянно делает Нестор в летописи.

Сам помню, было в жаркие дни первой мировой войны тысяча девятьсот четырнадцатого года: были в ту войну кузнечики на полях в небывалом числе, и они так стрекотали, что и ночью, в постели, в ушах звенело, и теперь, через тридцать лет, как только подумаю о той войне, так и начинает в ушах стрекотать.

В эту войну не было ни комет, ни особенных гроз, ни вещей кузнечиков: в эту войну люди и на небо-то смотрели больше из-за страха — не летит ли вражеский самолет, и на земле не кузнечиков слушали, а искали местечка укрыться от бомб. Сухим, голым огнем загорелась жизнь человеческая.

И слезы! Приди в это время, кто никогда не видел, как русские женщины провожают своих мужей и детей на войну, он бы и сам заплакал.

В простом народе война и пожар исстари поливаются бабьими слезами. Наша почтальонша Ариша особенно убивалась за своего Степана, вопила брюшным надрывом:

— Прощай, хозяин мой, Степанушка!

А Степан стоит себе, делает вид, будто он и в ус не дует,

еще кому-то подмигивает, старается преодолеть в себе бабьи слезы и показать себя перед людьми молодцом.

Но бывает, женщина как бы закаменеет в своем настоящем горе и не ищет слезами привлечь к себе внимание и сочувствие. Так провожала своего мужа Ваню первая красавица нашего поселка дородная и важная жена его Анна Александровна. Казалось, она всю жизнь свою только и ждала смертельной схватки с бедой, и вот она пришла, та беда настоящая.

Пришла беда — отворяй ворота!

Ни слезинки не пролила красавица по Ване, открыла горю ворота и вышла за околицу. Рожь в это время, как бывает на цвету, желтела, но соломинки не все вышли из зеленого, и когда муж с женой вступили на озорную тропу, то будто в море утонули в зеленой воде, и никто не увидел, как любящие прощались.

Никто не видел слезинки на ее лице, строгом, освещенном, как двумя лампадами, большими карими глазами. Проводила она его до совхоза, там обняла, перекрестила, как своего ребенка, и вернулась просто к детишкам, принялась стирать, убирать, как будто ничего совсем не случилось особенного. Но все заметили, однако, что черты ее лица изо дня в день стали обрезать, и все лицо в новой его строгости стало получать новый смысл.

Бывало, сам помню, когда ее какой-нибудь маленький заревет, как она подхватит его, как прижмет к материнской груди; и вновь отстранит, засмеется и полюбуется со стороны, как художник на свою вещь: знает, что это и свое, и как бы уже и не свое, и куда лучше, чем она сама, и что это просто чудо, а не картина и не ребенок.

А теперь, когда заплачет дитя и надо его успокоить, то берет его на руки и, склоняясь к нему, очень серьезно глядит, как будто куда-то сквозь него, и там где-то видит судьбу его, и скорбит об этой, ей только, скорбящей матери, известной судьбе.

Глядишь на такое лицо, и своя же покойная матушка вспоминается по-новому, и дивишься ей, и сердце щемит за себя самого. Ничего-то я не чувствовал, когда жил с ней и глядел на нее, и она тоже на меня так скорбно глядела, и я в этом скорбном всевидящем луче, я, негодяй, плутовал.

Но если прошло с тех пор столетия и я все-таки чувствую боль, значит, и тогда было же где-то во мне то самое прекрасное чувство, каким я теперь вызываю к себе это лицо.

Может быть, и тогда она это хорошее во мне могла распознать и скорбела оттого, что провидела, сколько нужно мне перенести в жизни горя, чтобы вызвать со дна души наверх красоту и добро. До мельчайшей черточки вижу это, как глядела она в меня и куда-то далеко через меня.

Но вот полоснуло по сердцу! Как раз, когда она так на меня глядела и позабылась, в этот святой миг я свободными ручонками своими из раскрытого кошелька на столике и стянул себе проклятый двугривенный.

ХІІІ. ЖУК И ЛАСТОЧКА

...И вот к Ване пришла женщина-мать, а к Алеше птичка прилетела.

Была она совсем молоденькой: маленькая женщина, лучше сказать — девушка, вся как незабудка на зеленом стебельке.

К удивлению всех, эта самая Милочка, по общему признанию не женщина, а птичка или цветочек, проливала по мужу горькие слезы, больше даже всех простых баб, и прямо исходила в слезах. Никто не принимал эти слезы, не верил им, и некоторые прямо говорили, что это даже не слезы, а с гуся вода. И горе на ней, как вода на уточке: встряхнулась — и опять сухонькая. Некоторые даже объясняли эти слезы формой Алексея Мироныча: бухгалтер в новом виде вдруг оказался статным и пригожим военным.

И так все, кроме меня и Анны Александровны, Милочку понимали очень просто: птичка и птичка. Но больно мне за эту птичку! Вспоминаю, как и у меня когда-то была своя птичка, и такая мне привычная. Ходишь, бывало, каждый день полем, глядишь так равнодушно: летает птичка высоко, — соображаешь, что к вёдру, летает низко — к дождю.

Но было раз случайно: я поднял голову вверх, а на телефонной проволоке близко, только рукой не схватить, сидит ласточка птичка и такая красавица, никак описать невозможно, потому что не в расцветке дело тут, не в красном горлышке на белом, не в черной, отливающей радугой спинке, не в хвостике вилочкой, не в коготках, обнимающих проволоку, а в том свете, какой просиял во мне в ответ на чудесные краски и форму этой маленькой ласточки.

До того она мне хороша показалась, что на всю жизнь я почувствовал благодарность, и только собрался в душе своей дать зарок, чтобы не забыть эту минутку и в самой великой беде, какая неминуемо придет ко мне, славить и благодарить, поглядел наверх, — а на проволоке уже нет ничего: птичка моя уже улетела.

С кем это, однако, не бывало такого! Я лишь к тому все это рассказываю, чтобы каждый помнил, как и в его душе из-за какой-нибудь общей всем птички показывалась своя чудесная ласточка, и что даже, может быть, каждая такая птичка, чтобы сделаться ласточкой в том смысле, как я говорю, непременно должна встретить своего особенного и единственного ценителя. А что таким единственным ценителем Милочки был наш Алеша — я очень сомневаюсь.

Бывало, Алеша сидит за столом, даже и в выходной день, то ли вычисляет что-то по своей бухгалтерии, то ли выводит решение на поступки и записывает об этом у себя в дневник. Милочка в это время с тряпкой в руке вытирает на клеенке после него, как он пил чай, накапал и насорил.

В Милочке сердечко бьется частенько, как в птичке, хорошенькая она, с синими глазками, прелесть, склоняется близко к его голове, быть может, пощекотала его золотистокаштановыми волосами, и он даже почесал себе пальцем в этом месте лицо.

Милочка загадала про себя: очнется — буду любить, нет — это не тот. Но нельзя же уйти с тем, что выходит «не тот».

Она нежную ручку осторожно кладет ему на голову и будто забывает, а он в задумчивости своей тихонечко руку ее отводит и еще крепче напрягает морщины на лбу, будто Милочка не человек, а котенок трется с поднятым хвостом и мурлычет.

— Слушай, Алеша, — говорит она, — сегодня выходной день, пойдем с тобой в Сорокин лес по малину.

Он поднимает на нее свои большие серые глаза.

— Ты, Милочка, что говоришь?

Она ничего не отвечает, только глядит на него, и в мыслях у нее вертится опять: «Не тот, не тот, не такого я с колыбели ждала».

— Что ты говоришь? — спрашивает он.

— Для глухого, — отвечает, — две обедни не служат.

И тут оказывается, — он хорошо слышал вопрос, только не сразу может поднять его из-под своих тяжелых мыслей.

— Ты, — говорит, — кажется, хочешь идти в лес за малиной?

Тогда в ней поднимается злость и неудержимое желание сделать ему какую-нибудь гадость...

Бывает, и делает, а когда натворит много досадного и он все глядит на нее, и глядит такими виноватыми глазами, тогда она вдруг во всем повинится: и за то, что «не тот» про себя думала, и что нарочно опрокинула чернильницу, и в прошлом такое же вспомнит, и станет ей очень жалко его, и она эту болезненную жалость в себе за любовь примет, и начнет его целовать, и слезами мочить, и в лес уведет за малиной, и расшевелит его, и он пробудится, как живой, любящий и невиноватый, как невиновен жук перед ласточкой, стремительно летящей, что не сразу может оторваться от земли и долго путается в траве и жужжит, пока соберется только крылья расправить.

Так вот, когда Милочка провожала на войну Алексея Мироныча и неутешно плакала, только мы с Анной Александровной понимали, откуда брались у Милочки слезы: она этими слезами смывала все прежние свои «не тот» и смыть не могла. Наверно, Алеша был ей и вправду «не тот».

XIV. СОРНЯКИ

Сокровища слов моих десяти мудрецов, связывающие между собой тысячи лет человеческой жизни, кажется мне, никогда не исчерпаются. Но умная душа каждого, кто прикасается к этим сокровищам, всегда немного поспорит, пока с чем-нибудь навсегда согласится.

Так вот, читал я сегодня о том, как у сеятеля одно семя упало на добрую почву, другое — на каменистую. Читая эти слова, в то время как люди уходили от нас на величайшую войну, я людей этих понимал как семена.

И мне приходило в голову, что дело не только в почве тучной или каменистой, а в семенах: во всяких, даже самых добрых и очищенных, непременно сколько-то таится и сорняка.

И вот стал передо мной, взявшим на себя совесть летописца, вопрос: могу ли я, подобно как в рассказе о сеятеле, пренебречь сорными семенами? Ведь тогда я, как летописец, оторвусь от жизненной правды, если ничего о сорняках не скажу.

Подумав о Несторе и о его лампаде, я увидел солнечный луч в моей комнате, и в нем светились миллионы комнатных соринки. Да, подумал я, в свете лампы у Нестора можно, конечно, писать, как хочется, и обойтись совсем без соринки, а у нас, на всем природном свете, так невозможно. И, подумав об этом, вспомнил я нашего Артюшку, мужа моей дальней родственницы Натальи Анисимовны.

Человек этот, Артюшка, не здешний был, а присланный, и вертелся на разных должностях, как бес на сковородах: на одной поджарят — он прыгнет на другую, похолодней, тут станет жарко — на третью. Сколько раз я ни старался при встречах с ним поймать его взгляд, и не мог. Человек очень быстрый, очень способный, скажешь ему что-нибудь — и вот тут бы сойтись глазами в одного человека, понять что-нибудь вместе, как все делают и сколько-то верят друг другу. А этот Артюшка, торговый агент, и глазом моргнуть не успеешь, обведет тебя по-своему, и нет ничего у тебя — ни товару, ни человека.

Сколько раз его ловили и сажали, и опять выпускали, и опять он на месте вьюном вьется, чтобы оправдать себя полезными делами, и тоже себя не забыть. И только выпустили — глянешь, опять покачулся, и опять молва: «Артюшка засыпался». И снова через месяц: «Артюшка воскрес».

Досадный человек, неприятный, а станешь думать, кто бы мог у нас его заменить, и никем не заменишь. Вдруг война, и Артюшку берут. Верить не хочется в жизнь без Артюшки, но вот он, как и все, прощается со своей женой и весь дом оставляет на свекра.

Наташа, моя племянница — соединяет же бог таких людей, — баба самая простецкая и, как сказать? — в этой простоте своей хорошая баба, ни тайн у нее никаких семейных, ни изворотов бабьих. Глядит на тебя чистыми, ясными кроличьими глазами, все свое рассказывает, как на духу, с каждым советуется, как будто каждый человек имеет совесть одну, и только вот одна она растерялась на минутку и просит помочь. Это у нее неплохо выходило, и действительно каждый ей помогал, и она так и жила: со всеми во всем своем советовалась. Вот, когда Артюшку забрали, приходит она ко мне.

— Я к тебе, дядя Алексей, за советом.

Села ко мне на скамеечку, круглая, добрая, руки на плечи, голову на грудь мне, и вот плачет баба, вот рыдает, никак ее не уймешь.

— Ну, голубка Наташа, говори же, говори...

— Да как сказать, это ведь тайна...

— Ну так что ж, чай, ты не чужая мне: я тебе дядя.

— Дяденька, милый, побожись: никому не скажешь.

Конечно, я побожился, и она мне все рассказала. А когда облегчила себе душу, то уже потом всем рассказывала легко, и всю эту «тайну» в поселке скоро узнали.

И вот эта «тайна»: прощаясь с Наташей, Артюшка сказал ей такие загадочные слова:

— Ты помни, жена, от пули я не умру.

— Как ты это можешь знать? — спросила Наташа.

— Как знаю — тебе до этого нет дела. Только помни, держи язык за зубами, не удержишь — вернусь и убью. Так и знай, если пришлют бумагу казенную с печатями: «Артем пропал без вести», — не верь и знай про себя: Артем жив.

— Ну, а если пришлют похоронную?

— Не пришлют: от пули я не умру. Пришлют, может быть, только одно, что пропал без вести, а ты не верь и сохраняй мне верность. А когда война кончится — держись, — рано ли, поздно ли, Артем к тебе явится и все рассудит по своему.

И вот глупа-глупа Наташа, а догадалась спросить:

— Ты, может быть, в плен захотел?

— Не твоего ума это дело, — помни одно: Артем вернется домой.

Выслушав эту «тайну», каждый из нас про себя понимал мысль Артема: были изредка еще такие у нас, немцев еще тогда не отведали. Но, конечно, каждому хотелось утешить молодую, красивую и добрейшую бабу, обреченную на вечный страх и послушанье пьянице свекру. Мы говорили, что от пули нет у солдата защиты, что нет на свете ни колдунов, ни бесов, ни зелья-снадобья, и чему быть на войне — того не миновать, и что Артем свои слова говорил только, чтобы запугать ее и связать.

С глазами, полными слез, спрашивала Наташа нас, как ей быть, если вправду придет бумага о том, что Артем пропал без вести, верить ей тогда или не верить.

— Придет бумага, — отвечали мы все в один голос, — тогда верь бумаге, а не Артюшке.

От этого нашего совета Наташа каждый день веселела. Вот почему я и говорю, что проста была баба, но и в простоте своей хороша; как будто весь человек в нашем поселке для нее соединялся в одного советчика и друга, и она жила под надежной охраной.

Не так давно бывало, какой-нибудь немудрый старик с прежними замашками схватит на базаре воришку и в горячах начинает тузить его по-старому. Приходит милиционер и почтенного старика за истязание мальчика уводит с собой, а вокруг пляшут, как черти, другие воришки и показывают плененному старику языки.

Тогда общественное мнение всего базара резко раскалывается на две части: кто стоит за старика, выходит — он за прошлое, кто за мальчишку — за будущее.

Но разве в старике драчуне наше прошлое или в воришке базарном наше будущее?

Много за двадцать шесть лет советской власти наслушался я таких споров, и, признаюсь, я, сам старик, соблазняясь нашим далеким старым временем и, жалея окруженного дерзкими мальчишками старика, со стесненным сердцем вспомнил своего дядю Ивана Ивановича. Был я тогда тоже маленький и шустрый мальчонок и раз вижу, седой этот старик, мой дядюшка, сидит на камне и покуривает из длинного рыжего тростникового мундштука. Он приласкал меня, а я воспользовался его добрым расположением и говорю:

— Вы, дядя, затягиваетесь, когда курите?

— Конечно, — отвечает, — затягиваюсь. Без этого не куренье.

— А что, — спрашиваю, — наверно, это очень приятно — затягиваться?

— Попробуй, — говорит, — на, затянись.

И подает мне мундштук. Я без памяти от радости спрашиваю:

— А можно в нос выпустить?

— Конечно, — говорит, — можно, затянись поглубже во весь дух и выпусти в нос.

Тогда затянулся я, и закружилась у меня сильно голова, и начало меня изнутри всего выворачивать, а когда стал я в себя приходить, дядя мне опять мундштук подает.

— Ну-ка, — говорит, — затянись еще...

— Нет, — отвечаю, — спасибо тебе.

И седой этот дядя мой, настоящий мудрец, как ни в чем не бывало покуривает и с доброй улыбкой своей меня поглаживает по головке.

Так этой добротой своей и незаметным для меня наказанием направил меня старик на всю жизнь и сердечной

мыслью своей связал два поколения: его и мое. Теперь я, сам старик, часто поминаю добром своего дядю Ивана Ивановича.

И когда слышу теперь на базаре обычный спор старого с новым, начинаю разбираться в себе и понимать, почему этот спор.

Мне представляется большая наша прежняя гуртовая дорога, и по ней во всю ширину ее люди бегут куда-то вперед и спешат друг перед другом. Никому нельзя в этом движении остановиться и оглянуться на прошлое. Кто стал, тот и остался навсегда верстовым столбом.

Только я, кажется мне, какой-то не как все: в моей власти и бежать со всеми вперед, и остановиться отдохнуть, и поглядеть немного назад.

И так я останавливаюсь, оглядываюсь и узнаю назади лица знакомых людей, и среди них очень хороших, вроде как этот дядя мой Иван Иванович. И так жалко мне их всех, и так хочется мне им всем помочь.

А когда после этого погляжу в будущее, куда все бегут, то, конечно, отстаю, вижу всех взад, и ничего ни о ком еще сказать не могу. Потому именно, что не могу их догнать и в лицо заглянуть.

XVI. СОЛДАТ В ПЕЧКЕ

Когда наши все ушли на войну, я остался один. В то время я уже не служил, а определился на пенсию. Казалось поначалу — не миновать мне участи верстового столба при дороге, но вот сила жизни отрывает меня от лица прошлого и заставляет обочинкой тоже трусить, как могу, в будущее со всеми вперед.

Когда все ушли, я, старый слесарь, взял себе добровольно нагрузку следить за участком нашей узкоколейки, перевозящей торф в город на фабрику. Этим посильным трудом я и достигаю того, что хоть не стою на месте.

Ранним утром, чем свет, выхожу я на линию с винтовкой за спиной и молоточком постукиваю по рельсам. Там подтяну болтик, там навинчу ослабевшую гайку. По сторонам возле осушительных канав разрослись буйные кусты, почти непроходимые, и особенно в оврагах, через которые переброшены мостики. Тут возле мостиков я спускаюсь вниз и осматриваю все очень заботливо, сам поглядываю в кусты и винтовку на плече всегда чувствую.

После тревога моя оправдалась. В одном таком овраге в кустах поймали настоящего диверсанта. При нем была даже радиостанция со всеми принадлежностями дальней передачи на короткой волне.

Так вот, с первых же дней войны каждое утро иду я по линии, постукиваю своим молоточком по рельсам. И в тот же час по уговору нашему из города выходит навстречу мне Мирон Иванович, тоже дорожный мастер, моих же лет доброволец, такой же неугомонный старик. В полдень на полпути мы с ним сходились на разъезде и отдыхали. К нам покурить всегда присоединялся будочник. На лавочке в его садике мы обыкновенно и сидим, покуриваем, а на хворосте, на большой куче, усаживаются отдыхать все прохожие.

— Ну, что сказали по радио? — спрашивает меня обыкновенно Мирон Иванович, или я его спрашиваю.

— Да вот передавали... — И начинается наша передача, а старухи эти разные с хвороста присоединяют свои толкования и даже пророчества. И потом уже, как сказку из нашего материала и своего толкования, разносят по деревням.

Так было раз, на обычный вопрос: «Когда война кончится», — мы с Мироном Ивановичем подумали на тысячу девятьсот сорок второй год и вслух об этом сказали:

— Сорок второй год обещает быть решающим.

— Верно, верно, — ответила одна женщина, — намерен мы ехали по железной дороге из Ярославля на Берендеево, и какого-то гражданина в нашем вагоне прихватили, что без билета он едет, и заставили платить вдвое.

Гражданин был, по всему видно, хороший человек, все в вагоне поверили: билет потерял. Но, конечно, кондуктору нельзя, как нам. «Ищи, — говорит, — лучше, а нет — плати штраф». Нечего делать, пришлось платить, и не хватило у него денег всего трех рублей.

Мы было хотели собрать ему, но тут вмешался маленький лысый старичок с белой бородкой.

«Зачем вы собираете? — говорит белобородый, — не надо. — И растерянному гражданину приказывает: — Эх ты, слабое сердце, чего ты пугаешься, соберись с духом, вспомни: у тебя в штанах в заднем кармане сто сорок шесть рублей шестнадцать копеек».

После этих слов растерянный гражданин весь всполохнулся и за карман, и мы все с места сорвались, и все были свидетели, и все считали: копейка в копейку нашлась, как сказал белобородый старичок.

Тогда военный в большом чине заявляет властно:

«Не может быть!»

Мы за старика:

«Как не может быть — все видели».

«Ничего не значит, — отвечает сурово военный, — это он морочит. Вот мой бумажник, пусть скажет, сколько в нем, тогда поверю».

«А ты сам не знаешь, — отвечает старичок, — сколько у тебя денег. Скажи мне сейчас, сколько у тебя, а я тебе после свое скажу».

«В бумажнике у меня, — отвечает военный, — три тысячи двести семьдесят рублей».

«Неверно, — хихикнул белобородый, и такой сухонький, живой, даже подпрыгнул от радости. — У тебя три тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей».

Принялись считать, и вышло точно, как у белобородого. Тут мы все забыли, и военного, и деньги его, и не видели, как он принял слова старика. Все плотно его окружили и в сто голосов задали ему свой вопрос:

«Когда война кончится?»

И он ответил точно, как вы говорите:

«В сорок втором году».

— Ну, это сказки, — перебила женщина-башмачница из Талдома, убежавшая из-под немцев. — Я хорошо знаю этого старика, он наш сапожник, шьет детские гусарики. Ты ведь не сама все это видала?

— Как же, я сама из Ярославля с ним ехала, только в это время я по нужде из вагона вышла, а кума все слыхала и мне пересказала.

— Ну вот! а я, милые мои, своими ушами слышала и своими глазами видала. Солдат один у нас проходил через деревню Ахтимнеево, просился ночевать. А мы ему:

«Сделай милость — переночуй одну ночь в кривой избушке». И рассказали ему, что в этой пустой избушке на краю в полночь под праздник всегда слышится служба и пенье.

«Завтра воскресенье, — сказали ему, — вот бы потрутился для общества, переночевал бы в избушке, а то мы, деревенские, боимся».

«Согласен», — ответил солдат и, как смерклось, пошел ночевать.

Ложится он в печку, закрывает чело железной заслонкой, в дырочку смотрит и ждет. Лежал, лежал — да и заснул. В полночь просыпается и видит: стоят посреди избы

три гроба, крышки на них закрыты, а вокруг ходит поп в полном облачении, со свечой в руке, и службу совершает. Кончив службу, поп обернулся к печке и говорит:

«А ты, служивый, что в печке сидишь? — вылезай».

Солдат, ни жив ни мертв, выходит, и поп снимает перед ним крышку с первого гроба.

«Гляди!» — говорит.

Смотрит солдат, — а во гробе полно змей, и все они выются и шипят. Снимает поп крышку со второго гроба, а в нем полно до краев крови, и от крови пар идет. Снимает поп крышку с третьего гроба, а в нем полно доверху свежих цветов.

«Первый гроб, — сказал поп, — это год сороковой: весь год змеи шипели и вились. Второй гроб — год сорок первый: война, а третий гроб с цветами — год сорок второй: война кончится».

Рассказ о гробах, конечно, всех поразил, и только та женщина, с рассказом о всевидящем старичке, заметила промах башмачницы.

— Ты обещалась, — сказала она, — нам такое рассказать, что своими глазами видала и своими ушами слышала, а теперь говоришь как?

— Говорю, — ответила башмачница, — как сама своими ушами слышала от самого солдата.

— Ты — от солдата, а я — от кумы. Чем же твой рассказ моего лучше? Да и солдат-то твой в печке заснул, и все ему это приснилось.

ХVII. ОГНЕННЫЙ ЗМЕЙ

Конечно, лишнего мы старались ничего не говорить, но дела наши на фронте долгое время, до московского перелома, были такие, что это лишнее само собой выходило и везде разносилось, как слух.

Заметив, что каждое слово наше перевирается старухами с хвороста, мы с Мироном Ивановичем, пока курили, говорили больше о белых мышах, — он их разводил для научных учреждений и зарабатывал хорошие деньги. А когда нам расходиться, то или я его за рукав, если что знаю, или он меня дернет, и мы отходим в сторонку и шепотком передаем друг другу не только то одно, о чем узнали по радио, а что и к нам самим пришло по слуху «из самых верных источников».

Мало-помалу блеснуло нам, старикам, почему эти слухи разные и, бывало, очень резкие и не по-деревенски осмысленные больше приходили со стороны нашего совхоза, чем из города. С этой догадки нашей и началось все распутываться изо дня в день.

Когда все нити нашей такой разведки сошлись на одном человечке и только бы его вот завтра взять, вдруг ночью с площадки нашего совхоза высоко взлетел огненный змей. Глянул я в окошко, и как раз в эту минуту добежал кто-то до нашей колокольни; схватил за веревку и забил в набат.

Только уж когда я до реки добежал, ясно определилось, где был пожар: горел особняком стоящий домик — радиостанция, где как раз и жил тот человечек. Пока налаживали пожарную машину, домик сгорел дотла. Конечно, хватились в первую очередь радиста, но даже костей обгорелых найти не могли. Так вредный человек пропал, будто провалился под землю.

С тех пор как кончилась наша радиостанция и радист бесследно пропал, те недобрые вести, о которых я говорил, прекратились, на отдыхе у разъезда мы больше не волновались, мы говорили о белых мышах, а старухи — о том, что будто бы в каждую избу через трубу накануне похоронной влетает огненный змей.

Признаюсь, не люблю я этих деревенских чудес, и больше из-за того, что жизнь понимаю чудесной даже в мельчайшей капле своей. А то что это за чудеса, ежели даются легко каждому, кто без мысли ставит ухо свое навстречу всякому слуху.

Может быть, всему началом был именно тот огненный змей, поднявшийся вверх от пожара на радиостанции. Может быть, кому-то после змея наутро пришла похоронная, а та женщина, обезумев от горя, сплела, будто именно к ней и прилетал огненный змей. А еще, может быть, у кого-нибудь загорелась сажка в трубе, и тоже пришла похоронная, и вот оно уже заплелось так, будто в избу перед ужасной вестью через трубу всегда влетает огненный змей.

Мало-помалу до того в этого змея уверились, что стали ссылаться на него при всяком случае. Придет похоронная — и всегда находится такой, кто накануне видел, как в этот дом влетал огненный змей. Даже люди, ни в бога, ни в черта не верящие, змею этому поверили и при разговоре тарачили глаза еще пуще, чем совсем неученые.

Конечно, будь время полегче, можно было бы посмеяться над суеверием, пустить стрелу насчет бабьей души

в одиночестве, но разве хватит духу шутить, когда на твоих глазах огненной стрелой пронзенная в душу корчится в страданиях женщина.

Тогда и то радостно, что есть на кого хоть вину-то свалить.

Так пусть уж и останется это за правду, будто огненный змей влетел в тонкое отверстие выводной трубы от временки Анны Александровны, и на другой день принесли печальное известие, что Иван Гаврилович погиб смертью храбрых и после смерти награжден высокой наградой — орденом Ленина.

Мне случайно удалось перехватить почтальоншу нашу Аришу, когда она несла к Анне Александровне похоронную, и по любви своей горячее к покойному взял на себя тяжкий труд сам лично сообщить ей весть об ужасном несчастье. Со слезами на глазах, обняв ее, начал я:

— Приготовьтесь, Анна Александровна, беда пришла!

Ни слезинки у нее на глазах, ни огненной вспышки лица, только немые слова лучами своими вошли в меня, как, бывало, тайно наделаешь чего-нибудь скверного и виноватой улыбкой хочешь задобрить свою мать, а она, все понимая, без слов и улыбки с упреком глядит на тебя.

— К чему, — отвечает, — вы меня готовите? Я не маленькая и ко всему на этом свете себя приготовила. Знаю и сейчас, что вы хотите мне сказать. Помолчите немножко, — и ушла к себе в комнатку, и сквозь щелку неприкрытой двери был виден только огонек.

Стою со стесненной грудью и ожидаюсь. Смотрю на огонек и вижу свой далекий, детский: старуха на печке сидит, греется, зевает, крестит рот при зевке, самая простая старушка. А против нас в уголку огонек дает разные отражения на окладе, и, может быть, от этого лицо Матери над младенцем такое скорбное, так жалко ее, так за сердце хватает, отчего — непонятно.

— Бабушка, отчего мне так жалко?

— Ну как же, дитятко, не жалко, видишь, на руках-то у нее деточка, и как же ей вашего брата не пожалеть? Деточка ничего-то не знает, глазенки у него глядят, как цветики милые — радость! А она, скорбящая, видит, как на деточку точит нож злодуга немилосердный.

— Это Кащей?

— Ну да, я же тебе сказывала, Кащей точит нож, а скорбящая от него хоронит свое дите.

— Куда же схорониться-то?

— Ну, это как ей удастся куда. А только, бывает, и схоронит.

— А сколько у нее детей?

— У нее все вы свои.

Так вот и осталось в душе навсегда с того времени, что пусть оно и есть Неминучее, но у родной матушки своей как-то можно от него схорониться. И еще крепче прижимаешься к матери.

Вот это самое знакомое с детства узнал я на лице Анны Александровны, когда она вернулась ко мне с детишками и твердо сказала:

— Говорите, что знаете, сразу.

Все выслушала, будто все хорошо знала вперед. Придала большое значение посмертной награде, пенсии, и я сам вызвался сходить завтра же в город и оформить права.

Анна Александровна, понял я тогда, на всякую беду личную приготовлена вперед. Изредка я встречал таких людей и еще более молодых, чем Анна Александровна, и каждый раз грустно мне становилось за себя самого: вот бы мне свое время знать вперед, а то все живу-живу, долго так долго живу, и все еще чувствую: к самой-то самой большой своей беде далеко еще не готов.

ХVIII. ЗЕЛЕННЫЕ ЛИСТИКИ

Часто говорят в народе, когда происходят большие изменения в жизни: «Поднять бы стариков!» А я думаю теперь, что, пожалуй, в этом-то и есть счастье долголетия, что научаешься сам поднимать своих стариков. По-моему, если ум и память сохранились и не задыхаешься уж совсем от боли сердечной, то своей собственной властью можешь поднять своих стариков или, проще сказать — поглядеть самому на все новое их прежними глазами.

Хорошо в этом вызывании стариков, что встают они без их ворчанья, обидчивости и жалоб всяких, а будто это вечно молчащие стволы деревьев поднимаются, и мы, нынешние, вьемся вокруг них или трепещем на веточках зелеными листиками.

Подумать только, какой я счастливый: десять таких замечательных стариков, русских великих писателей, лежат у меня на полках, протягиваю к ним руку, разворачиваю книгу, подвязываю к ушам очки, и сейчас же я сам уже не старик, а трепещущий зеленый листик под солнечным

лучом, принимаю через старый морщинистый ствол соки земли.

И опять берет меня грусть за то, что не знал вперед этого счастья долголетия, хотя в свое время и твердили мне, и самому приказывали твердить: «Чти отца твоего и мать твою, и долголетен будешь на земли».

«Экое счастье какое, — думалось тогда, — жить без конца седым стариком!» А вот теперь оказывается, счастье долголетия не в том, что ты стар и сед, а что на тебе зеленый листик трепещет и ты эту прелесть только в долголетии можешь во всем совершенстве понять.

ХІХ. ФИКУС

Теперь, как о себе так вот раздумаюсь, становится понятным, почему это во время ужасных бедствий войны, таких унижений от голода и страха, жить людям хочется еще много больше, чем во времена полнейшего благополучия: каждый в эти ужасные годы, переживая великие бедствия, становится умным, как старый, и над ним в сокровенной мечте его светятся зеленые листики жизни истинно прекрасной.

И вот почему люди, наверно, стали много терпимей и милостивей друг к другу во время войны. Бывало, синичка не той лапкой щечку почешет, и заорут все вороны. А теперь не до того. Вот хотя бы взять в пример Наташу. Не ошиблась она в простоте своей — какая-то совесть у людей оставалась, все ей сочувствовали в беде и помогали ей советом в борьбе с пьяницей и безобразником свекром.

Кстати сказать, и правда была на ее стороне, ведь дом-то был ее, девичий, Артюшка в ее дом вошел, а не она в его. И сад редкостный при доме ее отец насадил, и — мало того! — когда в сороковом году хватил мороз в шестьдесят градусов и погубил у нас все сады, один покойник, Анисим Михайлович, мой братеник, догадался поднять в саду своим дым и тем спас свои яблоньки. А теперь дело дошло до того, что свекор Наташи потихоньку стал пропивать эти яблони: ночью выкопает, снесет куда-то, и в саду голое место.

Это все заметили, все дружно стали на сторону Наташи, и когда пришла бумага с фронта о том, что Артем пропал без вести, все советчики дружно стали уверять Наташу, что он и вправду пропал. Конечно, и ко мне прибежала, опять на лавочку села и опять плачет у меня на плече.

— Дяденька, родной мой, помоги, посоветуй!

— Что тут дяденька,— тебе каждый посоветует одно: пропал Артем без вести и понимай так, что пропал.

— Это я уже поняла, это мне все насоветовали, не в том теперь моя тайна.

Я понял,— новую тайну Наташину все уже знали и мало того: одобряли. И правда, раз уж яблони свекор стал пропивать, надолго ли хватит Наташе с ее тремя детишками отцовского добра? Так и я, и все мы согласно решили и, можно сказать, всем миром выдали Наташу за нового бухгалтера в совхозе нашем, за Александра Филимоныча.

Второй муж Наташи, хромой от рождения, оказался тем редкостным домашним хозяином, какие водились на Руси в большом числе издавна. Все, на что ни падает глаз такого хозяина, преображается, чего ни коснется рука — оживает. Обыкновенная наша неуклюжая печка русская у него покрылась белыми изразцами с синими цветочками и стала украшением комнаты. Собственными руками он оштукатурил стены дома, сложенные из тонкого леса, побелил: снаружи стало на домик хорошо глядеть всем, а внутри тепло жить хозяевам. Откуда-то достал огромнейший фикус, дерево наполнило собой всю спальню, оно вытеснило собой всю лишнюю мебель, стояло посреди пола, как новогодняя елка, верхушкой касаясь потолка. А еще он достал мичуринские яблони, посадил на места украденных свекром и среди маленьких яблонек на черном пару поставил белые дадановские улы.

На море страданий, по которому плыл наш корабль, этот маленький рай был как поплавок, означающий мелкое место. Корабль плыл по глубокому морю, и большинству людей было не до фикусов: никто не завидовал этому счастью.

Присоединитесь же, друзья мои, если есть еще у вас немного досуга, к моему чувству жизни во время войны. Не одну мне Наташу пришлось про себя судить: мне иногда было так при мысли об этом, будто привели на суд блудницу, чтобы побить ее, и каждый уже взял в свою руку камень. Только был один, кто не взял камень и раздумчиво сидел, склонив голову, и что-то тростью писал на песке.

— Ты-то,— спрашивают,— почему не хочешь бросить в нее своего камня?

И он отвечает:

— Если кто чувствует себя правым, пусть первый бросит.

Так и нас во время войны покинули добродетели благополучия, и, может быть, каждый в глубине души стал оглядываться в тревоге на ближнего: не пишет ли он и обо мне на песке страшную правду.

Присоединитесь же, друзья мои, к этому чувству жизни, несмотря на всю страшную видимость — войну. Эта видимость, как огромная скала, под которой тоненький бежит наш родник. И как он ни мал, а рано ли, поздно ли он всю гору размочит и мало того: превратит в плодородную землю.

XX. ОЗОРНАЯ ТРОПА

Все горе и все слезы наши, однако, только о том, что ручеек истинной жизни так медленно точит скалу, что опыта одного нашего личного не хватает и надо много жизней связать, чтобы начальное событие могло видеть свой прекрасный конец.

Вот почему, деточки, с такой любовью и держусь я своих избранных десяти мудрецов, сумевших связать собою столетия. Преклоняюсь перед великим усилием мудрецов, и когда благоговейно вхожу в их дело устройства связи между людьми и потом возвращаюсь к жизни нашего поселка, то каждое живое лицо вижу в какой-то тайной связи со всеми. Мне кажется, до меня кто-то все эти жизни связал. И — мало того! — всякое дело кажется мне прекрасным, если только оно ведет к любовной связи людей.

Вон и моя старушка плетет и вяжет кому-то чулки. И я, глядя на нее, подхватываю петельки, продеваю основу и плету себе сказку о нашем поселке.

Гляжу на Милочку, свою любимую птичку, и ясно вижу, что нисколько она не глупее других, а если взять в ее быстроте, то и мудрец удивится, как это можно так сразу хватать все на лету. До ухода Алеши на войну она служила чертежницей, но вдруг ее почему-то заинтересовало электричество, и в один миг она сделалась монтером на МТС.

Мысль о том, чтобы сделаться монтером, пришла ей в голову однажды при случайной встрече с механиком на озорной тропе, и я думаю, именно вот затем-то она и пришла, чтобы Милочке каждое раннее утро ходить по этой тропе.

Озорная тропа эта шла у нас от самого нашего поселка через все поля совхоза и перелески. Не знаю, есть ли на

свете где-нибудь, как у нас, такая красота полей, заблудившихся в наших бесконечных лесах!

Вышло это от давнишнего нашего природного обилия и беспорядка.

Какая-нибудь выпаханная бесплодная нивка была брошена, и когда вспомнили о ней, там уже лес стоит, трудный для корчеванья, — так и оставили. И стоит теперь среди золотистого хлеба зеленый прохладный островок, и грибы там растут, и птицы селятся во множестве, привлекаемые большими полями зерна.

Чем дальше идешь по тропе, тем чаще попадаются островки леса среди поля, и смыкаются близкие, и расходятся, пока наконец совсем не сомкнутся в глухой бор. Дальше в этом лесу идут, чередуясь, *борины* и моховые болота. На одной из первых борин стоит МТС, обслуживающая всю торфоразработку.

Тут-то вот на озорной тропе однажды и встретилась Милочка с новым механиком МТС, молодым человеком с поврежденной ногой на войне.

Был выходной день, и механик расставлял на бороздах согнутые прутики с петлями для птиц: перепелки бегали по бороздкам и, с размаху попадая в петли, их затягивали. Милочке очень понравилось, что механик, объясняя ей, как нужно ловить перепелок, иногда заикался и от этого вдруг краснел, и большие серьезные глаза его становились винноватыми.

Мало-помалу, по мере того как механик больше и больше увлекался ловлей перепелок, в перемичках его и заиканьях Милочка сама, как перепелка, стала попадаться в петельку и тоже краснеть. Раздосадованная этим смущеньем, чтобы насильно преодолеть его, она наконец прямо сказала:

— Вы всегда так заикаетесь?

— Не всегда, — ответил он, — я заикаюсь, когда кто-нибудь незнакомый смотрит мне в глаза. Я боюсь тогда, что он думает о мне дурно, и заикаюсь.

— Почему же непременно чужой человек должен смотреть на вас с дурной мыслью в голове?

— Оттого, что это страшно: чужой. Я тогда заикаюсь.

— А почему вы теперь со мной перестали?

Он покраснел и, чтобы опять не заикнуться, помолчал. Она же в ответ ему начала было что-то говорить и остановилась: покраснела. Но, пересилив себя, спросила:

— Вам не мешает это, что вы заикаетесь?

— Иногда мешает, — ответил он. — Раз выдавали у нас хлеб: черный и белый. Мне нужно было купить белого, я пришел в ларек, стал в очередь, и когда дошло до меня, поднимает продавщица глаза на меня: «Вам какого?» А я, как увидал эти глаза ее на себе, растерялся. «Белого? — спрашивает она, совсем уже злая, — или черного, говорите скорее, не задерживайте очередь».

Тогда я вдруг и перекинулся: «Если, — мелькнуло мне, — белый не сходит с языка, попробую по-другому». И вдруг отчетливо и без всякой задержки выговариваю: «Черного». — «Давно бы так», — сказали в очереди.

И вышла неприятность: пришел белого хлеба купить, а ушел с черным!

Услыхав это, Милочка принялась хохотать и долго не могла остановиться. Но она смеялась не тому, что зайка поневоле купил черного хлеба вместо белого, а что в его глазах, и серьезных, и очень красивых, и умных, на одно мгновение мелькнула какая-то веселая мушка, и через это к ней перекинулось желание хохотать до упаду, до слез.

— Вы, наверно, все выдумали? — спросила она.

— Выдумал, — спокойно ответил он.

И опять та смешливая мушка совершенной невинности мелькнула, и Милочка опять мучилась долго, и наконец они вместе пошли по озорной тропе в МТС, и Милочка ему, незнакомому Сереже, открылась:

— Я, Сережа, тоже постоянно выдумываю, и засыпаю с этим, и просыпаюсь: мы в этом с вами очень похожи.

Но это уж известно, что влюбляются люди друг в друга в одно какое-то единственное мгновенье, и часто из этого единственного мгновенья рождается целая жизнь. И когда дойдут до того, что кажутся себе оба похожи друг на друга, тогда все уж кончено: перепелка бежала, бежала по бороздке и вдруг затянула петлю.

Так вышло из этого только мгновенья, что Милочка выучилась электричеству, забросила черчение и перевелась на службу в МТС по электричеству при сборке тракторов и грузовиков.

Кончался второй год войны. Даже самые старинные люди стали как-то иначе относиться к событиям, происходящим на озорной тропе, как у Милочки. Одна очень древняя старуха даже и так говорила:

— Милые деточки, спешите, спешите пожить, это еще не война. Вот будет война, когда людей тряхнут, как

яблоньку, и будет внизу только падалища, а наверху окле-
выши. Тогда, если в какой-нибудь деревне увидят на заборе
порточки — обрадуются: видно, тут еще мужичок живет!

XXI. ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Одно время немец близко к нам подошел, и орудийная
стрельба слышна была так, будто бой был тут где-то за
лесом. С утра до ночи мимо нас проходили гурты скота.
Часто случалось, погонщики останавливались возле нас
ночевать, разводили костры, давали нашим дешево молоко,
и разговоры у костров были часто всю ночь.

Случалось, у нас найдется чего-нибудь спиртного, а у
них баранчик или козленок ногу сломает — вот тогда все
повеселеют, и разговоры бывают смелее и оживленнее,
и все больше о том, какие немцы и как они ведут себя с рус-
скими.

Сам участвуя в этих ночных беседах у костра, я точил
и точил на людях свои мысли. Мне казалось тогда, будто не
прямо от людей слышу, а что ветер доносит слова, а я по
ним что-то складываю.

Так близко подошла война, что и нам был приказ
собираться и уходить подобру-поздорову. Совсем было уже
и собрались, и только-только бы завтра скот выгонять свой,
вывозить машины, имущество, как вдруг совершился исто-
рический поворот войны. Тогда мы получили новый при-
каз: не только отменить эвакуацию, но усилить добычу
торфа для нашей фабрики.

Прошло томительное время, и все определилось: не
нас гонят, а мы гоним немца, и гурты скота опять днем
и ночью обратно идут, и разговоры у костров были дру-
гие: все собралось в одну мысль, чтобы скорее выгнать
врагов.

Здоровенная наша и приятная своим добродушием
почтальонша Ариша теперь почти ежедневно получала от
своего Степана открытку, — в начале: «Ангел мой, Ари-
ша», — и в конце: «До скорого свидания, мой херувим!»
К этой открытке Ариша приматывала содержание всех
других открыток с войны и, раздавая на ходу, что-то выво-
дила общее и так распространяла одни только добрые
вести. Взятие Смоленска было решающим событием в жиз-
ни нашего поселка. Ариша получила письмо, что Степан
лишился руки и вскоре прибудет домой. Через короткий

промежуток времени Степан действительно явился домой, и для Ариши война кончилась: хозяин пришел.

Вот около этих-то чисел, когда хозяин вернулся к Арише, какой-то неизвестный нам друг убитого Ивана Гавриловича прислал открытку о том, что Иван Гаврилович на его глазах в атаке первый бросился в окоп и все за ним, но немцы отбили атаку. Иван Гаврилович, простреленный, упал у всех на глазах и остался у немцев. А теперь, когда взят был Смоленск, он оказался в живых, только очень измучен и даже почти что не в своем уме. «Адреса нашего,— писал друг Ивана Гавриловича,— не пишу: лежу в госпитале, а Иван Гаврилович сегодня выписывается и скоро сам к вам придет».

Прочитав это письмо, любопытная и легкобычная Ариша бросилась было к Анне Александровне, но скоро спохватилась: незачем ей делать крюку, лучше пойдет она своим обычным путем и по череду будет всем рассказывать эту дивную весть о покойнике: вдова уже больше года получает пенсию, а он вдруг и ожил...

Когда в этом шествии Ариша достигла со своим рассказом о живом трупе до Наташи, та вначале не поверила и воскликнула даже:

— Вот какие глупости ты рассказываешь! Была же ведь похоронная, а Анна Александровна почти два года пенсию получала.

— Получала,— ответила Ариша,— а на-ка, почитай.— И дала прочесть открытку.

Прочитав, Наташа вдруг что-то поняла свое и побледнела. Ариша, все еще опьяненная радостной встречей со своим любимым хозяином, не подумав, сказала в утешенье:

— Необоримая сила народа на войне, живых и мертвых, как же тут можно думать, чтобы все проходило без ошибок: много ошибаются. Вот в Хмельниках тоже сказывали: бондаря убили, а он пришел живехонек, в Желтухине о кузнеце пришла похоронная, а со временем и нашелся кузнец. Погодите немного, война скоро кончится, и к тебе хозяин придет.

Так и ушла Ариша, не подумав даже, какой нанесла она удар благополучию бедной Наташи! У нее ведь и так в ее счастье всегда сердце болело, и не выходили из памяти слова: «Помни, жена, пуля меня не возьмет».

Возможно, Ариша даже и подумала об Александре Филимоныче, втором муже Наташи, и даже мелькнуло ей: «Придет настоящий хозяин, этого выгонит, временного,

поспорят немного и успокоятся, а нажитое все достанется, конечно, старому хозяину». Но, грубо бросив слова, не знала Ариша секрета Наташиной души.

Бывало, с таким приятным довольством рано утром до работы она ставила табуретку возле своего огромного райского дерева в спальне, этого ветвистого фикуса, и чистой тряпочкой вытирала пыль с каждого листа. Теперь же она вытирает и думает: «А ну, как придет!»

Ночью в тишине, когда только часы тикают, ей чудится, будто кто-то мерным шагом все идет издалека, все приближается. Стукнет в глухой час калитка от ветра, она вздрогнет, а потом долго не спит и, считая, чтобы заснуть, удары маятника, по себя в душе считает чьи-то шаги.

XXII. ХОЗЯЙКИ

Из дома в дом бежала новость, такая необычайная, будто встал человек, два года тому назад погребенный на поле сражения, оплаканный в семье, и теперь идет.

Ариша приходила в какой-нибудь дом, а там уже знали вперед и спрашивали, и она читала письмо, и пока читала, уже кто-нибудь из мальчонков или случайных свидетелей сказывал на улице, и новость забежала вперед, и так шло до кузницы у реки.

За рекой никто еще ничего не знал, и пока шла Ариша, Анна Александровна спокойно чистила картошку за кухонным столом, и ей, по своему обыкновению, помогала Милочка: перебирала горох.

Женщины сидели одна возле другой. У одной горошинки с ладони, чистенькие, желтенькие, скатывались в кастрюльку, а сорные, расточенные червяком и маленькие, сморщенные, бросались в ведерочко курам на корм. У другой женщины под рукой картофельные очистки, свиваясь спиралькой, сваливались вниз, в лоханку, поросенку на корм.

— Тетя Аннушка, — говорила Милочка, — скажите мне, как вы думаете, есть тот свет?

— А как же, — отвечала Анна Александровна. — Только напрасно, Милочка, ты себе эту задачу взяла — перебирать горох пальцами. Возьми и водой налей: сорные горошинки все всплывут.

— Да не так-то уж и много осталось, — ответила Милочка, — переберу. Я к тому, тетя Аннушка, спрашиваю,

что мил мне этот свет, и никогда мне так легко не жилось, и кажется, будто это навсегда, а тот свет у меня теперь не как у всех, впереди, а назади. И так навсегда: все хорошее выйдет из этого света, а тот свет кончился.

— Да, я всегда так думала, что ты не любила Алексея Мironыча.

— Это неправда, я его и сейчас люблю, и даже очень, но то совсем другое — на том свете, а здесь я Сергея люблю для себя.

— А письма еще не было?

— Так и не было, но я знаю: он должен быть жив.

— Знаешь — и не тревожишься?

— Нисколько: я люблю того и другого, но только совершенно по-разному. И никто не может на меня обижаться.

— Я сочувствую тебе, Милочка, и вполне понимаю: люби этого, а тот, если действительно любит тебя, пусть перестрадает. Ему это будет к лучшему.

— А если не осилит?

— Ага, значит, все же тревожишься! Не бойся, Милочка, хороший человек твой Алеша, я его знаю: хороший человек от любви никогда не сделается неудачником. Это кто любит одного себя, делается неудачником, а кто действительно любит — тот всегда побеждает.

— Ну, тетя Аннушка, я горох кончила. Давайте буду помогать вам чистить картошку.

Обе женщины взялись вместе, и очистки спиральками стали падать из двух рук в одно ведро.

— Вот что меня удивляет, тетя Аннушка, — лепетала Милочка, — я ведь только по чувству понимаю жизнь и, бывает, предчувствую, но вы всегда все наперед знаете и все можете сказать вперед. Откуда это у вас?

— Милочка, — отвечала Анна Александровна, — ведь, по правде, ты не жена была Алеше, ты и не мать: ты и сейчас только невеста. Ниоткуда я ничего не брала, а я жена и мать. Будешь любить — будут у тебя детки: радости и горя хлебнешь, и все тебе тоже раскроется, и, как всякая мать, будешь богатая: все поймешь.

— Да, это вот правда, а что горя хлебнешь, страшно как-то думать об этом вперед: тоже так случится, как с вами, и останешься одна-одинешенька...

— Вот еще выдумала, да когда же это я была одна-одинешенька? Иван Гаврилович всегда со мной, и я надеюсь даже с ним встретиться.

— На том свете?

— Нет, на этом.

— Как же так?

— А очень просто! Сама увидишь: родишь деток, как я родила, будешь их любить, воспитывать. Только меньше думай об этом, меньше высказывайся, и постепенно тебе, как женщине-матери, сделается так, что все любимое будет жить с тобою, будто не умирало.

Так у них было, как всегда бывает у женщин, когда они дома по хозяйству работают, и нам кажется, будто это они только и занимаются, что чистят картошку, стирают белье или моют полы. Сызмальства слушал я, как они, делая что-нибудь, между собой друг другу лепечут о том, о сем, и мне думается, это меня научило сидеть часами весной, слушать лепет вод у весенних ручьев: не то слова, не то музыка, и как будто ни на что для дела не нужно, а представить себе жизнь без этого лепета, то какая же это жизнь!..

— Ну вот, мы и кончили, — сказала Анна Александровна, — теперь, как мы сговорились, Милочка, вот тебе тут рубашечки, тут штанишки: оденешь, умоешь. Вот примус и спички: Манечке свари манной каши, у нее что-то животик, а Ване вот эти сапожки, если гулять без меня запросится...

Так все назначив Милочке, Анна Александровна оделась, приукрасилась и отправилась в церковь к поздней обедне. И только ушла, из Заречья прибежала Танюшка Назарова, часто помогавшая Анне Александровне по хозяйству, как и Милочка. Танюшка прибежала вся красная, запыхалась и прямо же Милочке скорей и скорей, как будто не успеет сама сказать и кто-то скажет другой, бросила:

— Хозяин идет с войны!

Милочка подумала на своего мужа: она его, про себя вспоминая, поджидала.

— Алексей Мироныч? — довольно спокойно спросила она.

— Какой Алексей, — ответила Танюшка, — Иван Гаврилович письмо прислал, сейчас Ариша принесет: скажите тете Аннушке, а мне надо скорей бежать в ФЗУ.

И убежала. А Милочка, пока не пришла Ариша, Танюшкиным словам не придавала никакого значения: мало ли чего наврут дети. И продолжала думать о словах Аннушки, удивительных и необычайных.

Не успели еще ребяташки пробудиться, как Ариша, пылающая, как печь, от радостной новости, передала ей письмо и тоже сказала:

— К Аннушке хозяин идет.

Милочка прочла, и ей стало как во сне, когда бывает, под тобой пол покачивается.

И ей, как и всем, Ариша говорила одни и те же слова:

— Вроде как с того света идет...

XXIII. ПЕТРОВ ДЕНЬ

Немножко только тем было в Петров день на старое не совсем похоже, что колокола не звонили: в тяжкие годы первого строительства колокольный металл пошел в индустрию, точно так же, как при царе Петре шел на пушки. Остался на колокольне только один маленький колокол, чтобы звонить в него, когда случится пожар или какая-нибудь другая беда. Но и без колокольного звона нищие почуяли праздник и, конечно, первые приковыляли. Вспомнился мне тут, глядя на них, мой неумный друг Алеша, предлагавший нам накануне войны понимать милостыню как необходимость каждому заниматься науками экономическими. Признаюсь, что и у меня не лежит к нищим душа и жалость эту в себе не люблю, и никогда милостыни не подам, пока не встречу с теми глазами, какие были у одного старика, когда мне было семь лет. Помню, этот старичок прощался с моим дедушкой, и я спросил его потихоньку, куда он уходит. «В нищие уходит,— сказал дедушка,— хочет душу спасти». Непонятна мне тогда была радость в глазах старичка, и только уж, когда сам постарел, стал узнавать эту радость в глазах немногих нищих, и как только встречу это, так скорее тянусь рукою в карман. И тогда радуюсь сам, а когда из жалости приходится дать, то все как-то стыдно...

Всех, конечно, подчистила война, кто имел лишнее из одежды — износил, а кто — променял. Но к годовому празднику в Петров день приоделся и тот даже, кто все променял, и так народ чистый, праздничный из разных деревень, близких и далеких, все подваливал и подваливал, и тех, кто раньше пришел, как мы с Анной Александровной, оттеснили вперед, а последние даже совсем не вошли и собрались возле церкви на кладбище.

Рассказывают, сам я, конечно, видеть не мог, показался в полях какой-то нищий странного вида, в одной руке у него была шапка, в другой — большой посох.

— Монах какой-то размонашенный, — сказал один на кладбище.

— Мало ли их! — согласился другой.

— Никакой не монах и не поп, — сказал третий, — видишь — пояс на нем военный и манерка на поясе.

Так думали-гадали на разное, а когда странник подошел к церкви, то стал на колени и начал кланяться, как иногда нищие, чтобы привлечь внимание милосердных людей. Но никогда не мог бы нищий так долго и так горячо молиться с целью привлечь себе милостыню. Нет, он молился, ни о ком вокруг не думая и забывая себя.

Шапка его лежала на земле, может быть, не для милостыни, а только чтобы в руках ее не держать. Но люди, принимая его все-таки за нищего, бросали что-нибудь в шапку. А потом, когда кончилась обедня, тут как повалил народ, и как увидали такого нищего, распростертого возле паперти, то все начали, у кого что было, класть ему в шапку.

Когда шапка переполнилась деньгами и вокруг нее стало сыпаться на землю, кто-то сказал ему:

— Куда это ты себе столько набрал?

Только тут чудесный нищий как будто обратил на деньги внимание и ответил:

— А я, батюшка, не собирал: так пришлось.

После того он умял деньги в шапку, доложил все, что упало, и начал наделять этими деньгами нищих у паперти, раздавать их направо, налево, кому сколько придется.

— Что же ты себе-то ничего не оставил? — спросил его опять тот любопытный человек.

— Мне, дорогой мой, — ответил нищий, — самому ничего не нужно: я ведь домой пришел.

Вот тут-то и я подошел и почувствовал на себе те самые глаза, когда у меня сама рука подает, и я сам поднял свои глаза, и мы встретились, и я услышал, кроме того: «Я домой пришел», — тут сразу покачнулась душа во мне.

— Ты, — спрашиваю, — Ваня?

— Я, — говорит, — Алексей Михайлович, я, дорогой.

— Иван Гаврилович! — закричали разные голоса.

И тут вышла Анна Александровна из церкви.

Ни слезинки ведь не уронила Анна Александровна, когда провожала на войну своего Ивана Гавриловича, ни слезинки она и тут не пролила, но теперь больше сил не хватило: сразу вся побелела и пошатнулась. Мы ее подхватили и на руках домой принесли.

XXIV. МОЙ ДРУГ

Не из книг, друзья мои, беру слова, а как голыши собираю с дороги и точу их собственным опытом жизни. И если мне скажут теперь, что неверно о ком-нибудь высказываю, то я беру судью своего за рукав и привожу к тому, о ком говорил: «Вот он». А если это вещь, то укажу и на вещь: «Вот она лежит».

Так точно и о всем живом я, как словесный хозяин, могу каждого привести на место и указать: вот оно растет, так оно цветет, здесь умирает.

Но пришло к нам небывалое, чего не снилось никому на свете, и ни с чем, что было в веках, нельзя сравнить и охватить мыслью. Откуда же мне-то теперь взять слова?

Так лучше я не буду сушить душу пустыми словами и не буду людям, как маленьким детям, варить камешки и уверять их, что это горох варю, и они бы поспали, пока я достану им настоящего хлеба. Лучше открыто скажу и прямо, что не знаю, и о самом главном молчу: мое молчание есть моя правда.

Пробовал я начать повесть нашего времени с идеалом в душе летописца Нестора и скоро потерял свою мысль в прошлом. И опять нашел я свою мысль в идеале героя на льдине, но теперь чувствую: герой мой на льдине — уже не герой нашего времени, и сердце мое к нему холодеет, и мысль теряется.

Не герой на льдине теперь мой идеал, а мой друг, никому не известный солдат на войне. Все на свете повторяется, но жизнь его не повторится: нет, такого, как он, не было и не будет. Вот он ушел навсегда — и мы, близкие, смыкаем руки в кругу и дело его берем на себя.

Произношу эти слова: за жизнь моего друга — моя жизнь, берите ее!

И, сказав это, чувствую, мне возвращается словесная сила, и я опять могу продолжать повесть нашего времени.

На полях, голубея, зацветал лен. Рано утром Милочка шла одна по своей озорной тропе. Перейдя поле, на лугу она встретила своими голубенькими глазками маленькую красную гвоздичку и очень ей обрадовалась. Ей представилось, что у диких несчетных цветов на лугу, тоже как и в садах, есть свой садовник, что он, конечно, любит все свои цветы, но сразу на все посмотреть не может. И каждый безвестный цветок, на который он посмотрит, знаком ему и кажется лучше всех.

Вот сейчас он посмотрел на красную гвоздичку, и она для него сейчас лучше всех. Так хозяин любит все цветы, но каждый цветок любит больше всех. Поймав в себе эту мысль, Милочка, чтобы проверить ее, перевела глаза с гвоздички на незабудку, и вышло точно, как она думала: незабудка ей представилась лучше всех, а после незабудки тоже так анютины глазки.

«Вот и я такая же, — думала Милочка, — как эта гвоздичка, для всех ничтожная, а Сережа меня заметил и любит больше всех, и он тоже так, для всех какой-то запка, а я в нем люблю даже и то, что он заикается. Пусть же я буду гвоздичка, а он голубой василек».

При мысли о голубом васильке ей вспомнилось что-то смутно, как будто она видела что-то голубое во сне. Но как только она сделала усилие над собой вспомнить сон, в памяти будто ящик задвинулся, и все исчезло.

«А может быть, — продолжала думать Милочка, — и каждый человек может сложиться с другим в одного, как мы сложились с Сережей».

Милочка, встретив в себе такую мечту, громко засмеялась и даже всплеснула ладошками, и ей стало от радости тесно оставаться в поле одной, нарочно оглянулась назад, не догоняет ли ее Сережа. Вот бы теперь ему это сказать.

Но Сережа еще не выходил на озорную тропу, и Милочка найденную удивительную мысль продолжала развивать в одиночку.

«А если, — думала она, — в любви мы складываемся в одного человека, то вот почему, значит, когда полюбишь, то все люди приходят к тебе как хорошие, и не то что люди, а даже и цветы, и деревья, и птицы, и животные, и солнце, и месяц, и звезды — весь мир в это время глядит

на тебя и тоже весь по твоему примеру хочет сложиться в одно».

В это время Милочка незаметно для себя перешла с луга на поле голубого цветущего льна и, увидев вокруг себя все голубое, вдруг вспомнила сон: ей этой ночью привиделся Алеша, и так ясно, так отчетливо, в сатиновой голубой рубашечке, каких у него никогда не бывало, и ворот на рубашке-косоворотке был отстегнут: никогда косовороток он не носил, но тут ему это очень шло.

«Так вот отчего, — подумала Милочка, — мне тогда он все был как-то не тот, и, значит, я его не любила: ему не хватало голубой сатиновой косоворотки. А когда я теперь полюбила Сережу, то, конечно, я и его люблю: он такой хороший в голубой рубашечке, он мне теперь, как ребенок мой собственный».

Так она шла полем, и всюду сквозь желтую зелень глядели на нее одинаковые и бесчисленные голубые цветочки.

Незаметно для нее догнал ее Сережа, и они вместе пошли.

— Сереженька, — сказала Милочка, — я сегодня ночью сон видела, и забыла, а когда вошла в лен, то вдруг вспомнила: голубой лен мне напомнил голубую сатиновую рубашку, каких никогда не бывало, и на голубом было лицо Алеши, измученное, и глаза его прямо на меня глядели...

— С упреком?

— Напротив, он так любовно в жизни никогда на меня не глядел; если бы он хоть раз в жизни так на меня посмотрел, так я бы, наверно, тебе не досталась.

— С ним бы жила?

— Нет, наверно, ни с ним, ни с тобой... жила бы для всех, как садовник: он любит все цветы и каждый больше.

И она подробно ему рассказала все: и как она красную гвоздичку нашла, и как тогда ей каждый цветочек лучше всего показался, и потом из всего — из людей, цветов, птиц, животных — сложился Весь человек.

— Это все я хорошо знаю, — ответил Сережа, — я часто думал об этом, только не знал, что о такой мечте можно, как мы с тобой говорим, кому-то сказать.

— Удивительно все у нас с тобой вместе складывается, мы с тобой необычайно похожи!

И так они пришли в МТС.

XXVI. СТРАННИК

Человек в лесу, похожий на тень, идет, шатаясь, от дерева к дереву. Сил у него только, чтобы не спеша, с передышкой у всякой полянки, переставлять свои ноги. Душа его свернулась, воображение и память оставили его совершенно, и глубокое сострадание к нему вызывает у меня в памяти зазорные слова моего молодого друга: все понять, ничего не забыть и ничего не простить. Только теперь, когда меня самого, душу мою при виде такого человека срывает с места, я наконец начинаю понимать в сокровенной сущности своей огненные слова «не мир, но меч», — и добродетель прощения и забвения оставляю за собой, как пережиток детства.

Третий раз уже этот странник бежал из плена, и теперь, пожалуй, он больше бы и не решился: так он был слаб и так ясно чувствовал, что жизнь не стоит усилий. Но в последний раз пленным бросили лошадь, как собакам. Люди терзали сырое мясо. После этого их вовсе забыли, и так пришлось куда-то идти...

Накануне была метель с сильным ветром, пурга залепила деревья. Когда из-под низкого темно-серого неба мало-помалу начал исходить утренний свет, в лесу не было, как всегда на рассвете, что свет обнимает собой темный лес. Теперь тот утренний свет падал на белые от свежего снега деревья, и рассвет, как отсвет, начинался внутри леса. Казалось, что лес светил сам от себя.

Так не часто бывает, и даже привычному бродяге это покажется странным. Но привычный, увидев, вспомнит свои метели в лесу и поймет: так бывает. Этот странник не глядел на небо, а только вперед, и там он увидел на снегу тень от дерева и тогда только поднял вверх глаза. Там наверху он искал по старой привычке причину тени. Но не было и месяца, а тень была.

Человек долго стоял, видимо делая усилие понять явление света внутри темного леса. Пока он так стоял, не двигаясь вперед, может быть, из осторожности, прошли те немногие минуты внутреннего рассвета в лесу. Когда общий свет вошел в лес, стало обыкновенно, и странник, опираясь на посох, опять пошел потихоньку от дерева к дереву...

В утреннем свете борода, и серое рубище, и шапка сливались с темными частыми стволами деревьев, кустами

можжевельника, и белый, как снег, кружочек лица, казалось, висел в воздухе, и на этом кружке были, как два фонаря, два большие человеческие глаза, и каждый серый глаз был с красной каемочкой. Похоже было, будто вот эти висящие в воздухе два глаза и есть все, что осталось от человека: глаза эти движутся между лесными стволами, перемещаются, очень редко моргают, и никто бы не мог сказать, на что они смотрят и что они видят.

Так бывает, простреленная дикая козочка-косуля пока бьется, то все глядит вперед себя такими прекрасными живыми глазами, и со страхом ждешь, что вот она умрет и чудесные глаза перестанут глядеть. Но она умирает, а глаза все так же продолжают глядеть, и от этого становится еще тяжелее тому, кто стрелял: мертвая, все кончилось, а глядит, как живая.

Вот отчего, наверно, у покойников закрывают глаза, — понимаю теперь, как подумал о дикой козе. Открытые глаза покойника в чем-то упрекают живых, и я думаю, так оно и есть: какой живой не застыдится жизни своей при покойнике. Есть, есть этим большим глазам в чем нас упрекнуть, и жутко живому встретиться в лесу с такими глазами...

Глаза просили, чтобы живой человек их закрыл.

— Стой! — крикнул из-за деревьев невидимый человек.

Глаза остановились без всякого выражения страха и просили одного: их закрыть.

Невидимый человек все понял, и дуло винтовки опустилось.

На вопросы вооруженных русских людей странник долго молчал, как будто вспоминал, потом отвечал разумно и ясно. Партизаны много встречали таких, и допрос был недолг.

Тогда уже, когда лен зацветал, человек вышел из госпиталя и стал подходить к родным местам, и, может быть, тут только впервые глаза его сосредоточились и заметили ранним утром, как сложенные на ночь лепестки голубые льна раскрывались и все поле голубело.

А когда он вечером подходил к дому, на глазах его на этом родном поле голубые лепестки свертывались на ночь. Было уже совсем темно, когда человек остановился перед своим домом и постучал...

...Домик, где жила Милочка, был точно такой же, как и все недостроенные домики в нашем поселке. На эти домики легла тень судьбы, разводящей начала с концами: началось и остановилось, а кончится после войны, когда все переменится и мы сами будем другими.

Этот домик без наличников на окнах, с новой крышей из дранок, но без трубы, с разделанным и опять зарастающим садом. Домик вместе с другими домиками поселка нашего «Ключ правды» говорил простым языком своим о войне: всюду пни торчали, всюду стружки валялись, щепы, кирпич и всякий строительный хлам. Но внутри домика Милочки наперекор всему было и светло, и чисто, и наивно-уютно. Все помещение разделяла не стена, а золотистая занавеска, очень подходившая к струганым смолистым стенам. Милочка сделала эту занавеску-ширму из деревенского холста и сама окрасила его акрихином — желтым лекарством, припасенным еще с мирного времени на случай борьбы с малярией, свирепствующей в местах торфяных разработок. Вместо стульев были огромные чурочки с сиденьем, украшенным годовыми кругами дерева, а внизу — морщинистой корой. По ту и другую сторону занавески стояли две тахты из ящиков, покрытых сенниками и тем же акрихиновым холстом, по углам — тумбочки из тех же пней с горшками разных цветов, выросших в комнате за два года войны. Всюду, перебегая, перекрещивались половички на чистом полу. На стене у одной тахты висело охотничье ружье Алексея Миropyча.

Милочка сидела на золотистой тахте и сматывала в клубок нитки. Против нее на чурочке сидел ее Сережа с пасмой ниток на руках. Ему трудновато было подравнивать левую испорченную на войне руку к правой, хорошей, но он как-то исхитрился и виду, что ему очень неудобно, не показывал. При малейшей ошибке или просто мелькнувшей неуверенности в том, что выйдет у него как следует, в чутких его глазах, как зыбь на воде, пробегала милая испуганность с готовностью немедленно повиниться. Милочка этим испугам сейчас же, как они появлялись, отвечала веселостью, и тогда глаза друга ее вспыхивали радостью. Это была пара милая, всем на радость.

Удивляет меня всегда и радует, что если такая пара появляется в природе, то все разные птицы, зверушки, цветочки, и ароматы растений, и все прекрасное соединя-

ется в одно и служит любящим и день и ночь: днем поет жаворонок, ночью поет соловей.

Да вот и я сам, как подумаю о счастливых, так будто превращаюсь в любимого мною певца вечерней зари, черного дрозда с золотым клювом. Когда уже от реки туман поднимается, сажусь черным дроздом на самый верхний пальчик высокой ели и пою. Слышит ли кто меня — я не знаю, не для себя я пою, а управляю зарей: свистну по-своему — и все небо разделится на голубое и красное; на иной лад посвищу — и спустятся на красное синие кружева, и так, пока не станет вовсе темно, под свист моего птичьего язычка совершаются непрерывно служебные перемены в цветах.

Может быть, с высоты этой ели дальше видно, чем думают люди. Я свищу и зову любовно всмотреться в эти милые лица: их таких точно еще не бывало на свете, и они в первый раз так сложились. Скорее спешите обрадоваться, а то ведь и они, как эти цвета на заре, немного побудут, и переменятся, и уйдут навсегда.

— Сережа, милый, — говорит она, — толкни локтем окно, дай нам сюда больше воздуха.

Сережа попятился, толкнул локтем окно — и милые люди соединились с природой.

— Такая тишина, — щебечет по-птичьему Милочка, — мне кажется, я никогда такой тишины не слыхала, единственный поет певчий дрозд. Ты видишь его? Вон он, черный на красной заре.

— Вижу, вон сидит на верхнем пальчике елки, это черный дрозд с золотым клювом.

— А погляди, Сережа, как там у реки завертывается туман, будто кто-то большой курит и дым пускает колечками.

— Это, Милочка, древний птичий бог сел покурить у реки. Ему теперь только и остается курить: самки его уже все сели на яйца.

— Правда, сели. Ну вот, и мы тоже кончили, смотри, какой большой клубок намотали. Как чудесно вечереет, подвинься к окну, давай немного перед сном посидим, помечтаем.

Оба сели к окну на один чурбан и осмерклись, как парочка кур на шестке.

— О чем ты думаешь, Милочка?

— Я думаю, — отвечает она, — что ты был прав: десять кур прокормить — нам нужно в месяц не меньше двух

пудов зерна, а мы за полгода для себя едва достали три пуда ржи. Овес же еще труднее доставать. Давай кур променяем на масло и только двух курочек оставим себе для забавы: на двух у нас хватит зерна.

— Придется кормить трех, — отвечает он, — необходимо оставить себе петуха.

— Ах, как же это я про петуха совершенно забыла. Но, как думаешь, может, петуха овсом не надо кормить?

— А чем же кормить петуха?

— Картофельными очистками: ведь ему же легче жить, чем курам, ему не нужно яйца нести.

— Не все же в яйца, — отвечает Сережа скупой хозяйке, — не в одном этом труд. Раз я видел, как поет черный дрозд свою брачную песнь ранней весной: от усилия у него дрожит каждое перышко.

— Правда твоя, Сережа, я никак не могу отвыкнуть думать по-бабы: все начинать от себя и проводить все через себя. Надо думать, как ты, по-мужски: смотришь не в себя, а на какого-то дрозда, и выходит правдивее и шире.

— Милочка, но ведь прежде, чем смотреть на дрозда, я тоже подумал о себе и свое собственное увидел в дрозде. Этому нам и нужно учиться у вас: смотреть на все через себя.

— А нам учиться у вас — смотреть правде в глаза. Нам бы нужно с тобой соединиться в одного человека.

Мало-помалу совершенно погасла вечерняя заря, черный дрозд прекратил свою песню и с высокого дерева, прежде чем улететь, последним свистом объявил ночь. Тогда древний бог, наказавший человека изгнанием, возвратил этим двум у окна свое благоволение и передал в их собственные руки продолжение великолепного творчества мира, прерванного непослушанием.

XXVIII. У КАЛИТКИ

Когда кончилась заря, и ночь наступила, и все улеглось спать в полной тишине, по радио передавали сводку информбюро, и в следующих за сводкой комментариях приводился страшный случай, когда в нашей батарее осталось одно орудие без прицела с единственным снарядом, и единственный уцелевший человек увидел, что танк «тигр» пошел прямо на него. В это время перед сном своим я принял это все на себя: будто это я с единственным снарядом

напускаю на себя «тигра», и остается одна секунда, одно только мгновение до того, как решится все: я или «тигр»...

Вот в это мгновение громкий в тишине стук палки в чью-то калитку отвлек мою мысль сердечную в ее страшной борьбе с этим «тигром». И так, наверно, было у многих в поселке: каждый о чем-нибудь думал и каждого оторвал от себя этот стук, настойчивый, упорный.

«Не у нас ли это стучат», — подумала Наташа, встала с постели и поглядела в окно. Там чуть видна была своя калитка, и никого как будто не было: стучали не к ней, а скорее всего к Милочке. Новый муж Наташи крепко спал, и она, укладываясь рядом с ним на кровати под огромным фикусом, подумала о Милочке, что, может быть, это муж ее пришел с войны и стучится.

И только легла Наташа рядом со своим мужем, вдруг с новой силой раздался стук как будто не у Милочки.

«Возможно, — подумала она, — в темноте по ошибке туда постучался, а оттуда послали сюда».

И тут еще пришло в голову, что покойный муж, пропавший без вести, Артем, пришел и стучит... Она вся похолодела от страха и сказала себе с полной уверенностью:

— Это он!

И тотчас что-то сообразив, разбудила своего друга.

— Поди скорей, — сказала она, — погляди, кто там в калитку стучится, только хорошенько расспроси, не сразу впускай.

И как только он вышел, сама быстро вскочила, босая бросилась скорее к окну. Затем она и выслала нового мужа, чтобы не было стыдно и страшно, если старый муж сразу войдет в спальню на прежних правах.

Выглянув из окна, она сразу поняла, что это болезненный страх стучит ее сердцем и никого нет у калитки. Александр Филимоныч, вернувшись, определенно сказал, что это к Милочке стучат.

— Не муж ли это к ней вернулся? — спросила Наташа.

— Какой тут муж! Алексей Мироныч такой молодец, а это бродяга с палкой, в бороде.

— Борода могла в плену вырасти. Мы же все видели, какой из плена Иван Гаврилович пришел. Поди-ка, поди-ка еще, расспроси его получше, постучи сам к ней со стороны сада: она там спит.

— Так если это ее муж вернулся, — ответил Александр Филимоныч, — как же ему-то не знать, где постучать: он ведь первый рубил себе дом, и еще своими руками.

— Что ты говоришь! Вспомни, какой Иван Гаврилович пришел. Там, видно, человек совсем перегорает и приходит другим. Помнишь, как первые дни все мы думали, что Иван Гаврилович вовсе лишился ума. Поди-ка, поди, слышишь, опять этот стук...

От этих разговоров сон так разлетелся, что хоть вставай и берись за работу. Но Наташа, услав мужа, улеглась опять и, раздумывая, дивилась легкомыслию Милочки, хотя и вся разница в их положении была, что она получила бумажку о смерти, а Милочка не получала. Вся совесть Наташи держалась теперь на какой-то бумажке, и даже очень бы прочно держалась, если бы не это чудесное возвращение Ивана Гавриловича.

— Ну что, что ты видел? Говори скорей, — сказала она, когда Александр Филимоныч вернулся и спокойно стал раздеваться.

— Спрашивал я бродягу, — сказал он.

— Так это не Алексей Миropyч?

— Да какой там, — просто бродяга, и как мертвый дуб молчит. Я обошел дом, постучал в спальню. Милочка крикнула мне в окно: «Слышу!» — и я удалился. А когда прошел улицу и обернулся — бродяги возле дома не было.

XXIX. ГОЛУБОЙ ГОСТЬ

Лукавый не искушал Милочку, она спала и не слышала стука. А Сережа, начитавшись взятого у меня Гоголя, видел, будто он, как Вакула-кузнец, в ночь под Рождество перекрестил лукавого и на пойманном черте мчится к царице за черевичками для своей Милочки.

Не самый стук разбудил Милочку, а одеяло съехало как раз в то время, когда постучали в окно, и через этот близкий стук она услышала стук у калитки.

— Сережа, — разбудила она своего друга, — поди, милый, погляди, там кто-то к нам в калитку стучит.

И пока Сережа ходил и там с кем-то у калитки разговаривал, она, на сон очень крепкая, успела вздремнуть, и в короткий миг, как это бывает во сне, смешалось время, и она в миг один насмотрелась столько, чего в наше обыкновенное время не уложить и в сутки.

— Погоди, погоди, — пробормотала она вернувшемуся Сереже, — дай мне сон досмотреть.

— Милочка, — сказал Сережа, не обращая на ее просьбу внимания, — там пришел к нам человек ужасно усталого вида.

— Нет, нет, — ответила, не проснувшись совсем, Милочка, — это пришел прекрасный человек: у него голубая рубашечка из сатина, ворот отстегнут.

— Проснись, Милочка, какой там голубой, весь измученный человек, и слова ему из себя выжимать очень трудно. Но я понял с трудом: он просится ночевать.

— Пусти же его.

— Как пусти! Невозможно такого пустить. Я сказал: «Места нет». — «Как нет? — говорит, — у вас две комнаты». — «А ты, — спрашиваю, — почему знаешь?» — «Пустите, — говорит, — и покормите скорее». — «Картошки, — отвечаю, — я тебе принесу». — «Хоть картошки». — «А ночевать у нас не на чем». — «У вас на чердаке есть раскладная кровать, принеси мне ее». — «Ты почему, — говорю, — знаешь?» Молчит.

— А, кровать-то, Сереженька, — ответила Милочка, теперь совсем проснувшись, — действительно есть у нас такая на чердаке. Как мог он это узнать?

— Может быть, перед тем у соседей выведал.

— Соседи этого не знают, никто о кровати этой не знает. Ты, Сережа, поскорее зажги лампу. Дашь ее мне, а самними ружье: это очень может быть, к нам разбойник пришел. Я буду светить, а ты выстрели.

И пока Сережа зажигал лампу, снимал ружье, она вспомнила сон и вернулась к нему, к этому голубому свету, проникающему сквозь камень и сквозь железо.

— Нет, Сережа, это скорее всего не разбойник, я видела сон необыкновенный. Голубой сон перед чем-то очень хорошим.

В это время желтый свет керосиновой семилинейной лампы осветил комнату, дверь стала тихо отворяться, и непрощенный гость с палкой в руке медленно двинулся в дверь и на пороге остановился.

Все, что было темным в этой фигуре: шинель, борода, шапка — при тусклом свете керосиновой лампы слилось с тенями. На темном от всего человека оставался висящий в воздухе очень белый кружок, и на нем были два больших серых глаза с красными каемочками, и для Милочки свет голубой исходил от глаз, как во сне. Она сразу узнала.

— Ты? — спросила она, как у виденья.

Глаза, висящие в воздухе, смешались, медленно стали определяться на близких предметах, и глухой голос как будто издалека ответил:

— Да, это я.

Милочка медленно, как бы больше лицом и грудью вперед, пошла навстречу виденью, а руки будто забыла, и они отстали. Спешила идти, себе самой казалось: бросилась душой, а ноги чуть двигались, и руки отстали.

— Ты, Алексей?

— Я.

Милочка подошла вплотную, и тогда руки сами поднялись и обняли виденье, а ноги подгибались, как будто для того, чтобы руки могли, опускаясь, ощупать все тело и увериться.

И когда колени достигли пола, Милочка вся упала к ногам, и слезы у нее из глаз полились и мочили ноги человека так же, как мочат святые капли небесной воды весной землю, измученную стужей и вьюгами.

А Сережа в это время так и стоял с ружьем наготове. Красные пятна показывались у него на лице, и проходили, и опять вспыхивали на разных местах. Наверно, это кровь у него самая горячая и самая живая переходила по жилам и собиралась там, где мы все чувствуем сердце. После того как сердце закрепилось в непроницаемой броне, стало все понятным, и Сережа стоял только в ожидании распоряжений Милочки: он будет все делать, как распорядится она.

— Сережа,— вскричала она,— милый Сережа! Чего же ты там с ружьем-то стоишь! Брось, глупенький, скорее ружье, беги за корытом: понимаешь ли, гость-то какой к нам пришел. Прежде всего к Арише беги, скажи: Алексей Мироныч пришел. К Наташе забеги, разбуди, винца попроси, скажи: у Милочки радость — Алексей Мироныч пришел. К Анне Александровне тоже беги, попроси у нее пуховое одеяло и сухой малины, скажи ей: у Милочки радость — Алексей Мироныч пришел.

И Сережа бежал, доставал, гремел цинковым корытом, цепляясь в темноте за деревья и столбики. А Милочка таскала дрова, и зажигала, и бегала за водой, и ставила воду на горячую плиту и тут же грела самовар.

А странник сидел у стола, подпирая ладонью тяжелую голову. Горе души его было тяжелое, тело чужое, пронизанное холодными дождями, промерзлое, и много, много

было нужно Милочке горячей воды и теплого воздуха, чтобы его согреть, высушить и, может быть, даже зажечь и осветить всю душу изнутри радостью жизни.

XXX. О ДРУЖБЕ

На другой день после возвращения Алексея Мироныча, конечно, не только весь наш поселок загудел, как пчелиный рой, а далеко вокруг по деревням и селам женщины передавали друг другу дивный случай в поселке «Ключ правды»: старый муж вернулся с войны, а новый бегал для него в поселке за корытом и одеялом. Но дивно мне было не то, что люди языки трепали, а что мало как-то было шуму для такого случая, как будто живучему зверю этому — сплетне — хвост прищемили.

Свет на это странное дело стал падать из дома Ивана Гавриловича: Милочка нашла себе полное понимание в сердце Анны Александровны. К этому покровительству самой нашей почтенной женщины присоединилось еще и то, что Иван Гаврилович, постепенно выздоравливая, как будто к нам с фронта какую-то новую дружбу принес.

— А как же вы думаете, — говорил он, улыбаясь, как маленьким детям говорит старший о том, что видел своими глазами, а они только наслышаны. — Иначе и быть не может, и вы ждите этого уверенно: истинная дружба к вам с фронта придет. Вот вы тут себе домики настроили, одному так удастся, другому иначе, спорите между собой, завидуете, огорчаетесь. А там всем задача одинаковая: рубить дом для всех.

— Верно, — отвечали ему тыловики, — только мы думали, что вы там к смертям привыкаете и тем истощаете в себе радость жизни.

— Нет, — отвечал Иван Гаврилович, — у вас жизнь за жизнь задевает: один, может быть, лет двадцать не живет — не умирает, а другой на него смотрит и себе начинает страшиться. У нас же там страх за свою жизнь короткий. Приходит человек, и у него нет ничего своего, не таится он, не лукавится, и ты с ним сразу друг, и один миг тут отвечает за весь пуд соли, а через час он возле тебя мертвый лежит, и новый приходит, и ты с ним тоже в миг один — пуд соли, и опять он тебе друг, и уходит, как друг. И до того гам все общее, что иногда на какое-то короткое мгновенье

даже усомнишься: друг это твой или ты сам мертвый лежишь?

Да, можно сказать твердо, и это так радостно нам: Иван Гаврилович с войны дружбу принес, и это казалось так удивительно — бил, колол, в него стреляли, били, чуть не погиб, а в конце концов, когда оправился, стал славить дружбу и жизнь.

И были, конечно, такие, кто, слушая Ивана Гавриловича, с этой высоты смотрели на Милочку и ее понимали.

XXXI. КОНЦОВ НЕ НАЙДЕШЬ

Около этого времени нашла и на меня дума моя особенная и стала меня подтачивать, и не с прежней утренней спокойной мыслью стал я каждое утро выходить на проверку нашей узкоколейки, а вроде как бы ущемленный и запуганный.

Мирон Иванович идет мне навстречу из города по-прежнему, но разговор у меня с ним не ладится. И вот однажды, когда мы сошлись с ним на разъезде и сели покурить, он спрашивает меня:

— Читаешь ли ты, Алексей Михайлович, что-нибудь теперь или уже забросил?

— Не забросил еще, — ответил я, — но плохо мое дело: сильно заколебался. Какая в этом польза, что мы с тобой читатели! Оборвалась эта жизнь — концов не найдешь...

Мирон Иванович опустил голову: видно, что и сам тоже связать время не в силах. Но было мне и то хорошо, что кому-то можно высказываться и через это понять себя самого.

— Видишь, Мирон Иванович, в чем у нас с тобой трудности выходят из нашего времени: учителя наши, эти самые наши десять мудрецов, как не раз мы с тобой говорили, представили нам всю жизнь как бы обдуманно связанной — мы с тобой и питались этой мудростью, и на это уже и свое набавляли. А тут пришло время такое: жизнь разорвана, и на этот случай там ответа нет, и ты сам теперь должен связать. Вот мы и попали с тобой в положение трудное: у тех мудрецов на нашу жизнь правила нет, а молодые как-то могут обходиться вовсе без наших правил. Похоже, будто жили мы с тобой в монастыре, где для маленького человека все обдуманно, а теперь, когда мона-

стырь этот наш разрушен, нам жизнь без убежища кажется дикой и страшной.

— На какой же именно предмет,— спросил Мирон Иванович,— не хватает тебе мыслей у наших мудрецов?

— На всю любовь у них есть мысль, но у них нет слов на возмездие.

— А зачем тебе месть?

— Эх ты, старый пень,— рассердился я,— не сама месть мне нужна, а возмездие, чтобы справедливостью связать времена. Нас учили мудрецы все прощать, как будто враги у нас все только личные: захочу — и прощу, и даже, может быть, и полюблю. Ну, а если он друга моего мучит? Как мне тогда? Неужели тоже простить и отойти?

Помню, когда убили царя Александра Второго, мне было тогда немного лет, и то я тогда знал в своем сердце, что не просто его убивали, а в этом убийстве есть мысль: за народ люди выходили, и вот именно за любовь они могли умирать. Так почему же у писателя-мудреца не дан в величии своем такой человек, который царю не простил?

Мирон Иванович призадумался и вдруг спрашивает:

— А Демон Лермонтова?

— Ну, Демон,— отмахнулся я,— это дух. Он неправедный дух, а мне нужно, чтобы праведный человек не простил.

На эти слова Мирон Иванович ничего не мог мне сказать, и так невесело мы с ним разошлись, и я, грешник, горестно думал о нем: сколько жил, сколько читал, боролся, стремился, все куда-то шел, шел, и недалеко ушел.

XXXII. С НЕПОКРЫТОЙ ГОЛОВОЙ

До того было трудно выздороветь Алексею Миронычу, что когда начал он уже и явно поправляться, то выходило это, будто друзья ему навязывали жизнь, и он принимал ее с какими-то своими тайными оговорками.

Когда Милочка уходила на службу, ее сменяла Анна Александровна, готовила ему, ухаживала, и мы тоже с Иваном Гавриловичем старались почаще бывать, отвлекать его от тяжких мыслей, читали ему вслух. Он слушал, по-видимому, внимательно, только видно было по глазам, что не

понимал, как мы, а переводил наши слова на свой, непонятный нам язык. И даже в таких местах, когда никому невозможно удержаться от смеха, он никогда не улыбался. Только чуть-чуть начиналась в глазах его улыбка, когда показывалась Милочка.

Сережа куда-то переселился на это время, но часто приходил помогать Милочке. Часто, делая что-нибудь в комнате, Сережа ловил на себе внимательный, тяжелый взгляд больного и тогда начинал краснеть и заикаться на каждом слове. Это замешательство, по-видимому, доставляло больному какое-то удовольствие, и каждый раз, как Сережа начнет заикаться, глаза Алексея светились улыбкой, и даже случалось, шевелились и щеки и губы. Было похоже, как если бы человеку умирающему, готовому покончить с земными счетами, положили в ноги любимую собачку, и она наползала бы ему на грудь и с напряженным вниманием ждала, чтобы он открыл глаза. И бывает, такой больной откроет глаза и на любовь собачки ответит улыбкой.

Уход за больным у нас был, как за своим близким человеком. Мало-помалу он стал веселеть, потом начал вставать, прогуливаться. Но разговаривал только о чем-нибудь совсем простом и особенно любил выпрашивать у Сережи о перепелах и повадках животных. Это внимание к жизни природы было в Алеше чем-то новым. Скоро дошло до того, что он вместе с Сережей стал ловить на удочку окуней, и карасей, и линей ставными сетями в торфяных прудах. Со стороны теперь его можно было принять за совсем здорового, но только мы, близкие, понимали, что он не просто отдавался чувству радости жизни, а лишь опирался на это и думал каждый час, каждую минуту о чем-то своем.

Случилось однажды, проходит он мимо моего дома с сетью в руке и карасями и, проходя, говорит мне в окно:

— Алексей Михайлович, дай мне Гоголя «Страшную месть».

Тогда внезапно, как подземные силы потрясают землю, так всю душу мою потрясло: в этот миг, как я теперь понимаю, бредущая тень от страшного мстителя дошла до меня...

— На что тебе, — спрашиваю, — «Страшная месть»? Но он уклонился и ответил:

— Мне что-то пришло в голову: хочу почитать.

Я дал ему Гоголя том второй, и он с этой красной книжечкой и на красном сафьяне с золотым портретом Гоголя скоро пошел от меня. А у меня было еще другое издание, которое в ситчике, и я взял из него тоже «Страшную месть» и начал читать, как это бывает, про себя уже зная, чего я ищу в этом чтении. Каждая глава благодаря этому не открывала мне ничего нового, а только выводила на белый свет то самое, что давным-давно лежало у сердца.

Пятьдесят лет тому назад я впервые прочел «Страшную месть», и с тех пор читал множество раз, и каждый раз перечитывая, завивался вокруг страшного слова, как зеленый хмель завивается и поднимается по стволу сухого дерева. И только уже в старости, когда я забрался на всю высоту этих сухих слов «Страшная месть», то раскрылась вокруг меня необъятная ширь, и когда облака разорвались, сам своими глазами увидел я на Карпатских горах Страшного Мстителя с мертвыми очами, и от него тень двигалась по всей земле.

Только когда кости мертвого колдуна потрясли теперь всю нашу землю и моя душа вместе со всем миром содрогнулась, вдруг понял я, почему такой страстный любитель чтения, как я, держал Гоголя отдельно от любимых моих мудрецов: на всех людей у Гоголя легла тень Мстителя, а мне жить хотелось, и я, как хмель, извивался, только бы выйти как-нибудь из этой страшной тени.

Однажды, когда солнце садилось, вышел я за околицу, сел на камень и спиной прислонился к плетню. Задумался я, свернулся сам в себе комочком, вспоминая время полстолетия назад, когда сидел в тюрьме, как мне тогда казалось, за правду всего мира на земле. Много ли я знал тогда, велик ли был мой опыт в жизни, но все-таки я за правду сидел, и умнейший, ученейший прокурор, приходящий ко мне для допросов, с высоты моей правды показывался жалким щенком и почти робел меня, и при моих вопросах ему о правде виновато улыбался, как будто не он допрашивал меня, прокурор, а я, двадцатилетний мальчишка.

Прошло полстолетия, и Алеша, каким я себя вижу, русский мальчик, все по-прежнему за правду стоит, и уже не какой-то российский прокурор, а сам всемирный дьявол в образе войны пришел и все не может справиться с мальчиком.

— Ты что же тут вянешь, Алексей Михайлович? — услышал я над собой знакомый голос.

И вижу, он сам, тезка мой, Алеша, в походной одежде стоит надо мной, — куда-то собрался.

— Подвинься-ка, — говорит, — простимся с тобой, а «Страшную месть» я оставил у тебя на столе. Вот зачем я тебя искал: собрался я, родной мой, совсем уходить.

И подает мне пакет с бумагами: разные доверенности и письмо на имя Милочки.

Я, конечно, понял его и спрашиваю:

— Ты это не из-за обиды уходишь?

Он спокойно и незлобиво засмеялся:

— Это пусть кто-нибудь другой скажет, только не ты, Алексей Михайлович. Ты же знаешь меня всего — когда и с кем я за свое личное воевал или даже обижался. Милочку ты тоже знаешь: я ей сейчас только глазом моргну, и она уйдет за мной на край света, потому что уйти на край света за мной будет у нее *не для себя*, и в этом она себе находит источник силы и решимости. А Сережу она любит для себя, только для себя. Вот я и хочу весь труд жизни себе взять, чтобы она пожила.

Прошу тебя, дня три поддержи это в тайне, а когда я буду далеко, отдай ей эти бумаги. Я очень боюсь, что, когда Милочка узнает, не помирится она с этим, не пожелает проститься со мной и принять любовь для себя.

— Понимаю, Алеша, — сказал я, — тайну сохраняю, как ты мне велишь, но если не обида, то, значит, вот это и есть причина твоего ухода: дать Милочке счастье?

— Нет, конечно, — ответил он, — будь все только для Милочки, я мог бы проще устроить. У меня есть свой долг.

И в точности мне пересказал мои собственные мысли о том, как связать времена возмездием и правдой.

— Помнишь, — сказал он, — мое старинное «не простить» в спорах с Ваней. Теперь это «не простить» перешло в страшную месть. Я теперь по земле тенью пойду от войны, от этого страшного всадника.

— Но ты помнишь, — говорю я, — всадник с мертвыми очами был наказан за то, что слишком много мести у бога запросил?

— Этот договор с богом меня, Алексей Михайлович, не касается. Ведь я только за правдой иду, как тень от страшного всадника: бог у меня ни при чем.

— Как же все-таки бог ни при чем?

— Времени нет, — отвечает он, — чтобы заниматься

этими вопросами или, как раньше было, бога искать. Минутки времени теперь не истрachu: довольно у нас на Руси бога искали, а я знаю одно, что за правду иду, делать ее иду, а бог, если он есть, пусть сам найдет меня, у него время неслитанное.

Так он простился со мной, чтобы в городе получить направление на работу в разоренных местах. Снял я шапку с головы, обнял его, простился и с непокрытой головой долго стоял и глядел ему вслед, повторяя про себя:

— Пусть, Алешенька, мой любимый сынок, бог найдет тебя и поможет тебе, бедному, снять с себя это мученье твое: все понять, ничего не забыть и ничего не простить.

КЛАДОВАЯ СОЛНЦА

Сказка-быль





I

В одном селе, возле Блудова болота, в районе города Переславль-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне.

Мы жили в этом селе всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им, чем только могли. Они были очень милые. Настя была как золотая курочка на высоких ногах. Волосы у нее, ни темные, ни светлые, отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх попугайчиком.

Митраша был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный.

«Мужичок в мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе.

Мужичок в мешочке, как и Настя, был весь в золотых веснушках, а носик его чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх попугайчиком.

После родителей все их крестьянское хозяйство доста-

лось детям: изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза, безыменные овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Хрен.

Вместе с этим богатством досталась, однако, детишкам бедным и большая забота о всех этих живых существах. Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны! Вначале, как мы уже говорили, детям приходили помогать их дальние родственники и все мы, соседи. Но очень что-то скоро умненькие и дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо.

И какие это были умные детишки! Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе. Их носики можно было видеть на колхозных полях, на лугах, на скотном дворе, на собраниях, в противотанковых рвах: носики такие задорные.

В этом селе мы, хотя и приезжие люди, знали хорошо жизнь каждого дома. И теперь можем сказать: не было ни одного дома, где бы жили и работали так дружно, как жили наши любимцы.

Точно так же, как и покойная мать, Настя вставала далеко до солнца, в предрассветный час, по трубе пастуха. С хворостиной в руке выгоняла она свое любимое стадо и катилась обратно в избу. Не ложась уже больше спать, она растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед и так хлопотала по хозяйству до ночи.

Митраша выучился у отца делать деревянную посуду: бочонки, шайки, лоханки. У него есть фуганок, ладило¹ длиной больше чем в два его роста. И этим ладилом он подгоняет дощечки одну к одной, складывает и обдерживает железными или деревянными обручами.

При корове двум детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынке деревянную посуду, но добрые люди просят, кому — шайку на умывальник, кому нужен под капели бочонок, кому — кадушечку солить огурцы или грибы, или даже простую посудинку с зубчиками — домашний цветок посадить.

Сделает, и потом ему тоже оплатят добром. Но, кроме бондарства, на нем лежит и все мужское хозяйство, и общественное дело. Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы и, наверно, что-то смекает.

¹ Л а д и л о — бондарный инструмент Переславского района Ивановской области. (Здесь и далее примеч. М. М. Пришвина.)

Очень хорошо, что Настя постарше брата на два года, а то бы он непременно зазнался, и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства. Бывает, и теперь Митраша вспомнит, как отец наставлял его мать, и вздумает, подражая отцу, тоже учить свою сестру Настю. Но сестренка мало слушается, стоит и улыбается... Тогда Мужичок в мешочке начинает злиться и хорохориться и всегда говорит, задрав нос:

— Вот еще!

— Да чего ты хорохоришься? — возражает сестра.

— Вот еще! — сердится брат. — Ты, Настя, сама хорошишься.

— Нет, это ты!

— Вот еще!

Так, помучив строптивого брата, Настя оглаживает его по затылку, и, как только маленькая ручка сестры коснется широкого затылка брата, отцовский задор покидает хозяина.

— Давай-ка вместе полоть, — скажет сестра.

И брат тоже начинает полоть огурцы, или свеклу мотыжить, или картошку сажать.

Да, очень, очень трудно было всем во время Отечественной войны, так трудно, что, наверно, и на всем свете так никогда не бывало. Вот и детям пришлось хлебнуть много всяких забот, неудач, огорчений. Но их дружба перемогла все, они жили хорошо. И мы опять можем твердо сказать: во всем селе ни у кого не было такой дружбы, как жили между собой Митраша и Настя Веселкины. И думаем, наверно, это горе о родителях так тесно соединило сирот.

II

Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью. Но не все знают, что самая-самая хорошая клюква, *сладкая*, как у нас говорят, бывает, когда она перележит зиму под снегом.

Эту весеннюю темно-красную клюкву парят у нас в горшках вместе со свеклой и пьют чай с ней, как с сахаром. У кого же нет сахарной свеклы, то пьют чай и с одной клюквой. Мы это сами пробовали — и ничего, пить можно: кислое заменяет сладкое и очень даже хорошо в жаркие дни. А какой замечательный кисель получается из сладкой

клюквы, какой морс! И еще в народе у нас считают эту клюкву целебным лекарством от всех болезней.

Этой весной снег в густых ельниках еще держался и в конце апреля, но в болотах всегда бывает много теплее: там в это время снега уже не было вовсе. Узнав об этом от людей, Митраша и Настя стали собираться за клюквой. Еще до свету Настя задала корм всем своим животным. Митраша взял отцовское двуствольное ружье «Тулку», манки на рябчиков и не забыл тоже и компас. Никогда, бывало, отец его, отправляясь в лес, не забудет этого компаса. Не раз Митраша спрашивал отца:

— Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен весь, как ладонь. Зачем же тебе еще нужна эта стрелка?

— Видишь, Дмитрий Павлович, — отвечал отец, — в лесу эта стрелка тебе добрей матери: бывает, небо закроется тучами, и по солнцу в лесу ты определиться не можешь, пойдешь наугад — ошибешься, заблудишься, заголодаешь. Вот тогда взгляни только на стрелку — и она укажет тебе, где твой дом. Пойдешь прямо по стрелке домой, и тебя там покормят. Стрелка эта тебе верней друга: бывает, друг твой изменит тебе, а стрелка неизменно всегда, как ее ни верти, все на север глядит.

Осмотрев чудесную вещь, Митраша запер компас, чтобы стрелка в пути зря не дрожала. Он хорошо, по-отцовски, обернул вокруг ног портянки, вправил в сапоги, картузик надел такой старый, что козырек его разделился надвое: верхняя кожаная корочка задралась выше солнца, а нижняя спускалась почти до самого носика. Оделся же Митраша в отцовскую старую куртку, вернее же в воротник, соединяющий полосы когда-то хорошей домотканой материи. На животике своем мальчик связал эти полосы кушачком, и отцовская куртка села на нем, как пальто, до самой земли. Еще сын охотника заткнул за пояс топор, сумку с компасом повесил на правое плечо, двуствольную «Тулку» — на левое и так сделался ужасно страшным для всех птиц и зверей.

Настя, начиная собираться, повесила себе через плечо на полотенце большую корзину.

— Зачем тебе полотенце? — спросил Митраша.

— А как же, — ответила Настя. — Ты разве не помнишь, как мама за грибами ходила?

— За грибами! Много ты понимаешь: грибов бывает много, так плечо режет.

— А клюквы, может быть, у нас еще больше будет.

И только хотел сказать Митраша свое «вот еще!», вспомнилось ему, как отец о клюкве сказал, еще когда собирали его на войну.

— Ты это помнишь, — сказал Митраша сестре, — как отец нам говорил о клюкве, что есть палестинка¹ в лесу...

— Помню, — ответила Настя, — о клюкве говорил, что знает местечко и клюква там осыпучая, но что он о какой-то палестинке говорил, я не знаю. Еще помню, говорил про страшное место Слепую елань².

— Вот там, возле елани, и есть палестинка, — сказал Митраша. — Отец говорил: идите на Высокую гриву и после того держите на север и, когда перевалите через Звонкую борину, держите все прямо на север и увидите — там придет вам палестинка, вся красная, как кровь, от одной только клюквы. На этой палестинке еще никто не бывал!

Митраша говорил это уже в дверях. Настя во время рассказа вспомнила: у нее от вчерашнего дня остался целый, нетронутый чугунок вареной картошки. Забыв о палестинке, она тихонечко шмыгнула к загнетке и опрокинула в корзинку весь чугунок.

«Может быть, еще и заблудимся, — подумала она. — Хлеба у нас взято довольно, есть бутылка молока, и картошка, может быть, тоже пригодится».

А брат в это время, думая, что сестра все стоит за его спиной, рассказывал ей о чудесной палестинке и что, правда, на пути к ней есть Слепая елань, где много погибло и людей, и коров, и коней.

— Ну, так что это за палестинка? — спросила Настя.

— Так ты ничего не слыхала?! — схватился он.

И терпеливо повторил ей уже на ходу все, что слышал от отца о не известной никому палестинке, где растет сладкая клюква.

III

Блудово болото, где и мы сами не раз тоже блуждали, начиналось, как почти всегда начинается большое болото, непроходимую зарослью ивы, ольхи и других кустарников. Первый человек прошел эту *приболотицу* с топором в руке и вырубил проход для других людей. Под ногами челове-

¹ П а л е с т и н к о й называют в народе какое-нибудь отменно приятное местечко в лесу.

² Е л а н ь — топкое место в болоте, все равно что прорубь на льду.

скими после осели кочки, и тропа стала канавкой, по которой струилась вода. Дети без особого труда перешли эту приболотицу в предрассветной темноте. И когда кустарники перестали заслонять вид впереди, при первом утреннем свете им открылось болото, как море. А впрочем, оно же и было, это Блудово болото, дном древнего моря. И как там, в настоящем море, бывают острова, как в пустынях — оазисы, так и в болотах бывают холмы. У нас в Блудовом болоте эти холмы песчаные, покрытые высоким бором, называются *боринами*. Пройдя немного болотом, дети поднялись на первую борину, известную под названием Высокая грива. Отсюда, с высокой пролысинки, в серой дымке первого рассвета чуть виднелась борина Звонкая.

Еще не доходя до Звонкой борины, почти возле самой тропы, стали показываться отдельные кроваво-красные ягоды. Охотники за клюквой поначалу клали эти ягоды в рот. Кто не пробовал в жизни своей осеннюю клюкву и сразу бы хватил весенней, у него бы дух захватило от кислоты. Но деревенские сироты знали хорошо, что такое осенняя клюква, и оттого, когда теперь ели весеннюю, то повторяли:

— Какая сладкая!

Борина Звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку, покрытую и теперь, в апреле, темно-зеленой брусничной травой. Среди этой зелени прошлого года кое-где виднелись новые цветочки белого подснежника и лиловые, мелкие, и частые, и ароматные цветочки волчьего лыка.

— Они хорошо пахнут, попробуй, сорви цветочек волчьего лыка, — сказал Митраша.

Настя попробовала надломить прутик стебелька и никак не могла.

— А почему это лыко называется волчьим? — спросила она.

— Отец говорил, — ответил брат, — волки из него себе корзинки плетут.

И засмеялся.

— А разве тут есть еще волки?

— Ну как же! Отец говорил, тут есть страшный волк Серый помещик.

— Помню. Тот самый, что порезал перед войной наше стадо.

— Отец говорил: он живет теперь на Сухой речке в завалах.

— Нас с тобой он не тронет?

— Пусть попробует,— ответил охотник с двойным козырьком.

Пока дети так говорили и утро подвигалось все больше к рассвету, борина Звонкая наполнялась птичьими песнями, воем, стоном и криком зверьков. Не все они были тут, на борине, но с болота, сырого, глухого, все звуки собирались сюда. Борина с лесом, сосновым и звонким на суходоле, отсылалась всему.

Но бедные птички и зверушки, как мучились все они, стараясь выговорить какое-то общее всем, единое прекрасное слово! И даже дети, такие простые, как Настя с Митрашей, понимали их усилие. Им всем хотелось сказать одно только какое-то слово прекрасное.

Видно, как птица поет на сучке, и каждое перышко дрожит у нее от усилия. Но все-таки слова, как мы, они сказать не могут, и им приходится выпевать, выкрикивать, выстукивать.

— Тэк-тэк,— чуть слышно постукивает огромная птица Глухарь в темном лесу.

— Шварк-шварк! — Дикий Селезень в воздухе пролетел над речкой.

— Кряк-кряк! — дикая утка Кряква на озерке.

— Гу-гу-гу,— красная птичка Снегирь на березе.

Бекас, небольшая серая птичка с носом длинным, как сплюснутая шпилька, раскатывается в воздухе диким барашком. Вроде как бы «жив, жив!» кричит кулик Кроншнеп. Тетерев там где-то бормочет и чуфыкает. Белая Куропатка, как будто ведьма, хохочет.

Мы, охотники, давно, с детства своего, слышим эти звуки, и знаем их, и различаем, и радуемся, и хорошо понимаем, над каким словом все они трудятся и не могут сказать. Вот почему мы, когда придем в лес на рассвете и услышим, так и скажем им, как людям, это слово:

— Здравствуйте!

И как будто они тогда тоже обрадуются, как будто тогда они тоже все подхватят чудесное слово, слетевшее с языка человеческого.

И закрякают в ответ, и зачуфыкают, и зашваркают, и затэтэкают, стараясь всеми голосами этими ответить нам:

— Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!

Но вот среди всех этих звуков вырвался один, ни на что не похожий.

— Ты слышишь? — спросил Митраша.

— Как же не слышать! — ответила Настя. — Давно слышу, и как-то страшно.

— Ничего нет страшного. Мне отец говорил и показывал: это так весной заяц кричит.

— А зачем так?

— Отец говорил: он кричит: «Здравствуй, зайчиха!»

— А это что ухаает?

— Отец говорил: это ухаает Выпь, бык водяной.

— И чего он ухаает?

— Отец говорил: у него есть тоже своя подруга, и он ей по-своему тоже так говорит, как и все: «Здравствуй, Выпиха».

И вдруг стало свежо и бодро, как будто вся земля сразу умылась, и небо засветилось, и все деревья запахли корой своей и почками. Вот тогда как будто над всеми звуками вырвался, вылетел и все покрыл собою торжествующий крик, похожий, как если бы все люди радостно в стройном согласии могли закричать:

— Победа, победа!

— Что это? — спросила обрадованная Настя.

— Отец говорил: это так журавли солнце встречают. Это значит, что скоро солнце взойдет.

Но солнце еще не взошло, когда охотники за сладкой клюквой спустились в большое болото. Тут еще совсем и не начиналось торжество встречи солнца. Над маленькими корявыми елочками и березками серой мглой висело ночное одеяло и глушило все чудесные звуки Звонкой борины. Только слышался тут тягостный, щемящий и нерадостный вой.

Настенька вся сжалась от холода, и в болотной сырости пахнул на нее резкий, одуряющий запах багульника. Маленькой и слабой почувствовала себя Золотая Курочка на высоких ножках перед этой какой-то неминуемой силой гибели.

— Что это, Митраша, — спросила Настенька, ежась, — так страшно воет вдали?

— Отец говорил, — ответил Митраша, — это воют на Сухой речке волки, и, наверно, сейчас это воет волк Серый помещик. Отец говорил, что все волки на Сухой речке убиты, но Серого убить невозможно.

— Так отчего же он так страшно воет теперь?

— Отец говорил: волки воют весной оттого, что им есть теперь нечего. А Серый еще остался один, вот и воет.

Болотная сырость, казалось, проникала сквозь тело к костям и студила их. И так не хотелось еще ниже спускаться в сырое, топкое болото.

— Мы куда же пойдем? — спросила Настя.

Митраша вынул компас, установил север и, указывая на более слабую тропу, идущую на север, сказал:

— Мы пойдем на север по этой тропе.

— Нет, — ответила Настя, — мы пойдем вот по этой большой тропе, куда все люди идут. Отец нам рассказывал, помнишь, какое это страшное место — Слепая елань, сколько погибло в нем людей и скота. Нет, нет, Митрашенька, не пойдем туда. Все идут в эту сторону, — значит, там и клюква растет.

— Много ты понимаешь! — оборвал ее охотник. — Мы пойдем на север, как отец говорил, там есть палестинка, где еще никто не бывал.

Настя, заметив, что брат начинает сердиться, вдруг улыбнулась и погладила его по затылку. Митраша сразу успокоился, и друзья пошли по тропе, указанной стрелкой, теперь уже не рядом, как раньше, а друг за другом, гуськом.

IV

Лет двести тому назад ветер-сеятель принес два семечка в Блудово болото: семя сосны и семя ели. Оба семечка легли в одну ямку возле большого плоского камня... С тех пор уже лет, может быть, двести эти ель и сосна вместе растут. Их корни с малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород ужасно боролись между собою корнями за питание, сучьями — за воздух и свет. Поднимаясь все выше, толстая стволами, они впивались сухими сучьями в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер, устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья стонали и выли на все Блудово болото, как живые существа. До того это было похоже на стон и вой живых существ, что лисичка, свернутая на моховой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку. До того близок был живым существам этот стон и вой сосны и ели, что одичавшая собака в Блудовом болоте, услышав его, выла от тоски по человеку, а волк выл от неизбывной злобы к нему.

Сюда, к Лежащему камню, пришли дети в то самое

время, когда первые лучи солнца, пролетев над низенькими корявыми болотными елочками и березками, осветили Звонкую борину, и могучие стволы соснового бора стали как зажженные свечи великого храма природы. Оттуда сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть дети, слабо долетало пение птиц, посвященное восходу великого солнца.

И светлые лучи, пролетающие над головами детей, еще не грели. Болотная земля была вся в ознобе, мелкие лужицы покрылись белым ледком.

Было совсем тихо в природе, и дети, озябшие, до того были тихи, что тетерев Косач не обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху, где сук сосны и сук ели сложились как мостик между двумя деревьями. Устроившись на этом мостике, для него довольно широком, ближе к ели, Косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синяя в глубине черного грудь его стала переливать из синего на зеленое. И особенно красив стал его радужный, раскинутый лирой хвост.

Завидев солнце над болотными жалкими елочками, он вдруг подпрыгнул на своем высоком мостике, показал свое белое, чистейшее белье подхвостья, подкрылья и крикнул: — Чуф, ши!

По-тетеревиному «чуф» скорее всего значило солнце, а «ши», вероятно, было у них наше «здравствуй».

В ответ на это первое чуфыканье Косача-токовика далеко по всему болоту раздалось такое же чуфыканье с хлопаньем крыльев, и вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и садиться вблизи Лежачего камня десятки больших птиц, как две капли воды похожих на Косача.

Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда и к ним придут лучи солнца и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользя по верхушкам ближайших, очень маленьких елочек, наконец-то заиграл на щеках у детей. Тогда верхний Косач, приветствуя солнце, перестал подпрыгивать и чуфыкать. Он присел низко на мостике у вершины елки, вытянул свою длинную шею вдоль сука и завел долгую, похожую на журчание ручейка песню. В ответ ему тут где-то вблизи сидящие на земле десятки таких же птиц, тоже каждый петух, вытянув шею, затянули ту же самую песню. И тогда как будто довольно уже большой ручей с бормотаньем побежал по невидимым камешкам.

Сколько раз мы, охотники, выждав темное утро, на зябкой заре с трепетом слушали это пение, стараясь по-своему понять, о чем поют петухи. И когда мы по-своему повторяли их бормотанья, то у нас выходило:

Круты перья,
Ур-гур-гу,
Круты перья
Обор-ву, оборву.

Так бормотали дружно тетерева, собираясь в то же время подраться. И когда они так бормотали, случилось небольшое событие в глубине еловой густой кроны. Там сидела на гнезде ворона и все время таилась там от Косача, токующего почти возле самого гнезда. Ворона очень бы желала прогнать Косача, но она боялась оставить гнездо и остудить на утреннем морозе яйца. Стерегающий гнездо ворона-самец в это время делал свой облет и, наверно, встретив что-нибудь подозрительное, задержался. Ворона в ожидании самца залегла в гнезде, была тише воды, ниже травы. И вдруг, увидев летящего обратно самца, крикнула свое:

— Кра!

Это значило у нее:

— Выручай!

— Кра! — ответил самец в сторону тока в том смысле, что еще неизвестно, кто кому оборвет круты перья.

Самец, сразу поняв, в чем тут дело, спустился и сел на тот же мостик, возле елки, у самого гнезда, где Косач токовал, только поближе к сосне, и стал выжидать.

Косач в это время, не обращая на самца вороны никакого внимания, выкликнул свое, известное всем охотникам:

— Кар-кер-кекс!

И это было сигналом ко всеобщей драке всех токующих петухов. Ну и полетели во все-то стороны круты перья! И тут, как будто по тому же сигналу, ворона-самец мелкими шагами по мостику незаметно стал подбираться к Косачу.

Неподвижные, как изваяния, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. Солнце, такое горячее и чистое, вышло против них над болотными елочками. Но случилось на небе в это время одно облако. Оно явилось как холодная синяя стрелка и пересекло собой пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер рванул, елка нажала на сосну и сосна простонала. Ветер рванул еще раз, и тогда нажала сосна, и ель зарычала.

В это время, отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с Митрашей встали, чтобы продолжать дальше свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой: одна, хорошая, плотная тропа шла направо, другая, слабенькая, — прямо.

Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая слабую тропу, сказал:

— Нам надо по этой на север.

— Это не тропа! — ответила Настя.

— Вот еще! — рассердился Митраша. — Люди шли, — значит, тропа. Нам надо на север. Идем, и не разговаривай больше.

Насте было обидно подчиниться младшему Митраше.

— Кра! — крикнула в это время ворона в гнезде.

И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к Косачу на полмостика.

Вторая круто-синяя стрелка пересекла солнце, и сверху стала надвигаться серая хмарь.

Золотая Курочка собралась с силами и попробовала уговорить своего друга.

— Смотри, — сказала она, — какая плотная моя тропа, тут все люди ходят. Неужели мы умней всех?

— Пусть ходят все люди, — решительно ответил упрямый Мужичок в мешочке. — Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к палестинке.

— Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами, — сказала Настя. — И, наверно, на севере вовсе и нет никакой палестинки. Очень даже будет глупо нам по стрелке идти: как раз не на палестинку, а в самую Слепую елань угодим.

— Ну ладно, — резко повернул Митраша. — Я с тобой больше спорить не буду: ты иди по своей тропе, куда все бабы ходят за клюквой, я же пойду сам по себе, по своей тропке, на север.

И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище.

Насте бы надо было об этом напомнить ему, но она так сама рассердилась, что, вся красная, как кумач, плюнула вслед ему и пошла за клюквой по общей тропе.

— Кра! — закричала ворона.

И самец быстро перебежал по мостику остальной путь до Косача и со всей силой долбанул его. Как ошпаренный метнулся Косач к улетающим тетеревам, но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радужных перышек и погнался и погнался далеко.

Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце со всеми его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул. Сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, на все Блудово болото зарычали, завывали, застонали.

V

Деревья так жалобно стонали, что из полуобвалившейся картофельной ямы возле сторожки Антипыча вылезла его гончая собака Травка и так же, в тон деревьям, жалобно завывала.

Зачем же надо было вылезать собаке так рано из теплого, належанного подвала и жалобно выть, отвечая деревьям?

Среди звуков стога, рычания, ворчания, воя в это утро у деревьев иногда выходило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребенок.

Вот этот плач и не могла выносить Травка и, заслышав его, вылезала из ямы в ночь и в полночь. Этот плач сплетенных навеки деревьев не могла выносить собака: деревья животному напоминали о его собственном горе.

Уже целых два года прошло, как случилось ужасное несчастье в жизни Травки: умер обожаемый ею лесник, старый охотник Антипыч.

Мы с давних лет ездили к этому Антипычу на охоту, и старик, думается, сам позабыл, сколько ему было лет, все жил, жил в своей лесной сторожке, и казалось — он никогда не умрет.

— Сколько тебе лет, Антипыч? — спрашивали мы. — Восемьдесят?

— Мало, — отвечал он.

— Сто?

— Много.

Думая, что он это шутит с нами, а сам хорошо знает, мы спрашивали:

— Антипыч, ну брось свои шутки, скажи нам по правде: сколько же тебе лет?

— По правде, — отвечал старик, — я вам скажу, если вы вперед скажете мне, что есть правда, какая она, где живет и как ее найти.

Трудно было ответить нам.

— Ты, Антипыч, старше нас, — говорили мы, — и ты, наверно, сам лучше нас знаешь, где правда.

— Знаю, — усмехался Антипыч.

— Ну, скажи!

— Нет, пока жив я, сказать не могу, вы сами ищите. Ну, а как умирать буду, приезжайте, я вам тогда на ушко перешепну всю правду. Приезжайте!

— Хорошо, приедем. А вдруг не угадаем, когда надо, и ты без нас помрешь?

Дедушка прищурился по-своему, как он всегда щурился, когда хотел посмеяться и пошутить.

— Деточки, вы, — сказал он, — не маленькие, пора бы самим знать, а вы все спрашиваете. Ну, ладно уж, когда помирать соберусь и вас тут не будет, я Травке своей перешепну. Травка! — позвал он.

В хату вошла большая рыжая собака с черным ремешком по всей спине. У нее под глазами были черные полосы с загибом вроде очков. И от этого глаза казались очень большими, и ими она спрашивала: «Зачем позвал меня, хозяин?»

Антипыч как-то особенно поглядел на нее, и собака сразу поняла человека: он звал ее по приятельству, по дружбе, ни для чего, а просто так, пошутить, поиграть... Травка замахала хвостом, стала снижаться на ногах все ниже, ниже и, когда подползла так к коленям старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот с шестью парами черных сосков. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ее, она как вдруг вскочит и лапами на плечи — и чмок и чмок его: и в нос, и в щеки, и в самые губы.

— Ну, будет, будет, — сказал он, успокаивая собаку и вытирая лицо рукавом.

Погладил ее по голове и сказал:

— Ну, будет, теперь ступай к себе.

Травка повернулась и вышла на двор.

— То-то, ребята, — сказал Антипыч. — Вот Травка, собака гончая, с одного слова все понимает, а вы, глупенькие, спрашиваете, где правда живет. Ладно же, приезжайте. А упустите меня, Травке я все перешепну.

И вот умер Антипыч. Вскоре началась Великая Отечественная война. Другого сторожа на место Антипыча не назначили, и сторожку его бросили. Очень ветхий был домик, старше много самого Антипыча, и держался уже на подпорках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с доми-

ком, и он сразу весь развалился, как разваливается карточный домик от одного дыхания младенца. В один год высокая трава Иван-чай проросла через бревнышки, и от всей избушки остался на лесной поляне холмик, покрытый красными цветами. А Травка переселилась в картофельную яму и стала жить в лесу, как и всякий зверь.

Только очень трудно было Травке привыкать к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя. Много раз случалось ей на гону поймать зайца. Подмыв его под себя, она ложилась и ждала, когда Антипыч придет, и, часто вовсе голодная, не позволяла себе есть зайца. Даже если Антипыч почему-нибудь не приходил, она брала зайца в зубы, высоко задирала голову, чтобы он не болтался, и тащила домой. Так она и работала на Антипыча, но не на себя: хозяин любил ее, кормил и берег от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось, не один раз на жарком гону она забывала, что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. До того забывалась Травка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипычу и тут иногда, услышав стон деревьев, взбиралась на холм, бывший когда-то избушкой, и выла, и выла...

К этому вою давно уже прислушивается волк Серый помещик...

VI

Сторожка Антипыча была вовсе не далеко от Сухой речки, куда несколько лет тому назад, по заявке местных крестьян, приезжала наша волчья команда. Местные охотники проводали, что большой волчий выводок жил где-то на Сухой речке. Мы приехали помочь крестьянам и приступили к делу по всем правилам борьбы с хищным зверем.

Ночью, забравшись в Блудово болото, мы были поволчьи и так вызвали ответный вой всех волков на Сухой речке. И так мы точно узнали, где они живут и сколько их. Они жили в самых непроходимых завалах Сухой речки. Тут давным-давно вода боролась с деревьями за свою свободу, а деревья должны были закреплять берега. Вода победила, деревья попадали, а после того и сама вода разбежалась в болоте. Многими ярусами были навалены деревья и гнили. Сквозь деревья пробилась трава, лианы плюща

завили частые молодые осинки. И так создалось крепкое место, или даже, можно сказать по-нашему, по-охотничьи, волчья крепость.

Определив место, где жили волки, мы обошли его на лыжах и по лыжнице, по кругу в три километра, развесили по кустикам на веревочке флаги, красные и пахучие. Красный цвет пугает волков, и запах кумача страшит, и особенно боязливо им бывает, если ветерок, пробегая сквозь лес, там и тут шевелит этими флагами.

Сколько у нас было стрелков, столько мы сделали ворот в непрерывном кругу этих флагов. Против каждого ворот становился где-нибудь за густой елочкой стрелок.

Осторожно покрикивая и постукивая палками, загонщики взбудили волков, и они сначала тихонько пошли в свою сторону. Впереди шла сама волчица, за ней — молодые перьярки, и сзади, в стороне, отдельно и самостоятельно, — огромный лобастый матерый волк, известный крестьянам злодей, прозванный Серым помещиком.

Волки шли очень осторожно. Загонщики нажали. Волчица пошла на рысях. И вдруг...

Стоп! Флаги!

Она повернула в другую сторону, и там тоже:

Стоп! Флаги!

Загонщики нажимали все ближе и ближе. Старая волчица потеряла волчий смысл и, ткнувшись туда-сюда, как придется, нашла себе выход и в самых воротцах была встречена выстрелом в голову всего в десятке шагов от охотника.

Так погибли все волки, но Серый не раз бывал в таких переделках и, услышав первые выстрелы, махнул через флаги. На прыжке в него было пущено два заряда: один оторвал ему левое ухо, другой — половину хвоста.

Волки погибли, но Серый за одно лето порезал коров и овец не меньше, чем резала их раньше целая стая. Из-за кустика можжевельника он дожидался, когда отлучатся или поснут пастухи. И, определив нужный момент, врывался в стадо, и резал овец, и портил коров. После того, схватив себе одну овцу на спину, мчал ее, прыгая с овцой через изгороди, к себе, в недоступное логовище на Сухой речке. Зимой, когда стада в поле не выходили, ему очень редко приходилось ворваться в какой-нибудь скотный двор. Зимой он ловил больше собак в деревнях и питался почти только собаками. И до того обнаглел, что однажды, пресле-

дую собаку, бегущую за саниами хозяина, загнал ее в сани и вырвал ее прямо из рук хозяина.

Серый помещик сделался грозой края, и опять крестьяне приехали за нашей волчьей командой. Пять раз мы пытались его зафлажить, и все пять раз он у нас махал через флаги. И вот теперь, ранней весной, пережив суровую зиму в страшном холоде и голоде, Серый в своем логове дожидался с нетерпением, когда же наконец придет настоящая весна и затрубит деревенский пастух.

В то утро, когда дети между собой поссорились и пошли по разным тропам, Серый лежал голодный и злой. Когда ветер замутил утро и завывли деревья возле Лежачего камня, он не выдержал и вылез из своего логова. Он стал над завалом, поднял голову, подобрал и так тощий живот, поставил единственное ухо на ветер, выпрямил половинку хвоста и завывл.

Какой это жалобный вой! Но ты, прохожий человек, если услышишь и у тебя поднимется ответное чувство, не верь жалости: воет не собака, вернейший друг человека, — это волк, злейший враг его, самой злобой своей обреченный на гибель. Ты, прохожий, побереги свою жалость не для того, кто о себе воет, как волк, а для того, кто, как собака, потерявшая хозяина, воет, не зная, кому же теперь, после него, ей послужить.

VII

Сухая речка большим полукругом огибает Блудово болото. На одной стороне полукруга воет собака, на другой — воет волк. А ветер нажимает на деревья и разносит их вой и стон, вовсе не зная, кому он служит. Ему все равно, кто воет, дерево, собака — друг человека, или волк — злейший враг его, — лишь бы выли. Ветер предательски доносит волку жалобный вой покинутой человеком собаки. И Серый, разобрав живой стон собаки от стога деревьев, тихонечко выбрался из завалов и с настороженным единственным ухом и прямой половинкой хвоста поднялся на взлобок. Тут, определив место воя возле Антиповой сторожки, с холма прямо на широких махах пустился в том направлении.

К счастью для Травки, сильный голод заставил ее прекратить свой печальный плач или, может быть, призыв к себе нового человека. Может быть, для нее, в ее собачьем

понимании, Антипыч вовсе даже не умирал, а только отвернул от нее лицо свое. Может быть, она даже и так понимала, что весь человек — это и есть один Антипыч со множеством лиц. И если одно лицо его отвернулось, то, может быть, скоро ее позовет к себе опять тот же Антипыч, только с другим лицом, и она этому лицу будет так же верно служить, как тому...

Так-то скорее всего и было: Травка воем своим призывала к себе Антипыча.

И волк, услышав эту ненавистную ему собачью молитву о человеке, пошел туда на махах. Повой она еще каких-нибудь минут пять, и Серый схватил бы ее. Но, помолвившись Антипычу, она почувствовала сильный голод, она перестала звать Антипыча и пошла для себя искать заячий след.

Это было в то время года, когда ночное животное, заяц, не ложится при первом наступлении утра, чтобы весь день в страхе лежать с открытыми глазами. Весной заяц долго и при белом свете бродит открыто и смело по полям и дорогам. И вот один старый русак после ссоры детей пришел туда, где они разошлись, и тоже, как они, сел отдохнуть и прислушаться на Лежащем камне. Внезапный порыв ветра с воем деревьев испугал его, и он, прыгнув с Лежащего камня, побежал своими заячьими прыжками, бросая задние ножки вперед, прямо к месту страшной для человека Слепой елани. Он еще хорошенько не вылинял и оставлял следы не только на земле, но еще развешивал зимнюю шерсточку на кустарнике и на старой, прошлогодней высокой траве.

С тех пор как заяц на камне посидел, прошло довольно времени, но Травка сразу причуяла след русака. Ей помешали погнаться за ним следы на камне двух маленьких людей и их корзины, пахнувшей хлебом и вареной картошкой.

Так вот и стала перед Травкой задача трудная — решить: идти ли ей по следу русака на Слепую елань, куда тоже пошел след одного из маленьких людей, или же идти по человеческому следу, идущему вправо, в обход Слепой елани.

Трудный вопрос решился бы очень просто, если бы можно было понять, который из двух человечков понес с собой хлеб. Вот бы поесть этого хлебца немного и начать гон не для себя и принести зайца тому, кто даст хлеб.

Куда же идти, в какую сторону?..

У людей в таких случаях является раздумье, а про гончую собаку охотники говорят: собака *скололась*.

Так и Травка скололась. И, как всякая гончая, в таком случае начала делать круги с высокой головой, с чутьем, направленным и вверх, и вниз, и в стороны, и с пытливым напряжением глаз.

Вдруг порыв ветра с той стороны, куда пошла Настя, мгновенно остановил быстрый ход собаки по кругу. Травка, постояв немного, даже поднялась вверх на задние лапы, как заяц...

С ней было так однажды еще при жизни Антипыча. Была у лесника трудная работа в лесу по отпуску дров. Антипыч, чтобы не мешала ему Травка, привязал ее у дома. Рано утром, на рассвете, лесник ушел. Но только к обеду Травка догадалась, что цепь на другом конце привязана к железному крюку на толстой веревке. Поняв это, она стала на завалинку, поднялась на задние лапы, передними подтянула себе веревку и к вечеру перемяла ее. Сейчас же после того с цепью на шее она пустилась в поиски Антипыча. Больше полусуток истекло времени с тех пор, как Антипыч прошел, след его простыл и потом был смыт мелким моросливым дождем, похожим на росу. Но тишина весь день в лесу была такая, что за день ни одна струйка воздуха не переместилась и тончайшие пахучие частицы табачного дыма из трубки Антипыча провисели в неподвижном воздухе с утра и до вечера. Поняв сразу, что по следам найти невозможно Антипыча, сделав круг с высоко поднятой головой, Травка вдруг попала на табачную струю воздуха и по табаку мало-помалу, то теряя воздушный след, то опять встречаясь с ним, добралась-таки до хозяина.

Был такой случай. Теперь, когда ветер порывом сильным и резким принес в ее чутье подозрительный запах, она окаменела, выждала. И когда ветер опять рванул, стала, как и тогда, на задние лапы по-заячьи и уверилась: хлеб или картошка были в той стороне, откуда ветер летел и куда ушел один из маленьких человечков.

Травка вернулась к Лежащему камню, сверила запах корзины на камне с тем, что ветер нанес. Потом она проверила след другого маленького человечка и тоже заячий след. Можно догадываться, она так подумала:

«Заяц-русак пошел прямым следом на дневную лежку, он где-нибудь тут же, недалеко, возле Слепой елани, и лег на весь день и никуда не уйдет. А тот человечек с хлебом

и картошкой может уйти. Да и какое же может быть сравнение — трудиться, надрываться, гоняя для себя зайца, чтобы разорвать его и сожрать самому, или же получить кусок хлеба и ласку от руки человека и, может быть, даже найти в нем Антипыча».

Поглядев еще раз внимательно в сторону прямого следа на Слепую елань, Травка окончательно повернулась в сторону тропы, обходящей елань с правой стороны, еще раз поднялась на задние лапы, уверясь, вильнула хвостом и рысью побежала туда.

VIII

Слепая елань, куда повела Митрашу стрелка компаса, было место погибельное, и тут на веках немало затянуло в болото людей и еще больше скота. И уж, конечно, всем, кто идет в Блудово болото, надо хорошо знать, что это такое Слепая елань.

Мы это так понимаем, что все Блудово болото, со всеми огромными запасами горючего торфа, есть кладовая солнца. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство, другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям-растениям передать все свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца как торф достается человеку от солнца в наследство.

Блудово болото содержит огромные запасы горючего, но слой торфа не везде одинаковой толщины. Там, где сидели дети у Лежачего камня, растения слой за слоем ложились друг на друга тысячи лет. Тут был старейший пласт торфа, но дальше, чем ближе к Слепой елани, слой становился все моложе и тоньше.

Мало-помалу, по мере того как Митраша продвигался вперед по указанию стрелки и тропы, кочки под его ногами становились не просто мягкими, как раньше, а полужидкими. Ступит ногой как будто на твердое, а нога уходит, и становится страшно: не совсем ли в пропасть уходит нога? Попадают какие-то вертялые кочки, приходится выбирать место, куда ногу поставить. А потом и так пошло,

что ступишь, а у тебя под ногой от этого вдруг, как в животе, заурчит и побежит куда-то под болотом.

Земля под ногой стала как гамак, подвешенный над тинистой бездной. На этой подвижной земле, на тонком слое сплетенных между собой корнями и стеблями растений, стоят редкие, маленькие, корявые и заплесневелые елочки. Кислая болотная почва не дает им расти, и им, таким маленьким, лет уже по сто, а то и побольше... Елочки-старушки не как деревья в бору, все одинаковые: высокие, стройные, дерево к дереву, колонна к колонне, свеча к свече. Чем старше старушка на болоте, тем кажется чуднее. То вот одна голый сук подняла, как руку, чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке, и она ждет тебя, чтобы хлопнуть, третья присела зачем-то, четвертая стоя вяжет чулок, и так все: что ни елочка, то непременно на что-то похожа.

Слой под ногами у Митраши становился все тоньше и тоньше, но растения, наверно, очень крепко сплелись и хорошо держали человека, и, качаясь и покачивая все далеко вокруг, он все шел и шел вперед. Митраше оставалось только верить тому человеку, кто шел впереди его и оставил даже тропу после себя.

Очень волновались старушки-елки, пропуская между собой мальчика с длинным ружьем, в картузе с двумя козырьками. Бывает, одна вдруг поднимется, как будто хочет смельчака палкой ударить по голове, и закроет собой впереди всех других старушек. А потом опустится, и другая колдунья тянет к тропе костлявую руку. И ждешь — вот-вот, как в сказке, полянка покажется, и на ней избушка колдуньи с мертвыми головами на шестах.

Вдруг над головой, совсем близко, показывается головка с хохолком, и встревоженный на гнезде чибис с круглыми черными крыльями и белыми подкрыльями резко кричит:

— Чьи вы, чьи вы?

— Жив, жив! — как будто отвечая чибису, кричит большой кулик кроншнеп, птица серая, с большим кривым клювом.

И черный ворон, стерегущий свое гнездо на борине, облетая по сторожевому кругу болото, заметил маленького охотника с двойным козырьком. Весной и у ворона тоже является особенный крик, похожий на то, как если человек крикнет горлом и в нос: «Дрон-тон!» Есть непонятные и не уловимые нашим ухом оттенки в этом основном звуке,

и оттого мы не можем понять разговор воронов, а только догадываемся, как глухонемые.

— Дрон-тон! — крикнул сторожевой ворон в том смысле, что какой-то маленький человек с двойным козырьком и ружьем близится к Слепой елани и что, может быть, скоро будет пожива.

— Дрон-тон! — ответила издали на гнезде ворон-самка. И это значило у нее:

— Слышу и жду!

Сороки, состоящие с воронами в близком родстве, заметили переключку воронов и застрекотали. И даже лисичка после неудачной охоты за мышами наострила ушки на крик ворона.

Митраша все это слышал, но ничуть не трусил, — что ему было трусить, если под его ногами была тропа человеческая: шел такой же человек, как и он, — значит, и он, Митраша, мог по ней смело идти. И, услышав ворона, он даже запел:

Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой.

Пение подбодрило его еще больше, и он даже смекнул, как ему сократить трудный путь по тропе. Поглядывая себе под ноги, он заметил, что нога его, опускаясь в грязь, сейчас же собирает туда, в ямку, воду. Так и каждый человек, проходя по тропе, спускал воду из мха пониже, и оттого на осушенной бровке, рядом с ручейком тропы, по ту и другую сторону, аллейкой вырастала высокая сладкая трава белоус. По этой, не желтого цвета, как всюду было теперь, ранней весной, а скорее цвета белого, траве можно было далеко впереди себя понять, где проходит тропа человеческая. Вот Митраша увидел: его тропа круто завертывает влево, и туда идет далеко, и там совсем исчезает. Он проверил по компасу, стрелка глядела на север, тропа уходила на запад.

— Чьи вы? — закричал в это время чибис.

— Жив, жив! — ответил кулик.

— Дрон-тон! — еще уверенней крикнул ворон.

И кругом в елочках затрещали сороки.

Оглядев местность, Митраша увидел прямо перед собой чистую, хорошую поляну, где кочки, постепенно снижаясь, переходили в совершенно ровное место. Но самое главное: он увидел, что совсем близко, по той стороне поляны, змеилась высокая трава белоус — неизменный спутник тропы

человеческой. Узнавая по направлению белоуса тропу, идущую не прямо на север, Митраша подумал: «Зачем же я буду повертывать налево, на кочки, если тропа вон рукой подать — виднеется там, за поляной?»

И он смело пошел вперед, пересекая чистую поляну...

— Эх, вы! — бывало, говорил нам Антипыч, — ходите вы, ребята, одетые и обутые.

— А то как же? — спрашивали мы.

— Ходили бы, — отвечал он, — голенькие и разутые.

— Зачем же голенькие и разутые?

А он то-то над нами покатывался.

Так мы ничего и не понимали, чему смеялся старик.

Теперь только, через много лет, приходят в голову слова Антипыча, и все становится понятным: обращал к нам Антипыч эти слова, когда мы, ребяташки, задорно и уверенно посвистывая, говорили о том, чего еще вовсе не испытали.

Антипыч, предлагая ходить нам голенькими и разутыми, только не договаривал: «Не зная броду, не лезьте в воду».

Так вот и Митраша. И благоразумная Настя предупреждала его. И трава белоус показывала направление обхода елани. Нет! Не зная броду, оставил выбитую тропу человеческую и прямо полез в Слепую елань. А между тем тут-то вот именно, на этой поляне, вовсе прекращалось сплетение растений, тут была елань, то же самое, что зимой в пруду прорубь. В обыкновенной елани всегда бывает видна хоть чуть-чуть водица, прикрытая белыми прекрасными водяными лилиями, купавами. Вот за то эта елань называлась Слепою, что по виду ее было невозможно узнать.

Митраша по елани шел вначале лучше, чем даже раньше по болоту. Постепенно, однако, нога его стала утопать все глубже и глубже, и становилось все труднее и труднее вытаскивать ее обратно. Тут лося хорошо, у него страшная сила в длинной ноге, и, главное, он не задумывается и мчится одинаково и в лесу, и в болоте. Но Митраша, почуяв опасность, остановился и призадумался над своим положением. В один миг остановки он погрузился по колено, в другой миг ему стало выше колена. Он еще мог бы, сделав усилие, вырваться из елани обратно. И надумал

было он повернуться, положить ружье на болото и, опираясь на него, выскочить. Но тут же, совсем недалеко от себя, впереди, увидел высокую белую траву на следу человеческого.

— Перескочу, — сказал он.

И рванулся.

Но было уже поздно. Сгоряча, как раненый, — пропадать так уж пропадать, — на авось, рванулся еще, и еще, и еще. И почувствовал, что он плотно схвачен со всех сторон по самую грудь. Теперь даже и сильно дыхнуть ему нельзя было: при малейшем движении его тянуло вниз, он мог сделать только одно: положить плашмя ружье на болото и, опираясь на него двумя руками, не шевелиться и успокоить поскорее дыхание. Так он и сделал: снял с себя ружье, положил его перед собой, оперся на него той и другой рукой.

Внезапный порыв ветра принес ему пронзительный Настин крик:

— Митраша!

Он ей ответил.

Но ветер был с той стороны, где Настя, и уносил его крик в другую сторону Блудова болота, на запад, где без конца были только елочки. Одни сороки отозвались ему и, перелетая с елочки на елочку с обычным их тревожным стрекотанием, мало-помалу окружили всю Слепую елань и, сидя на верхних пальчиках елок, тонкие, носатые, длиннохвостые, стали трещать, одни вроде:

— Дри-ти-ти!

Другие:

— Дра-та-та!

— Дрон-тон! — крикнул ворон сверху.

И, мгновенно остановив шумный помах своих крыльев, резко бросил себя вниз и опять раскрыл крылья почти над самой головой человека.

Маленький человек не решился даже показать ружье черному вестнику своей гибели.

И очень умные на всякое поганое дело сороки смекнули о полном бессилии погруженного в болото маленького человека. Они соскочили с верхних пальчиков елок на землю и с разных сторон начали скачками-прыжками свое сорочье наступление.

Маленький человек с двойным козырьком кричать перестал. По его загорелому лицу, по щекам блестящими ручейками потекли слезы.

Кто никогда не видал, как растет клюква, тот может очень долго идти по болоту и не замечать, что он по клюкве идет. Вот взять ягоду чернику, — та растет, и ее видишь: стебелечек тоненький тянется вверх, по стебельку, как крылышки, в разные стороны зеленые маленькие листики, и у листиков сидят мелким горошком черничинки, черные ягодки с синим пушком. Так же и брусника, кровяно-красная ягода, листики темно-зеленые, плотные, не желтеют даже под снегом, и так много бывает ягоды, что место, кажется, кровью полито. Еще растет в болоте голубика кустиком, ягода голубая, более крупная, не пройдешь, не заметив. В глухих местах, где живет огромная птица глухарь, встречается костяника, красно-рубиновая ягода кисточкой, и каждый рубинчик в зеленой оправе. Только у нас одна-единственная ягода клюква, особенно ранней весной, прячется в болотной кочке и почти невидима сверху. Только уж когда очень много ее соберется на одном месте, заметишь сверху и подумаешь: «Вот кто-то клюкву рассыпал». Наклонишься взять одну, попробовать, и тянешь вместе с одной ягодинкой зеленую ниточку со многими клюквинками. Захочешь — и можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье крупных кровяно-красных ягод.

То ли, что клюква — ягода дорогая весной, то ли, что полезная и целебная и что чай с ней хорошо пить, только жадность при сборе ее у женщин развивается страшная. Одна старушка у нас раз набрала такую корзину, что и поднять не могла. И отсыпать ягоду или вовсе бросить корзину тоже не посмела. Да так чуть и не померла возле полной корзины. А то бывает, одна женщина нападет на ягоду и, оглядев кругом — не видит ли кто, — приляжет к земле на мокрое болото и ползает и уж не видит, что к ней ползет другая, не похожая вовсе даже и на человека. Так встретятся одна с другой — и ну, цапаться!

Вначале Настя срывала с плети каждую ягодку отдельно, за каждой красненькой наклонялась к земле. Но скоро из-за одной ягодки наклоняться перестала: ей больше хотелось. Она стала уже теперь догадываться, где не одну-две ягодки можно взять, а целую горсточку, и стала наклоняться только за горсточкой. Так она ссыпает горсточку за горсточкой, все чаще и чаще, а хочется все больше и больше.

Бывало, раньше дома часу не поработает Настенька, чтобы не вспомнился брат, чтобы не захотелось с ним

перекликнуться. А вот теперь он ушел один неизвестно куда, а она и не помнит, что ведь хлеб-то у нее, что любимый брат там где-то, в тяжелом болоте голодный идет. Да она и о себе самой забыла и помнит только о клюкве, и ей хочется все больше и больше.

Из-за чего же ведь и весь сыр-бор загорелся у нее при споре с Митрашей: именно что ей захотелось идти по набитой тропе. А теперь, следуя ощупью за клюквой, куда клюква ведет, туда и она, Настя незаметно сошла с набитой тропы.

Было только один раз вроде пробуждения от жадности: она вдруг поняла, что где-то сошла с тропы. Повернула туда, где, ей казалось, проходила тропа, но там тропы не было. Она бросилась было в другую сторону, где маячили два дерева сухие с голыми сучьями — там тоже тропы не было. Тут-то бы, к случаю, и вспомнить ей про компас, как о нем говорил Митраша, и самого-то брата, своего любимого, вспомнить, что он голодный идет, и, вспомнив, перекликнуться с ним...

И только-только бы вспомнить, как вдруг Настенька увидела такое, что не всякой клюквеннице достается хоть раз в жизни своей увидеть...

В споре своем, по какой тропке идти, дети одного не знали, что большая тропа и малая, огибая Слепую елань, обе сходились на Сухой речке и там, за Сухой, больше уже не расходясь, в конце концов выводили на большую Переславскую дорогу. Большим полукругом Настина тропа огибала по суходолу Слепую елань. Митрашина тропа шла напрямик возле самого края елани. Не сплошай он, не упусти из виду траву белоус на тропе человеческой, он давным-давно бы уже был на том месте, куда пришла только теперь Настя. И это место, спрятанное между кустиками можжевельника, и было как раз той самой палестинкой, куда Митраша стремился по компасу.

Приди сюда Митраша голодный и без корзины, что бы ему было тут делать, на этой палестинке кроваво-красного цвета? На палестинку пришла Настя с большой корзиной, с большим запасом продовольствия, забытым и покрытым кислой ягодой.

И опять бы девочке, похожей на Золотую Курочку на высоких ногах, подумать при радостной встрече с палестинкой о брате своем и крикнуть ему:

— Милый друг, мы пришли!

Ах, ворон, ворон, вещая птица! Живешь ты, может быть,

сам триста лет, и кто породил тебя, тот в яичке своем пересказал все, что он тоже узнал за свои триста лет жизни. И так от ворона к ворону переходила память о всем, что было в этом болоте за тысячу лет. Сколько же ты, ворон, видел и знаешь, и отчего ты хоть один раз не выйдешь из своего вороньего круга и не перенесешь на своих могучих крыльях восточку о брате, погибающем в болоте от своей отчаянной и бессмысленной смелости, к сестре, любящей и забывающей брата от жадности.

Ты бы, ворон, сказал им...

— Дрон-тон! — крикнул ворон, пролетая над самой головой погибающего человека.

— Слышу, — тоже в таком же «дрон-тон» ответила ему на гнезде ворониха, — только успевай, урви чего-нибудь, пока его совсем не затянуло в болото.

— Дрон-тон! — крикнул второй раз ворон-самец, пролетая над девочкой, ползающей почти рядом с погибающим братом по мокрому болоту. И это «дрон-тон» у ворона значило, что от этой ползающей девочки вороновой семье, может быть, еще больше достанется.

На самой середине палестинки не было клюквы. Тут выдался холмистой куртинкой частый осинник, и в нем стоял рогатый великан лось. Посмотреть на него с одной стороны — покажется, он похож на быка, посмотреть с другой — лошадь и лошадь: и стройное тело, и стройные ноги, сухие, и мурло с тонкими ноздрями. Но как выгнуто это мурло, какие глаза и какие рога! Смотришь и думаешь: а может быть, и нет ничего — ни быка, ни коня, а так складывается что-то большое, серое, в частом сером осиннике. Но как же складывается из осинника, если вот ясно видно, как толстые губы чудовища приклепнулись к дереву и на нежной осинке остается узкая белая полоска: это чудовище так кормится. Да почти и на всех осинках виднеются такие загрызы. Нет, не видение в болоте эта громада. Но как понять, что на осиновой корочке и лепестках болотного трилистника может вырасти такое большое тело? Откуда же у человека при его могуществе берется жадность даже к кислой ягоде клюкве?

Лось, обирая осинку, с высоты своей спокойно глядит на ползущую девочку, как на всякую ползущую тварь.

Ничего не видя, кроме клюквы, ползет она и ползет к большому черному пню, еле передвигая за собою большую корзину, вся мокрая и грязная, прежняя Золотая Курочка на высоких ногах.

Лось ее и за человека не считает: у нее все повадки обычных зверей, на каких он смотрит равнодушно, как мы на бездушные камни.

А большой черный пень собирает в себя лучи солнца и сильно нагревается. Вот уже начинается вечереть, и воздух и все кругом охлаждается. Но пень, черный и большой, еще сохраняет тепло. На него выползли из болота и припали к теплу шесть маленьких ящериц; четыре бабочки-лимонницы, сложив крылышки, припали усиками; большие черные мухи прилетели почевать. Длинная клюквенная плеть, цепляясь за стебельки трав и неровности, оплела черный теплый пень и, сделав на самом верху несколько оборотов, спустилась по ту сторону. Ядовитые змеи-гадюки в это время года стерегут тепло, и одна, огромная, в полметра длиной, вползла на пень и свернулась колечком на клюкве.

А девочка тоже ползла по болоту, не поднимая вверх высоко головы. И так она приползла к горелому пню и дернула за ту самую плеть, где лежала змея. Гади́на подняла голову и зашипела. И Настя тоже подняла голову...

Тогда-то наконец Настя очнулась, вскочила, и лось, узнав в ней человека, прыгнул из осинника и, выбрасывая вперед сильные, длинные ноги-ходули, помчался легко по вязкому болоту, как мчится по сухой тропинке заяц-русак.

Испуганная лосем, Настенька изумленно смотрела на змею: гадюка по-прежнему лежала, свернувшись колечком в теплом луче солнца. Насте представилось, будто это она сама осталась там, на пне, и теперь вышла из шкуры змеиной и стоит, не понимая, где она.

Совсем недалеко стояла и смотрела на нее большая рыжая собака с черным ремешком на спине. Собака эта была Травка, и Настя даже вспомнила ее: Антипыч не раз приходил с ней в село. Но кличку собаки вспомнить она не могла верно и крикнула ей:

— Муравка, Муравка, я дам тебе хлебца!

И потянулась к корзине за хлебом. Доверху корзина была наполнена клюквой, и под клюквой был хлеб.

Сколько же времени прошло, сколько клюквинок легло с утра до вечера, пока огромная корзина наполнилась! Где же был за это время брат, голодный, и как она забыла о нем, как она забыла сама себя и все вокруг?

Она опять поглядела на пень, где лежала змея, и вдруг пронзительно закричала:

— Братец, Митраша!

И, рыдая, упала возле корзины, наполненной клюквой.

Вот этот пронзительный крик и долетел тогда до елани, и Митраша это слышал и ответил, но порыв ветра тогда унес крик его в другую сторону, где жили одни только сороки.

Х

Тот сильный порыв ветра, когда крикнула бедная Настя, был еще не последним перед тишиной вечерней зари. Солнце в это время проходило вниз через толстое облако и выбросило оттуда на землю золотые ножки своего трона.

И тот порыв был еще не последним, когда в ответ на крик Насти закричал Митраша.

Последний порыв был, когда солнце погрузило как будто под землю золотые ножки своего трона и, большое, чистое, красное, нижним краешком своим коснулось земли. Тогда на суходоле запел свою милую песенку маленький певчий дрозд-белобровик. Несмело возле Лежачего камня на успокоенных деревьях затоковал Косач-токовик. И журавли прокричали три раза, не как утром — «победа», а вроде как бы:

— Спите, но помните: мы вас всех скоро разбудим, разбудим, разбудим!

День кончился не порывом ветра, а последним легким дыханием. Тогда наступила полная тишина, и везде стало все слышно, даже как пересвистывались рябчики в зарослях Сухой речки.

В это время, почуяв беду человеческую, Травка подошла к рыдающей Насте и лизнула ее соленую от слез щеку. Настя подняла было голову, поглядела на собаку и так, ничего не сказав ей, опустила голову обратно и положила ее прямо на ягоду. Сквозь клюкву Травка явственно чувала хлеб, и ей ужасно хотелось есть, но позволить себе покопаться лапами в клюкве она никак не могла. Вместо этого, чуя беду человеческую, она подняла высоко голову и завывала.

Мы как-то раз, помнится, давным-давно тоже так под вечер ехали, как в старину было, лесной дорогой на тройке с колокольчиком. И вдруг ямщик осадил тройку, колокольчик замолчал, и, вслушавшись, ямщик нам сказал:

— Беда!

Мы и сами что-то услышали.

— Что это?

— Беда какая-то: собака воеет в лесу.

Мы тогда так и не узнали, какая была там беда. Может быть, тоже где-то в болоте тонул человек, и, провожая его, была собака, верный друг человека.

В полной тишине, когда выла Травка, Серый сразу понял, что это было на палестинке, и скорей, скорей замаяхал туда напрямик.

Только очень скоро Травка выть перестала, и Серый остановился переждать, когда вой снова начнется.

А Травка в это время сама услышала в стороне Лежачего камня знакомый тоненький и редкий голосок:

— Тяв, тяв!

И сразу поняла, конечно, что это таякала лисица по зайцу. И то, конечно, она поняла — лисица нашла след того же самого зайца-русака, что и она понюхала там, на Лежачем камне. И то поняла, что лисице без хитрости никогда не догнать зайца и таякает она, только чтобы он бежал и морился, а когда уморится и ляжет, тут-то она и схватит его на лежке. С Травкой после Антипыча так не раз бывало при добывании зайца для пищи. Услыхав такую лисицу, Травка охотилась по волчьему способу: как волк на гону молча становится на круг и, наждав ревущую по зайцу собаку, ловит ее, так и она, затаиваясь, из-под гона лисицы зайца ловила.

Выслушав гон лисицы, Травка точно так же, как и мы, охотники, поняла круг пробега зайца: от Лежачего камня заяц бежал на Слепую елань и оттуда на Сухую речку, оттуда долго полукругом на палестинку и опять непременно к Лежачему камню. Поняв это, она прибежала к Лежачему камню и затаилась тут в густом кусту можжевельника.

Недолго пришлось Травке ждать. Тонким слухом своим она услышала недоступное человеческому слуху чавканье заячьей лапы по лужицам на болотной тропе. Лужицы эти выступили на утренних следах Насти. Русак непременно должен был сейчас показаться у самого Лежачего камня.

Травка за кустом можжевельника присела и напружила задние лапы для могучего броска и, когда увидела уши, бросилась.

Как раз в это время заяц, большой, старый, матерый русак, ковыляя еле-еле, вздумал внезапно остановиться и даже, привстав на задние ноги, послушать, далеко ли таякает лисица.

Так вот одновременно сошлось: Травка бросилась, а заяц остановился.

И Травку перенесло через зайца.

Пока собака выправилась, заяц огромными скачками летел уже по Митрашиной тропе прямо на Слепую елань.

Тогда волчий способ охоты не удался: до темноты нельзя было ждать возвращения зайца. И Травка своим собачьим способом бросилась вслед зайцу и, взвизгнув заливисто, мерным, ровным собачьим лаем наполнила всю вечернюю тишину.

Услыхав собаку, лисичка, конечно, сейчас же бросила охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей. А Серый, наконец-то услышав долгожданный лай собаки, понесся на махах в направлении Слепой елани.

XI

Сороки на Слепой елани, услышав приближение зайца, разделились на две партии: одни остались при маленьком человеке и кричали:

— Дри-ти-ти!

Другие кричали по зайцу:

— Дра-та-та!

Трудно разобраться и догадаться в этой сорочьей тревоге. Сказать, что они зовут на помощь, — какая тут помощь! Если на сорочий крик придет человек или собака, сорокам же ничего не достанется. Сказать, что они созывают своим криком все сорочье племя на кровавый пир? Разве что так...

— Дри-ти-ти! — кричали сороки, подскакивая ближе и ближе к маленькому человеку.

Но подскочить совсем не могли: руки у человека были свободны. И вдруг сороки смешались, одна и та же сорока то дрикнет на «и», то дрикнет на «а».

Это значило, что на Слепую елань заяц подходит.

Этот русак уже не один раз увертывался от Травки и хорошо знал, что гончая зайца догоняет и что, значит, надо действовать хитростью. Вот почему перед самой еланью, не доходя маленького человека, он остановился и взбудил всех сорок. Все они расселись по верхним пальчикам елок, и все закричали по зайцу:

— Дри-та-та!

Но зайцы почему-то этому крику не придают значения и выделяют свои *скидки*, не обращая на сорок никакого

внимания. Вот почему и думается иной раз, что ни к чему это сорочье стрекотанье и так это они, вроде как и люди, иногда от скуки в болтовне просто время проводят.

Заяц, чуть-чуть постояв, сделал свой первый огромный прыжок, или, как охотники говорят, свою скидку, — в одну сторону, постояв там, скинулся в другую и через десяток малых прыжков — в третью и там лег глазами к своему следу на тот случай, что если Травка разберется в скидках, придет и к третьей скидке, так чтобы можно было вперед увидеть ее...

Да, конечно, умен, умен заяц, но все-таки эти скидки — опасное дело: умная гончая тоже понимает, что заяц всегда глядит в свой след, и так исхитряется взять направление на скидках не по следам, а прямо по воздуху верхним чутьем.

И как же, значит, бьется сердчишко у зайчишки, когда он слышит — лай собаки прекратился, собака скололась и начала делать у места скола молча свой страшный круг...

Зайцу повезло в этот раз. Он понял: собака, начав делать свой круг по елани, с чем-то там встретилась, и вдруг там явственно послышался голос человека и поднялся страшный шум...

Можно догадаться, — заяц, услышав непонятный шум, сказал себе что-нибудь вроде нашего: «Подальше от греха», — и, ковыль-ковыль, тихонечко вышел на обратный след к Лежащему камню.

А Травка, разлетевшись на елани по зайцу, вдруг в десяти шагах от себя глаза в глаза увидела маленького человека и, забыв о зайце, остановилась как вкопанная.

Что думала Травка, глядя на маленького человека в елани, можно легко догадаться. Ведь это для нас все мы разные. Для Травки все люди были как два человека: один — Антипыч с разными лицами и другой человек — это враг Антипыча. И вот почему хорошая, умная собака не подходит сразу к человеку, а остановится и узнает, ее это хозяин или враг его.

Так вот и стояла Травка и глядела в лицо маленького человека, освещенного последним лучом заходящего солнца.

Глаза у маленького человека были сначала тусклые, мертвые, но вдруг в них загорелся огонек, и вот это заметила Травка.

«Скорее всего, это Антипыч», — подумала Травка.

И чуть-чуть, еле заметно вильнула хвостом.

Мы, конечно, не можем знать, как думала Травка,

узнавая своего Антипыча, но догадываться, конечно, можно. Вы помните, бывало ли с вами так? Бывает, наклонишься в лесу к тихой заводи ручья и там, как в зеркале, увидишь — весь-то, весь человек, большой, прекрасный, как для Травки Антипыч, из-за твоей спины наклонился и тоже смотрится в заводь, как в зеркало. И так он прекрасен там, в зеркале, со всею природой, с облаками, лесами, и солнышко там внизу тоже садится, и молодой месяц показывается, и частые звездочки.

Так вот точно, наверно, и Травке в каждом лице человека, как в зеркале, виднелся весь человек Антипыч, и к каждому стремилась она броситься на шею, но по опыту своему она знала: есть враг Антипыча с точно таким же лицом.

И она ждала.

А лапы ее между тем понемногу тоже засасывало; если так дольше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и не вытащишь. Ждать стало больше нельзя.

И вдруг...

Ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками, ни закат с журавлиным обещанием нового прекрасного дня — ничто, никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для Травки в болоте: она услышала слово человеческое — и какое слово!

Антипыч, как большой, настоящий охотник, назвал свою собаку вначале, конечно, по-охотничьи — от слова травить, и наша Травка вначале у него называлась Затравка; но после охотничья кличка на языке оболталась, и вышло прекрасное имя Травка. В последний раз, когда приходил к нам Антипыч, собака его называлась еще Затравка. И когда загорелся огонек в глазах маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил имя собаки. Потом омертвелые, синеющие губы маленького человека стали наливаться кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ Травка заметила и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании Травки. Точно так же, как старый Антипыч в старое время, новый молодой и маленький Антипыч сказал:

— Затравка!

Узнав Антипыча, Травка мгновенно легла.

— Ну, ну! — сказал Антипыч. — Иди ко мне, умница! И Травка в ответ на слова человека тихонечко поползла. Но маленький человек звал ее и манил сейчас не совсем

прямо от чистого сердца, как думала, наверно, сама Травка. У маленького человека в словах не только дружба и радость была, как думала Травка, а тоже тайлся и хитрый план своего спасения. Если бы он мог пересказать ей понятно свой план, с какой бы радостью бросилась она его спасать! Но он не мог сделать себя для нее понятным и должен был обманывать ее ласковым словом. Ему даже надо было, чтобы она его боялась, а то если бы она не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча и по-собачьи со всех ног бросилась бы ему на шею, то неминуемо болото бы затащило в свои недра и человека, и его друга — собаку. Маленький человек, просто не мог быть сейчас тем великим человеком, какой мерещился Травке. Маленький человек принужден был хитрить.

— Затравушка, милая Затравушка! — ласкал он ее сладким голосом.

А сам думал:

«Ну, ползи, только ползи!»

И собака, своей чистой душой подозревая что-то не совсем чистое в ясных словах Антипыча, ползла с останками.

— Ну, голубушка, еще, еще!

А сам думал:

«Ползи, только ползи».

И вот понемногу она подползла. Он мог бы уже и теперь, опираясь на распластанное на болоте ружье, наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить по голове. Но маленький хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения собака с визгом радости бросится на него и утопит.

И маленький человек остановил в себе большое сердце. Он замер в точном расчете движения, как боец в определяющем исход борьбы ударе: жить ему или умереть.

Вот еще бы маленький ползок по земле, и Травка бы бросилась на шею человеку, но в расчете своем маленький человек не ошибся: мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил большую, сильную собаку за левую заднюю ногу.

Так неужели же враг человека так мог обмануть?

Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась из руки маленького человека, если бы тот, уже достаточно выволоченный, не схватил другой рукой ее за другую ногу. Мгновенно вслед за тем он лег животом на ружье, выпустил собаку и на четвереньках сам, как собака, переставляя

опору-ружье все вперед и вперед, подполз к тропе, где постоянно ходил человек и где от ног его по краям росла высокая трава белоус. Тут, на тропе, он поднялся, тут он отер последние слезы с лица, отряхнул грязь с лохмотьев своих и, как настоящий большой человек, властно приказал:

— Иди же теперь ко мне, моя Затравка!

Услыхав такой голос, такие слова, Травка бросила все свои колебания: перед ней стоял прежний, прекрасный Антипыч. С визгом радости, узнав хозяина, кинулась она ему на шею, и человек целовал своего друга и в нос, и в глаза, и в уши.

Не пора ли сказать теперь уж, как мы сами думаем о загадочных словах нашего старого лесника Антипыча, когда он обещал нам перешепнуть свою правду собаке, если мы сами его не застанем живым? Мы думаем, Антипыч не совсем в шутку об этом сказал. Очень может быть, тот Антипыч, как Травка его понимает, или, по-нашему, весь человек в древнем прошлом его, перешепнул своему другу-собаке какую-то свою большую человеческую правду, и мы думаем: эта правда есть правда вековой суровой борьбы людей за любовь.

XII

Нам теперь остается уже не много досказать о всех событиях этого большого дня в Блудовом болоте. День, как ни долог был, еще не совсем кончился, когда Митраша выбрался из елани с помощью Травки. После бурной радости от встречи с Антипычем деловая Травка сейчас же вспомнила свой первый гон по зайцу. И понятно: Травка — гончая собака, и дело ее — гонять для себя, но для хозяина Антипыча поймать зайца — это все ее счастье. Узнав теперь в Митраше Антипыча, она продолжала свой прерванный круг и вскоре попала на выходной след русака и по этому свежнему следу сразу пошла с голосом.

Голодный Митраша, еле живой, сразу понял, что все спасение его будет в этом зайце, что если он убьет зайца, то огонь добудет выстрелом и, как не раз бывало при отце, испечет зайца в горячей золе. Осмотрев ружье, переменяя подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусту можжевельника.

Еще хорошо можно было видеть на ружье мушку, когда Травка завернула зайца от Лежачего камня на большую

Настину тропу, выгнала на палестинку, направила его отсюда на куст можжевельника, где таился охотник. Но тут случилось, что Серый, услышав возобновленный гон собаки, выбрал себе как раз тот самый куст можжевельника, где таился охотник, и два охотника, человек и злейший враг его, встретились... Увидев серую морду от себя в пяти каких-то шагах, Митраша забыл о зайце и выстрелил почти в упор.

Серый помещик окончил жизнь свою без всяких мучений.

Гон был, конечно, сбит этим выстрелом, но Травка дело свое продолжала. Самое же главное, самое счастливое было не заяц, не волк, а что Настя, услышав близкий выстрел, закричала. Митраша узнал ее голос, ответил, и она вмиг к нему прибежала. После того вскоре и Травка принесла русака своему новому, молодому Антипычу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег.

Настя и Митраша жили от нас через дом, и когда утром заревела у них на дворе голодная скотина, мы первые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей. Мы сразу поняли, что дети дома не ночевали и скорее всего заблудились в болоте. Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам выручить детей, если только они еще живы. И только собрались было рассыпаться по болоту во все стороны — глядим, а охотники за сладкой клюквой идут из леса гуськом, и на плечах у них шест с тяжелой корзиной, и рядом с ними Травка, собака Антипыча.

Они рассказали нам во всех подробностях обо всем, что с ними случилось в Блудовом болоте. И всему у нас верили: неслыханный сбор клюквы был налицо. Но не все могли поверить, что мальчик на одиннадцатом году жизни мог убить старого хитрого волка. Однако несколько человек из тех, кто поверил, с веревкой и большими санками отправились на указанное место и вскоре привезли мертвого Серого помещика. Тогда все в селе на время бросили свои дела и собрались, и даже не только из своего села, а тоже из соседних деревень. Сколько тут было разговоров! И трудно сказать, на кого больше глядели, — на волка или на охотника в картузе с двойным козырьком. Когда переводили глаза с волка на охотника, говорили:

— А вот дразнили: «Мужичок в мешочке»!

— Был мужичок, — отвечали другие, — да сплыл, кто смел, тот два съел: не мужичок, а герой.

И тогда незаметно для всех прежний «Мужичок в мешочке» правда стал переменяться и за следующие два года войны вытянулся, и какой из него парень вышел — высокий, стройный. И стать бы ему непременно героем Отечественной войны, да вот только война-то кончилась.

А Золотая Курочка тоже всех удивила в селе. Никто ее в жадности, как мы, не упрекал, напротив, все одобряли, и что она благоразумно звала брата на торную тропу и что так много набрала клюквы. Но когда из детдома эвакуированных ленинградских детей обратились в село за посильной помощью детям, Настя отдала им всю свою целебную ягоду. Тут-то вот мы, войдя в доверие девочки, узнали от нее, как мучилась она про себя за свою жадность.

Нам остается теперь сказать еще несколько слов о себе: кто мы такие и зачем попали в Блудово болото. Мы — разведчики болотных богатств. Еще с первых дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нем горючего — торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для работы большой фабрики лет на сто. Вот какие богатства скрыты в наших болотах! А многие до сих пор только и знают об этих великих кладовых Солнца, что в них будто бы черти живут: все это вздор, и никаких нет в болоте чертей.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1938-1953
ГОДОВ





РАССКАЗЫ

ВЕСНА СВЕТА



Ночью снежинки при электричестве рождались из ничего: небо было звездное, чистое. Пороша складывалась на асфальте не просто как снег, а звездочка над звездочкой, не сплющивая одна другую. Казалось, прямо из ничего бралась эта редкая пороша, а между тем, как я подходил к своему жилищу в Лаврушинском переулке, асфальт от нее был седой.

Радостно было мое пробуждение на шестом этаже. Москва лежала покрытая звездной порошей, и, как тигры по хребтам гор, везде ходили по крышам коты. Сколько четких следов, сколько весенних романов: весной света все коты лезут на крыши.

И даже когда я спустился вниз и проехал на улицу Горького, радость весны света меня не оставила. При легком утреннике в лучах солнца была та нейтральная среда, когда пахнет самая мысль: подумаешь о чем-нибудь, и этим самым запахнет. Воробей спустился с крыши Моссовета и утонул по шею в звездной пороше. Он до нашего прихода успел хорошо выкупаться в снегу, а когда ему из-за нас пришлось улетать, то от ветра его крыльев разлетелось вокруг столько звездочек, что кружок почти в целую большую шапку почернел на асфальте.

— Видели? — сказал один мальчик трем девочкам.

И дети, глядя вверх на крышу Моссовета, стали дожидаться второго слета веселого воробья.

Весна света согревается полднями. Пороша к полудню растаяла, и радость моя притупилась, но не исчезла — нет! Как только замерзли к вечеру лужи, запах вечернего мороза опять вернул меня к весне света.

Так вечерело, но голубые вечерние звезды не показались в Москве: все небо оставалось голубым и медленно синело. На этом новом голубом фоне в домах там и тут вспыхивали лампы с разноцветными абажурами; никогда этих абажуров в сумерках не увидишь зимой. Возле полузамерзших луж от растаявшей звездной пороши всюду слышался детский восторженный крик, детская радость наполняла весь воздух. Так дети в Москве начинают весну, как в деревне начинают ее воробьи, потом грачи, жаворонки, в лесах тетерева, на реках утки и кулики на болотах. От детских весенних звуков в городе, как все равно от птичьих криков в лесах, мои ветхие одежды с тоской и гриппом вдруг свалились. Настоящий бродяга при первых весенних лучах и вправду часто бросает свое тряпье при дороге...

Лужи быстро везде замерзали. Одну я попробовал ткнуть ногой, и стекло разлетелось вдребезги с особенным звуком: др... др... др... Бессмысленно, про себя, как это бывает у стихотворцев, стал я повторять этот звук, прибавляя подходящие гласные: дра, дря, дри, дриан. И вдруг из этой бессмысленной дряни вышла сначала любимая моя богиня Дриада (душа дерева, лес), а потом и Дриандия, желанная страна, в которую еще утром при звездной пороше начал я свое путешествие. Я так этому обрадовался, что несколько раз вслух, пробуя на звучность, повторил, ни на кого вокруг не обращая внимания:

— Дриандия.

— Что он сказал? — спросила одна девочка у другой позади меня. И третья повторила вопрос:

— Что он сказал?

Тогда все девочки и мальчики с другой лужи бросились догонять меня.

— Вы что-то сказали? — спросили они меня все разом.

— Да, — ответил я, — слова мои были такие: «Где тут Малая Бронная?»

Какое разочарование, какое уныние произвели мои слова: оказалось, мы и стояли-то как раз на этой Малой Бронной.

— Мне кажется, — сказала одна маленькая девочка с плутовскими глазами, — вы что-то совсем другое сказали.

— Нет, — повторил я, — мне нужна Малая Бронная, иду к моим хорошим знакомым в дом номер тридцать семь. До свиданья!

Они остались в кружке, недовольные, и, наверно, сейчас обсуждали между собой эту странность: было что-то вроде как бы Дриандия, и оказалось — обыкновенная Малая Бронная!

Отойдя от них на значительное расстояние, я остановился у фонаря и громко им крикнул:

— Дриандия!

Услышав это во второй раз, уверившись, бросились дети с дружным криком:

— Дриандия, Дриандия!

— Что это? — спросили они.

— Страна вольных сванов, — ответил я.

— А кто они?

— Это, — начал я спокойно рассказывать, — люди не очень большие ростом, но сильно вооруженные...

Мы вошли под черные, старые деревья Пионерских прудов. Большие матовые электрические фонари, как луны, показывались нам из-за деревьев. Закрайки пруда были покрыты льдом. Одна девочка попробовала стать, лед затрещал.

— Да ты с головой уйдешь! — крикнул я.

— С головой? — засмеялась она. — Как это с головой?

— С головой, с головой! — повторили ребята.

И, прельщенные возможностью уйти с головой, бросились на лед.

Когда же все кончилось благополучно и никто с головой не ушел, дети опять явились ко мне, как к старому своему

приятелю, и просили еще рассказать о маленьких, но сильно вооруженных людях Дриандии.

— Люди эти. — сказал я, — всегда держатся по двое. Один отдыхает, а другой везет его на салазках, и оттого время даром у них не пропадает. Они во всем помогают друг другу.

— А зачем они сильно вооружены?

— Они должны охранять от врагов свою родину?

— А почему они на салазках, у них вечная зима?

— Нет, у них всегда, как вот теперь у нас, — ни лето и ни зима, у них всегда весна света: лед под ногами хрустит, иногда проваливается, и тогда бедные сваны уходят под лед с головой, другие их тут же спасают. Голубые звезды вечером у них не показываются: небо у них такое голубое, светлое, и, как только вечер, везде в окнах загораются разноцветные лампочки...

Я им рассказывал то самое, что бывает в Москве весной света, как сейчас, и никто из них не догадывался, что моя волшебная Дриандия находится тут же, в Москве. И я их не обманывал, весной света каждый год во мне самом пробуждается такой же вольный маленький сван, как они.

МОИ ТЕТРАДКИ



Некоторые мои читатели время от времени просят меня написать рассказ о такой любви мастера к своему ремеслу, чтобы им можно было поучиться. Желая ответить читателям, много перебрал я в своей памяти всякого рода мастеров в разных областях науки, искусства и техники, таких замечательных, что я, как мастер слова, им не гожусь и в подметки. Но все-таки из всех мастеров для примера

я выбрал себя. потому что себя самого я знаю лучше других. И пусть мне дано не так много и мой талант не так велик, любви к своему делу я имел не меньше их и могу всякого поучить, как надо беречь свой талант.

Что это значит, талант? Однажды весной я подумал об этом, и вот вижу, на высокой елке, на самом верхнем ее пальчике, сидит маленький птичик. Я догадался, что птичик этот поет, потому, что клювик его маленький то откроется, то закроется. Но такой он маленький, птичик, что песенка его до земли не доходит и остается вся там, наверху. Птичик этот крохотный пел, чтобы славить зарю, но не для того он пел, чтобы песенка славилась птичке. Так я тогда в этом птичке и нашел ответ себе на вопрос: что такое талант. Это, по-моему, есть способность делать больше, чем нужно только себе: это способность славить зарю, но не самому славиться.

Вот еще что я думаю о таланте: эта птичка поет не только у поэтов, музыкантов и всякого рода артистов; в каждом деле движение к лучшему непременно совершается под песенку такой птички. Я знал одного башмачника, по имени Цыганок, в Марьиной роще. Крыша в его домике развалилась — ему нет дела до крыши; штаны износились спереди — ничего, закрывается фартуком; просиделись сзади штаны — опять ничего, закрывается другим фартуком сзади. Но какое мастерство! Я только потому не привожу его в пример, что он вином зашибал. О мастерстве этого Цыганка легенды сложились. Рассказывают, будто в прежнее время приехала к нему в Марьину рощу из Парижа настоящая француженка, и мастер сделал ей две пары башмаков. Одну эту пару француженка в грязь окунула, чтобы вид получился для тамошни ношенный, другую пару завернула в газету, свою же, парижскую, бросила. По приезде в Париж она очищает грязную пару, продает и окупает все расходы по этой поездке в Марьину рощу.

Сколько в жизни своей видал я таких мастеров и думаю теперь, что артисты бывают не только в искусстве: всякий артист, кто делает свое дело под пение птички...

Было это давным-давно, я в то время не писателем был, а служил агрономом в имении графа Бобринского. Однажды на молотье услышал я разговор и для памяти на спичечной коробочке записал услышанные выразительные народные слова. С этого разу я стал такие слова записывать на чем-нибудь и дома вносить в особую тетрадку. Занося однажды с клочка бересты в тетрадку какой-то разговор, я почувствовал желание писать не о чужих словах, а о себе самом. За этим писанием прошло у меня часа два, и с тех пор начинаю я свой день с того, чтобы записать пережитое предыдущего дня в тетрадку. Год за годом проходили,

исписанная тетрадка ложилась на другую исписанную тетрадку, и так собиралась моя драгоценная словесная кладовая. Никакие сокровища в свете не могли бы возместить мне эту кладовую записанных слов и переживаний, хотя я из нее очень мало беру для своих рассказов. И не раз я очень многим рисковал, чтобы только спасти свои тетрадки.

В 1909 году вздумал я поселиться прочно в селе Брыни, привез туда всю свою годами собранную библиотеку и все, какое у меня было, имущество. Случился в этом селе пожар, и я увидел его на охоте верст за пять от села. Пока я прибежал, все село было в огне, но я, думая о тетрадках, бросился бежать к своему дому в такой жар, что, помню, на ходу увидел чей-то вытащенный из дому диван и подивился, как он, деревянный, при такой жаре не загорается. Смотрю на свой каменный дом: еще цел, но занавески горят и лесенка на террасе дымится. Вбежал я в дом, бросился к тетрадкам, схватил их и чувствую, секунды больше остаться нельзя, наклониться нельзя вон к тому чемодану, где лежат деньги и белье, нельзя шубу вытащить из сундука. Так, с одними тетрадками, вылетел и на ходу видел, что тот диван, на который я обратил тогда свое внимание, теперь горел, как свеча. А когда с тетрадками прискакал в безопасное место, увидел, что весь мой дом в огне.

Так все и сгорело, и остались только тетрадки, да заяц в печке, в чугунном котелке, прикрытом вьюшкой. Собирая серебряные комочки, в которые превратились наши ложки, мы обратили внимание на этот котелок, и уцелевший в печке заяц был нашей первой радостью после такого большого несчастья. Так все дочиста у меня сгорело, но волшебные тетрадки сохранились, и слова мои не сгорели.

Нес я эти тетрадки, эту кладовую несгораемых слов, за собою всюду, и раз они выручили меня из еще большей беды, чем пожар. В 1919 году пришел к нам в Елец Мамонтов и предал наш родной город мечам и пожарам. Какой-то офицер Мамонтова, прослышав о моем пребывании в городе, решил «спасти» писателя от большевиков и прислал за мною двух казаков. Им была дана инструкция, переговорив со мною, сделать вид, будто они меня арестуют: это на случай, если Мамонтов провалится, меня не обвинили бы в добровольном побеге. Все было мне сказано тихо и вежливо. «Сейчас они вежливы, — подумал я, — но если я откажусь, то, может быть, сделают свое и невежливо, и по-настоящему арестуют меня...»

— Благодарю вас. — ответил я, — повремените немного...

Весь этот разговор был на Манежной улице, а тетрадки мои хранились на Соборной, и эти тетрадки и навели меня на удачный ответ.

— Повремените здесь, — сказал я. — сейчас я схожу за тетрадками, а то без своих тетрадок я не писатель.

Казаки повременили. а я, схватив тетрадки на Соборной улице, пустился наутек и пробыл в засаде, пока им стало не до меня.

Но я чуть-чуть рановато покинул свое убежище: хотя основные войска Мамонтова покинули город, части войск грабили завод настоек и пьяные убивали евреев. Рановато я вышел на улицу. Приехали подводы с десятками вооруженных киргиз. меня приняли за еврея.

— Покажи крест!

Я показал паспорт.

— Читать не умею, давай крест!

Ах тот крестик... Бабушка наша принесла этих крестиков множество и на всех надевала, но я отказался, и как ни уговаривали, этим способом спастись не захотел.

— Давай крест! Нету?

— Нету.

— Давай часы!

И взял у меня часы. Другой взял пальто. Третий навел на меня винтовку.

Тогда вдруг оказалось, что умирать-то не очень и страшно, только вспомнились мне в это мгновение тетрадки мои, и вдруг откуда-то пришла ко мне необычайная смелость.

— Хабар-бар! — крикнул я.

Это было единственное, что я знал по-киргизски.

Пьяница опустил винтовку, услышав родное слово.

— Хабар-бар, негодяй! — заорал я на него, а «хабар-бар» означало по-киргизски что-то вроде нашего «здравствуй».

— Хабар-бар, мерзавец! — повторил я, приветливо ему улыбаясь.

— А чего тебе?

— Отдай часы.

Рядом с повозкой был верховой. Мои часы в это время перешли как-то к нему. Он взял мои черненькие часы, хлопнул их с высоты о камень и, вынув хорошие серебряные, дал их мне и сказал:

— Садись, поедем с нами.

— Якши, якши, — ответил я, — только подожди.

И стал словами и руками показывать им, что я писатель, что у меня тетрадки и что тут недалеко: вон тот дом. Сейчас возьму и вернусь. И повторяя «якши, якши», стал от них отходить, кланялся, и отходил, и улыбался им, подлецам. А потом обернулся — и наутек. Да так и убежал.

И, вспоминая теперь этот случай, тоже записанный в тетрадь, понимаешь, что смелость в борьбе за жизнь мне пришла опять от тетрадок. Только не подумайте, что мне корысть была в сохранении этих тетрадок: прямой корысти тут никакой не было, и только сейчас, почти через сорок лет, один литературный музей предлагает мне за них очень скромную сумму. В том-то и дело, что тетрадками своими я дорожил не для какой-нибудь выгоды, а просто любил их, как люблю все свое ремесло, увлекательное, опасное и трудное.

Я начал свое ремесло с того, что, ничего не имея в кармане, отправился за сказками в тот край, где прошел теперь Беломорский канал. и даже мысли у меня не было, какая мне от этих сказок будет корысть. В то время писатели уже начинали терять связь с народом и брали слова больше из книг, чем из уст. Я же думал, что словесные богатства русского народа заключаются больше в устной словесности, чем в письменной. Еще я и так думал, что интересно слово не то, которое в книгах, а то, которое услышал сам из уст народа.

Бывало не раз, устанешь на охоте и заночуешь в лесу, и вот к твоему огоньку придет какой-нибудь человек, и тут, у костра, этот местный человек что-нибудь расскажет. Только через эти слова в лесу кажется, будто это сама природа о себе что-то сказала по-своему. А после вспомнится и то дерево, под которым развел теплинку, и тот ручей, который пел тебе всю ночь. До того мне с первого же раза полюбилось охотиться за такими словами, что однажды я собрал себе котомку ранней весной и вернулся только осенью: мне казалось, что всю весну и все лето я шел за колбком по волшебным северным лесам. А в городах, где деньги за слова платили, не за те, что свои, а за те, что по заказу, — там я редко появлялся. И много лет нужно мне было странствовать по лесам, ночевать у костров и подчас кормиться только удачливой охотой на птицу или зверя, чтобы наконец пришло то время, в какое живете вы и в какое я свободно печатаю вам свои сказки.

Да, многих из вас, друзья, тогда и на свете не было, когда я писателем делался, но мои тетрадки есть мое оправ-

дание, они ответят вам, сколько жизни я бескорыстно отдавал в охоте за словами, определявшими мое ремесло. До того много жизни, что она во сне продолжается, и часто мне повторяется один и тот же сон о моих тетрадках. Мне видится, будто наступило время Страшного суда, точь-в-точь, как нас этим в детстве няньки пугали, будто пришло время — загорелся край неба и затрубили в трубу. Все ужасно спешат и превращаются в беженцев. Я успел в чемодан только тетрадки сложить и ужасно спешу на вокзал к отъезду на «тот свет». Вот прибежал, вижу — поезд тронулся. Чтобы вскочить на ходу, бросаю в открытую дверцу чемодан с тетрадками, а самому вот только бы вскочить, — откуда ни возьмись, кондуктор — хватить меня по руке: «На ходу вскакивать не разрешается!» И поезд уходит на тот свет с моими тетрадками, и все уезжают, и я остаюсь на земле, и вот горюю, вот горюю, не о том горюю, что на земле остался, а о том, что без тетрадок моих не будет мне оправдания: тетрадки мои, только тетрадки хранят несгораемые слова. Жуткий сон повторяется, и не без смысла: я понимаю этот сон о несгораемых словах и Страшном суде как суд моей совести над делом жизни: хорошим ли мастером ты был, делал ли больше в своем мастерстве, чем это нужно только себе, — все равно — писатель ты или сапожник Цыганок из Марьиной рощи.

ПРАЗДНИК

(Из блокнота)



Признаюсь теперь, что слышать слова «Дом творчества» (Малеевка) мне было смешно, мне казалось, что учреждение и творчество понятия несовместимые. Но когда я сам попал в эту Малеевку, вместе со всеми поел, поболтал, почитал, поиграл на бильярде и сам написал кое-что, то мое представление о Доме творчества переменилось; оказалось, не в словах дело, а в самой работе:

тут все отлично работают и знакомятся друг с другом непринужденно. Нигде у писателей, кроме как в Ма-

леевке, не слышал я таких свободных душевных разговоров.

Вот сегодня, накануне Мая, за круглым столиком в гостиной меня окружили молодые писатели и стали выпрашивать о том, о сем. Я скоро понял, что им надо от меня: я для них писатель, из которого что-то вышло, а каждый из них, и развязный, и скромный, про себя втайне думает: «Неизвестно, выйдет ли что-нибудь из меня».

— Вы-то, — спросили меня, — сами вы чувствуете ли удовлетворение в своих достижениях?

— Я это стал чувствовать, — ответил я, — с тех пор как мне перестала мешать необходимость в признании и славе и через это я перестал чувствовать себя маленьким человеком. Прежде мне хотелось писать, чтобы прославиться. Теперь же славиться не имею ни малейшего желания, а писать еще больше хочется. В этом я доволен собой.

— Но если признание, почет, слава отпадают, то какой же мотив вас движет вперед?

— Праздник жизни — ответил я, — жду праздника, всеобщего рабочего Мая, вечного в своем повторении.

И рассказал им, что воспитал в себе это чувство праздника не как отдыха и средства для дальнейшей работы, а как желанной цели, завершения высшего творчества жизни. Я воспитал в себе это, наблюдая в природе лет уже сорок без перерыва движение весны, начиная от февральских метелей и кончая майским расцветом растений и песнями всех птиц.

— Но я ведь только, друзья мои, — сказал я, — пишу о природе, сам же только о людях и думаю. Когда пройдут февральские метели, все лесные существа мне становятся, как люди в стремительном движении к их будущему Маю. Тогда в каждом мельчайшем семечке таится будущий праздник, и все силы природы работают на то, чтобы ему процвести. Я тоже участвую в этом и помогаю.

Больше всего в это время я люблю идти, задумавшись, по нагреву лесной опушки. Идете вы и видите, как выходят на опушку леса березки, греются в теплых лучах между елками, и тут же стоят разные сухие травинки. Вы идете вдоль опушки и не смотрите на всю эту мелочь. Какая-нибудь былинка длинная, желтая, с пустым колоском

из всех сил добивается вашего внимания. Случайный ветер — сквозняк — помог ей, она качнулась, поклонилась и тогда с поднебесных высот вы спускаетесь к ней, наклоняетесь, с удивлением разглядываете, изучаете эту желтую, длинную, сухую былинку с пустым колоском.

Это внимание открывает вокруг на снегу темные точки ее семян, выбитых зимою щеглами. Вы находите в самом колоске одно уцелевшее зернышко, завертываете его в бумажку и дома опускаете в цветочный горшок, и, поверьте мне, Первого мая новой зеленой былинке, возвращенной при вашем участии, вы радуетесь, как всему Маю. А в радости этой, конечно, не простую траву — самих людей чувствуешь и веришь, что дождемся мы праздника, не как передышку от одной войны до другой, а такого всеобщего рабочего Мая, побеждающего войну, как лучи весеннего солнца побеждают мороз.

С искренним одобрением ответил один из писателей:

— Такой оптимизм!

— Только это не мой оптимизм, — ответил я. — Этот оптимизм таится в каждом семечке.

ГОЛУБАЯ СТРЕКОЗА



В ту первую мировую войну 1914 года я поехал военным корреспондентом на фронт в costume санитаря и скоро попал в сражение на западе в Августовских лесах. Я записывал своим кратким способом все мои впечатления, но, признаюсь, ни на одну минуту не оставляло меня чувство личной ненужности и невозможности словом своим догнать то страшное, что вокруг меня совершалось.

Я шел по дороге навстречу войне и поигрывал со смертью: то падал снаряд, взрывая глубокую воронку, то

пуля пчелкой жужжала, я же все шел, с любопытством разглядывая стайки куропатов, летающих от батареи к батарее.

— Вы с ума сошли, — сказал мне строгий голос из-под земли.

Я глянул и увидел голову Максима Максимовича: бронзовое лицо его с седыми усами было строго и почти торжественно. В то же время старый капитан сумел выразить мне и сочувствие, и покровительство. Через минуту я хлебал у него в блиндаже щи. Вскоре, когда дело разгорелось, он крикнул мне:

— Да как же вам, писатель вы такой-рассякой, не стыдно в такие минуты заниматься своими пустяками?

— Что же мне делать? — спросил я, очень обрадованный его решительным тоном.

— Бегите немедленно, поднимайте вон тех людей, велите из школы скамейки тащить, подбирать и укладывать раненых...

Я поднимал людей, тащил скамейки, укладывал раненых, забыл в себе литератора и вдруг почувствовал наконец себя настоящим человеком, и мне было так радостно, что я здесь, на войне, не только писатель.

В это время один умирающий шептал мне:

— Вот бы водицы!..

Я по первому слову раненого побежал за водой.

Но он не пил и повторял мне:

— Водицы, водицы, ручья!..

С изумлением поглядел я на него и вдруг все понял: это был почти мальчик, с блестящими глазами, с тонкими трепетными губами, отражавшими трепет души.

Мы с санитаром взяли носилки и отнесли его на берег ручья. Санитар удалился, я остался с глазу на глаз с умирающим мальчиком на берегу лесного ручья.

В косых лучах вечернего солнца особенным, зеленым светом, как бы исходящим изнутри растений, светились минаретки хвощей, листки телореза, водяных лилий, над заводью кружилась голубая стрекоза. А совсем близко от нас, где заводь кончалась, струйки ручья, соединяясь на камушках, пели свою обычную прекрасную песенку.

Раненый слушал, закрыв глаза, его бескровные губы судорожно двигались, выражая сильную борьбу.

И вот борьба закончилась милой детской улыбкой, и открылись глаза.

— Спасибо, — прошептал он.

Увидев голубую стрекозу, летающую у заводи, он еще раз улыбнулся, еще раз сказал «спасибо» и снова закрыл глаза.

Прошло сколько-то времени в молчании, как вдруг губы опять зашевелились, возникла новая борьба, и я услышал:

— А что, она еще летает?

Голубая стрекоза еще кружилась.

— Летает, — ответил я, — и еще как!

Он опять улыбнулся и впал в забытие.

Между тем мало-помалу смеркалось, и я тоже мыслями своими улетел далеко и забылся. Как вдруг слышу, он спрашивает:

— Все еще летает?

— Летает, — сказал я, не глядя, не думая.

— Почему же я не вижу? — спросил он, с трудом открывая глаза.

Я испугался. Мне случилось раз видеть умирающего, который перед смертью вдруг потерял зрение, а с нами говорил еще вполне разумно. Не так ли и тут: глаза его умерли раньше. Но я сам посмотрел на то место, где летала стрекоза, и ничего не увидел.

Больной понял, что я его обманул, огорчился моим невниманием и молча закрыл глаза.

Мне стало больно, и вдруг я увидел в чистой воде отражение летающей стрекозы. Мы не могли заметить ее на фоне темнеющего леса, но вода — эти глаза земли — остается светлой, когда и стемнеет: эти глаза как будто видят во тьме.

— Летает, летает! — воскликнул я так решительно, так радостно, что больной сразу открыл глаза.

И я ему показал отражение. И он улыбнулся.

Я не буду описывать, как мы спасли этого раненого, — по-видимому, его спасли доктора. Но я крепко верю: им, докторам, помогли песнь ручья и мои решительные и взволнованные слова о том, что голубая стрекоза и в темноте летала над заводью.

СОЛОВЕЙ-ТОПОГРАФ



Если бы не собрался целый архив писем охотников, свидетельствующих мне свое доверие, я не решился бы ни за что рассказывать об этом удивительном случае с моим гонцом — Соловьем, показавшим невероятный пример топографической памяти гончих собак.

Было это под Загорском.

В густом тумане лисица ходила неправильными кругами, и как мы ни бились, не могли ее подстоять.

Свечерело, я выстрелил по мелькнувшей в кустах тени, промахнулся, и лиса пошла наутек, и за ней, удаляясь в прямом направлении и постепенно затихая, понесся и Соловей...

Мы ждали Соловья чуть ли не до полуночи, а когда вернулись домой, то оставили калитку к нам на двор открытой. Так сплошь и рядом у нас бывало: Соловей ночью вернется и ляжет в своей теплой конуре.

В этот раз мы утром проснулись, глянули на двор — и обмерли: возле будки Соловья лежала неподвижная цепь с расстегнутым ошейником.

Вот только этим, одним только этим и тягостна бывает охота с гончим мастером. Самые хорошие мастера не позывисты, они до тех пор не бросят гон, пока ты не убьешь зверя. А сколько раз случается, что до вечера не подстоишь и потом, уходя, потихоньку все оглядываешься, все ждешь, трубишь, трубишь, губы обморозишь, горло высушишь, и все нет и нет. А наутро встанешь рано, выйдешь в поле, глянешь через поле в лес и вот заметишь, бывает, там вдалеке сорока, тоненькая, как спичка, на березе сидит, и голова у нее вниз, а хвост вверх. Это значит, что там внизу падаль лежит и кто-то на падали сидит и не пускает сороку, и она дожидается, когда этот кто-то наестся и освободит место.

— Не волк ли?

И направишься туда. Но поле большое, идти не хочется. Возьмешься тогда за трубу: если это волк, то он от трубы убежит, а сорока слетит вниз. И трублю, вот трублю! Сорока же сидит и глядит вниз. Значит, не волк, и является надежда.

А еще потрубишь — и вот из овражка показывается самая дорогая для охотника, самая милая на свете и такая знакомая голова. Сорока же стрелой летит вниз...

Раз было еще и так, что пришли мы в лес на другой день после гона и слышим: кто-то глухо и странно отзывается на трубу. Прислушиваемся лучше и не понимаем: это не вдали отзывается, а тут же где-то близко, и вроде как бы даже и под землей. Вскоре за тем разобрались хорошенько и вдруг поняли: это возле лисьих нор отзывается. Пришли к лисьим норам, и вот какая вышла беда: лиса вчера влетела в барсучью нору, и Соловей за ней, и сгоряча залез в отнорок, и так залез, что ни вперед, ни назад.

Понемногу он все-таки, очевидно, подавался вперед, а то бы, наверное, замерз. И, так согреваясь, за ночь он продвинулся, и всего оставалось до выхода каких-нибудь полметра, но тут выход преградили корни березы.

Лиса прошмыгнула, а Соловей застрял и так бы скоро погиб, если бы мы не услышали его хрип, стон и вой в ответ на трубу...

Возвращаясь к нашему рассказу.

Вот, как только мы увидали, что возле будки Соловья лежит неподвижная цель с расстегнутым ошейником, сразу же мы кто куда: кто в лес, кто в милицию: надо же где-то собаку искать.

Так проходит день, а на другой день, когда в городе о пропаже собаки — моего знаменитого во всей округе Соловья — всем стало известно, у нас дверь на петлях не стоит, то и дело слышим: «Идите скорей, ваш Соловей на улице ходит». Поглядишь, а это совсем не Соловей.

Так и работа остановлена, и есть не хочется, и сон отлетает, и одна только мысль о собаке, и жизнь без такой собаки как-то даже и вовсе не нравится...

И вдруг неожиданно-негаданно приходит из Васильевского Илья Старов и ведет на поводке Соловья.

Вот тут-то и приходится мне просить поверить невероятному.

Только единственный раз, год тому назад, был я у этого Старова на охоте за русаками, от Загорска это село верст восемнадцать.

Мы убили в Васильевском за день двух русаков и ночевали у Старова. Хорошо помню, что железка горела, и ребятишки лежали возле железки, и Соловей растянулся рядом с ребятишками.

И после с тех пор мы не бывали в Васильевском. А через

год Соловей за лисой прибежал в окрестности Васильевского и, когда ночью опомнился или, может быть, просто загнал лисицу в нору, вспомнил Васильевское, разыскал в нем дом Старова и лег на сено в сарае. Утром Старов и нашел его в сарае и не повел его ко мне в тот же день только потому, что Соловей на ноги не мог наступить.

ДРУЖБА



— Есть степная поговорка в Казахстане о дружбе: «Если товарищ твой кривой, старайся быть ему под пару». Как вам это нравится? — спросил я своих двух товарищей по охоте.

Замойский кивнул мне сочувственно головой, но Бородин, самый молодой из нас, как это иногда бывает, оказался больше скептиком, чем мы, сильнее потрепанные жизнью.

— Как это ни хорошо звучит, — ответил он, — но пеший конному не товарищ.

И рассказал нам один случай охоты на лыжах.

— Было это, — сказал он, — в Загорске, тоже вот в такую же снежную зиму и под самый конец зимнего охотничьего сезона. В то время, впрочем не очень давно, в Загорске еще только начиналось строительство заводов, и на том конце города, где строился завод, одновременно складывалась и новая жизнь, а на этом конце, в лесу, где жила моя матушка, днем всюду козы паслись и ночью стучала колотушка. Я приехал тогда в отпуск к своей матушке и захватил еще несколько последних охотничьих дней. Приехал я поздно вечером, искать кого-нибудь из знакомых для охоты было уже некогда, в одиночку охотиться как-то не очень люблю. Но делать было нечего, пропускать драгоценный денек не хотел и вышел на дворик свой покормить Трубача.

Редкая погода была для февраля: легкий морозец, полная тишина, чистое небо с мерцанием всех звезд, и в полной тишине совсем недалеко от нашего домика ночной

сторож шел с колотушкой и так мерно постукивал, что казалось, в этом же ритме и звезды на небе дышали. Вдали, на том конце города, свистели паровозы, гудели электровагоны, какой-то шелудивый моторчик шепелявил на третьем такте, и тут вот эти звезды и доисторическая колотушка.

«А что это такое?» — спросил я себя. И с удивлением вспомнил, что в жизни своей никогда не видел колотушку.

«Скоро колотушки вовсе исчезнут, — подумал я, — и потом я уже их никогда больше не увижу: история никогда уж больше не вернется к колотушкам. Надо посмотреть».

Я вышел за калитку, а сторож как раз тут и проходил, возле самого дома. Я подошел к нему, взял у него из рук колотушку, постучал, посмеялся. Сторож тоже смеялся, а когда я заговорил, он тоже одновременно со мной говорил, и тут оказалось, что я имею дело с глухим человеком.

«И немудрено оглохнуть, — подумалось мне, — если всю ночь напролет каждые сутки проводить с такой колотушкой».

Руками, глазами, ногами даже я старался показать сторожу мой особенный интерес к колотушке, с тем чтобы понять, почему сторож, которому надо бы ловить воров и затаиваться для этого, сам открывает вора́м место своего пребывания.

И вот вы говорите, что если товарищ кривой, то должно себе глаз поджимать: я ли не старался с этим глухим говорить, как глухой, а он понял, что я не о колотушке спрашиваю, а приглашаю его завтра идти с собой на охоту. Узнав, однако, что он охотник, я с большой радостью позвал его наутро с собой на охоту и только просил его сказать мне, каким образом он, глухой, будет мне давать знать о себе: без этого двум из-под одной гончей будет очень трудно охотиться. Он понял меня и спросил:

— А колотушка на что?

Это мне было понятно: колотушка на охоте, как охотничий рог, но для чего колотушка нужна сторожу, — это так и осталось мне тайной.

Сторож поклонился мне дружески, пошел вперед и застучал.

Рано утром, при первом свете, он явился ко мне с ружьем. Километра два мы прошли, и Трубач поднял беляка и погнал. Мы, как полагается нескольким охотникам с одной гончей, разбежались в стороны, каждый со своим собственным планом в голове.

Против всякого ожидания гон оказался и при глубоком

снеге неплохим. Не так давно была осадка снега, и после того на этот наст снегу навалило не больше, как на собачью ногу. К великому нашему счастью, оказалось, что Трубач сквозь тот засыпанный наст не проваливается и летит, как по первой пороше. К сожалению только, белячишко попался умнейший, один из тех, кого охотники зовут «профессорами» или «химиками». Воскресные охотники до того настегают таких зайцев, что с подъема они по прямой линии мчат версты две и потом, когда вернутся, начинают так кружить, что никогда на свой след не приходят, подстоять их почти невозможно, и убивают их только случайно.

Наш заяц с подъему бросился вперед по прямой, а потом нашел себе болото с таким частым ельником, что Трубач мог только еле-еле продираться, но никак не бежать. Кроме того, в этом болоте, как это бывает, вода обмерзла и после куда-то сбежала, получился лед-тощак, белый с узорами, проваливается под ногой, как стекло, с треском. Не было никакой возможности войти в это болото и ловить на кругах зайца-профессора. Приходилось только ходить кругом в надежде, что когда-нибудь Трубач вытурит из болота мучителя. Самое лучшее было бы отозвать собаку и найти другой след. Но Трубач, как все замечательные гонцы-мастера, был непозывист, и, пока зайца не убьешь, до тех пор с собакой не встретишься и не подзовешь к себе даже стрельбой.

Случилось, наконец заяц вздумал бежать краешком болота, и я увидел его и взял на мушку, и вот только, только бы спустить курок, откуда ни возьмись Трубач и чуть его не схватил. Заяц с испугу шарахнулся вон из болота, и Трубач с безумным ревом пустился по зрячему.

Теперь начался гон возле глубокого оврага, и так, что заяц ходит по одной стороне, а перелезешь овраг туда, он станет ходить по этой. Особенно плохо было тем, что к вечеру быстро стало морозить, и когда, перелезая овраг, разогреешься, вспотеешь, то потом мороз быстро охватывает и зубы начинают дробь выбивать. Будь бы товарищ мой не глухой, я потрубил бы ему, мы бы сговорились и ждали зайца на той и другой стороне. И вы говорите, что зрячий человек из-за дружбы должен поджимать себе глаз. Я считаю, что это в корне неверно: не поджимать себе глаз или затыкать себе уши хотел я на этой охоте с глухим товарищем, а просто, как лютый зверь, разорвал бы его в то время в клочки. Между тем охота — это такое занятие, что чем больше крепнет мороз, тем сильнее растет в тебе упорство...

В последний раз я решил перелезть овраг и, приступив к этому труднейшему делу, заметил свежий заячий след. Это не был след нашего гонного зайца, это был новый след, и мало того: лапка этого зайца в одном месте пришлась на мою лыжницу. Это значило, что день уже кончился и спавшие днем зайцы начали вставать. Этот свежий заячий след как будто выговаривал:

— Спи, спи, человек, ходи, ходи, заяц.

Мне всегда становится жутко, когда зимой в лесу вечереет и зайцы встают. В это время природа как будто выжимает из себя человека и мстит ему за себя:

— Уходи, уходи, человек, гуляй, гуляй, заяц.

Торопясь перебраться через овраг, я нажал на правую лыжу, и вдруг моя лыжа треснула пополам, и правая нога моя глубоко вместе с поломанной лыжей уткнулась в снег. Я освободил ногу сначала из поломанной лыжи, потом из целой, в надежде, что, может быть, подснежный наст, державший так хорошо Трубача, при моей осторожности выдержит и меня. Но расчет мой был неверен: подснежный наст легко хрустнул, и я по грудь очутился в снегу. На этом снегу потерять лыжу значило то же самое, что в открытой воде остаться с худым челноком: там зальет вода, здесь заостенит мороз. По такому снегу без лыж полверсты не пройдешь: и выбьешься из сил, и замерзнешь.

В лесу вечереет, а морозное небо разгорается, по минутам нарастает мороз, и деревья начинают трещать и шептать:

— Спи, спи, человек, ходи, ходи, заяц.

Теперь оставалась только одна надежда, что глухой застучит в колотушку и, не дождавшись меня, станет искать: не бросит же он в лесу товарища.

Я осмотрел поломанную лыжу. Причиной поломки оказался один только гвоздик, несколько лет тому назад второпях забитый мною, чтобы прикрепить ремешок. Этот гвоздик от сырости давал постоянно ржавчину, и мало-помалу эта желтая, разъедающая дерево жидкость распространялась и ослабляла сопротивление дерева. Пришло время, и на этом месте доска просто треснула насквозь и теперь держалась на тонкой древесной планке... Я попробовал выправить лыжу и стать на свежем снегу, она опять согнулась. Но когда я поставил лыжу в старый след, лыжа держалась. В этом мало было утешения...

Стало быстро смеркаться, и вдруг недалеко от меня, в каких-нибудь ста шагах, раздался резкий стук колотуш

ки. Обрадованный, я закричал во все горло, забывая, что имею дело с глухим человеком. Мой крик оказал обратное действие на поведение товарища: колотушка стала быстро от меня удаляться. В отчаянии я принялся стрелять, и с каждым выстрелом колотушка слышалась все дальше и дальше: это был совершенно глухой человек. Тогда я сообразил, что ведь это охотится со мной ночной сторож, что при наступлении сумерек ему надо спешить на место своей работы, что на сломанной лыже мне догнать его невозможно.

А деревья всерьез начали стрелять, как бывает это только в самый сильный мороз. Мне оставался один только выход — идти своим следом обратно, лазить из оврага в овраг, потом прийти к болоту, ходить вокруг болота и вообще сделать столько же движений, сколько я сделал за весь день. Возможно ли это?

Будь у меня спички, я бы не горевал, я развел бы костер и переночевал бы у костра, но только недавно я бросил курить и спички с собой не захватил...

Мало-помалу наступила такая тьма, что исчезли из глаз в лесу даже следочки зверей. Тьма шептала невидимым зверькам:

— Ходи, ходи, заяц!

Мороз, сам хозяин Мороз, начинал мне шептать:

— Спи, спи, человек!

Лыжа по старому следу сама вела меня, я двигался вперед и вдруг уперся возле оврага. Рискнуть скатиться в овраг в темноте было невозможно, лыжа могла зацепиться за куст и совершенно сломаться; если же лезть на ту сторону, и потом лезть опять обратно, и опять, и опять...

Я погибал в пяти километрах от города, мне были слышны свистки паровоза, гудки электровоза, и так хорошо знакомый четырехтактный моторчик с пришепетыванием на третьем такте отчетливо вел свою обычную беседу с тишиной, как будто я не погибал, а вышел на свой дворик покормить Трубача.

— Спи, спи, человек!

И вдруг страх гибели проник в мою душу, в мое тело до косточки, и сразу же явился план спасения. Я должен идти без лыж, лезть по снегу, как медведь, до того места, откуда мне слышалась колотушка. Осилю — так, не осилю — погибну. Значит, надо осилить: весь я должен собраться в одно: это *надо*.

Мне удалось сделать все, как я замыслил. Лыжи глухого были значительно шире моих, и мои по этому широкому прямому следу пошли, как неполоманные, так вот и пошли и пошли...

И что-то очень скоро вырос передо мной телеграфный столб, и на дорогу я вышел с такою же радостью, как моряк, потерпевший кораблекрушение, приплывает к берегу.

Этой морозной ночью все звезды собрались над Загорском, и шепелявил моторчик, и колотушка стучала как ни в чем не бывало.

Так Бородин закончил свой рассказ и после того обратился ко мне с нравоучением:

— Нет, не согласен я с вами: если товарищ кривой, не советую поджимать себе глаз, а с глухим затыкать себе ухо.

— Позволь, мой друг, — сказал полковник Замойский, — ты что же это на глухого обиделся и на кривого, когда сам кругом виноват?

— Я ни в чем не виноват. Что я мог сделать в лесу, когда лыжа сломалась и глухой товарищ бросает тебя.

— А при чем тут глухой? — спросил Замойский. — Ты же сам рассказал, что несколько лет тому назад вбил в лыжу гвоздик и он несколько лет распускал от себя в дерево ржавчину, а ты не обращал на это никакого внимания. Тут все дело не в глухом товарище, а в собственном гвоздике: у тебя не хватило в голове какого-то гвоздика.

И когда мы весело посмеялись над молоденьким лейтенантом, Замойский сказал:

— Нет, я все-таки согласен с казаками: если твой товарищ кривой, старайся поджимать глаз, чтобы стать ему под пару. Кто же понимает вообще пословицы, поговорки, загадки в буквальном смысле слова! Пословица казахов говорит только о дружбе: что дружба через друга дает глухому уши, слепому — глаза. Вот в чем дело! Я знаю один удивительный случай, когда дружба помогла слепому достигать больше, чем если бы он зрячий был, и глухому действовать, как если бы он обладал тончайшим слухом.

И рассказал нам об одном глухом поваре в Вологде и слепом музыканте. Оба любили до смерти глухариную охоту, требующую особенного тонкого слуха и зрения. Слепой музыкант, как это постоянно бывает со слепыми, обладал чрезвычайно тонким слухом, а глухой повар — замечательным зрением. Никто не мог из охотников услышать на току глухаря так далеко, как слепой музыкант, и никто не мог его так скоро оглядеть в полумраке, как глухой повар.

И так оба неразлучные друга, глухой и слепой, приносили каждую весну глухарей много больше, чем все обыкновенные охотники.

КАК ЗАЯЦ САПОГИ СЪЕЛ



Нынешний председатель колхоза в Меринове Иван Яковлевич — великий мастер подвывать волков. Суеверные люди думают даже, что если и нет в округе волков, на его вой приходят и отзываются. В этом охотничьем деле он был учеником известного по всей нашей области мага и волшебника охоты Филата Захарыча Кумачева.

Проезжая на днях возле Меринова, мы завернули к председателю чайку попить и кстати узнать, благополучно ли теперь поживает друг наш Филат Захарыч. Так пришли мы в избу, поздоровались, сели за стол и, конечно, с охотником то-се про охотничью жизнь: что в начале войны охотничьи ружья почему-то отобрали, а теперь вернули, — не значит ли это, что война скоро кончится.

— Вам-то, Иван Яковлевич, — спросили мы, — вернули ваше ружье?

— Вернули, — сказал он с горечью, — только погляди-те, в каком виде вернули.

Мы поглядели на свет стволы — ни одной раковины, и только в левом патроннике две не имеющие никакого значения царапинки. Ясно было, что царапинки были предлогом, чтобы похвалиться перед нами своим уходом за любимым ружьем.

— Такое ружье, — сказал хозяин, — и такое обращение...

— Царапинки не имеют никакого значения.

— Вам это царапинки, а мне раны, — ответил хозяин.

— Это ружье дорогое, — поддержала мужа жена его Авдотья Тарасовна, это ружье стоит, пожалуй, рублей тысячу двести.

— Что-о? — огрызнулся хозяин.

Жена поняла по строгому голосу, что в чем-то ошиблась, и стала заботливо вытаскивать муху из меда.

А Иван Яковлевич покачал головой с ехидной улыбкой и сказал своей почтенной и любимой жене, что не бабьему уму судить о таких вещах, как охотничье ружье, и что есть вещи на свете драгоценные и есть, которым и быть не может никакой цены.

— Это ружье,— сказал он значительно,— вещь неоценимая, мне подарил его сам Филат Захарыч Кумачев.

И тут мы с большой радостью узнали, что не только жив и здоров наш старый друг и охотник, но еще и ведет за собой самый отчаянный отряд одних только своих молодых друзей-охотников.

— В такие-то годы! — подивились мы.

— А что ему годы,— ответил Иван Яковлевич,— на что и есть мужественный человек и герой, чтобы годы свои красить. Не берут его годы.

Председатель наклонился в сторону подпечья и сказал туда, в подпечь, тихо и ласково:

— Руська, Руська!

И как только вымолвил председатель это слово, из-под печки вышел здоровенный матерый заяц-русак.

— Вот, товарищи,— сказал Иван Яковлевич,— этот заяц — не простой русак. Прошлый год я поймал его — был меньше кошки. Держал в кадushке, на капусте выращивал, а когда осенью хотел к празднику резать, что-то в этом зайце мне показалось: пожалел. И вот через этого зайца теперь владею ружьем.

— Значит,— сказали мы,— не ружье принесло зайца охотнику, а заяц — ружье.

— Кроме шуток,— ответил Иван Яковлевич,— истинно так, через этого зайца именно я свое ружье получил.

И рассказал нам историю, как этот заяц Руська у начальника партизанского отряда Кумачева съел сапоги и что из этого вышло.

Было это на переломе войны, когда немцы обходили Москву и их артиллерийские снаряды стали так недалеко ложиться от Меринова, что один попал даже в пруд. В это время отряд Кумачева затаился в лесном овраге, а сам начальник, Филат Захарыч, пришел ночевать к своему ученику — председателю Ивану Яковлевичу.

— Какой же он стал теперь, Кумачев, в партизанском-то виде? — спросили мы с интересом.

— А точно такой, как был,— ответил Иван Яковлевич.— Рост — колокольня, плечи — косая сажень, ну, глаз, вы знаете, у него один, другой пистонem выбило.

Одноглазый великан, зато какие сапоги! Американские, рыжие, на крючках. И вооружение полное, и притом еще дробовик. «Зачем, — спрашиваю, — еще и дробовик-то носите?» — «А для потехи», — говорит. Вот какой молодец! И годов шестьдесят с хвостиком.

Мы подивились. Хозяин опять нам повторил, что мужественный человек сам свои годы красит, и продолжал свой рассказ о том, как заяц сапоги съел.

Случилось это ночью, все уснули в избе, а Руська вышел из-под печи и принялся работать над сапогами начальника. Что он там нашел себе, этот заяц русский, в том месте, где американцы своим способом соединяют голенища с головкой? За целую ночь заяц только и сделал, что начисто отделил голенища от головок. Русский заяц будто захотел понять, как надо шить сапоги на американский манер. Ну, конечно, и на головках, и на голенищах тоже выгрыз пятнышки и вокруг сапогов за ночь наложил много орешков.

Путру первая встала Авдотья Тарасовна. Как глянула, так и обмерла: на глазах ее заяц кончал сапоги. И какие сапоги!

— Иван Яковлевич, — разбудила она мужа, — погляди, заяц что сделал.

— Что такое заяц? — спросил спросонья муж.

— Сапоги съел, — ответила жена.

Открыл глаза спящий — и не верит глазам. А русак — шмыг и под печь.

Ужаснулись супруги. Шепчутся между собой, ахают, тужат.

— Чего вы там шепчетесь? — спросил начальник, не открывая глаз. — Я не сплю.

— Батюшка, Филат Захарыч, прости нас, беда у нас в доме! Такая беда, сказать страшно.

— Что? Немцы? — вскочил начальник партизан и схватил наган.

— Какие там немцы — заяц, заяц, родной! Погляди сам.

Поглядел начальник своим единственным глазом: головки и голенища лежат отдельно и вокруг пол усыпан заячьими орешками.

— Так это заяц мои сапоги съел?

— Так точно, батюшка, никто другой — заяц съел сапоги.

— Вредная тварь, — сказал начальник.

И надел сначала голенища, потом головки, концы же

голенищ вмял под края головок. После этого оделся, умылся и зарядил дробовик.

— Ну, вызывай своего зайца на расправу, а то еще и твои съест сапоги.

— Руська, Руська, — позвал хозяин.

И, как невиноватый, заяц выходит, перебирает губами; глядит кругло, ждет узнать, для чего его вызывали.

Партизан в него целится. И чуть бы еще... партизан опустил ружье.

— Ты сам убей его, — сказал он, — мне что-то противно в ручного зайца стрелять.

После того поклонился хозяйке, поблагодарил, простился и вышел. А ружье так и оставил на столе заряженное, с взведенными курками.

— Значит, — сообразил Иван Яковлевич, — надо сейчас зайца убить, а ружье вынести хозяину.

Ничего не стоило зайца убить: сидит на месте, ждет и что-то жует.

Хозяин прицелился. Вдруг Авдотья Тарасовна — бац в зайца с печки валенком! Руська — под печь, а хозяин весь заряд в печь влепил.

— Ты баба неглупая, — сказал он, и с ружьем догонять Филата Захарыча.

— Убил? — спросил тот.

— Слышали? — ответил хозяин.

— Вредная тварь в доме, — сказал Филат Захарыч, — а жалко чего-то. Никогда не было такого со мной на охоте. То ли, может, время такое: сегодня ты зайца, а завтра самого тебя, как зайца. Ну, ладно, убил и убил, больше он тебе в доме не будет вредить. А ружье возьми себе на память от меня: может быть, и не увидимся; помнить будешь меня, а мне теперь уж не до охоты. Прощай.

И ушел.

В тот же день немцы пошли в атаку, и полетели у нас из окон стекла со всеми своими наклеенными бумажками крестиками и в елочку. Все бегут из деревни в лес, кто с чем.

— Мы с женой, — рассказывает Иван Яковлевич, — дружно взялись за лопаты: ямы у нас были уже заготовлены, картошку, зерно — все закопали. Утварь хозяйственную тоже зарыли. Кое-что взяли с собой несбходимое для жизни в лесу. Со скотиной чудеса вышли. У нас вся скотина — коза да корова. Ну, конечно, скотина по-своему тоже понимает: война. Прижались в углях, трепещут и не хотят

выходить. Зовем — не слушают. Пробовали тащить — сопротивляются. А уже не только снаряды рвутся: начинают и «пчелки» свистеть. Пришлось бросить скотину: самим бы спастись. И только мы со двора — им без людей страшно, — они к нам и выходят из ворот: коза вперед, а за ней и корова. Да так вот и пошли в порядке: впереди нас коза, позади корова, а на руках у Авдотьи Тарасовны Руська.

— Как это вы зайца при такой беде не забыли? — спросили мы.

— Это и каждый спросит, — ответил хозяин. — Мы, конечно, взяли его не без спора между собой. Я настаивал, чтобы зайца тут же зарезать и мясо унести. А жена: «Успеем, — говорит, — резать». И понесла на руках. И еще приговаривает сердито: «Можно ли такого зайца зарезать!..» Да так и пошли всем животом: коза впереди, корова назади, а посередине заяц.

Так пришли мы в партизанский овраг и заняли пустые землянки. Вскоре снаряды и бомбы сверху и со всех сторон весь лес наш изломали, мы же сидим ни живы ни мертвы в своих землянках. Недели две прошло, и мы уже и смысл потеряли и не знаем даже, немцы ли у нас в Меринове или все еще наши держатся.

Однажды утром на рассвете глядим, а краем оврага идет весь наш партизанский отряд, и впереди Филат Захарыч, весь ободранный, черный лицом, босиком, в одних американских голенищах, и на месте стеклянного глаза — дыра.

— Живо смывайтесь, — кричат нам весело. — Немцы далеко, деревня цела. Идите, очищайте нам землянки.

Мы, конечно, радехоньки, живо собрались, идем в прежнем порядке: коза впереди, корова позади, у меня за плечами дареный дробовик, у Авдотьи Тарасовны заяц.

— Стой, любезный, — дивится Филат Захарыч. — Да, никак, это ты, Руська?

И только назвал «Руська» — заяц повернул к нему голову и заработал губами.

— Я же тебе велел застрелить его, — сказал Кумачев, — и ты мне соврал, что убил?

— Не соврал, Филат Захарыч, нет, — ответил я. — Ты меня спросил тогда: «Убил?» А я ответил вежливо: «Вы слышали?» И ты мне: «Да, слышал».

— Ах ты, плут! — засмеялся Филат Захарыч.

— Нет, — отвечаю, — я не плут, а это вот она, супруга моя, по женскому чувству к домашней скотине валенком в Руську — он шмыг под печь, а я весь заряд ввалил в печь.

Посмеялись — тем все и кончилось.

После этого рассказа председателя Авдотья Тарасовна повеселела и говорит:

— Вот ты бранил меня за ружье, что не могла я, баба, понять неоценимую вещь. А Руська? Не кинь я валенком, ты бы, по мужицкому усердию своему, убил бы его. Бабыим умом, а все-таки лучше тебя, мужика, сделала. Ружье неоценимое! Нет, батюшка, ружье — вещь деланная и наживная, а заяц был — и нет его. И другого такого, как Руська, не будет. И никогда на свете такого зайца не было, чтобы охотнику ружье приносил.

БОЛЬШАЯ ДОРОГА



Бывает, едешь по ярославской земле и забудешься, и кажется, будто довольно уже настрадалась когда-то в древние времена эта наша родная земля. Довольно! Не холмами с березовыми рощами покрыта теперь эта земля, а так, по-своему, она после непомерных страданий своих улыбается: не холмы это с березовыми рощами, а улыбки просветленной земли.

Машина наша сама катится под гору, а там впереди опять с улыбки на улыбку белеет дорога, выше, выше, и на самой высоте, вдаль, сквозь голубеющую стену лесов, открываются воротца на небо.

И тут опомнишься: война у нас на земле. За теми воротцами на небе опять спуск на землю, где одни люди едут в одну сторону — на смерть, а другие в другую — для жизни: создавать и запасать продовольствие.

Мы едем за валенками на базар в одно село, расположенное на берегу самой прекрасной для нас реки Нерли. Нас в машине четверо, правит сметливый ярославец, вскормленный этой скромной и для нас самой чудесной землей. Мы были уже недалеко от цели, с той стороны нам навстречу двигались войска, а туда ехали на телегах, шли пешком массы людские, кто продавать, кто менять, кто покупать что-нибудь на базаре.

И вдруг на разминке с воинской частью мы попали в яму, машину сильно встряхнуло, и насос, подающий из бака бензин, перестал действовать. Никто из нас, любителей, не знаком был с механизмом этой капризной «лягушки». Нас мигом окружили мальчишки из близкой деревни.

— Лягушка сломалась, лягушка сломалась! — кричали они, привлекая криком других.

В советское время деревенские мальчишки до того освоили машину, что во всякое время принимают участие, учатся, мешают, но, бывает, и помогают. Все вместе мы стали возиться с «лягушкой», но сделать ничего не могли. Тогда из толпы этих бойких мальчишек вышел один совершеннолетним хозяином — обе руки в карманах.

— Ерунда, — сказал он, — ехать можно и без лягушки, — айда, ребята, за бутылками!

И вот какую мы придумали штуку. Достали десять пустых бутылок, наполнили их бензином, и один из нас, заключив эти бутылки в корзину, стал изображать собою бак. Второй пассажир, передающий из «бака» очередную бутылку, стал «насосом». Третьему вышло трудное дело: он высоко на вытянутой руке держал бутылку с бензином, который по резиновому шлангу через переднее окно поступал под капот в карбюратор. Все трое следили, как опустошалась бутылка, и передавали друг другу новую. С восторгом проводили нас мальчишки, чтобы потом десятки лет своим детям и внукам рассказывать, как они из трех взрослых и ученых людей сделали «лягушку».

Но, к сожалению, мы недолго проехали. Под действием бензина, и так уже довольно изношенный, развалился резиновый шланг, и мы окончательно стали. В это время навстречу нам прошла военная «эмка». Я сделал знак шоферу остановиться: не знает ли он механизма «лягушки», не поможет ли нам. Шофер кивнул в сторону своего хозяина: поможет, если тот разрешит.

И тут оказалось, что начальник шофера был генералом, но отступать было некуда, раз уж пришлось остановить машину. Старый, сидящий генерал очень строгого вида, усталый, наверно, и в сознании, что ему нельзя уставать, внимательно выслушал нас.

— Посмотри! — сказал он шоферу.

А мы уже посмотрели, мы знали, что тут не посмотреть надо, а повозиться. Нам оставалось чем-нибудь занять внимание генерала так, чтоб шофер успел починить. За это

дело взялся один из наших спутников — поэт. С чего начать? Мимо проходили воинские части.

— Это ваши ребята? — спросил поэт для начала.

— Мои.

— Молодцы! — сказал поэт.

Генерал помолчал и, строго взглянув на поэта, как бы разгадывая его план болтовни, ответил:

— Всекие есть!

А шофер тем временем начал что-то пилить. Похоже стало на сцену из Шекспира в военном лагере Брута. Когда поэт там сунулся со своими стихами к Бруту во время военных действий, Брут ему просто сказал: «Уйди прочь, дурак!»

— Простите меня, — сказал поэт генералу, — вы едете, быть может, и на смерть, вы — герой, а мы едем на базар за валенками. Мне совестно вас задерживать.

Генерал кивнул головой, то ли в смысле, что «ничего», то ли, что и правда: действительно задерживать генерала из-за валенок совестно.

Смущенный поэт сказал, чтобы хоть как-нибудь оттянуть время:

— Смотрите, смотрите, какое множество людей спешит на базар. Поразительно, как людям не опротивеют до смерти все эти заботы о мелочах жизни во время войны, определяющей жизнь на столетия. Откуда берется интерес к этой охоте... Вы знаете, откуда?

— Не знаю, — ответил генерал, глядя в сторону шофера.

— От голода, — продолжал поэт. — Скучно становится, когда человек наестся, а когда опять захочется есть, он опять приобретает охоту заниматься тем же самым. И так человечество благодаря голоду вечно обновляется.

Этот парадокс не занял генерала. И стало, как бывает с поэтом, когда он читает стихи в глухой аудитории: свое становится себе хуже, чем оно есть. Кстати, и генерал начал терять терпение.

— Что ты там пилишь, — спросил он шофера, — брось! Пора ехать!

— Слушаю! — ответил шофер, не оставляя, впрочем, напильника.

Может быть, какая-нибудь секунда времени разделяла нашего поэта от поэта в лагере Брута. Но как бывает с поэтами, когда «божественный глагол до уха чуткого коснется», — наш поэт вдруг расстался со всеми своими натянутыми попытками задержать генерала.

— Простите, генерал, — сказал он искренним голосом. — Я у вас хотел время украсть и наговорил глупостей. Спасибо вам большое от нас за внимание. Поезжайте, мы как-нибудь обойдемся.

— Нет, почему же глупости, — ответил генерал, — ваша мысль о голоде как о движущей силе, правда, не нова, но это правильная мысль.

— Неправильная! — горячо возразил поэт. — Я заступлюсь перед героическим фронтом за всех этих людей с луком, морковью, крупой, свининой, вареньями и валенками. Вы-то вот идете на риск, а о риске великий поэт сказал:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!

Генерал вдруг повеселел отчего-то и сказал:

— Нечего, нечего зубы заговаривать, я ваш план разгадал: вы хотели отнять у меня время рассуждениями о голоде, а теперь отнимаете его стихами о героическом риске. Вы и пишите нам на фронт, и по радио говорите, будто мы маленькие дети. А у нас лучше вашего знают и понимают стихи Пушкина — мы далеко не дети.

— Мы пишем плохо, — ответил поэт, — очень плохо, мы просто нищие словом перед вашим богатым молчанием. Но я искренно говорю, что более тощей мысли о том, что голод есть единственная сила, движущая вот этими всеми людьми, никто еще вам на фронт не посылал.

Поэт указал рукой на толпу.

— Во всей этой массе только ничтожный процент спекулянтов на человеческий голод, всеми ими движет не голод и не корысть. Давайте спросим любого.

Поэт остановил идущую с базара старушку.

— Что ты, бабушка, тащишь с базара, чем ты обвешалась?

— Да вот, обвешалась, батюшка, — ответила старушка, — овчонку свою стащила на базар, купила вот валенки, варенья и тут вот еще кое-что, готовлю сынку своему посылку на фронт.

— И так вот, — сказал поэт генералу, — любого спросите, один идет в заботе о сыне на фронте, другой — о старушке, третий — о малых детках. А я вам сказал, что движет людьми голод!

— Что же вы хотите сказать, — спросил генерал, светлея лицом, — какая окончательная сила движет людьми?

— Любовь, — ответил поэт.

— Спасибо! — сказал старик генерал, — очень-очень утешили. Вот этого больше. об этом пишите, пишите на фронт.

Он вышел из машины. Из-за холма солнце выходило, и черные силуэты каких-то людей с каким-то рогатым животным четко рисовались на голубом небе.

— Что это они тащат? — спросил генерал и, направив бинокль, сам ответил:

— Козла куда-то тащат, неужели и то на любовь?

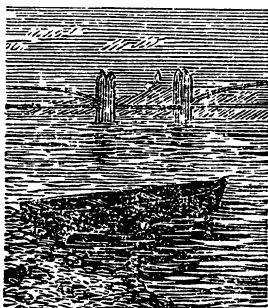
Не нужно было отвечать. Истрадавшаяся родная земля в солнечных лучах сама отвечала за себя своими холмами-улыбками.

— Готово! — сказал шофер.

И мы разъехались, — генерал на фронт, мы — за валенками.

ГОРОД СВЕТА

(Автобиографический очерк для чтения на юбилейном вечере)



Старая Россия, по всеобщему признанию, славилась своим гостеприимством. Но в моем опыте вся провинциальная Россия ничего так не боялась, как неожиданного гостя. И я очень хорошо понимаю эту стыдливость хозяев за свою неприбранность перед чужим глазом. Лично во мне это чувство стыда за свое русское, слишком русское, было так сильно, что в каждом городе, и особенно в

Москве, мне было не по себе: везде как будто я чего-то стыдился, и никогда, и нигде дым отечества не был мне сладок и приятен.

Только в одном-единственном городе, Петербурге (Ленинграде), я не испытывал этого отталкивания от себя своего родного, слишком родного. Только не надо думать, что меня, повидавшего европейские города, Петербург

привлекал своим внешним европейским порядком. Нет, он привлек меня, как город Петра, своим движением к свету — в этом была его красота, и этим он противостоял неподвижности моей физической родины. И потому этот город стал моей духовной родиной, и свою любовь к нему я так ревниво оберегал, что никто из самых внимательных моих читателей не догадался о происхождении моего чувства природы.

Для множества людей чувство природы связано с чувством родины непосредственно, как это выразилось просто у Аксакова или у Мамина-Сибиряка. И только очень немногие понимают: бывает, как, например, у меня, чувство природы с особенной остротой зарождается в городе. Но я это свидетельствую, что мое чувство родины, и лучшие образы, и радость жизни, и признаваемое всеми здоровье моего словесного дела зародилось именно в «гнилой» природе Петербурга. И если я, изображая природу на Плещеевом озере близ Переславля-Залесского, ввел в календарь природы первое предчувствие весны и назвал ее «весной света», то, конечно, я вывез эту весну из Петербурга.

Удивительно, как много потрудились перья поэтов над изображением петербургских дождей, туманов, липкого мокрого снега и тревоги белых ночей! Но почему, насколько помню, мало кто обратил внимание на весну света в этом северном городе, когда первый небесный свет преображает чудесные, еще обеленные зимним снежком здания? Я не знаю ничего прекраснее весны света в Ленинграде, и всем своим роскошно-прекрасным бродяжничеством по нашей великой стране я обязан этой весне света.

Я начал свою литературную жизнь в городе света тем, что снял в 1905 году себе деревянное жилище в четыре комнаты за четырнадцать рублей в месяц на Киновийском проспекте Малой Охты. Этот проспект был крайней улицей города и выходил между вонючими свинарниками в пригородное болото. Грязь была на этом «проспекте» такая, что, помню, один редактор так и не доехал до меня: извозчик отказался ехать еще на Марьиной улице, и гость пришел ко мне, утопая по колено в грязи. Я же сам ежедневно ходил в город в тех самых смазных сапогах, в которых путешествовал и охотился.

Помню, потом, когда я рассказал о начале своей литературной карьеры Максиму Горькому, он ответил мне: «Это не жизнь, а житие». Но это неправда, «житие» — это страданье, а я был счастлив, я был очарован мыслью о том, что

мое прекраснейшее ремесло открывало мне путь к безграничной свободе. И о грязи Киновийского проспекта я рассказываю теперь только для того, чтобы знали: не порядок европейского города привлек меня в Петербург. Нет, я любил Петербург за свободу, за право творческой мечты. Везде во всей России, мне казалось тогда, за мною следят, глазают мои родичи, везде я чувствую как бы родовое насилие над моей личностью, только в одном Петербурге мне было в России свободно.

Начав свое любимое дело на Киновийском проспекте, я за него крепко уцепился, и оно стало мне делом жизни. В самом начале на Киновийском проспекте я дал себе клятву ни в коем случае не работать на внешний успех. Но тем не менее без успеха тоже работать нельзя, кое-какой успех был, и я по мере успеха перебирался с Малой Охты на Песочную, с Песочной на Петербургскую сторону и, наконец, на более благополучный Васильевский остров, где и встретил весну 1917 года. Этой необыкновенной весной я закончил весь свой петербургский период жизни (1905—1917), определивший всю мою литературную деятельность.

Есть общее место в истории живописи, что интимный пейзаж зародился именно в городах, во время их роста, когда у человека начала разрываться прямая физическая связь с природой и он стал восполнять ее творчеством. Так точно в этом отвлеченном городе и во мне зародилось страстное желание материализоваться в родной стране. Тут-то вот именно и началась моя словесная живопись, и прежнее отталкивание от физической родины сменилось ласковым родственным вниманием к родному пейзажу.

При наблюдении природы я до того заострил это свое внимание, что многие так и до сих пор думают, будто я изображаю ее бесхитростно просто, по-родственному сочувственно, как Аксаков и Мамин. И сейчас, наверно, кто-нибудь понимает мой свет прекрасного родного города как простой солнечный свет и не видит в его лучах человека... Это все неправда, что Ленинград моя родина: моя родина Елец. Но я писал и о севере, и о юге, и о Дальнем Востоке, и я вечно жду, что и Берлин, и Лондон, и еще какие-то неведомые мне прекрасные места нашей земли станут мне родиной. Вот в том-то и дело, вот потому-то я и называю Ленинград своей родиной, что родовое чувство моей физической родины он сделал универсальным чувством и тем бесконечно утвердил и расширил мой художественный кругозор.

Из всего написанного мною кое-чем я и сейчас доволен, а упреки свои себе в недостаточности я устранию уверенностью в том, что мое время когда-нибудь придет, и тогда я напишу мою лучшую книгу. Замечательно бывает в моем труде, что каждый раз, когда я начинаю работу, мне кажется, будто я хорошо *знаю*, о чем я буду писать. Но если моя работа удастся, то я с удивлением вижу, что *вышло* больше того, что я знал. Я эту неожиданность встречаю с удивлением и радостью, как подарок. Но я вменяю себе в заслугу только то знание, с которым я берусь за работу. И вот этим-то знанием, этим светом на капризно-хаотическом пути художника слова я обязан исключительно городу света.

Возвращаюсь теперь к тому, с чего начал, к чувству стыда за свое русское, чересчур русское. Долго я не понимал существа этого стыда, исчезавшего только в Петербурге. Но мало того, что стыда. Я, чистокровный елецкий потомок своего великорусского племени, при встрече с любой народностью: англичанином, французом, татаринном, немцем, мордвином, лопарем — всегда чувствовал в чем-то их превосходство. Рассуждая, конечно, я понимал, что и в моем народе есть какое-то свое превосходство, но при встрече всегда терял это теоретически признаваемое превосходство, пленяясь достоинствами других. Самовозвеличивание национальности мне, русскому, было всегда до того непонятно, что встреча с этим вызывала особенное душевное движение, как было в рассказе одного английского писателя о своей любимой собаке. Бывает, говорит он, в минуту душевной тревоги потянешься с человеческим чувством к собаке, хочешь нежно погладить ее по голове, как любимого человека, и вдруг оказывается, что самого главного в человеке — лба, у собаки нет, и рука проходит по гладкому месту, и душа содрогается... Так содрогается душа у меня от бесчеловечности воинствующего национализма.

И вот этот город света, единственный, где я не чувствовал стыда за себя, за русских, вот он в своей трагической славе встает передо мной и поднимает меня. Наконец-то я чувствую себя, как русского, в превосходстве. Теперь я знаю, что если бы все народы имели свой стыд перед другими, стыд, вытекающий из глубокого чувства родства и ответственности за общее дело, то не было бы этой страшной войны.

И я знаю, что эта моя правда русского бессмертна и что рано или поздно этот свет моего «города света» преодолеет и победит сокровенные источники зла.

СТАРЫЙ ГРИБ

I



Была у нас революция тысяча девятьсот пятого года. Тогда мой друг был в расцвете молодых сил и сражался на баррикадах на Пресне. Незнакомые люди, встречаясь с ним, называли его братом.

— Скажи, брат, — спросят его, — где...

Назовут улицу, и «брат» ответит, где эта улица.

Пришла первая мировая война тысяча девятьсот четырнадцатого года, и, слышу, ему говорят:

— Отец, скажи...

Стали не братом звать, а отцом.

Пришла последняя большая революция. У моего друга в бороде и на голове показались белые, серебряные волосы. Те, кто его знал до революции, встречались теперь, смотрели на бело-серебряные волосы и говорили:

— Ты что же, отец, стал мукой торговать?

— Нет, — отвечал он, — серебром. Но дело не в этом.

Его настоящее дело было — служить обществу, и еще он был врач и лечил людей, и еще он был очень добрый человек и всем, кто к нему обращался за советом, во всем помогал. И так, работая с утра и до поздней ночи, он прожил лет пятнадцать при советской власти.

Слышу, однажды на улице кто-то его останавливает:

— Дедушка, а дедушка, скажи...

И стал мой друг, прежний мальчик, с кем мы в старинной гимназии на одной скамейке сидели, дедушкой.

Так вот время проходит, просто летит время, оглянуться не успеешь.

Ну, хорошо, я продолжаю о друге. Белеет и белеет наш дедушка, и так наступает, наконец, день великого праздника нашей победы над немцами. И дедушка наш, получив почетный пригласительный билет на Красную площадь, идет под зонтиком и дождя не боится. Так проходим мы к площади Свердлова и видим там за цепью милиционеров вокруг всей площади войска — молодец к молодцу. Сырость вокруг от дождя, а глянешь на них, как они стоят, и делается, будто погода стоит очень хорошая.

Стали мы предъявлять свои пропуска, и тут, откуда ни возьмись, мальчишка какой-то, озорник, наверно задумал как-нибудь на парад прошмыгнуть. Увидел этот озорник моего старого друга под зонтиком и говорит ему:

— А ты зачем идешь, старый гриб?

Обидно мне стало, признаюсь, очень я тут рассердился и цап этого мальчишку за шиворот. Он же вырвался, прыгнул, как заяц, на прыжке оглянулся и удрал.

II

Парад на Красной площади вытеснил на время из моей памяти и мальчишку, и «старый гриб». Но когда я пришел домой и прилег отдохнуть, «старый гриб» мне опять вспомнился. И я так сказал невидимому озорнику:

— Чем же молодой-то гриб лучше старого? Молодой просится на сковородку, а старый сеет споры будущего и живет для других, новых грибов.

И вспомнилась мне одна сыроежка в лесу, где я постоянно грибы собираю. Было это под осень, когда березки и осинки начинают сыпать на молодые елочки вниз золотые и красные пятачки.

День был теплый и даже паркий, когда грибы лезут из влажной, теплой земли. В такой день, бывает, ты все дочиста выберешь, а вскоре за тобой пойдет другой грибник и тут же, с того самого места, опять собирает: ты берешь, а грибы всё лезут и лезут.

Вот такой и был теперь грибной, паркий день. Но в этот раз мне с грибами не везло. Набрал я себе в корзину всякую дрянь: сыроежки, красноголовики, подберезники, а белых грибов нашлось только два. Будь бы боровики, настоящие грибы, стал бы я, старый человек, наклоняться за черным грибом! Но что делать, по нужде поклонись и сыроежке.

Очень парко было, и от поклонов моих загорелось

у меня все внутри и до смерти пить захотелось. Но не идти же в такой день домой с одними черными грибами! Времени было впереди довольно поискать белых.

Бывают ручейки в наших лесах, от ручейков расходятся лапки, от лапок мочежинки или просто даже потные места. До того мне пить хотелось, что, пожалуй бы, даже и мокрой землицы попробовал. Но ручей был очень далеко, а дождевая туча еще дальше: до ручья ноги не доведут, до тучи не хватит рук.

И слышу я, где-то за частым ельничком птичка пищит: «Пить, пить!»

Это, бывает, перед дождиком серенькая птичка — дождевик — пить просит:

«Пить, пить!»

— Дурочка, — сказал я, — так вот тебя туча-то и послушается.

Поглядел на небо, и где тут дожждаться дождя: чистое небо над нами, и от земли пар, как в бане.

Что тут делать, как быть?

А птичка тоже по-своему все пищит:

«Пить, пить!»

Усмехнулся я тут сам себе, что вот какой я старый человек, столько жил, столько видел всего на свете, столько узнал, а тут просто птичка, и у нас с ней одно желание.

— Дай-ка, — сказал я себе, — погляжу на товарища.

Продвинулся я осторожно, бесшумно в частом ельнике, приподнял одну веточку: ну, вот и здравствуйте!

Через это лесное оконце мне открылась поляна в лесу, посредине ее две березы, под березами пенек и рядом с пнем в зеленом брусничнике красная сыроежка, такая огромная, каких в жизни своей я еще никогда не видел. Она была такая старая, что края ее, как это бывает только у сыроежек, завернулись вверх. И от этого вся сыроежка была в точности как большая глубокая тарелка, притом наполненная водой.

Повеселело у меня на душе. Вдруг вижу, слетает с березы серая птичка, садится на край сыроежки и носиком — тюк! — в воду. И головку вверх, чтобы капля в горло прошла.

«Пить, пить!» — пищит ей другая птичка с березы.

Листик там был на воде в тарелке — маленький, сухой, желтый. Вот птичка клюнет, вода дрогнет, и листик загуляет. А я-то из оконца вижу все, и радуюсь, и не спешу: много ли птичке надо, пусть себе напьется, нам хватит!

Одна напилась, полетела на березу. Другая спустилась и тоже села на край сыроежки. И та, что напилась, сверху ей:

«Пить, пить!»

Вышел я из ельника так тихо, что птички не очень меня испугались, а только перелетели с одной березы на другую.

Но пищать они стали не спокойно, как раньше, а с тревогой, и я их так понимал, что одна спрашивала:

«Выпьет?»

Другая отвечала:

«Не выпьет!»

Я так понимал, что это они обо мне говорили и о тарелке с лесной водой: одна загадывала — «выпьет», другая спорила — «не выпьет».

— Выпью, выпью! — сказал я им вслух.

Они еще чаще запищали свое: «выпьет-выпьет».

Но не так-то легко было мне выпить эту тарелку лесной воды. Конечно, можно бы очень просто сделать, как делают все, кто не понимает лесной жизни и в лес приходит только, чтобы себе взять чего-нибудь. Такой своим грибным ножиком осторожно подрезал бы сыроежку, поднял к себе, выпил бы воду, а ненужную ему шляпку от старого гриба жмякнул бы тут же о дерево.

Удаль какая!

А по-моему, это просто неумно. Подумайте сами, как мог бы я это сделать, если из старого гриба на моих глазах напились две птички, и мало ли кто пил без меня, и вот я сам, умирая от жажды, сейчас напьюсь, а после меня опять дождик нальет, и опять все станут пить. А там дальше созреют в грибе семена — споры, ветер подхватит их, рассеет по лесу для будущего...

Видно, делать нечего. Покряхтел я, покряхтел, опустил ся на свои старые колени и лег на живот. По нужде, говорю, поклонился я сыроежке.

А птички-то! Птички играют свое:

«Выпьет — не выпьет?»

— Нет уж, товарищи, — сказал я им, — теперь больше не спорьте: теперь я добрался и выпью.

Так это ладно пришлось, что когда я лег на живот, то мои запекшиеся губы сошлись как раз с холодными губами гриба. Но только бы хлебнуть, вижу перед собой, в золотом кораблике из березового листа на тонкой своей паутинке спускается в грибное блюдце паучок. То ли он это поплавать захотел, то ли ему надо напиться.

— Сколько же вас тут, желающих! — сказал я ему. — Ну тебя...

И в один дух выпил всю лесную чашу до дна.

III

Возможно, я это от жалости к своему другу вспомнил о старом грибе и вам рассказал. Но рассказ о старом грибе — это только начало моего большого рассказа о лесе. Дальше будет о том, что случилось со мною, когда я напился живой воды. Это будут чудеса не как в сказке о живой воде и мертвой, а настоящие, как они совершаются везде и всюду и во всякую минуту нашей жизни, но только часто мы, имея глаза, их не видим, имея уши — не слышим.

ЗАГАДКА



В Ельце, на Манежной улице, — не знаю, как она теперь называется, — есть дом братьев Горшковых, большой двухэтажный дом с колоннами. В нижнем жил хозяин дома старик Петр Николаевич, а верх снимала моя мать. В глубине двора этого дома, с выходом в сад, стояла баня, и в ней жил брат владельца каменного дома с колоннами, художник Михаил Николаевич Горшков.

Дом был большой, и, наверно, художник мог бы найти себе место, но жить в бане, окруженной деревьями, было одной из его причуд. Второй причудой художника было питаться одной гречневой кашей и никого не затруднять ее приготовлением: был он холост и не держал прислуги. Третьей причудой его было вечное странствование «на своих на двоих». Ранней весной он уходил и возвращался осенью, когда поспевали яблоки. Мы, ребята, приходили к нему за яблочками, ели у него их целыми днями, и он не уставал беседовать с нами, маленькими, как со взрослыми.

Он рассказывал, нисколько не считаясь с нашим возрастом, мы ничего не понимали, но благодаря этому рассказу

его открывалось нам чувство возвышенного. Хитрец или простец, он приводил нас в сферу возвышенного только тем, что считался с нами, как со взрослыми. Не мы одни ходили в баню к художнику, но и многие взрослые люди. И разговоры были часами, днями, ночами о таких вещах, каких мы тогда понять не могли.

Никто из нас никогда не видел, чтобы Михаил Николаевич писал что-нибудь. Только один раз он поставил меня под березу и написал меня и березу до того прекрасно, что я теперь ни с чем не могу это сравнить. Вдруг он перестал писать и позвал меня:

— Смотри, хорошо?

Все было хорошо — я и береза, а неба не было.

— Почему неба нет? — спросил я.

— Вот из-за неба-то все и остановилось, — ответил он. — Смотри, какое оно прекрасное, и я не осмелился: как это я такое прекрасное буду мазать белилами.

После того он приписал мне в рот папиросу, пустил дым, и потом из этого дыма стали складываться облака и закрыли меня и березу.

— Что же это такое? — огорченно спросил я.

— А вот и смотри теперь на небо: какая гадость вышла у меня и как прекрасно оно там.

Некоторые в городе говорили: «Какой он художник, если ничего не пишет!» И смеялись: «Чудак!» Другие говорили: «Он прекрасный колорист, его ближайшие товарищи и друзья — Репин, Васнецов, Маковский». Третьи говорили, что на чердаке дома под замком хранится его большая замечательная картина «Фауст». Четвертые — что никакого «Фауста» нет, и не художник он, и что уж какой тут Репин: просто чудак, и что у них это в роду: брат Петр — кулинар и думает только о еде, Валентин — наездник, Владимир — музыкант для себя, Михаил — художник для себя...

И вдруг весь город был потрясен необычайным событием: в город приехал Репин и направился прямо в баню к Горшкову; там он пробыл несколько дней, написал портрет Михаила Николаевича и уехал. Тогда все бросились в баню смотреть портрет, и я тоже, конечно...

Прошли десятки лет, среди которых был год, когда мне кто-то сказал: Михаил Николаевич Горшков умер. И после этого слуха прошло еще много лет.

Однажды я пришел в Тенишевский зал в Ленинграде на лекцию Чуковского о Некрасове. Не помню, то ли я рано пришел, то ли запоздал лектор, но вышел значительный промежуток времени между моим приходом в зал и началом лекции.

— Смотрите, — сказали мне, — вот и Репин идет.

Я стал у стены. Репин прошел мимо меня и сел в первом ряду. Это был старичок, худенький, небольшого роста.

Я один раз до того слышал его выступление на большом съезде художников, и его манера говорить поразила меня и на всю жизнь вдохновила. Он говорил не так, как ораторы говорят для отвлеченной аудитории, а как говорит кто-нибудь для семьи своей или друзей дома. Мы во время речи Репина, очень смелой, освобождались от условностей, становились большой семьей, людьми, родственно связанными своим служением общему делу.

С тех пор Репин, конечно, постарел, подсох, но все же это был Репин. Мне вспомнилась его речь и очень захотелось перекинуться с ним двумя-тремя фразами.

— Как бы мне с ним познакомиться? — спросил я.

— С Репиным? Да разве можно знакомиться с Репиным! У него и незнакомые — все знакомые. Подойдите просто к нему и приветствуйте.

— Здравствуйте, Илья Ефимович! — сказал я, подсаживаясь к Репину.

— Здравствуйте, милый мой! — ответил тот. — Что это вас давно не видно? Откуда вы приехали?

Тут я соврал:

— Из Ельца. — говорю, — приехал.

— Из Ельца... Ну, рассказывайте, как там живопись в соборе, не чернеет? Только пройдемся в буфет чай пить, поговорим, пока Чуковский начнет.

Так я познакомился с Репиным и сел с ним за чай, как совершенно хорошо знакомый, свой человек. Правда, он не знал моего имени, не знал, чем я занимаюсь. Но в общении с ним это меня не смущало. Казалось, будто это все личное мое неважно, а самое главное, общее, входящее в каждого человека, составляющее как бы всего человека, он знает, и это одно было важно и для него, и для меня.

Я рассказал ему о живописи в соборе, который он реставрировал, о елецких купцах, о елецкой муке, о блинах, и так мало-помалу подошел к его другу Горшкову.

— Талантливый он был художник? — спросил я

Он немного подумал, поморщился.

— Нет! — сказал он решительно. Потом еще подумал, вдруг весь встрепенулся, сразу посветлел и еще решительней сказал:

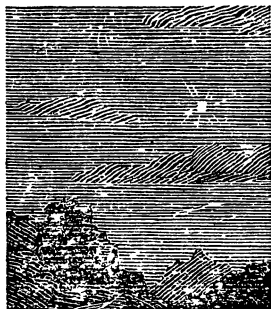
— Да, но он был гениальный!

После того раздался звонок, и мы, не торопясь, пошли на Чуковского.

Десятки лет прошли с тех пор, и сколько раз по ночам, когда не спится, вставал неразрешенным старый вопрос: как это можно быть не талантливым, а гениальным? И я так себе отвечал: можно быть гениальным человеком и неталантливым художником. И когда я так разрешил себе этот вопрос, встал другой: что же лучше — быть гениальным художником и паршивеньким человечком или, наоборот: плохеньким художником и гениальным человеком?

Вопрос остается для меня нерешенным, потому что в жизни своей я видел несколько гениальных художников, но все они были люди достойные. И не могу вообразить себе такого, чтобы он был и гениальный художник, и скверный человек. А Горшков, значит, не как художник, а чем-то иным оправдал в себе человека. Чем? Так и осталась мне загадка. И я до сих пор думаю над ней.

БОЛЬШАЯ ЗВЕЗДА



Собрались пожилые люди и затеяли что-то вроде игры: каждый по очереди должен был ответить, в каком человеческом возрасте он себя сейчас ощущает. Люди под пятьдесят отвечали, что чувствуют себя тридцатилетними, за шестьдесят — двадцатилетними, а когда дошло до меня, самого старшего, то я ответил, что бывает у меня по-разному, но в среднем обычном моем хорошем состоянии

здоровья чувствую себя мальчиком.

И знаю наверно, что я не один, пожилой человек, так себя чувствую и что скорей всего лучшее, чем могут по-

читать молодые люди своих дедов и отцов, это оказать внимание рассказам их о тех временах, когда были они, старые люди, тоже детьми. На этом основано в народе естественное воспитание сказками: деды и отцы рассказывают — ребятишки слушают и учатся.

Послушайте же, молодые люди, переживающие в наши дни события мирового значения, о времени, когда нынешняя действительность была нашей мечтой и делом, требующим непременно от каждого из нас жертвы и личного подвига.

В это время я был юным студентом Рижского политехникума. В то время преподавание там велось на немецком языке, и я поступил в институт отчасти, чтобы выучиться по-немецки, а отчасти потому, что в Риге все было для меня ново. Кажется, года два я поучился хорошо на химическом факультете и подавал надежды в будущем стать хорошим инженером. Были и русские среди студентов, и особенно выделялись среди чистеньких немцев революционные народники в их нарочито потрепанных костюмах. Вождем у них был некий Богомазов, воспитанный на жалости к людям Глебом Успенским. Меня к этим людям не тянуло, потому что я сам вырос на этих дрожжах, и хотелось мне чего-то другого, и, может быть, даже самый выбор Риги был во мне вызовом нашему семейному народничеству.

Однажды в нашу лабораторию качественного анализа пришел и занял место рядом со мной немолодой студент, лет уже тридцати, плотный человек высокого роста, с правильным лицом, в широкой светло-русой бороде. При разговоре Горбачов мог очаровательно улыбаться, в то же время оставаясь при себе, при своем каком-то таинственном и привлекательном раздумье. Влекло разгадать его тайну, и он всегда шел мне навстречу.

Он был очень способный и все делал шутя, но видно, что химию считал как бы забавой и очень снисходительно улыбался моей серьезности.

— Что же вы имеете в виду для себя в будущем? — спросил он меня однажды совсем неожиданно.

Я ему ответил, что хотел бы заниматься чистой наукой.

— Ну, это, — ответил он, улыбнувшись по-своему, — юношеская мечта: вам просто хочется самому кем-нибудь быть. Вы кончите тем, чем все кончают: будете инженером, и вас купят.

— Как купят, что вы говорите, кто меня купит?

— Буржуазия купит, и вы будете слугой капитала.

...Теперь, через столько лет, после того как я был свидетелем великих крушений: императоры, цари, короли, султаны летели со своих тронов, министры, капиталисты, помещики бежали из своих поместий, как зайцы оврагами, кулаки залегали с обрезам в перелесках, как дикие звери, — я теперь начало этому вижу и в себе самом, мне кажется — с меня самого, в тот момент, как услышал слова Горбачова о своей обреченности, в моем сознании и началось раскулачивание всего собственного мира, и мой личный трон тоже тогда пошатнулся.

У нас начался серьезный, крепкий разговор, и каждый день разгорался спор все сильнее и сильнее. Этот студент Горбачов оказался основным деятелем в марксистском революционном кружке, руководимом «Данилычем» (В. Д. Ульрихом). Все было крепко законспирировано, и не скоро я добрался до самого Данилыча. Горбачов начал с того, что познакомил меня с такими же юнцами, как я, но твердыми в чем-то своем, как кремни. Борьба наша началась с того, что я превыше всего на свете ставил чистую науку, а они науку подчиняли обществу. Я стоял за совершенную личность в прогрессе, они отводили личности скромную роль в истории и личность понимали как акушера, облегчающего роды нового общества. Я честно бился за свой трон — за принятые на веру идеалы, и, чтобы укрепиться в себе, начал читать и разбирать «Капитал» Маркса, переводил на русский язык «Историю социализма» Меринга и «Женщину и социализм» Бебеля.

Трудно мне было одному собирать свои мысли, но мне помогал жизненный нерв: я хотел учиться в оправдание труда матери моей, всей жизни ее, истраченной на мое образование, а они, мои товарищи, уговаривали меня бросить химию и отдать свои силы на борьбу рабочего класса. И мой жизненный нерв был правильным в каком-то отношении: много вышло инженеров из Рижского политехникума, поработавших потом на советскую власть, и, может быть, и сейчас работает кто-нибудь из моих товарищей. Жизненно я был прав, но идеи мои каждый день гасли: не только Спенсер, Михайловский и все привычные идеалисты и позитивисты были заброшены мною, но, что было печальнее, Менделеев, Бутлеров, Оствальд

и другие мои химические боги отступили на второй план.

Случилось так, что после весенних зачетов в политехникум поступил запрос с Кавказа прислать студентов-химиков на борьбу с вредителем виноградников — филлоксерой. Предлагалось хорошее в то время жалование, шестьдесят рублей в месяц, проезды, содержание, а работа легкая, ее могли делать и не химики. Вся наша компания, за исключением Горбачова, со всеми запрещенными книжками, переводами двинулась на Кавказ.

Мы попали в маленький городок N. Удивительно мне теперь вспомнить, что в то время природу я не понимал: я просто глазел, но не видел, как теперь. И что еще удивительней: потом, прямо после Кавказа, я начал видеть природу у себя на родине. Как будто вышло так, что горы меня взяли в свои недра, закрыли все горизонты, и, когда выпустили, — я все увидел, и с каждым годом и до сих пор вижу все больше и больше. Самый городок я теперь совсем не помню, но какой-то духан с курдюком и особым запахом висячих кож, вкусом кисленького вина, овечьего сыра и трав, и дерево — орех, под которым сидело человек пятьдесят, и другое дерево, под которым в жару трясло нас от холода, и огромный красный месяц между горами над какой-то сырой долиной, — это я помню. Мы все, русские интеллигенты, сидим на огромной веранде, пьем вино и спорим, и спорим всю ночь.

В городок мы приехали не одни, рижские студенты, нас было много из разных учебных заведений. Нас собрали два старых петровца, братья Старосельские. Один из них, младший, не помню его имени, был просто практическим деятелем, агрономом; другой, старший, Владимир, каким-то образом ухитрился, будучи народником, сделать-ся тифлисским губернатором. Он скоро полетел со своего губернаторского трона и свое вынужденное безделье теперь хотел использовать для борьбы с филлоксерой.

Оба брата, закоренелые народники, собрали студентов, наверно, не без личного отбора, но мы каким-то образом проскочили в эту среду как будто непрошенные, и вот начались тут у нас дела. Утром с младшим братом мы занимались изучением биологии филлоксеры, вечером со старшим на большой веранде пили вино и спорили: это были первые споры народников с марксистами. В этих спорах я все больше и больше укреплялся в марксизме, воспринимая его

не так умом, как сердцем. Понимаю теперь, что меня влекла универсальность учения о судьбе капитала, начертанная Марксом, и неминуемая мировая катастрофа, в то время как народники с жалостью к мужикам вязли со своими безлошадными в провинциализме.

По правде говоря, филлоксеру нам изучать было незачем: чтобы с пользой исследовать виноградники, довольно было раз посмотреть в лупу на корешок зараженной лозы. Месячная подготовка в городке для работы на виноградниках была подготовкой моей в чувстве грядущей мировой революции.

Мне кажется теперь, что, раскрывая свои переживания, я верно собою выражаю и моих товарищей, тоже поэтов в душе, таких, как я. Но этим я никак не хочу сказать, что это — единственный путь; возможно, что был и более короткий внутренний путь в простом чувстве жизненной правды. Пожалуй, я готов даже признать, перебирая в памяти членов нашего революционного кружка, что рядовые его члены, такие, как Соловей, Земляк, Пстр Николаевич Ланин и некоторые другие, теперь уж мною забытые, были поэты в душе, а такие, как Горбачов и Данилыч, исходили непосредственно от правды. Мне об этом трудно судить: я честно переживал судьбу рядового марксиста, поэта в душе, вовлекаемого в революцию.

Ровно через месяц после нашего приезда в городок мы закончили подготовительные работы и разбились на группы для самостоятельной работы на виноградниках. Нам дали рабочих, верховых лошадей, и мы своей рижской группой поехали искать филлоксеру.

Первые виноградники мы осматривали с некоторым волнением, потому что в случае филлоксеры мы должны были срубить виноградник, сжечь и вытравить самую землю сероуглеродом. Виноградник после заражения может еще десять лет кормить хозяина, и как этот хозяин должен к нам отнестись, если мы из-за какой-то виноградной блошки возьмем и сожжем плоды его труда?

Но, к счастью нашему, филлоксера нигде не находилась, и мы постепенно успокоились. При начале работ мы расставляли на места рабочих; они копали, приносили нам подозрительные корешки очень усердно: за найденную филлоксеру обещалась большая награда. Мы осматривали в лупу принесенный корешок и продолжали заниматься своей переводной работой. Я кончал перевод «Женщи-

ны и социализм», известной книги, разделенной на три отдела: женщина в прошлом, женщина в настоящем и женщина в будущем.

Недавно я нашел эту книгу в русском переводе, кто знает — может быть, в моем. Тогда на Кавказе, при свете особого чувства грядущей мировой революции, эта книга была для меня как величайшая поэма любви. Это можно понять, если вспомнить своего соловья, того соловья, которого слышит в свое время, в свои минуты жизни каждый счастливый из нас. Какой-то наивный человек, вспоминая своего соловья, вздумал записать его на пластинку. Эта пластинка теперь существует; что за жалкое, ничтожное щелканье в граммофоне эта чудесная песнь соловья! Так у меня вышло и с Бебелем и его женщиной: теперь я только понимаю, что это была моя женщина, личная, выпеваемая по нотам Бебеля.

Идея моих соловьиных чувств была та, что в настоящем для нас женщины нет, что только женщина будущего будет наша, и это будущее не так далеко. И вот тут-то и совершилось мое отступление от «чистой науки»: я вдруг понял, и это было мне как сноп света, что мечта о занятиях чистой наукой есть мечта о личной жизни, что точно так же можно мечтать и о женщине настоящего, что все это, и науку, и женщину, и всякий личный соблазн, надо отбросить пока, отдать силы в дело русской революции, а потом уже, в новом обществе, и начать жизнь для себя.

Нельзя сказать, чтобы мы много говорили об этом — нет! Мы больше молчали, но в этом молчании хорошо понимали друг друга, в нашем суровом целомудрии у каждого таилась своя соловьиная песнь.

Однажды мы ехали все почему-то не верхами, как обычно, а на арбе, медленно влекомой буйволами. С обеих сторон дороги невидимые азалии посылали нам свой одуряющий запах, и вдруг на повороте из-за горы вышла к нам навстречу такая большая звезда, каких на родине в средней России я никогда не видал. Я понимал про себя, что это была моя звезда, под которой я родился: та самая звезда, к которой смутно стремится моя жизнь. Всем знакомо это чувство, и мне очень захотелось поговорить об этом с товарищами.

— Какая большая звезда! — сказал я. — У нас таких не бывает.

Все ее видали, и, я знаю, все думали, как и я, о своей

звезде, но сказать об этом вслух было невозможно, почти стыдно. В ответ на мои слова о большой звезде оказалось возможным сказать вслух только самому рассудительному из нас, Петру Николаевичу:

— Многие звезды, конечно, здесь те же самые, что и у нас, только воздух здесь прозрачнее, и оттого они кажутся такими большими.

Так никто и не раскрылся из нас под звездой, и все-таки мы, наверно, были связаны между собою гораздо крепче тех, кто при виде своей звезды весь легко раскрывается.

В эту ночь мы ехали осматривать очередной виноградник, принадлежащий какой-то грузинской княжне. Я уверен, что никому из нас не приходило в голову, что княжна эта, допустим, могла быть ужасной старухой, в каких превращаются часто и красивые в молодости женщины. Каждый из нас, конечно про себя, как свою звезду, ждал свою прекрасную княжну и стремился сотворить ее себе из всего: почему бы тоже и не придумать, что из этой княжны выйдет тоже своя прекрасная дама?

Где это было — теперь я совсем не могу припомнить. Помню только, что эти медленные и какие-то вялые духом буйволы остановились перед небольшим деревянным домиком, что вышла из домика невзрачная женщина, неплохо понимавшая по-русски, и после коротких наших объяснений почтительно поклонилась и провела нас в комнату с простыми тахтами и скромными коврами на стенах. С сердечным сокрушением мы подумали каждый про себя, что, может быть, это и есть сама княжна...

Закусив немного кое-чем из своего провианта, мы уже начали было внимательно вглядываться в ковры и тахты, чтобы расположиться на покой, как вдруг в невидимую дверь, завешенную ковром, как будто кто-то очень осторожно постучал. Каждый из нас подумал, что это так показалось, и в то же время уверился, что стук действительно был, не могло так всем показаться. Молча мы смотрели туда, на скрытую дверь, и ждали. Скоро стук явственно повторился, и после нашего хорового приглашения в комнату нашу вошла та самая княжна, какую мы про себя ждали, и, может быть, даже лучше. Трудно теперь сказать, какая она была в действительности: только одно помню, что цвет лица ее был не обычный смуглый, кавказ-

ский, а светлый, и над большими черными глазами была темного бархата грузинская шапочка, и на круглые плечи от шапочки спадал белый газ, и что тут с ней пришел весь Лермонтов, и кремнистый путь под звездами, и Арагва, и царица Тамара... Она кланялась нам, улыбаясь, и сейчас же принялась нам служить: сама принесла вино и сыр с травами и что-то еще, и еще, а когда мы поели, носила нам подушки, белье, одеяла.

И так мы уснули, помня, что тут же за дверью спит наша княжна, и наше молчанье было еще более суровым, чем как тогда, при звезде.

Но утром случилось то самое несчастье, какого мы так боялись. Я расставил, как обычно, своих рабочих, а сам устроился на столике под тенистым деревом, и только что стал переводить последнюю часть книги Бебея — о женщине будущего, как рабочий принес мне корешок и просил его рассмотреть. Привычной рукой взял я лупу, глянул и обмер... Весь корешок виноградной лозы был покрыт тесными желтыми оспинками филлоксеры. Но мало того! Когда с бугорка мы поглядели на виноградник, то весь он представлял собою типичную филлоксерную чашу: зеленые бодрые края, постепенно снижаясь, становились к центру желтыми.

Скрепя сердце мы стали изучать и описывать виноградник по всем правилам, брали и заделывали в пробирки всякие образцы, составили акт... Вечером оставалось нам этот акт подписать, но пришла опять княжна со своим угощением, и рука не налегла его подписать. Ведь, может быть, виноградник был ее единственным источником дохода, и он мог бы ее еще долго кормить, но мы должны сжечь его, уплатив какую-то ничтожную сумму денег.

Ничего мы не говорили княжне, но, наверно, она догадывалась: была очень печальна и сдержанна. Мы были растерянны и ничего не говорили друг другу, но каждый считал невозможным делом сжечь виноградник. Каждый про себя подумывал, как бы все-таки увильнуть самому от такой беды. Но что было делать? Каждому про себя, конечно, можно было решать все, как хочется. Я даже помню, что слышал явственно тихий стук в завешенную дверь, и был уверен, что стук был мне, только мне. Так, может быть, и даже наверно, каждый из нас думал, если только стук действительно был: каждый думал, что женщина настоящего стучится именно к нему.

Но утром ко всем нам пришла та женщина будущего, для торжества которой каждый из нас должен был отказаться от своего настоящего. Не глядя друг на друга, мы подписали акт и сожгли виноградник.

Горбачов, когда я вернулся с Кавказа, решил наконец-то познакомить меня с «Данилычем». В. Д. Ульрих в то время жил на даче в Майеренгофе. Мы с Горбачовым приехали на «шtrand» и, направляясь берегом к даче Ульриха, вздумали покупаться в море. Горбачов, отличный пловец, очень скоро уплыл от меня на третью мель, а я никогда не плавал в море и на порядочной глубине набегающие на меня белые гребешки честно хлебал, пока вдруг не почувствовал, что больше не в силах бороться. Последнее мне мелькнуло: далекая лодка на берегу и мысль последняя о рукописи моего перевода. Дальше было так: Горбачов, увидав с третьей мели, что волны свободно меня влекут, как бревно, бросился, вытащил меня без сознания на берег. Я пришел в себя только уже на квартире Ульриха. Таинственный «Данилыч», блондин с бритыми щеками и небольшой бородкой, лысый, с хорошим черепом, был похож на доктора. Он стоял у меня в ногах, смотрел строго и, видимо, всем распоряжался. Около меня же стоял его мальчик, цветущий, весь розовый, с длинными черными ресницами, и держал в руке стакан чая с молоком, разглядывая меня поверх стакана с величайшим любопытством. Жена «Данилыча», высокая, нервная, революционерка русского типа, наливала в чай коньяк.

— Поразительно быстро, — сказал Горбачов, и это были первые слова, которые донесло мне мое ожившее сознание, — поразительно быстро этот молодой человек от всей чистой науки обернулся в практику жизни.

— Не знаю, чему вы удивляетесь, — ответил Данилыч, — практика является коррективом наших идей.

...И пошло, и пошло...

Но не очень-то долго пришлось нам вместе корректировать практикой жизни чистую науку. Вскоре начинавший тогда свою карьеру охотника за революционерами товарищ прокурора Трусевич, известный потом директор департамента полиции, захватил всех нас в свои сети. Мы сидели с полгода в Риге, потом в Митаве, потом нас расшвыряли по всей стране.

СТАРШИЙ СУДЬЯ

(Из рассказов охотника)



Люблю я собак! Первое — люблю, конечно, охотиться и держу их для охоты, а еще — и это, может быть, даже больше охоты: люблю поговорить с ними, посмеяться, поиграть и, как говорят, «отвести душу»... Но выставять своих собак я не люблю. Почему? Вот об этом я и расскажу...

Однажды назначили выставку собак, и мне позвонили из охотничьего общества, что выставять необходимо.

Ну, если так, — делать нечего! Привожу свою Нору. Небольшая собачка эта Нора, величиной с зайца, на коротких ногах, и хвостик обрублен, а уши длинней сеттеровых, и, если голову держит пониже, уши метут пыль на земле. Во время кормления надеваем колечко из старого чулка, и оно подхватывает уши и не дает им валиться в миску. Псовина у Норы сеттеровая, густая, волнистая, черная с белым, ножки в белых чулочках. На охоте у нас она годится только для уток, вытуривает их из тростников, приносит убитых, вылавливает подранков.

Смешна и мила эта собачка своей важностью: идет — от земли не видно, а сеттер — настоящий сеттер! Из человеческих свойств — у нее замечательная память на адреса, и, говорят, в Лондоне эта собачка, спаниэль, водит за собою слепых на веревочке.

Привожу я свою Нору на выставку. За столиком сидит, регистрирует известнейший у нас главный судья охотничьих собак.

— А. А., — говорю, — не хочется мне свою Нору показывать, если можно, зарегистрируйте и отпустите.

— Это почему? — отвечает. — Чумы боитесь? Не бойтесь! У нас на выставке все предусмотрено.

— Не чумы боюсь, а стыдно сказать: чужого глазу боюсь, сглазят.

Он откинулся назад, поглядел на меня, как глядят русские люди, когда догадываются, что собеседник задумал немного подурачиться, и принялся хохотать, приговаривая:

— Ох, уж эти мне охотничьи писатели!

Отсмеявшись, он положил мне руку на плечо и ладонью по щеке потрепал, как лошадей треплют: любовно, с улыбкой дружбы. И, указав на мою спаниэльку, сказал:

— Золотая медаль! Я вам ручаюсь: такой другой сучки нет в городе, ей обеспечена золотая медаль. Я это вам как старший судья говорю.

Вот подумайте теперь, как тут совсем отказаться от суеверия? В этих собачьих золотых медалях нет ни малейшей частицы золота, это просто бумажка, на которой только слова. Но довольно было произнести слово «золото», чтобы какой-то яд вошел в меня. Яд вошел в меня в один миг и начал соблазнять меня. Мне вдруг ужасно захотелось получить золотую медаль. Но я знал один тайный порок Норы и сказал:

— Не получит Нора золотую медаль: у нее бульдожка.

А. А. наклонился к Норе, огладил ее осторожно, умело развел ей губы и потемнел в лице: зубы нижней челюсти у Норы выступали вперед, а верхние зубы заходили за них.

— Бульдожка явственная, — сказал он.

— Так отпустите же меня, как я вас просил. Зачем мы будем выставять собаку с бульдожкой?

Он побыл немного в задумчивости, с темным лицом. Но трудно такому светлому русскому человеку, такому чистому охотнику долго оставаться с темным лицом. Вдруг молния прорезала тьму, и чистое здоровое лицо его, как природа, обновилось после грозы.

— Отчего же не выставять? — сказал он. — Не я буду сегодня спаниэлей судить, а судьи наши, может быть, и проглядят.

С великим изумлением и смущением я поглядел на него...

Лет тридцать уже я знаю этого человека. Он живет за городом. У него жена — одна на всю жизнь, всегда с ним, несколько замечательных собак, есть гитара и краски. Пишет он исключительно собак и охотничьи сцены. Сбывает картинки в охотничьи магазины. Какая корысть такому совершенно независимому судье кривить душой на собачьих судах? Мало того! Сам я, когда пишу свой охотничий рассказ, вилля между правдой и выдумкой, как в море между волнами, гляжу всегда на А. А., как на маяк. И вот теперь этот-то мой маяк явно ведет меня на скалу.

Он же, видя мою растерянность, подмигнул и сказал:
— И очень просто, что бульдожку они проглядят. Собака такая очаровательная, такого превосходного экстерьера: про мелочь такую и не вспомнят. Обрадуются — и проглядят. Получите медаль! Ведите!

И я повел.

Это была длинная широкая аллея среди собак разных пород. Была там низенькая каракатица-такса, длинная, на кривых ножках, была огромная борзая с белой расчесанной шелковой псовиной, с бархатным голубым, шитым золотом ошейником, был дрожащий, как часовая пружинка, голенький черный пойнтер, был здоровый и рыжий ирландец, и волшебная балеринка, самка лаверака, и пуделя были, стриженные подо львов и под дам со шлейфами. Возле страшных кавказских сторожевых собак собрался народ. Разговоры и споры тут были всякие.

— Для чего у них глаза скрываются в кустах, глаз вовсе не видно, как вы думаете, для чего?

Интересный вопрос привлекает многих; никто ничего не знает по книгам, каждый старается догадаться по себе и несколько не гнушается сравнивать свою человеческую душу с собачьей.

— По-моему, — сказал один из любителей, — кусты на глазах, как и всякие кусты: прохожий думает — куст, а там, в кусту, глаз наблюдает за ним. Сторожевая собака!

Так везде идут разговоры, и всё не по книгам, всё по себе...

Мы пришли с моей Норой к рингу. Тут были уже все спаниэли со своими хозяевами в ожидании судей. Посмотрев на моих конкурентов, я почувствовал в себе ласковое сердце: ни одной мало-мальски даже подходящей для сравнения с Норой собаки не было. И что тут говорить, каждый из нас спортсмен в чем-нибудь: каждый ищет хоть в чем-нибудь установить свое первенство. Как я тут это чувствовал и повторял про себя слова старшего судьи: «Золотая медаль обеспечена!»

Пришли судьи: два великана и один маленький, все незнакомые. Нас пригласили на ринг; мы попросили собак к левой ноге и пошли друг за другом по рингу кругом. Все судьи как глянули на мою Нору, так и не отводят от нее глаз...

Радуйтесь, охотники, радуйтесь, дорогие собачники, радуйтесь, все чудесные люди, сумевшие сберечь в себе до старости наше золотое детство. Был я угрюмый себялюбец,

сберегавший свою красавицу от чужого глаза и презиравший выставки! Пожалуйте, глядите, вот он перед вами с седеющей бородой, ходит по кругу, водит маленькую собачку и никак не может скрыть от людей своего счастья в борьбе за первенство.

Судьи глядят только на одну Нору, забегают вперед — и глядят, отстанут — и глядят сзади; один, великан, стал на колени, другой, маленький, даже и лег.

Но самое главное в этом счастье было, что я и забыл про бульдожинку: как будто ее вовсе не было или как будто само собою выходило в движении славы, что раз уже свет заметил красавицу, то тут же и простил ей эту бульдожинку.

Судьи вдруг перестали смотреть на мою Нору и делать отметки в своих судейских журналах.

Они собрались все кучкой, и маленький судья махнул рукой в том смысле, что я могу уходить.

Мне оставалось сделать несколько шагов до массы людей, гуляющих по широкой аллее. Две-три секунды — и толпа бы меня поглотила и я исчез бы от суда в толпе, как рыба в воде. Но мне сказали: «Вас зовут!» Я оглянулся и увидел: все судьи руками звали меня обратно к себе.

Нет! Нет! Положа руку на сердце, я и сейчас после всего благословляю этот великолепный путь к славе и верю, что чистого человека он может подвести к самым звездам.

В своем падении я сам виноват, что поддался соблазну...

Судьи мне сказали:

— Надо посмотреть пасть.

И только посмотрели...

Так вот вынимают билет и проваливаются на экзаменах: век проживи — и все будет сниться, как вынул этот проклятый билет. Но в конце-то концов ведь сам же виноват, что не выучил...

Всю досаду свою, конечно, я перенес на А. А.: зачем он вовлек меня в это дело, зачем?..

С трудом я нашел его на выставке. И он, сияющий здоровьем, готовый обнять меня и поздравить, спросил:

— Ну как, проглядели?

— Совсем было проглядели, — сказал я, — но под конец...

— Заметили? — радостно загораясь, воскликнул он. — Неужели заметили?

— Вы меня подвели...

— Ну, милый, — похлопал он меня по затылку ладонью, — о каких пустяках вы говорите, — а судьи-то у нас

какие! Что из того, что мы не получим медали, — судьи-то, судьи какие, а?..

И тут вот только и понял я, зачем это мне тогда подмигнул старший наш судья собак: это старший судья так сговаривался со мною на испытание маленьких судей; и когда оказалось — судьи хорошие, то действительно, стоило ли печалиться, что я потерял золотую медаль?

ЗОЛОТОЙ ПОРТСИГАР



Работа была совсем маленькая: вставить разбитое стекло на веранде. Стекло у меня было свое. Саша раздобыл алмаз и вставил.

— Это не работа, — сказал он. — Я ничего не возьму.

— В таком случае, — ответил я, — давай выпьем по рюмочке.

— Это можно, и не секрет: я люблю.

Стакан я ему налил порядочный, он выпил и сразу же захмелел. Тут и начался наш русский разговор, волнистый, кругами, с заключающей каждый круг личной присказкой, вроде «эко либрис» собирателя книг.

— Это не секрет! — говорил Саша.

— Ясно! — отвечал я ему.

И пошло, и пошло...

— Это не секрет, — начал он, — у меня нет ни папаша, ни мамаша.

— Ясно! Только, Саша, скажи, как это вышло у тебя, что столяр ты хороший, руки у тебя золотые, и не пьяница, и не мот, а как-то все ты ходишь вроде как бездомный какой?

— Да вот, друг мой, немцы дом мой сожгли в Старой Рузе, папаша и мамаша погибли, с фронта пришел — ничего с собой не принес, а тут вскоре женился, к тестю вошел в дом, и никак еще не могу подняться. Не могу пока, это не секрет!

И тут начался долгий рассказ его о войне со всеми подробностями на длинном его пути от Сталинграда до Берлина и дальше — до встречи с одним американцем на Западном фронте.

— Вы, русские, — сказал тогда американец, — великий народ, большой, сильный и храбрый. Но только скажи, Александр, за что ты воевал?

— Как за что? — отвечал Саша. — Это не секрет: воевал за папашу и за мамашу.

— Ну, и как теперь? — спрашивает американец. — Хорошо теперь живет твой папаша?

— У меня, — говорит Саша, — нет ни папаши, ни мамы: их убили немцы, и дом наш в Старой Рузе сожгли.

— А как же ты сейчас сказал, что воевал за папашу и за мамашу?

— За Родину. У нас же у всех есть папаша и мамаша: за Родину я воевал. Это не секрет!

— За родину — я понимаю: мы тоже за родину воевали. А я спрашиваю: ты для себя-то за что воевал?

Саша не понял вопроса американца, смутился и не знал, как ответить американцу.

— Как это для себя воевал? — спросил он.

Американец тогда вынул золотой портсигар, потом часы, показал и на одежду свою:

— Вот видишь, я за это и воевал, а ты говоришь, у тебя нет ничего своего, и даже нет у тебя ни своего папаши, ни мамы. За что же ты воевал?

Саша ничего не мог ответить тогда американцу, и теперь ему надо знать от меня, как же ему нужно было ответить американцу.

— Милый Саша! — сказал я. — Ты сам сказал золотые слова, что воевал за папашу и за мамашу. Ты сам золотой человек и можешь плюнуть, как на последнюю дрянь, на этот золотой портсигар.

Но тут вдруг оказалось, что Саша не так был прост, как я думал.

— Нет, — сказал он, — вы не про то говорите. Мне-то, конечно, наплевать на золотой портсигар: я бы, если хотел, сколько хочешь там всего нахватал. У меня не то стало вопросом в голове: не портсигар, не дом, не штаны. А вот как можно за это и за себя воевать, людей убивать, разорять, разорять земли? А человек этот, американец, был такой хороший, ласковый, и спрашивает меня: что я для себя от войны получил, за что я для себя воевал? Дайте же мне ответ, как это можно так думать, что идешь на войну для своей пользы?

Вместо ответа я налил еще по стаканчику, и мы выпили за папашу и мамашу.

МОИМ МОЛОДЫМ ДРУЗЬЯМ



Мы все немного поэты в душе, особенно охотники. Бывало, входим мы в лес вдвоем с собакой. На одной росистой полянке собака причуяла след, поглядела на меня, и я понял ее: тут ночевали вблизи и вышли в поле через эту полянку тетерева. Но как раз когда собака причуяла след и повела, вдруг сквозь густую крону дерева пробился солнечный луч и полетел вниз. И так вышло случайно, что

солнечный луч попал как раз на тот листик заячьей капусты, от которой запахло собаке перышком тетеревенка. Обласканный солнечным лучом, листик заячьей капусты сейчас же сложился, как складывается зонтик, когда дождь перестал. Собака приостановилась, и, пока она стояла, человек видел, как солнечный луч обласкал всю полянку и вся тесная заячья капуста на всей полянке сложилась зонтиками.

Так в первый раз в своей жизни я увидел, как от солнечного луча заячья капуста складывается зонтиком, и самое главное, что после того и все стало в лесу мне показываться такое, чего раньше я не видал. И оттого вокруг все стало волшебным: мы все немного поэты в душе, и особенно охотники.

Конечно, это в каждой ботанической книге можно найти, что тенелюбивое растение прячется от солнца и что заячья капуста, как тенелюбивая, должна была тоже свернуться. Но ведь в ботанической книге сказано вообще о тенелюбивых растениях, и если даже о заячьей капусте, то, конечно, тоже вообще, а не о том самом листике, от которого собаке пахло тетеревенком, и в тот самый момент, когда сквозь ветви густых елок вышел на него солнечный луч.

Довольно бывает какого-то листика капусты, чтобы пязка спала с глаз, и охотник с легавой собакой вошел внутрь самой природы, и где-то в подмосковном лесу открылся ему волшебный лес, как открылся Тургеневу Бежин луг с чудесными мальчиками.

Такое «открытие мира» сопровождается, как и у путешественников в новые страны, неутолимым желанием поведать об этом другим людям и, наконец, когда собака подвела к выводку, превращается прямо в душевный пожар. Вот тогда, закончив охотничью операцию благополучно, Тургенев, усталый и счастливый, вгнездится в какую-нибудь мягкую моховую кочку, отдохнет, вынет свою записную книжку и начнет в ней давать сигналы другому человеку об открытии им нового мира. И тот человек в этом слове поэта получит сигнал и повернет свои глаза в ту сторону, куда раньше он не смотрел.

Так я понимаю поэзию как силу души человеческой, и знаю, что наши русские охотники почти все такие поэты в душе. Но редко, очень редко такой поэт в душе может заключить свою поэзию в словесные шлюзы и по этой реке направить, как настоящий поэт, к желанной цели свои корабли.

Такова тургеневская охота с легавой, и я начал с нее потому, что такая охота воспитала во мне живого человека, способного видеть природу своим собственным глазом. Но есть другая, любительская охота, имеющая значение народного праздника, требующая покровительства и поощрения со стороны государственных органов охраны народного здоровья и военной подготовки.

Любимая у нас по всей стране народная охота — это охота с гончим мастером. Во времена дорогих барских охот у нас процветала охота с борзыми и, как подсобная ей, была выгонка зверя из лесных и болотных угодий в поле гончими стаями. Мало-помалу из этой сложной охоты с борзыми и гончими выделилась в самостоятельную стайная охота с гончими, и на место борзой стал охотник с ружьем. Но эта стайная охота с гончими еще была дорога: при двух-трех мастерах в этих стаях было много собак-приживалок, и дело их было лишь в том, чтобы создавать любимый охотниками хор собачьих голосов. Мало-помалу из такой стайной охоты стала откалываться охота с мастером, доступная всем, потому что одну собаку каждый может держать.

Теперь почти в каждом значительном селении есть охотник с гончей, но, конечно, не везде, и даже не знаю, есть ли где-нибудь на свете такой мастер, каким был у меня Соловей, способный гонять, самостоятельно выправляясь при сколе, и зайца, и лисицу зимой от последней утренней звезды и до первой вечерней. Не буду, однако, упираться в свое лучшее, допускаю, что и в наше время есть достой-

ные мастера, и наверно знаю, что дальше будет все лучше и лучше.

Эта охота с мастером тем хороша, что с одной собакой может охотиться целая стая дружных охотников и целый день, сливаясь душой в праздничной радости, перебегать поляны, перелезать снежные овраги, прыгать через плетни и незамерзающие ручьи, затаиваться намертво в просеках в ожидании зверя и после удачного выстрела победным криком созывать товарищей на общую радость. И если тургеневская охота есть школа поэтических открытий, то народная охота с гончей, как она у нас существует повсюду, есть школа воинов с простой, открытой душой.

Интересна строгостью своего коллектива охота волчьих команд. В этих коллективах воспитывается разумный охотник, умеющий сдерживать свою личную страсть ввиду серьезной задачи избавить край от «серых помещиков».

Есть вид охоты, еще дальше отстоящий от спорта, чем даже охота на хищников: охота, подсобная во время путешествий как в целях добывания пищи, так и шкурок редких животных и птиц. Самым редким представителем такого рода охотников был у нас знаменитый путешественник Пржевальский. Он является примером для всех нас, в какое полезное для науки дело может превратиться свойственная многим мальчикам охотничья страсть. И путешествия, и открытия у Пржевальского выросли из его детской страсти к охоте в смоленских лесах.

И, наконец, есть целая огромная область охоты промысловой, которой занимаются не только люди с праздником в душе, но и самые простые, принужденные пользоваться охотой как средством своего существования. Конечно, и среди них тоже, как и всюду, есть поэты в душе, и люди, склонные к знанию, и художники своего дела.

Все виды охот я в своей жизни изведаль, и в одно трудное время пришлось мне даже немного заниматься добыванием шкурок лисиц, зайцев и белок и даже присматривался к ловле кротов капканами. Для своего словесного дела, мне кажется, я выбрал все, что может дать охота, и теперь мне даже не очень и нужно ружье, чтобы в лесу быть всегда, как на охоте. Мало того. Мне, пожалуй, и леса не нужно: не описать за жизнь и того, что набрано от леса в себя. Но меня очень волнует одна мысль: как бы удержать и развить в нашей новой, советской культуре те особенности русской народной охоты, которые так замечательно повлияли на творчество наших ученых, путешественников, писателей,

художников, композиторов и уж, конечно, само собой, на мастеров военного дела.

Особенность нашей охоты сравнительно с немецкой баронской, американской индивидуалистической и всякой эгоистической охотой богатых людей за границей — что она насквозь пропитана духом товарищества, демократической мыслью о желанном единстве души всего вообще человека. Как характерно для нашей охоты, что великий писатель Толстой, сам барин и граф, восхищенно описывает нам такое чисто охотничье состояние душ, когда простейший егерь, артистически владеющий своим ремеслом, получает от автора нравственное право изругать и осрамить своего барина графа Ростова.

Вторая особенность нашей охоты — это, что она содержит в себе священное чувство охраны природы, как нашей родины. Конечно, в человеке всякой страны таится это славное сыновнее чувство, как мы понимаем его, например, в книгах канадского писателя-индейца Серой Совы, и особенно понимаем, когда сопоставляем это чувство с тем страшным разрушением жизни, которое приносит с собой варварское истребление лесов канадскими предпринимателями.

Правда, навстречу этому чудовищному разрушению жизни движется стремление к возрождению и охране. Но и это прекрасное стремление, попадая в систему разрушения жизни, только подчеркивает ужас картины, написанной Серой Совой. На место истребленных естественных условий жизни создаются искусственные парки с искусственным разведением дичи. И охота превращается в предприятие, такое же, как птицеводство: приходит джентльмен, оплачивает фазанов и куропаток и отстреливает по всем правилам этой противной забавы.

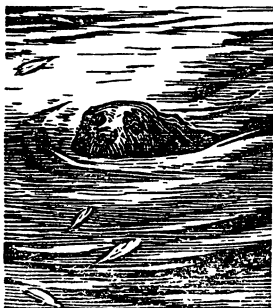
Наши идеалы охраны природы совсем не такие: наш идеал — это дедушка Мазай, который с Некрасовым со всей охотничьей страстью осенью бьет дупелей, а весной во время наводнения спасает зайцев.

И если бы я не знал в себе как охотнике такого же Мазая, хорошо понимающего, когда можно убить зайца и когда, может быть, и самому убиться, чтобы этого зайца спасти, и я бы с отвращением бросил охоту и восстал бы против охотников.

Но как сделать, чтобы наша молодежь могла идти в охоте по этому трудному пути образования себя самого от простого охотника до охотника — охранителя природы и защитника своей родины.

Об этом невозможно сказать в двух словах и, вероятно, даже нельзя сказать вообще одному. Мое дело только в том, чтобы поставить вопрос об охоте как нравственном пути для молодого охотника.

ВАСЯ ВЕСЕЛКИН



Когда снег весной сбежал в реку (мы живем на Москве-реке) на темную горячую землю везде в селе вышли белые куры.

— Вставай, Жулька! — приказал я.

И она подошла ко мне, моя любимая молодая собака, белый сеттер в частых черных пятнышках.

Я пристегнул карабинчиком к ошейнику длинный поводок, намотанный на катушку, и начал Жульку учить охоте (*натаскивать*) сначала по курам. Учение это состоит в том, чтобы собака стояла и смотрела на кур, но не пыталась бы курицу схватить.

Вот мы и пользуемся этой потяжкой собаки для того, чтобы она указывала место, где спряталась дичь, и не совалась за нею вперед, а стояла. Такое поведение собаки называется у охотников *стойкой*: собака стоит, а он сам стреляет или накрывает сеткой дичь.

Непонятная сила, влекущая собаку к курице, у охотников называется *потяжкой*. Только не надо думать, что собаку тянет желание полакомиться курицей или какой-нибудь другой птицей. Нет, ее тянет страстное желание все живое, все способное двигаться, бежать, плыть, лететь остановить в своем движении.

Вот так и вышли на черную горячую землю белые куры, и Жульку к ним потянуло. Медленно приближаясь, Жулька остановилась перед одной курицей в двух или трех метрах. Когда же она так сделала стойку, я перестал отпускать поводок и крепко зажал его в руке. Постояв некоторое время, Жулька сунулась, чтобы схватить курицу, и та с криком взлетела, а я так сильно дернул за поводок, что Жулька опрокинулась на спину. Так сурово для острастки я поступил только раз.

— Лежать! — крикнул я в следующий раз, когда она пять сунулась.

И она, приученная к «лежать!» еще зимой в комнате, легла.

И пошло так у нас изо дня в день, и в какую-то одну неделю я натаскал Жульку отлично по курам. Свободно пуская собаку, я иду по деревне, она делает стойку по курице и одним глазом глядит на нее, а другим следит за мной: как только я начну выходить из ее поля зрения, она бросает курицу и бежит ко мне.

Кроме кур, в нашей деревне никаких домашних птиц нет. Мы живем на берегу Москвы-реки, повыше Рублевского водохранилища, обеспечивающего Москву-столицу питьевой водой. Чтобы не загрязнять воду, у нас в деревне запрещено держать водоплавающую птицу. И я, хорошо натаскав Жульку по курам, совсем упустил из виду, что в селе на другой стороне реки один хозяин держит гусей.

Вот и не могу сейчас сказать, по какому это праву он их держит и почему никто не вступится за чистоту московской питьевой воды. Думаю, скорее всего люди в колхозе были очень заняты, им было не до гусей, да и гусиный хозяин, может быть, неплохой был человек, ни с кем не ссорился: вот и терпели гусей до поры до времени. Я и сам совсем забыл об этих гусях и спокойно шел, пуская Жульку свободно бегать перед собою справа налево и обратно, слева направо.

Ничего худого не подозревая, мы вышли в конце деревни в прогон к реке. Небольшой холмик разделял нас от реки, и по нему кверху поднималась по травке белая тропка — след больших и маленьких человеческих ног, босых и обутых. Жулька пустилась вверх по этой тропе. На мгновение она показалась мне вся вверху на фоне голубого неба. У нее была поза именно такая напряженная, какая бывает у собаки на стойке. Не успел я ей крикнуть свое обычное «лежать», как она вдруг сорвалась и бросилась со всех ног вниз по другой, невидимой мне, стороне холма. Вскоре потом послышался всплеск воды и вслед за тем крик, шум, хлопанье по воде крыльев такое, будто бабы на помосте вальком лупили белье.

Я бежал наверх и вслед за ударами сердца своего повторял про себя: «Ая-яй! Ая-яй! Ая-яй!»

Это потому я так испугался, что очень много в своей жизни страдал. Задерет собака какую-нибудь животину,

и ничем не откупишься: так изругают, так осрамят, что весь сморщишься, как сушеный гриб.

Добежав до вершины холма, я увидел зрелище, потрясающее для учителя легавой собаки: Жулька плавала по воде, делая попытки схватить того или другого гуся. Смятение было ужасающее: гусяное гоготанье, хлопанье крыльев, пух гусиный, летающий в воздухе.

Звук моего свистка и крики были совершенно бессильны: достигнув одного гуся, Жулька пускала из него пух, а гусь, подстегнутый щипком, набирал силу и, помогая себе крыльями, частью водой, частью по воздуху уклонялся от второго щипка. Тогда Жулька повертывалась к другому гусю, пускала пух из него...

Пух, как снег, летел над рекой.

Ужасно было, что в разлив воды еще невозможно было сделать обычные мостки через реку, и я не мог приблизиться хоть сколько-нибудь к месту действия: все происходило на самой середине широко разлившейся Москвы-реки.

Всех гусей было восемь. Я не только успел всех сосчитать, но положение каждого гуся представлял себе, как представляет полководец положение всех частей его войска. У меня вся надежда была на гусей, что какой-нибудь гусак, раздраженный, наконец озлится и сам попробует Жульку щипнуть. Она такая трусиха! Если бы хоть один гусь сделал такую попытку, Жулька бы немедленно пустилась ко мне под защиту от клюва храброго гуся...

И вот, казалось мне, один гусак как будто и догадался, и, наверно, все бы кончилось хорошо. Но в этот момент выбежал из кустов Витька с ружьем, сын хозяина гусей, и прицелился в плавающую голову Жульки...

Сердце у меня оборвалось. Но почему я не крикнул, не остановил мальчишку? Мне кажется теперь, как будто все было во сне, что от ужаса я онемел. На самом же деле, конечно, я бы крикнул, если бы только было мгновение для крика. Все произошло так скоро, что крикнуть я не успел.

Грянул выстрел.

Я успел все-таки увидеть, что чья-то рука из кустов толкнула Витьку в плечо и дробь хлестнула по воде далеко от места побоища.

Витька хотел стрелять из второго ствола, но голос из кустов остановил его:

— Что ты делаешь? Собака законно гонит гусей: тут водоохранная зона, не собака, а гуси тут незаконные. Ты, дурак, своего отца подведешь!

Тут, конечно, и у меня язык развязался, да и Жулька опомнилась от выстрела, услышала мой зов, поплыла к моему берегу.

Конечно, я тут не растерялся до того, чтобы открыть Жульке свою радость спасения. Напротив, я ждал ее на берегу мрачный и говорил ей своим видом, как я умею разговаривать с собаками.

— Плыви, плыви,— говорил я,— ты мне ответишь за гусиный пух!

Выйдя на берег, она, по собачьему обыкновению, хотела укрыть свое смущение посредством делового встряхивания, фыркания, катанья своего по песку. Но, как она ни старалась, гусиный пух с ее носа и рта не слетал.

— Ты мне ответишь за гусиный пух! — повторил я.

Наконец и ей надоело притворяться, обернулась ко мне, и я прочитал по ее виду: «Что же делать, хозяин, я уж такая...»

— Нет, матушка,— отвечал я,— ты не должна быть такая.

«Что же делать?» — спросила она и сделала шаг в мою сторону.

— Что делать? — сказал я.— Иди-ка, иди ко мне на расправу.

Нет, этого она боится. Она ложится на брюхо, вытягивает на песке далеко от себя вперед лапы, кладет на них голову, большими человеческими глазами глядит на меня.

«Прости меня, хозяин!» — говорит она глазами.

— Пух у тебя на носу! — говорю я.— Отвечай за пух!

«Я больше не буду», — говорит она глазами с выступающими на белки красными от напряжения и раскаяния жилками.

— Ладно! — говорю я таким голосом, что она меня понимает и несется ко мне.

Так все хорошо кончилось, но одно я в радости своей упустил. Я не успел рассмотреть, кто же это был спаситель Жульки. Когда я вернулся домой и захотел приступить к своим обычным занятиям, мысль о неизвестном не давала мне работать. Любовь моя к охоте, к природе, к собаке не могла оставаться во мне теперь без благодарности спасителю моей прекрасной собаки... Так я отложил свои занятия и пошел к учителю в школу за несколько километров от нас. По маленькой руке, толкнувшей Витьку в плечо, по голосу я знал, что это был мальчик. По рассудительному окрику я знал, что мальчик, наверно, учился в школе.

Рассказав все учителю, я попросил его найти мне мальчика, спасителя Жульки, обещал, что подарю ему любимую мной книгу «Всадник без головы» в хорошем издании. Учитель обещал мне найти мальчика, и после того я уехал надолго учить Жульку в болотах.

Приближалось время охоты, когда, выучив Жульку, я вернулся домой и в первый же день направился к учителю. Оказалось, найти спасителя Жульки не так-то легко. Но только несомненно, что он был среди школьников.

— Он сделал хорошее дело, — сказал я, — мы ищем, чтобы поблагодарить его, почему же он не хочет открыться?

— В том-то и дело, — ответил учитель, — ему не хочется выхваляться тем, что самому ничего не стоило. Он стыдится, и это стыд здоровый: каждый должен был так поступить.

— Но не все же такие мальчишки: нам нужно непременно найти его, нам нужен пример для других.

— Это правда! — ответил учитель.

И, подумав немного, сказал:

— Мне пришла в голову мысль. Мы найдем! Скажите, сколько было гусей?

— Их было восемь, — ответил я.

— Так помните: восемь, — сказал учитель, — и напишите рассказ об этом случае, напишите правдиво и подчеркните в нем, что было не сколько-нибудь, а именно восемь гусей.

Замысел свой учитель от меня скрыл. Я и не стал допытываться, скоро написал рассказ, и в одно воскресенье мы с учителем устроили чтение в школе веселых рассказов разных авторов. Так дошло и до чтения моего правдивого рассказа о собаке Жульке и о гусях. Нарочно для правдивости я и Жульку привел в школу, показывал, как она по слову «лежать!» ложится, как делает стойку. Веселье началось особенное, когда я читал про гусиный пух и что я, как полководец, держал в уме поведение каждого гуся.

— А сколько их всех было? — спросил меня в это время учитель.

— Восемь гусей, Иван Семеныч!

— Нет, — сказал учитель, — их было пятнадцать.

— Восемь! — повторил я. — Утверждаю: их было восемь.

— И я утверждаю, — резко сказал Иван Семеныч, — их было именно пятнадцать, и могу доказать; хотите, пойдем сейчас к хозяину и сосчитаем: их у него пятнадцать.

Во время этого спора чье-то нежное, стыдливое сердце

сжималось от боли за правду, и это сердце было на стороне автора рассказа о гусях и собаке. Какой-то мой слушатель, мой читатель будущий, мой сторонник, горел за правду у себя на скамеечке.

— Утверждаю, — сказал учитель, — гусей было пятнадцать.

— Неправда! — закричал мой друг. — Гусей было восемь.

Так мой друг поднялся за правду, весь красный, вихрастый, взволнованный, с глазами, гневно устремленными на учителя.

Это и был Вася Веселкин, стыдливый, застенчивый в своих добрых делах и бесстрашный в отстаивании правды.

— Ну, спасибо тебе, мой друг, — сказал я и подарил спасителю моей Жульки любимую в детстве книгу «Всадник без головы».

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК



Лет пятнадцать тому назад в Доме ветеранов Революции в возрасте за восемьдесят умерла замечательная народная учительница. В крематории ее сожители по «Дому Ильича» один перед другим старались лучше и лучше сказать что-нибудь о ее жизни. Но светлая личность покойницы, человека с уже закрытыми навсегда глазами, была так высока, что слова как бы гасли, не достигая ее

существа. Наконец, подошла одна взволнованная женщина и сказала:

— Нас покинул хороший человек!

Только всего и сказала, но эти простые слова дошли у нас у всех до самого сердца.

Через минуту половицы раздвинулись, покойница исчезла, но «хороший человек» остался среди нас, и у всех из уст в уста перебегали одни и те же слова:

— Да, вот это уж действительно, она была настоящий хороший человек!

Тогда-то на этих скромных похоронах и пришлось нам крепко задуматься об этих простых словах.

Было так, будто этих похорон нам еще мало, чтобы усвоить себе ясно смысл этих слов. Казалось тогда, что скажи молодому даровитому артисту «хороший человек» вместо аплодисментов его таланту, и он, пожалуй, обидится. Да и как тоже скажешь великому поэту или артисту, Лермонтобу или Шалянину: вы, мол, хорошие люди. Казалось тогда, что быть хорошим надлежит «среднему» человеку, и что вообще этих средних больше, и что в среднем люди все достаточно хороши.

Однако годы проходят, и все вокруг изменяется, и почему-то к старости кажется, будто хороших людей становится все меньше и меньше. Наконец приходит время, когда остановишься в дверях и высматриваешь, не видать ли где-нибудь хорошего, чтобы к нему подсесть...

Несколько лет тому назад моя охотничья лодочка пристала к берегу моей любимой реки Нерли, и я пошел искать себе ночлег в деревне Желтяково Переславского района Ярославской области. В летнее время школы бывают свободны, и тогда всего проще бывает охотнику познакомиться с учителем.

Так вот, я постучался в школу, и меня встретила высокая пожилая женщина со светлым лицом и молодыми голубыми глазами.

Это была известная в Переславском краю славная учительница Елизавета Федоровна Белоярская. Она была уже другого, более близкого нам поколения, чем та старая учительница, «хороший человек». Главная работа ее, почти тридцать лет, прошла в советское время. Началась ее жизнь в школе цветами, не помню хорошо, какие это были цветы: фикусы, лимонные деревья, пальмы или филодендроны. Теперь деревья эти, по одному в комнате, так разрослись, что каждое заполнило все пространство, и класс представлял собою зеленый сад с мелькающими между ветками головками детей.

Утром я еще дремал, когда в отведенную мне комнату прибежали дети с тряпками в руках и, не спуская глаз с моей собаки, поднимаясь на парты, на лесенку, стали вытирать пыль с листьев огромного дерева.

Когда ребята покончили с чисткой классных деревьев, мы пошли с ними в сад, огород и на пчельник. Тут уже каждый знал свое место, и совсем была незаметна руководящая воля учительницы. Но мы-то, конечно, знали, сколь-

ко незаметного труда было вложено, чтобы создать такой воодушевленный коллектив из обычного стада деревенских буянов. Мало того! Мы тоже хорошо знали, сколько такта требовалось от учителя, чтобы школа завоевала уважение и симпатию родителей в деревне. В то время в деревне был еще резкий разлад отцов и детей, и лад школы с отцами и детьми казался делом очень трудным.

— Как вы этого достигли? — спросили мы хозяйку за чаем.

— Простыми средствами, — ответила учительница, — мы старались смотреть и на родителей как на детей. Вот хотя бы эти огороды, сад, пчельник: у нас дети все сами делают, и мы все отказываемся от своей доли в доходе и все отдаем обществу. Дети воспитываются, им не грех иногда и пошалить, что-нибудь сорвать для себя, но учительница должна быть совершенно бескорыстной, это покоряет деревенских людей...

Это и очень понятно, если стать на точку зрения хлебороба, собирающего по зернышку наше богатство. Такой человек, запавший в мир материальных вещей, ждет от просвещения свободы. И когда он получил материальный прибыток от этой как бы нематериальной лотереи, называемой просвещением, он принимает его как доказательство полезности людям занятий с книгами, видит в этом движении вперед оправдание своего труда.

Прошло уже лет восемь с тех пор, как мы были в гостях у этой учительницы, и я все собираюсь и никак не могу собраться побывать у нее зимой. Очень хочется в зимнее время подойти к замерзшему окошку, протаять пальцем в нем дырочку и поглядеть в этот зеленый рай, где живут <...> дети и среди них пожилая мать со светлым лицом и голубыми глазами.

После этого впечатления мне стало ближе понимание хорошего человека. Мне кажется теперь, что пусть учитель будет мужчина или женщина, но у хорошего человека любовь к детям рождается под влиянием особого чувства материнства.

Взять тоже, Иван Иванович Фокин, из того же самого Переславского района, директор неполной средней школы в Новоселках. Этот сильный человек еще ближе к нашему времени, и учительская жизнь его вся целиком — тридцать лет — прошла в советское время. Он умер всего недели две тому назад от язвы в желудке. С этой язвой он ходил и на войну.

Тридцать лет тому назад липовые аллеи вокруг его школы только стали было от земли подниматься, а теперь они и школу закрыли. На войну он пошел, не расставаясь со своей язвой, и, когда уходил, дети на дорогу ему всего нанесли: и сливочного масла, и белого хлеба. Хватило бы надолго Ивану Ивановичу. Но случилось, в поезде, идущем в Ярославль, набились беженцы. Тут были старики, женщины с грудными детьми, оборванные, голодные. Учитель глядел, глядел и понемногу, сам того не замечая, стал свой хлеб, масло, мясо раздавать. Да так все и отдал, и нести было нечего, когда поезд пришел в Ярославль. Но учитель не об этом думал, а как бы этим людям на вокзале помочь. За тридцать-то лет сколько у него было, вышло из школы дельных людей, сколько их было в самом Ярославле! Он стал вспоминать и звонить, вспоминать и звонить. Так дозвонился он до одного своего ученика на большом месте, и тот позвал его завтракать.

— Не за угощением я пришел к тебе,— сказал Иван Иванович, садясь за стол своего ученика.— Я пришел просить тебя: сходи на вокзал, погляди...

После завтрака начальник вынул книжку и сказал:

— Ну, говорите, чего вам, Иван Иванович, на дорогу надо выписать.

— Ничего не надо,— ответил учитель.— Я только прошу тебя честно: сходи на вокзал и погляди...

В передней, как водится, прощаясь, учитель и ученик долго разговаривали о прошлом, о будущем, и начальник не один раз пытался уговорить воспользоваться случаем для себя, взять с собой на дорогу свежих продуктов. И на все предложения Иван Иванович отвечал только одно:

— А я тебе говорю: ты пойди, погляди!..

Да, вот только теперь, когда сам прошел через многое, начинаешь понимать, что это значит — хороший человек, и какое недоразумение было у тебя с хорошим человеком в молодости, когда хорошего понимал как среднего, когда на артиста или поэта смотрел как на высших существ. А между тем настоящие-то великие артисты, хотя бы тот же лично мне когда-то знакомый Шаляпин, величайший артист, если бы под гром аплодисментов Иван Иванович прошагал к нему через зал и сказал: «Ты, Федор Иванович, хороший человек!..»

Что бы тогда было?

Да вот что было бы,— за это ручаюсь: на какое-то время Шаляпин забыл бы все свои аплодисменты.

И, наверно, произошла бы вообще какая-то пауза...

И мы сейчас с вами помолчим в светлую память ушедших и во славу тысяч и тысяч незаметно живущих с нами хороших русских людей, учителей нашего народа.

МОСКВА-РЕКА



Говорят, в старину в нашем маленьком городе на какой-то колокольне висел сторожевой колокол и в него положено было звонить, только если подходил неприятель. Этот сторожевой звон подхватывали на колокольне в ближайшем селе, и так от колокольни к колокольне звон с вестью о неприятеле докатывался до Москвы. Тогда без всякого промедления по этому особенному военному звону собиралось войско и выходило навстречу неприятелю.

Вот отчего будто бы наш любимый маленький город получил свое прекрасное имя: Звени-город.

Мы живем верстах в семи от Звенигорода — в деревне Дунине на берегу реки Москвы. Правый берег нашей реки в этом месте очень высок и поднимается многими ступеньками-террасами вверх. На средней ступеньке стоит наш домик, и нам видно из окна, и как дети в школу идут по мосткам, — школа на той стороне реки в селе Козине, — и как рыбу ловят в реке.

Кто видел реку в Москве, тот не узнает ее в Дунине, скажет, это совсем другая река. До чего узка тут река в сравнении с московской! Летом у нас два мальчика, один с нашего берега, хорошо понатужившись, перекидывает другому мальчику на другой берег камешек с ниточкой, и так оба мальчика соединяются. Посредине этой лески над рекой висит крючок («зазубрик»), и на этом зазубрике насажен живец: обыкновенно это бывает пескарь, но случается и плотичка, и маленький окунь. Мальчики леску то подтянут, то ослабят, чтобы наживка не ныряла глубоко в реку, а только бы *тюкала* о поверхность воды и опять поднималась вверх над водой.

Есть в реке щука, есть шелеспер, голавль, окунь — все эти хищники гоняются за маленькими рыбками. Бывает часто, сам видишь с берега, как рыбешка, спасаясь от хищника, выпрыгнет из воды и на мгновение сверкнет на солнце серебряным огоньком. Но скорей всего этим всплеском она только еще сильнее раздражает и привлекает врага. Так вот и мальчики тюкают рыбкой по воде, дразнят хищника, пока он, наконец, не хватит наживку и не сядет сам на зазубрик. Тут-то вот и прибирают его мальчишки к рукам: один, более опытный, сматывает леску на свою катушку и подтягивает к себе пойманного хищника, а другой согласно отпускает ее со своего мотка.

Не знаю, есть ли на свете еще где-нибудь такой способ рыбной ловли? У нас на Москве-реке этот способ называется ловлей на *тюкалку*.

Теперь представьте себе, что в Москве, где-нибудь у Москворецкого, Краснохолмского или Каменного моста, тоже так два мальчика захотели бы соединиться ниточкой! Никакого разговора не может быть, никакого сравнения закованной в камень реки великого города с нашей маленькой зеленой рекой! Но вы простите нас, москвичи, мы живем в Дунине, и нам так хочется постоять за нашу милую реку: пусть невелика наша речка и проста, но без нее не было бы и большой Москвы, пусть у нас небогато водой, но ведь и мы сами, люди, с малолетства бываем ростом невелики, а потом, переходя свою жизнь, как разрастаемся! А рыбы у нас не меньше, чем в московской Москве, и живем мы весело...

Только в самом начале с тюкалкой идут два мальчика, вскоре из села Козина сбегаются рыбу ловить все мальчики и даже девочки, а с нашей дунинской стороны, случается, в праздник и взрослые не упустят случая позабавиться и по берегу за мальчишками всем колхозом идут.

А еще надо сказать, что ранней весной наша маленькая Москва-река так разливается, что куда тут закованной в камень городской Москве! Бывает, после снежной зимы придет такое богатое половодье, что и конца-края не видно: все луга на той стороне, вся низменная пойма становится дном весеннего моря. Такое море бывает, что только едва разберешь вдали темную полоску и по ней догадаешься: это там, у темного леса, приходит край воде.

Как весело нам тогда бывает со всем дунинским народом глядеть на разлив!

Каждый прохожий тогда к нам присядет. Вот бы и вы

тоже присели к нам, дорогой читатель, и послушали, о чем мы говорим, и догадывались бы, о чем мы молчим. Если же вы захватите с собой книжку и запишете наши слова, то эти слова потом у вас дома непременно обернулись бы в волшебную сказку.

Глядите, вон там, где мы когда-то резали прутики ивы, чтобы из них себе для грибов корзинку сплести, теперь от всего богатства береговых зарослей корзиночной ивы торчит одна-единственная ивинка. Кто-то обратил на нее внимание и говорит:

— Глядите на иву!

И весь дунинский народ послушно глядит и молча догадывается, для чего это кто-то велел обратить внимание на жалкое деревце.

Проходит огромная льдина — и прямо на ивину. И только льдина подошла, гибкое деревце-прутик поклонилось и совершенно исчезло из глаз. Но льдина скоро проходит, и кто-то облегченно встречает деревце и говорит согласно чувствам всех дуинцев:

— Вот она, воскресла!

Ивинка вышла из-под огромной боевой льдины совсем невредимая.

Другая льдина поджигает деревце, и оно с поклоном исчезает и опять возвращается, и опять новая льдина, и опять ивинка кланяется.

— Кланяется, кланяется! — говорит инвалид Ваня и, склоняясь к молодой жене, приговаривает:

— Кланяется, кланяется, за то вот из нее и корзинки плетут.

И все тогда вслед за Ваней смеются над ивинкой, и кто-то даже назвал ее подхалимой.

Новый голос призывает:

— Глядите, ребята, вон на той льдине трясогузка плывет!

Льдины шепчутся между собой, и сквозь шепот кто-то услышал тоненький птичий голосок.

— Слушайте, — говорит он, — трясогузка поет!

И правда, как этому не удивиться, как не обрадоваться, что весною и маленькая птичка на льдине плывет и поет!

Но еще удивительней, что на береговое дерево прилетели два поползня и сели на глазах у всего народа на чистый сучок. У одного поползня был пушок в клюве для гнезда, а другой поглядел на трясогузку и тоже запел. Но все ли знают поползня, похожего скорее на мыша, чем на птицу,

и вот этот-то поползень, бегающий вниз головой по стволу дерева, весною запел!

Замечательная наша река! И так, если бы ничего не менялось, то как сел бы на высоком холме на бревнышко, так и сидел бы и сидел всегда тут, провожая старую жизнь в счастливой надежде зеленого цветущего будущего новой весны. Но долго сидеть не приходится: кому на службу идти, кому печку топить, кому в колхоз на работу, кому на завод «Металлист» гнуть и давить из железа кастрюли. Остаются на холме только Ваня-перевозчик, да ребята-школьники, да молодые трикотажницы, отрезанные водой от мастерской на той стороне.

Мы бы, конечно, могли хоть до вечера глядеть на ледоход, но инвалиду надо лодку смолить, и мы все беремся за дело: трикотажницы собирают дрова, мальчики разводят огонь под котлом со смолой. Сам Ваня, опираясь на свои костыли, распоряжается нами, и каждый из нас слушается: Ване надо помочь, да и самим хочется поскорей на ту сторону.

Сколько льдин, больших и малых, прошло, пока размякла твердокаменная черная смола в котле! Сколько споров прошло между льдинами, сколько из них налезло на берег, беззаконниц, осужденных под лучами вешнего солнца капля по капле изнывать на сухом берегу! И сколько величавых, достойных, уверенных льдин в законе прошло, пока огненные ручейки растопленной и зажженной смолы обегали все планочки лодки и оставляли за собой черный, блестящий, медленно остывающий смоляной след!

Вот наконец лодка, готовая, лежит вверх дном и остывает и твердеет перед большой работой на все половодье до тех пор, пока от всей голубой воды разлива не останутся на зеленом пойменном лугу только редкие синие глазки. Тогда этот же Ваня-перевозчик устроит мостки через нашу Москву-реку, и трикотажницы зашумят по мосткам, мешая нам ловить пескарей.

Но далеко до этого времени. Под вечер мы опять сидим на холме: на самом верху наш командир Ваня, вокруг него все школьники, а пониже школьников в кружке все молодые трикотажницы. Мы еще не остыли от работы и как будто ждем команды своего командира.

Вон карий, и ясный, и твердый, и такой чистый глазок нашего лучшего ученика Васи Веселкина требовательно глядит в рассеянные по голубому пространству голубые глаза командира.

— Ваня! — решился позвать Вася Веселкин.

— Ну? — отвечает Ваня.

— Ты везде бывал? — спрашивает Веселкин.

— И везде, — отвечает командир, — и за везде: я прошел весь путь войной от Сталинграда и до Берлина.

Все это известно, и, конечно, мальчик хочет что-то спросить еще и не может, усиливается и только краснеет, а лодочник собрался в себе и ждет. Надо скорей помочь мальчику.

— Ваня! — сказали мы. — Веселкин хочет сказать: «Ты много видел всяких земель. Есть ли на свете где-нибудь местность краше нашего Дунина?»

— Что там земли разные! — отвечает Ваня. — Я видел море. Да, папаша, Черное море!

— Видел Черное море! — подхватили школьники.

А трикотажницы после них ко мне почти с укоризной:

— Ваня видел море, а вы, папаша, говорите о нашей маленькой Москве-реке!

— Хороши тоже, — продолжал Ваня, — леса Богемские.

— Богемские леса! — подхватил за ним хор мальчиков.

И за мальчиками опять с ласковой укоризной ко мне молодые трикотажницы:

— Ваня Богемские леса видел, а вы, папаша, спрашиваете, есть ли на свете местность краше нашего Дунина!

— Какие там горы в Богемских лесах! — рассказывал Ваня. — Какие там зеленые холмы, и какие проходил я красивые города и между городами поля и луга, и на лугах какие там были стада!..

Столько Ваня насказал всего о красивых землях своих и чужих стран! Трикотажницы перестали даже меня укорять, и один только Вася Веселкин смотрел на меня и чего-то все ждал и ждал...

И вдруг Ваня-инвалид обернулся прямо ко мне, стукнул себя в грудь кулаком и сказал с таким чувством, как будто он хотел молотком из камня навсегда вырубить свои слова:

— Папаша! Много-много я на свете видел разных земель, и своих и чужих, но краше местности нашего Дунина я нигде не видал!

Вот этих-то слов как будто только и дожидался Вася Веселкин: мальчик так и подпрыгнул! И что бы мне сказали молодые трикотажницы, если бы как раз в этот миг внимание всех нас не привлекла к себе чудесная гостья. На свободной голубой воде, на этой бирюзовой полоске между

стенами льдин, на маленькой сахарной лодочке-льдинке проплывала мимо нас чисто белая чайка на розовых ножках, с черной головкой, и такая прекрасная, что от нее все само собой без всяких лишних слов выходило то самое, чего мы все так страстно хотели и не смели друг другу сказать: на свете сейчас в эту чудесную пору русской весны для нас всех действительно ничего не было краше нашего Дунина!

ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН

(Рассказы)

1. ПАУТИНКА



Большинство ребят в лесу всеми силами стремятся показать свою власть над природой: ломают сучья, жгут смолу на деревьях, вбивают в живые стволы гвозди, разоряют гнезда. При наблюдении работы пионерских лагерей нам следует непременно учитывать тоже и состояние окружающих лагерь лесов.

Но не следует, кажется мне, нам, осматривая эти поруганные леса, обрушиваться своим гневом на детей. Мы же все были детьми и по себе знаем, как хочется в детстве быть хозяином, имеющим власть над всем живущим в природе. Это чувство хозяина врожденное и, по-моему, хорошее чувство. Но беда только в том, что каждый маленький хочет быть хозяином природы только в своих интересах и оттого часто является для общества жестоким вредителем. И оттого не на детей должен обрушиться наш гнев, а на воспитателей: они должны приучать детей быть хозяевами в интересах общества, сознавать себя посланниками общественного человека, действительно имеющего благотворное право распоряжаться дарами природы.

В старое время воспитатели стремились жестокость, будто бы свойственную чувству хозяина природы, заменить исключительно одной милостью, тоже свойственную чувству хозяина. Но это неверное воспитание. В самом деле,

почему бы нам в положении хозяина, представителя человека общественного, и не рубить лесов. Всякий спелый лес, приближаясь к старости, находится на пути гибели от червя или пожара. Так лучше же он достанется нам, чем улетит в огне или развалится от червей... И оттого мы должны расставаться с жалостью и рубить леса; мало того, если по верному плану нам необходимы зерновые культуры, мы должны искоренять леса и землю распахивать. Жестокость как сила и жалость как внимание к жизни непременно входят в чувство хозяина. Воспитателю нужно научить нас пользоваться разумно тем и другим. Но я думаю, в жизни тысячи раз с давних времен высказывались эти мысли, и с ними нормальный человек встречается в жизни и без особых воспитателей.

Вот бы рассказать о себе, как я сам в жизни своей эти мысли нашел. Но об этом долго рассказывать, а лучше расскажу, как я встречаюсь с ними в своей повседневности и постоянно вхожу в лес учеником, а выхожу учителем. Я расскажу о своих ежедневных открытиях в лесу, пусть ничтожных по себе, но всегда новых и раскрывающих мой личный путь жизни гораздо скорей и верней биографии.

Вот был солнечный день, такой яркий, что лучи проникали даже и в самый темный лес. Шел я вперед по такой узенькой просеке, что некоторые деревья с одной стороны перегибались на другую, и это дерево шептало своими листиками что-то другому дереву, на той стороне. Ветер был очень слабый, но все-таки он был: и наверху лепетали осинки, и внизу, как всегда, важно раскачивались папоротники. Вдруг я заметил: со стороны на сторону через просеку, слева направо, непрерывно там и тут перелетают какие-то мелкие огненные стрелки. Как всегда в таких случаях, я сосредоточил свое внимание на стрелках и скоро заметил, что движение стрелок происходит по ветру, слева направо. Еще я заметил, что на елках их обычные побеги-лапки уже вышли из своих оранжевых сорочек и ветер сдувал эти ненужные больше сорочки с каждого дерева во множестве великом: каждая новая лапка на елке рождалась в оранжевой сорочке, и теперь сколько лапок, столько сорочек слетало — тысячи, миллионы...

Мне видно было, как одна из этих слетающих сорочек встретила с одной из летящих стрелок и вдруг повисла в воздухе, а стрелка исчезла. Я понял тогда, что сорочка повисла на невидимой мне паутинке, и это дало мне возможность в упор подойти к паутинке и вполне понять

явление стрелок: ветер поддувает паутинку к солнечному лучу, блестящая паутинка вспыхивает от света, и от этого кажется, будто стрелка летит. В то же время я понял, что паутинок этих, протянутых через просеку, великое множество, и, значит, если я шел, то разрывал их, сам не зная того, тысячами. Мне казалось, что у меня была такая важная цель — учиться в лесу быть его настоящим хозяином, — что я имел право рвать все паутинки и заставлять всех лесных пауков работать для моей цели. Но эту замеченную мной паутинку я почему-то пощадил: ведь это она же благодаря повисшей на ней сорочке помогла разгадать мне явление стрелок. Был ли я жесток, разрывая тысячи паутинок? Нисколько: я же их не видел — моя жестокость была следствием моей физической силы. Был ли я милостив, наклоняя для спасения паутинки свою натруженную спину? Не думаю: в лесу я веду себя учеником, и если бы я мог, то ничего бы не тронул. Спасение этой паутинки я отношу к действию моего сосредоточенного внимания.

2. ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН

То было в солнечный день, а то расскажу, как было в лесу перед самым дождем. Наступила такая тишина, было такое напряжение в ожидании первых капель, что, казалось, каждый листик, каждая хвоинка силилась быть первой и поймать первую каплю дождя. И так стало в лесу, будто каждая мельчайшая сущность получила свое собственное, отдельное выражение.

Так вхожу я к ним в это время, и мне кажется: они все, как люди, повернулись ко мне лицами и по глупости своей у меня, как у бога, просят дождя.

— А ну-ка, старик, — приказал я дождю, — будет тебе всех нас томить, ехать так ехать, начинай!

Но дождик в этот раз меня не послушался, и я вспомнил о своей новой соломенной шляпе: пойдет дождь — и шляпа моя пропала. Но тут, думая о шляпе, увидел я необыкновенную елку. Росла она, конечно, в тени, и оттого сучья у нее когда-то были опущены вниз. Теперь же, после выборочной рубки, она очутилась на свету, и каждый сук ее стал расти кверху. Наверно, и нижние суки со временем поднялись бы, но ветки эти, соприкоснувшись с землей, выпустили корешки и прицепились... Так под елкой с поднятыми вверх сучьями внизу получился хороший шалашик. Нару-

бив лапнику, я уплотнил его, сделал вход, устелил внизу сиденье. И только уселся, чтобы начать новую беседу с дождем, как вижу, против меня совсем близко пылает большое дерево. Быстро схватил я с шалаша лапник, собрал его в веник и, стегая им по горящему месту, мало-помалу пожар затушил раньше, чем пламя пережгло кору дерева кругом и тем сделало бы невозможным движение сока.

Вокруг дерева место не было обожжено костром, коров тут не пасли, и не могло быть подпасков, на которых все валят вину за пожары. Вспомнив свои детские разбойничьи годы, я сообразил, что смолу на дереве поджег скорей всего какой-нибудь мальчишка из озорства, из любопытства поглядеть, как будет гореть смола. Спустившись в свои детские годы, я представил себе, до чего же это приятно взять чикнуть спичкой и поджечь дерево.

Мне стало ясно, что вредитель, когда загорелась смола, вдруг увидел меня и скрылся тут же где-нибудь в ближайших кустах. Тогда, сделав вид, будто я продолжаю свой путь, посвистывая, удалился я с места пожара и, сделав несколько десятков шагов вдоль просеки, прыгнул в кусты и возвратился на старое место и тоже затаился.

Недолго пришлось мне ждать разбойника. Из куста вышел белокурый мальчик лет семи-восьми с рыжеватым солнечным запеком, смелыми, открытыми глазами, полуголый и с отличным сложением. Он враждебно поглядел в сторону просеки, куда я ушел, поднял еловую шишку и, желая пустить ее куда-то в меня, так размахнулся, что перевернулся даже кругом себя. Это его не смутило; напротив, он, как настоящий хозяин лесов, заложил обе руки в карманы, стал разглядывать место пожара и так сказал:

— Выходи, Зина, он ушел!

Вышла девочка, чуть постарше, чуть повыше и с большой корзиной в руке.

— Зина, — сказал мальчик, — знаешь что?

Зина глянула на него большими спокойными глазами и ответила просто:

— Нет, Вася не знаю.

— Где тебе! — вымолвил хозяин лесов. — Я хочу сказать тебе: не приди тот человек, не погаси он пожар, то, пожалуй, от этого дерева сгорел бы весь лес. Вот бы мы тогда поглядели!

— Дурак ты! — сказала Зина.

— Правда, Зина, — сказал я, — вздумал чем хвастаться, настоящий дурак!

И как только я сказал эти слова, задорный хозяин лесов вдруг, как теперь говорят, «смылся».

А Зина, видимо, и не думала отвечать за разбойника, она спокойно глядела на меня, только бровки ее поднялись чуть-чуть удивленно.

При виде такой разумной девочки мне захотелось обратить всю эту историю в шутку, расположить ее к себе и потом вместе обработать хозяина лесов. Как раз в это время напряжение всех живых существ, ожидающих дождя, дошло до крайности.

— Зина,— сказал я,— смотри, как все листики, все травинки ждут дождя, вон заячья капуста даже на пень забралась, чтобы захватить первые капли.

Девочке моя шутка понравилась, она милостиво мне улыбнулась.

— Ну, старик,— сказал я дождю,— будет тебе всех нас томить, начинай, поехали!

И в этот раз дождик послушался, пошел. А девочка серьезно, вдумчиво сосредоточилась на мне и губки поджала, как будто хотела сказать: «Шутки шутками, а все-таки дождик пошел».

— Зина,— сказал я поспешно,— скажи, что у тебя в этой большой корзине?

Она показала: там было два белых гриба. Мы уложили в корзину мою новую шляпу, закрыли папоротником и направились от дождя в мой шалаш. Наломав еще лапнику, мы укрыли его хорошо и залезли.

— Вася,— крикнула девочка.— Будет дурить, выходи!

И хозяин лесов, подгоняемый проливным дождем, не замедлил явиться.

Как только мальчик уселся рядом с нами и захотел что-то сказать, я поднял вверх указательный палец и приказал хозяину:

— Ни гу-гу!

И все мы трое замерли.

Невозможно передать все прелести пребывания в лесу под елкой во время теплого летнего дождя. Хохлатый рябчик, гонимый дождем, ворвался в середину нашей густой елки и уселся над самым шалашом. Совсем на виду под веточкой устроился зяблик. Ежик пришел. Проковылял мимо заяц. И долго дождик шептал и шептал что-то нашей елке. И мы долго сидели, и все было так, будто настоящий хозяин лесов каждому из нас отдельно шептал, шептал, шептал...

3. СУХОСТОЙНОЕ ДЕРЕВО

Когда дождик прошел и все вокруг засверкало, мы по тропе, пробитой ногами прохожих, вышли из леса. При самом выходе стояло огромное и когда-то могучее дерево, пережившее не одно поколение людей. Теперь оно стояло совершенно умершее, было, как говорят лесники, «сухостойное».

Оглядев это дерево, я сказал детям:

— Быть может, прохожий человек, желая здесь отдохнуть, воткнул топор в это дерево и на топор повесил свой тяжелый мешок. Дерево после того заболело и стало зализывать ранку смолой. А может быть, спасаясь от охотника, в густой кроне этого дерева затаилась белка, и охотник, чтобы выгнать ее из убежища, принялся тяжелым поленом стучать по стволу. Бывает довольно одного только удара, чтобы дерево заболело.

И много, много с деревом, как и с человеком, и со всяким живым существом, может случиться такого, от чего возьмется болезнь. Или, может быть, молния стукнула?

С чего-то началось, и дерево стало заливать свою рану смолой. Когда же дерево стало хворать, об этом, конечно, узнал червяк. Закорыш забрался под кору и стал там точить. По-своему как-то о червяке узнал дятел и в поисках закорыша стал долбить там и тут дерево. Скоро ли найдешь? А то может быть и так, что, пока дятел долбит и раздолбит так, что можно бы ему и схватить, закорыш за это время продвинется, и лесному плотнику надо снова долбить. И не один же закорыш, и не один тоже дятел. Так долбят дерево дятлы, а дерево, ослабевая, все заливает смолой.

Теперь поглядите вокруг дерева на следы костров и понимайте: по этой тропе люди ходят, тут останавливаются на отдых и, несмотря на запрет в лесу костры разводить, собирают дрова и поджигают. А чтобы скорей разжигалось, стесывают с дерева смолистую корку. Так мало-помалу от стесывания образовалось вокруг дерева белое кольцо, движение соков вверх прекратилось, и дерево засохло. Теперь скажите, кто же виноват в гибели прекрасного дерева, простоявшего не меньше двух столетий на месте: болезнь, молния, закорыш, дятлы?

— Закорыш! — быстро сказал Вася.

И, поглядев на Зину, поправился:

— Дятлы!

Дети были, наверно, очень дружны, и быстрый Вася привык читать правду с лица спокойной умницы Зины. Так, наверно, он слизнул бы с ее лица и в этот раз правду, но я спросил ее:

— А ты, Зиновка, как ты, милая дочка моя, думаешь?

Девочка обняла рукой ротик, умными глазами поглядела на меня, как в школе на учителя, и ответила:

— Наверное, виноваты люди.

— Люди, люди виноваты, — подхватил я за ней.

И, как настоящий учитель, рассказал им о всем, как я думаю сам для себя: что дятлы и закоруши не виноваты, потому что нет у них ни ума человеческого, ни совести, освещающих вину в человеке; что каждый из нас родится хозяином природы, но только должен много учиться понимать лес, чтобы получить право им распоряжаться и сделаться настоящим хозяином леса. Не забыл я рассказать и о себе, что до сих пор учусь постоянно и без какого-нибудь плана или замысла ни во что в лесу не вмешиваюсь. Тут не забыл я рассказать и о недавнем своем открытии огненных стрелок, и о том, как пощадил даже одну паутинку.

После того мы вышли из леса, и так со мною теперь постоянно бывает: в лесу веду себя как ученик, а из леса выхожу как учитель.

ЗОЛОТАЯ РУКА



Нашему дедушке в этом году стукнуло семьдесят семь лет, но он все не унимается, работает с утра до ночи, а в свободное время даже и на охоту ходит. Прошлый год погибла от чумы его любимая собака Жулька (Жизель). Наши соседи говорили:

— Ну, вот, теперь уже дедушка не будет больше возиться с собаками. Хватит!

Да и мы сами думали, что нет у него больше духу купить нового щенка, выращивать его, учить дома и в поле.

Нет! Опять у нас подрастает щенок, только не Жулька,

а Жалька (Джали), и в доме опять кутерьма: то стянет с гвоздика полотенце и мчит его по коридору с высоко поднятой головой, то у соседей кастрюлю опрокинет с молоком, — сам испугается, забьется под диван, лежит и дрожит. И опять у нас соседи ворчат:

— Семьдесят семь лет старику — и все не унимается, какой-то неумный бубен.

Но не из железа же сделан человек! В последнюю эпидемию гриппа дедушка наш захворал. Какое там уж железо! Дедушка беспрерывно кашлял, загорелся и залег в постель.

Вызвали знакомую докторшу из района, и прилетела к нам, как облако, вся в голубом, молодая блондинка — наша районная докторша Юлия Павловна.

— Дышите! — приказывает.

Дедушка дышит и кашляет.

— Еще дышите!

Еще дышит, и в груди что-то поет на всю комнату.

Докторша выслушала дедушку, нахмурилась, покачала головой и говорит:

— Пришло время и вам поболеть!

У дедушки оказалось воспаление в легких, на той и на другой стороне.

— Пенициллин! — сказала Юлия Павловна.

И назначила ввести в тело дедушки армию в пять миллионов бойцов, называемых «медицинскими единицами». Что это значило, мы поняли, когда принесли лекарство из аптеки. В коробке было множество пузырьков, и в каждом пузырьке на донышке порошок желтого цвета. Было две крышечки на каждом пузырьке: одна металлическая, легко снималась, другая — резиновая. Сквозь эту резиновую пробочку протыкали острой иглой шприца дырочку и вводили бесцветную жидкость. Порошок плесени в ней растворялся, и жидкость получалась цвета темного гречишного меда. Потом жидкость из пузырька выкачивали шприцем, и это была целая армия бойцов в сто тысяч медицинских единиц, готовых войти в тело человека и начать борьбу за его жизнь. Решено было через каждые три часа круглые сутки вводить по сто тысяч бойцов и всего ввести на борьбу с болезнью войска в пять миллионов.

Нам стало жалко дедушку, и мы спросили.

— Очень больно будет?

Вместо ответа докторша подошла к телефону и долго спорила с кем-то, настаивала на своем, повторяя имена

медицинских сестер — Клавдии Ивановны и какой-то Елены Константиновны. Кончив разговор, она сказала нам ответ свой на вопрос: больно ли будет дедушке или терпимо?

— У нас, — сказала она, — есть медицинская сестра Клавдия Ивановна, и у нее такая легкая рука, что сонного уколёт и он слышать не будет. Сейчас она занята и придет только через сутки, но ждать нам нельзя; сейчас придет другая сестра — Елена Константиновна, тоже хорошая сестра, строгая, аккуратная, только жалуются больные: колёт больно, рука тяжела.

Первый укол сделала сама Юлия Павловна, и так легко, что дедушка во время укола чему-то улыбнулся. И когда Юлия Павловна ушла, он стал еще больше смеяться и сказал:

— Длинный сарафан!

— В чем дело? — спросили мы.

— Волос долог! — ответил он. — Как это вы сами не понимаете? Она же доктор, ученая женщина, а держится бабьих глупых басен о тяжелой и легкой руке. Не в легкой руке дело и не в тяжелой, а в уме и в мастерстве. Колёт больно — значит, плохо умеет, колёт без боли — значит, мастер своего дела.

— Ничего, дедушка, — подсчитав, сказали мы, — потеряйте: в сутки Елена Константиновна будет колоть вас всего восемь раз, один раз сделано, остается семь, и введет вам восемьсот тысяч бойцов, а всего надо ввести пять миллионов, и это будет делать Клавдия Ивановна, а у ней рука легкая.

— Легкая! — засмеялся дедушка добродушно, понимая, что и мы смеемся над суеверием докторши.

Через три часа после первого укола пришла сестра Елена Константиновна, и сразу же с ее приходом у нас как будто все сошло со своих мест. Не успела в передней сестра снять один свой ботик и приняться за другой, как Жалька схватила первый ботик, высоко подняла его и, помахивая им в разные стороны, помчалась по коридору. Сестра в одном ботике помчалась за Жалькой, Володя и Миша — за сестрой. В большой комнате Жалька с ботиком носилась вокруг стола, и дети с трудом ее поймали. Во все время этой погони сестра ни разу не улыбнулась, и бледное узкое лицо ее покрылось несходящими сердитыми красными пятнами. Она потребовала удаления собаки. Мы заперли Жальку, и она в неволе выла все время и беспокоила наших

соседей. Больше всего обидно было за детей: они же отбили ботик у Жальки, и им же рассерженная сестра в глаза сказала:

— Какие невоспитанные дети!

Через каждые три часа круглые сутки сестра вводила в тело дедушки по сто тысяч бойцов. Во время укола больной закрывал глаза, а по лицу его во время вливания как будто перебегали серые мышки.

Дедушке становилось все хуже и хуже. Ясные глазки его потускнели, и он редко их открывал.

— До свиданья, будьте здоровы! — сказала ему сестра.

Больной открыл глаза, поглядел и, ничего не сказав, закрыл. Сестра ушла, и те красные пятна на ее бледном лице так и не сошли.

Через три часа после ухода первой сестры пришла к нам сестра Клавдия Ивановна. Она была маленькая, и так было чудно: она как будто смеялась глазами, а щеки только помогали немного ей глазам улыбаться. Из всех нас эти милые глаза сразу же выбрали Жальку, и в ответ собака прыгнула и чуть-чуть только не поцеловала маленькую сестру в губы.

Когда сестра надела белый халат, мы все вместе, и, конечно, с Жалькой, вошли к дедушке, и он, увидав Жальку, как будто чуть-чуть улыбнулся и, глядя на Клавдию Ивановну, как будто узнавал ее.

Сколько бойцов ввела Клавдия Ивановна, как боролись армии за жизнь человека, все это записывалось; число вливаний, пульс, температура — все оставалось на бумажке для доктора.

Сам дедушка нам рассказывал потом, что в какую-то ночь, перед каким-то вливанием слышит он, будто Жалька лапой царапнула по двери и открыла ее и тихонько вошла. Все в доме спали, и так тихо было, что слышалось ясно больному, как стучали на ходу о пол собачьи коготки. Этот стук прекратился у постели, и дедушке стало хорошо, так почему-то радостно.

— Дай лапку! — сказал он.

Жалька положила на постель одну лапу.

— Дай другую! — приказал больной.

Жалька положила другую лапу и поднялась.

Тогда представилось дедушке, как это часто во сне представляется охотникам, будто не простые это полянки в лесу, не простые цветы, а как заливы цветов, и по ним, цветистым заливам, в сиянии носится его собака, и он все

идет, идет из залива в залив, и конца этому нет, и все лучше и лучше...

Но это радостное охотничье чувство налетело и прошло. Дедушка понял, что теперь далеко до лета, что он болен, а Жалька носом холодным подняла одеяло и лизнула тело его горячим языком. Теперь собака, по его рассказу, конечно, должна бы прыгнуть на кровать, а это нельзя, и дедушка закричал:

— Убирайся вон!

Очнувшись, он увидел, что это не собака была, а Клавдия Ивановна стоит над ним и смеется своими глазами.

— Извините, Клавдия Ивановна, — сказал дедушка. — Мне приснилось, будто это Жалька лезет ко мне на кровать. Пожалуйста, сделайте вливание.

— А я уже сделала! — ответила Клавдия Ивановна.

Так сделала безболезненно, что дедушка совсем ничего не слышал, никакой сучок даже не уколол его сквозь сон на волшебной охоте в лесу, и самый укол он понял, будто любимая его собака лизнула по телу горячим языком.

Дедушка вдруг чему-то очень обрадовался, высвободил руку, пожал руку сестре и сказал:

— Сестрица, дорогая, у вас золотая рука!

Наверно, этот укол и был тот самый, когда враждебная жизни армия капитулировала, и здоровье стало возвращаться к больному. На другой день вернулся к дедушке обычный его интерес к жизни всякого человека, и Клавдия Ивановна подробно рассказывала ему о себе: сколько она зарабатывает в поликлинике, сколько подрабатывает ночными дежурствами и куда и на что идет ее заработок. Оказалось, что муж ее убит на войне и у нее на руках теперь мать и мальчик Андрюша шести лет.

— Шесть только лет, — рассказывала Клавдия Ивановна, — а какой умница, если бы вы только знали!

И привела пример из жизни Андрюши такой, что каждый день непременно, когда она возвращается со службы домой, он задает вопрос, кем ему лучше сделаться, чтобы лучше потом помогать маме и бабушке.

— Доктором, конечно! — сказал дедушка.

— А это он сам знает, и сам каждый день называет что-нибудь новое: доктором было, рабочим было, инженером и чего, чего! А в последний раз знаете, что сказал?

— Наверно, летчиком? — спросил дедушка.

— Летчиком — это уже много раз. Нет! «Хочу, — говорит, — сделаться адмиратором!»

— Адмиралом? — спросил дедушка.

— Нет, — отвечает сестра, — оказалось, администратором.

Дедушка весело смеялся над этим «адмиратором», а когда сестра закончила свое дежурство, нашел какую-то хорошую книгу с картинками и написал на ней:

«Милый Андрюша! Не думай много о том, кем тебе быть. Будешь доктором, будешь рабочим, инженером, летчиком, администратором — на всяком месте помни о маме, работай, как мама, и везде будет тебе хорошо, и чтобы все говорили: у Андрюши, как у мамы его, золотая рука».

До того скоро ожил дедушка от нового средства, что соседи, увидав его, сказали:

— Вам эта болезнь, как с гуся вода!

— Не в гусе дело, — ответил дедушка, — а в совершенстве ума человеческого. Подумайте только, будь у людей это средство в тысяча девятьсот десятом году, так не умер бы Лев Толстой от воспаления легких где-то на глухой станции, а может быть, великий человек еще бы с нами пожил сколько-то лет.

МОЛОДОЙ КОЛХОЗНИК



Еще древний славянин начал войну с лесом и, вырубаясь, оставил нам после себя мрачный завет: лес — это бес. Но беззаветно людям хочется жить, и твердая рука держит стальной топор, и чем больше хочется жить, тем и тверже рука, и чище рубит топор, и легче режет пила. В этом и была радость жизни наших предков на Севере: рубить леса, вырубаться из леса и строить свою человеческую жизнь на светлой, открытой поляне.

Не сказать, чтобы наше село так-то уж очень давно вышло из леса, но люди уже и сейчас жалуется на переме-

ну: далеконько стало ходить в лес из села за дровами, и за клюквой, и за грибами. Заметно тоже, что и древний завет вражды к лесу сменяется дружбой: на утеху ребятишкам многие стали сажать у себя возле дома березку, или раннюю иву, или черемуху, рябину или калину. А у бабушки Арины возле дома кто из сыновей уходил на войну, тот и сажал на память о себе деревце. И вот выросло у бабушки под окнами шесть разных деревьев, а из сыновей домой с войны никто не вернулся.

Стоят теперь и поднимаются из года в год все выше и выше эти деревья, и бабушка хорошо помнит, кто их сажал: все деревья эти называются именами погибших на нескольких войнах сыновей: Сашина рябина, Николина калина, Сережина березка, Мишина елочка, Павлова сосенка и Данилов дубок.

Можно ли помириться с тем, что вот были живые люди, собственные дети, и теперь вместо них деревья растут? Нет, мы думаем, помириться с этим нельзя матери, все будет вспоминаться, где-то нить на душе, но жить, конечно, можно. И бабушка Арина, солдатская мать, жила себе и жила понемногу, а деревья поднимались все выше...

Приходит весна, развязывается на дереве какой-нибудь узелок, и от него расходятся веточки. Кто-то проходил мимо и заметил на веточке свое время и потом каждый раз, когда проходил, вспоминал, по приросту этой своей замеченной ветки из года в год, о чем-то своем думал и, может быть, думая, на что-то решался...

У каждого человека есть свое понимание времени, и у каждого есть свой тайный узелок. Но вот пришло время — и жизнь наша разделилась на два пути: либо вперед, на гору — к новому, либо назад, под гору — к старому.

Третьего пути не было, и оттого все тайны открылись, все узелки развязались.

— Арина Павловна, — уговаривали мы солдатскую мать, — мы же против нашего общего и главного врага идем, того самого, кто на всем свете расколол всех людей надвое войнами, кто побил всех ваших детей, кто сейчас у нас на селе крутит и мутит и жить не дает ни старым, ни малым. Вы его в старину бесом называли, а мы кулаком. Коровы и те, когда волка завидят, собираются вместе и наводят рога, а мы все терпим. Пора и нам взяться за ум и тоже к врагу повернуться рогами.

— Где вам! — отвечает бабушка. — Как это можно устроить общую жизнь, если в одной семье люди не могут

устроиться, дерутся между собой и бегут друг от дружки куда глаза глядят.

Столько времени бежала река жизни, столько воды утекло, а у бабушки в голове только одно: если пять человек в семье не могут между собою сойтись, то как могут сойтись в колхозе пятьсот человек?

Так останавливается и закругляется душа старого человека: мы, молодые, уже видим впереди агрогород и в нем человека в дружбе с природой, мы уже собираемся в миллионные рати на борьбу против войн, а у бабушки в душе все еще дикий лес и в лесу старый бес.

Скоро пришло время, и некогда стало нам старух склонять к новым идеям, да и незачем! Оглянуться не успели мы, отдаваясь новой жизни, как там и тут появились колхозы-миллионеры и наметились ростки великой мысли об агрогороде. Даже и в нашу лесную глушь прибыли тракторы.

Мы бы и не вспомнили солдатскую мать, если бы она одна-одинешенька доживала свой век. Но у бабушки в доме была еще ее дочь, молодая, новая женщина, и маленький внук Вася. Вот из-за этого-то Васи мы возвращаемся опять в тот домик солдатской матери, где под окнами шепчутся между собой о старых временах рябина с калиной, сосна с елочкой и березка с дубком.

Тут, в этом домике, по Васе мы догадываемся, что у бабушки в душе теплится еще вечная материнская надежда увидеть своими глазами лучшую жизнь на земле.

В середине Отечественной войны был один такой день ранней весной, когда снег уже сбежал и началось, как у нас говорят: *воспарение*. Везде: на полях, и на лесных просеках, и на дорожках пар поднимался от земли, и сквозь пар все было синее, и все дрожало волнисто. Только на одном огороде у Арины воспарения не было: огород у нее был на бугорке, и снег у нее сбежал раньше всех, и пар вышел раньше, как из трубы, а земля стала сохнуть.

Давно уже у старухи сердце болело о своем огороде, и так болело, что будь бабушка сама председателем колхоза, то ни за что бы не утерпела и вспахала бы свой личный огород прежде всех общественных работ. Но колхоз жил своей жизнью и по-своему распределял лошадей, и очередь потому-то все не доходила до пересыхающей горюшки Веселкиных.

И зачем тут колхоз! Будь бы Аксюша настоящая

расторопная прежних времен баба, так уж сумела бы как-нибудь все обделать.

— Аксюша! — не вытерпела в это утро бабушка Арина. — Доколе же мы будем ждать с огородом? Гляди, вон куры копаются, и от земли столб пыли поднимается, вон поросенок — и над ним облако, у людей пар, а у нас пыль. Скажи председателю: земля у тебя на горе, муж на войне, сама в колхозе: все права на лошадь у тебя.

— Матушка, — отвечала Аксюша, — мы же с тобой не одни в колхозе, и у нас так ведется, что работы наши общественные стоят на первом месте, а дела мои личные после. Как я теперь буду просить для себя, если у нас сейчас в колхозе такая горячка с посевной?

— Глупенькая! — отвечала мать. — Ты же знаешь, от века веков было так, что своя рубашка была ближе к телу, и этого не переменишь, и плетью обуха не перешибешь, так это навеки и останется, и ничего в этом не может быть стыдного — просить лошадь вспахать свой личный огород.

— Матушка, у нас сейчас в колхозе лошади все нарасхват на общественные работы. Ты же понимать должна: от колхоза мы все живем, а нашего огорода даже нам с тобой не хватит. Попрошу я сейчас лошадь — мне посмеются и скажут: «Тебе, Аксюша, видно, своя рубашка ближе к телу».

Дочь уходит в колхоз и как бы отходит от матери в новое время, мать отходит от дочери туда, где по старинке каждый думает только о своей рубашке. Мать и дочь расходятся в разные стороны.

Ну-ка, Вася, будет тебе спать, слезай с печки, соединяй времена, поднимай их, как поднимают дрожжи растворенное тесто. Вставай!

— Чудная ты, бабушка! — сказал Вася, слезая с печки. — Я сейчас все слышал, как ты с мамой говорила. Ты думаешь: или мы одни на свете живем, или мы лучше всех и нам все надо делать прежде других?

Бабушка только было окунула полынный веник в воду, чтобы избу подмести, но, услышав досадные слова, веник опустила.

— Ты еще мал, Вася, на тебя мы работаем, а когда свое наживать сам будешь, то свое будешь беречь от воров и сам же будешь всем говорить: «Своя рубашка ближе к телу».

Вася эти слова не сразу понял и своими большими серыми глазами удивленно глядел на бабушку. И когда

бабушка успокоилась и подняла мокрый веник, Вася наконец-то стал разбираться в странных словах.

— Бабушка, — сказал он, — ты говоришь, что у нас воры?

Арина Павловна немного смутилась: это не было в ее правилах выступать так резко против колхоза. Она не совсем свободно засмеялась на слова Васи и ответила:

— Ты, Вася, выпей-ка молочка да сбегай туда в колхоз, погляди, как они там лошадей распределяют.

Вася ответил очень серьезно:

— Я, бабушка, все, все просмотрю.

Выпил молока и убежал.

Вася был мальчик, еще свободный от школьных занятий, и вместо школы каждый день уходил в колхоз и там пропадал до обеда, а вечером часто бывал на собраниях и вместе с матерью возвращался домой. Но в этот раз даже и обедать домой не пришел и вернулся только уж к самому вечеру.

— Явился! — встретила его бабушка. — Что так долго пропадал?

— Как так долго? — ответил Вася. — Ты же, бабушка, сама мне велела воров искать.

— Что ты, что ты! — отмахнулась бабушка.

— Чудная ты, бабушка, сама сказала, а теперь трусила — и на попятный двор. А я дело это не оставил и прямо прибежал в кладовую, набрал себе в подол картошек и стал считать, сколько весов кладовщик на телегу накладывает: у него десять килограмм, а у меня одна картошка.

Вдруг он подходит ко мне и спрашивает: «Что ты делаешь?» Я отвечаю: «Ничего не делаю, а только проверяю твои весы». Как он схватит меня за шиворот и выкинул вон из кладовой совсем и с картошкой. А я подобрал картошку, стал подальше и считаю: он десять килограмм, я одну картошку. Он мне грозит кулаком и ругается, а я ему тоже кричу: «Ничего ты со мной не сделаешь, а тебя я учту!»

— Дурачок ты! — сказала бабушка.

— Нет, ты послушай, что дальше-то было! Приходит председатель, услышал, как ругается кладовщик: мешок на телегу, а мне кулак.

«Ты что это, мальчик, бузишь?» — спрашивает меня председатель.

«Да вот, — говорю, — бабушка Арина прислала меня поглядеть, какие у вас распорядки и нет ли воров».

Бабушка всплеснула руками:

— Так и сказал на меня, и язык у тебя не отнялся?

— Нет, бабушка, язык у меня не отнялся, и ты напрасно все трусишь: председатель на мои слова засмеялся и велел тебе кланяться. «Умная,— сказал,— у тебя бабушка, за нами надо глядеть и глядеть».

Тут бабушка вся покраснелась, как молоденькая, голову запрокинула, обеими ладонями закрылась, потом вытерла рот рукавом.

— Ну и боец! — сказала она. — Все ребята мои были смиренные, в кого же ты вышел?

— Это не все, бабушка,— сказал Вася. — Председатель велел передать тебе слова: «Хорошая жизнь даром не дается».

— Золотые слова! — сказала бабушка. — У нас тоже это народ говорил: «Без труда не вынешь и рыбки из пруда».

Слезы выступили на глазах у старушки. Невидящими глазами она глядела на Васю, а сама назад ушла, к своему первому, Саше, и от него вернулась и большим глазом поглядела на Васю. Есть что-то Сашино в Васе, но не все. И так всех сыновей померяла с Васей, и все в чем-то были сходны, и что-то все-таки у внука глядело свое, небывалое. Под конец бабушка хотела Васю вывести из отца его, Никиты, но тут уж у нее вовсе ничего не вышло: отец Васи был тише всех ее сыновей.

Тогда-то вот и сделалось лицо у бабушки таким покинутым, таким жалким, как бывает в иные минуты у всех стариков и отчего тогда у нас, молодых, сжимается сердце; в эти минуты старики, скорей всего, вынужденные расстаться с бывалым, предчувствуют небывалое...

— Что с тобой, бабушка? — схватился Вася.

— Ничего, ничего, Вася,— ответила бабушка,— это с нами, стариками, бывает. Не могу я понять, откуда ты такой храбрый взялся, у нас в роду таких не было.

— Чудная же ты, бабушка,— сказал Вася,— отец на войне, мама весь день в колхозе на работе, ты дома сидишь, на собрания не ходишь, ничего не видишь,— кому же, как не мне, вам помогать?

Только хорошего сначала не вышло у меня с кладовой, и не за что тебе меня хвалить. Вот иду я после того в конюшню и вижу: там в стойле торчит одна лошадка. Скорей бежать, искать бригадира! Уж я бегал, бегал, куда ни приду, и везде говорят: «Вот сейчас только был и ушел». Настиг я его в картофельной яме.

«Товарищ бригадир, — говорю ему, — у меня отец на войне, мать в колхозе работает, бабушка дома сидит, старая, огород наш личный на горушке обсох и пылит, велите нам лошадь дать вспахать огород».

«Погоди, мальчик, — отвечает бригадир, — вот ослобонится лошадь, я тебе дам».

«Там у вас, — говорю, — есть одна в конюшне».

«Та, — говорит, — хромая, ее заковали». — И ушел.

А я обратно в конюшню и вижу, этой лошадки в стойле уже нет, уже и след простыл: вот какая хромая! Что тут делать! Сильно я рассердился и пошел к председателю.

— Молодец, правильно сделал! — воскликнула бабушка. — Бригадир эту лошадку, наверно, сбил свояку пахать огород. Ну, рассказывай, боец!

— Опять я говорю председателю, что так и так: отец мой на войне, мать в колхозе, бабушка по дому хлопочет, старая, и огородик наш личный на горушке обсох и пылит. А бригадир лошадь не дает, говорит, хромая, а она здорова, и ему от меня только бы отвязаться.

«А не ты это, — спросил председатель, — рано поутру проверял кладовую?»

Узнал меня, посмеялся и теми же словами, как бригадир, говорит:

— Погоди, мальчик, вот ослобонится лошадка, я тебе первому дам, все права твои. Потерпи немного, я тебе говорил: «хорошая жизнь даром не дается».

Бабушка вздохнула: ей, видно, стало Васю жалко.

— Вот бы тебе, — сказала она, — тогда и домой на обед, а то весь день не евши, наверно, гонял?

— Чудная ты, бабушка, — отвечал Вася, — ты все только о себе думаешь, о своем огороде.

— О ком же мне думать, Васенька, как не о себе? Вот когда мне будет хорошо, я тогда и о других думать буду.

— Нет, — поправил бабушку Вася, — это совсем не так надо. Что же ты понимаешь, будто у нас о себе не думают, нет, бабушка, и у нас все о себе думают, и еще как думают! Только у нас все начинается не с себя.

Вот когда дело мое провалилось, — зачем мне домой идти, с чем мне идти? Я бросил думать о нем и пошел в поле. Хорошо мне стало: поле широкое, посередине трактор жужжит, и за трактором множество птиц. Я не раз слышал: будешь глядеть — будут и лучше пахать, а то и огрехов наделают, и работу не примут, и им же самим хуже будет.

Так вот, прихожу я в поле и говорю трактористу:

«Посади меня, я хочу тебе помогать, посади, милый, я тебе пригожусь!»

Слова не сказал тракторист, посадил рядом с собой: он баранкой вертел, а я ему указывал на дурные места — на огреки. Правда, бабушка, глаз у меня острый, а тракторист контуженый; я с пользой сидел, и мне от этого было почему-то очень хорошо, и об огороде я вовсе забыл, и даже есть не хотелось.

— Вот вы оба с матерью такие: свое проглядите, а на чужое радуетесь.

— Бабушка! Да какое же оно чужое? Ты только послушай, что из этого вышло. Приходит председатель и вот как радуется хорошей работе! Трактор останавливает нарочно, чтобы только похвалить тракториста.

«А это я не один, — говорит тракторист, — вот кого благодари!» И указывает на меня. А председатель что-то мотнул головой и записал себе в книжку.

— Что же это он такое записал? — спросила бабушка.

— Кто его знает, — ответил Вася, — может быть, он мне трудодень записал.

— Вот еще что! — засмеялась бабушка.

— Что ты смеешься! — обиделся Вася. — Я, может быть, раз сто прыгивал с трактора, и грунт проверял, и говорил трактористу. И очень просто: председатель понял мою работу.

Не сразу он узнал меня, а потом вдруг что-то вспомнил и говорит:

«Никак, мальчик, это ты утром кладовую проверял, а потом лошадь у меня просил?»

«Да, — говорю, — товарищ председатель, я вам говорил, что отец у меня на войне, мать в колхозе работает, бабушка старая дома сидит, и огородик наш на горюшке обсох. Время его пахать, а лошади все не дают, и только одно все говорят: «Погоди, мальчик, ослобонится лошадка».

«Ладно, ладно, — отвечает председатель, — скажи матери, чтобы завтра утром пораньше приходила за лошадью и оставалась дома пахать огород». А ты, бабушка, говоришь!..

Тут бабушка Арина что-то взяла себе в голову, и глаза у нее стали узенькими, и сквозь щелки эти она не вся глядела на Васю, а только чтобы можно было следить за ним. Но Васе это было все равно, он продолжал:

— Как сказал председатель, что завтра нам будет лошадь, побежал было я маму искать, но увидел — на поле

сеют горох. Дай — думаю — помогу им; может быть, мне горошку дадут. Вот тебе, бабушка!

И Вася вывернул бабушке на передник целый карман.

— Горох сеяли, — сказала бабушка, — а на воровскую-то долю хоть бросили?

— Как так на воровскую? — спросил Вася.

— А так, на воровскую, — ответила бабушка, — человек будет ходить мимо гороха и не утерпит, чтобы не сорвать горсточку. Вот и сеяли на этого человека и просили: «Уродись, горох, и на воров!»

— Ну, нет! — остановил бабушку Вася. — У нас так нельзя, у нас в колхозе людей стало много: один прохожий горсточку возьмет, другой, третий, а там птиц всяких налетит множество — и все на воров пойдет.

— Насчет птиц и у нас было строго. Ну же, рассказывай, чего ты там еще видел?

— Ты, бабушка, знаешь, я на собрании был, забился в угол и все слушал. Вот приехали из района. Спрашивали, как дела, как посев, какая упитанность скота, как уборочная. И совет давали, чтоб глядели за пастухами, не гоняли бы они быстро жеребных кобыл, а то много бывает случаев: кобыла скидывает.

— Умный совет! — кивнула головой бабушка.

— Вот это я запомнил. А сегодня я поработал на горохе, иду себе по дороге и вижу большое облако пыли: это пастух так гонит жеребных кобыл.

«Стой! — говорю пастуху. — Так нельзя гонять лошадей, у тебя жеребные кобылы скинут».

— Что ты, что ты! — испугалась бабушка. — Можно ли тебе, маленькому, так замсчать пастуху!

— Отчего же нельзя, бабушка, ведь я же правду сказал. А он мне: «Вот я тебя самого скину!» И как кинется на меня! Я успел увернуться — и бежать! И слышу: арапник сзади меня — хлоп! Оглянулся я, пыль от удара облаком поднялась, а кобыла мчится во весь дух.

Тут, на счастье мое, выходит председатель откуда-то и, наверно, он все и видел. А я ему еще говорю: «Товарищ председатель, можно ли гонять так жеребных кобыл?»

Как увидал председатель, прямо пустился к пастуху и долго разговаривал с ним, и я слышал: «Мальчишка, от земли не видно, — и понимает, а куда же ты смотришь, ты, пастух?»

После того председатель подходит ко мне и говорит: «Снимай картуз!»

Я послушался, а он погладил меня по голове и говорит: «Ты умный мальчик, хороший!»

Мне, бабушка, тогда стало стыдно, слышу: уши горят, насили поднял глаза. И как только поднял, он вдруг и узнал меня и говорит: «Так это ты утром кладовую проверял, а потом на тракторе ездил и лошадку у меня просил?»

«Да, — говорю, — товарищ председатель, мой отец на войне, мать в колхозе весь день работает, а бабушка дома сидит, старая, и у нее убили на войне шесть сыновей. Я теперь один у нее...»

«Успокойся, мальчик, — говорит председатель, — завтра будет у вас лошадь, я тебе обещаю». И что-то записал у себя в книжке.

— Что же такое он мог записать? — сказала бабушка.

— А я думаю, — сказал Вася, — это он мне трудодень записал.

Бабушка вдруг засмеялась, и поглядела недоверчиво на Васю, и сказала:

— Сколько же это он тебе за один день трудодней записал?

На минутку бабушка Арина, должно быть, усомнилась, правду ли рассказывал Вася, не сказка ли все, и что едва ли завтра можно будет наконец-то вспахать огород. Но как раз в эту минуту сомненья Аксюша вошла, и ее первые слова были:

— Председатель завтра велел мне рано-рано приходить за лошадью: будем пахать! И он очень хвалил нашего Васю, и смеялся, и рассказывал мне, как он проверял кладовую, как пахал на тракторе, как спасал жеребных кобыл, как напоминал о лошадке. Он даже сказал, что ему трудодень записал.

Тут у бабушки больше не оставалось уже никакого сомнения в том, что внук говорил только правду и что огород будет вспахан вовремя. И, может быть, в это время открывалось ей, что не в огороде тут дело, а в чем-то совсем другом. А после ужина, когда все спать улеглись и Вася, уморенный за день, прямо на лавке и заснул мальчишеским мертвым сном, бабушка Арина так и осталась в раздумье за столом возле Васи.

За окном шумит дерево, и нам бы не понять этого шума, но солдатская мать понимает: это шумит Сашина рябина. Вспомнив Сашу, бабушка всматривается в лицо спящего Васи и в его лице находит и узнает черты старшего сына. Так с Николиной калиной перешепнулась бабушка. Было

много времени у старого человека посоветоваться и с Мишиной елочкой, и с Павлушиной сосной, и с Даниловым дубочком.

Все черты старого и бывалого находила бабушка в лице Васи, и все-таки из этих черточек не складывалось лицо Васи: самое главное, что-то новое и небывалое, так и оставалось неизвестным и неузнанным и долго не давало бабушке спать.

МОСКВОРЕЦКИЙ МОСТ



Замечательная наша река! Плохо только, что недолго держится у нас в Дуние в весенний разлив на пойме вода. Скоро от всего моря на лугах остаются одни только светлые, голубые пятачки, и река входит в свои берега. Вот тогда-то по наряду дуинского колхоза инвалидов Вася с братом своим Ваней начинают строить наш дуинский москворецкий мост.

На той стороне, в Козине, и школа, и трикотажная мастерская, детям и девушкам приходится постоянно ходить на ту сторону. Хорошо бы построить мост. И оно бы дешевле было, а то бывает, за лето вода, прибывая после больших дождей, раза три ломает и уносит мостики. Но сейчас я помолчу о постоянном мосте — у меня есть свой секрет, и я его раскрою под самый конец.

Строительство временных мостков начинается с того, что Вася заостряет колышки, стесывает и подгоняет одну к одной жерди, ровняет перекладины. Мальчишки разводят огонь под котлом со смолой, и Вася смолит лодку. Когда материал бывает подготовлен, и лодка залита смолой, и смола затвердела, Ваня и Вася укладывают в нее колышки и спускают на воду.

Привычные к делу парни с лодки втыкают и вколачивают колья в дно реки. Каждую пару кольев они связывают перекладиной и с одной перекладины вдоль на другую, дальше и дальше через всю реку, поперек переводят и прибивают гвоздями длинные жерди. Так выходит, что наш

длинный, через всю реку мост шириной бывает всего только в три тоненькие жердочки, как раз только, чтобы на них мог стать взрослый человек. Конечно, тонкие осиновые жерди не обделаешь так, чтобы одна в точности приходилась к другой, но, однако, никогда не бывает такой дыры между ними, чтобы могла провалиться нога.

Если бы не было поручней и не за что было бы держаться рукой, то ходить по трем жердочкам было бы все равно, что ходить над водой по канату. Но когда одной рукой держишься, то нога идет уверенно, и мы, все дунинские, старые и малые, научились отлично, уверенно и быстро ходить по трем жердочкам.

Плоховато бывает только, когда один пешеход идет по мосткам из Козина, а другой навстречу ему из Дунина. Конечно, можно бы одному подождать, пока первый, вступивший на мостик, перейдет. Но такой уж у нас народ добродушный, что лучше ему встретиться и обняться с другим человеком, чем скучно стоять, дожидаться и бездействовать, пока другой перейдет мостик.

Жаловаться, однако, на узость мостков не приходится: два тонких расходятся, почти не обнимаясь. Даже если один с велосипедом идет — и то ничего. Вот если бы встретились оба с велосипедами... но такого случая у нас еще не было. Ничего тоже, если встретятся один толстый, а другой тонкий: толстый держится крепко за поручни, а тонкий перелезает на свой путь просто по толстому. Не знаю опять, что вышло бы, если бы встретились на мостках оба толстых...

Однажды я смотрел со своего высокого берега на наш дунинский москворецкий мост и думал о двух толстяках. Мало-помалу пришел и застал меня врасплох тот час, когда из Козина распускают школьников и наши дунинские ребята всей оравой валят по мосткам. Так я крепко задумался о двух толстяках, что совсем забыл о ребятах, о том, что, завидев меня, они неминуемо заставят рассказывать им новую сказку.

Так оно и вышло: ребята окружили меня и потребовали свой старый долг. У меня в голове уже начинала складываться новая сказка о двух толстяках на узком мосту. Еще бы чуть повременить — и сказка сложилась бы у меня в голове, но ребята явились не вовремя, и я даже сделал попытку убежать от них, чтобы спасти свою сказку. Но где тут от них убежать, только запыхаешься, и тогда уже от них не отделаешься одной только сказкой. Ничего не оста-

валось мне делать, как сесть на пригорок вместе с ребятами и начать им что-то придумывать.

Приходилось ли вам, читатель, когда-нибудь самому рассказывать? Конечно, приходилось, — у кого у нас нет встреч с детьми? И вы, наверно, это заметили, что никогда ничего не получится со сказкой, если начнешь понуждать себя на придумку. Мучаешься, мучаешься и вдруг на что-нибудь кинешь взгляд, обратишь внимание, станешь об этом рассказывать, и получается сказка, да еще какая веселая!

— В старину, — сказал я, — жили-были в селе Козине два друга: один, очень толстый, — Иван Никифорович, и другой, немного потоньше, — Иван Иванович.

— Я это знаю, — остановил меня любимый мой ученик Вася Веселкин, — эту сказку написал Гоголь, и она называется повестью о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.

— Вот и хорошо! — сказал я.

И, желая выкроить себе время на выдумку собственной сказки, попросил Васю своими словами рассказать повесть Гоголя.

— Дело было... — начал Вася.

Остановился, подумал и начал по-новому:

— Нет, не так начинается. В том-то и все, что дела никакого не было: два друга целые дни просто лежали у себя под навесами во дворе. Ничего хорошего в жизни у них не было. Только было одно хорошее, что два приятеля сильно любили друг друга. В жару, когда они лежали под навесами, разделенные только забором, то перекликались через забор и спрашивали: «Как вам сегодня ложится?»

А если день был холодный, то посылали работниц на дом узнавать о здоровье. Встречаясь, вынимали коробочки с нюхательным табаком и, прежде чем самому нюхать, предлагали друг другу со словами: «Одолжайтесь!»

А когда гуляли, то первый, кто завидел лужу, предупреждал: «Берегитесь!»

Все люди на всем свете что-нибудь вместе делают, над чем-нибудь трудятся, а эти люди ничего не делали, и оттого им стало скучно, и раз от скуки два друга поспорили, и один из них, Иван Никифорович, назвал Ивана Ивановича вгорячах гусаком.

«Как вы осмелились назвать меня гусаком?» — вскричал Иван Иванович.

«Начхать мне вам на голову», — ответил Иван Никифорович.

Так загорелась война из-за одного слова «гусак», и друзья стали судиться. В то время суды были долгие и дорогие. Так просудились прежние друзья всю жизнь, старые, больные стали и все судились. У одного вся борода вылезла с горя и остался внизу седой кончик, похожий на редьку. У другого на голове все волосы вылезли и остался только небольшой хвостик, похожий тоже на редьку. Так все деньги свои они просудили, потеряли всякое уважение к себе в родном своем городе Миргороде, и их уже не называли полными именами, а просто одного Иван — редькой вверх, а другого Иван — редькой вниз.

Пока Вася рассказывал, эта славная сказка о скучной жизни сложилась в моей голове по-новому, и я начал рассказывать так:

— Вот тут-то и кончается сходство нашей сказки с той старинной, когда люди могли годами лежать на боку и ссориться из-за пустяка. Мы свою сказку должны так сделать, чтобы друзья помирились. Даже и худой мир, говорят, лучше доброй ссоры, а мы сделаем мир хороший, добрый, во всю славу нашего Дунина и нашей прекрасной Москвы-реки. Советую вам: не глядите на меня, а глядите на мостки и думайте, как бы нам с вами помирить Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем.

Все ребята стали глядеть на мостки, и как раз тут встретились на мостках два молодых человека с велосипедами, требуя дороги. Они бы, может быть, и подрались, но велосипеды мешали им драться. Вот почему тот молодой человек, у кого была пройдена большая половина моста, справедливо потребовал, чтобы другой отступил назад.

Во время же этой истории вдруг живой огонек мелькнул в глазах Васи Веселкина.

— Оба друга были очень толстые? — спросил он.

— Ужасно! — ответил я. — Как две сорокаведерные бочки.

— Я понял! — закричал Вася.

И живой огонек тогда загорелся у всех ребят, и все поняли мой замысел: на мостках встретились два толстяка. После того мы все вместе стали сочинять свою сказку о том, как помирились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.

С такими животами, какие належали себе два толстяка, на мостках было гораздо трудней разойтись, чем с велосипедами. Беда была в том, что они не могли повернуться, и еще беда, что они собой загородили дорогу другим с той

и другой стороны. Нетерпеливые ругались, веселые смеялись, злые грозились спустить с мостков почтенных людей. В таком положении враги решили обняться, и когда обнялись, то сами над собой засмеялись.

Да и как не одуматься! Время наше быстрое, залеживаться или засиживаться в обидах некогда, на обеих сторонах реки люди стоят, ждут. Пока двигались наши добряки по мосткам, гнев их прошел, и, встретившись, оба рассмеялись. Иван Иванович потрепал ладонью по животу Ивана Никифоровича, давая этим понять ему, чтобы он пятился назад. А Иван Никифорович, придерживаясь рукой за шею Ивана Ивановича, тем самым говорил:

— Ежели я, Иван Никифорович, сорвусь, так уж давай искупаемся вместе!

Тогда оказалось, что Иван Никифорович нес к нашему знаменитому дунинскому сапожнику чинить свои сапоги, а Иван Иванович возвращался в Кузино от сапожника со своими кожаными ночными туфлями. Вот почему Ивану Ивановичу пришлось на мостках пятиться задом. Народ с хохотом повалил по мосткам, когда дорога очистилась. А друзьям до этого смеха никакого дела не было: они вместе пошли к сапожнику, вместе вернулись в Кузино и по-прежнему стали жить-поживать и добра наживать.

— А ты помнишь, — спросил я Васю, — последние слова этой сказки, из-за чего она и велась?

— Помню, — ответил Вася, — последние слова в ней: «Скучно жить на этом свете, господа!»

— Вот, ребята, — сказал я, — как вышло у нас с двумя толстяками! Давайте закончим сказку нашего времени: «Хорошо можно жить на этом свете, товарищи!»

Так закончилась наша сказка о встрече двух толстяков на дунинских мостках через Москву-реку, и теперь я раскрою, как обещался, свой секрет.

Ничего я не придумывал в своем рассказе, все это в точности так. Мне пришлось придумать только двух толстяков, и прямо скажу, не для смеха я их пустил на свет, — нам и так своего веселья девать некуда, для чего же придумывать!

Я для того их придумал, чтобы козинские и дунинские граждане собрались бы с духом и выстроили своими средствами, с поддержкой районных властей, постоянный мост через реку.

В наше время, да еще под самой Москвой, стыдно жить с такими, гоголевских времен, мостками, гражданами!

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ



В Замоскворечье одно ампирное здание заблудилось между высокими новыми домами и их стенами закрылось. Но один небольшой каменный флигелек выходил на улицу, и рядом с флигелем сохранилась большая липа и под ней старинная, насиженная лавочка.

Радостно бывает усталому присесть на этой лавочке и слушать лепет листиков старой липы. Можно бы легко этот лепет перевести

на слова человеческие, но стоит ли? Не сама липа лепечет, а это сквозной ветерок между новыми домами играет листьями старого дерева. Но бывает, на этой лавочке в обеденный перерыв присаживаются женщины, и бывает даже, не хватит всем места на лавочке, и они рассаживаются и на корнях старой липы, и по ступенькам ампирного флигеля вплоть до двери булочной... Бывает, тогда при невольном безделье в ожидании открытия лавочки женщины лепечут словами, как старая липа своими листьями. Прислушайтесь! И вам радостно будет понять, что слова эти — не листики, колеблемые ветром. Лучше, внимательней слушайте их человеческий смысл!

Так было однажды в обеденный перерыв — пришел с вещевой сеткой в руке старичок и стал на верхней ступеньке вплотную к двери булочной. Вскоре пришла и села на ступеньку около старика женщина в рабочем ватнике с ребенком на руках. Потом пришли разные женщины с авоськами, расселись на ступеньках, на лавочке, на корнях дерева.

— Ну, какой это мужчина! — сказала какая-то Дуся, указывая на старика.

Какая-то Лиза с ней согласилась. И обе модницы, нисколько не стесняясь старика, стали громко шептаться о своих женских делах.

Когда старик и вслух был признан не мужчиной, все почувствовали себя свободно, и залепетали уста, и побежали слова...

Так было тихо, что старая липа не шевелила ни одним лепестком и слушала лепет слов человеческих.

— Лиза! — сказала Дуся в облезлой чернобурке, указывая на рабочую женщину с ребенком на руках. — Погляди ты на нее: немолодая она, и, видно, не богато у них в доме, скажи, зачем такие рожают и рожают детей?

— По привычке! — ответила Лиза, модница в капоре бордового цвета.

— И очень просто, — вмешался старик, — привыкли бабочки и рожают.

С виду старик не был так стар, как признали было это модницы, у него было розовое лицо без морщин, глаза ясные лесные, как два зеленых стеклышка. И только вот красные каемочки век да старинный кулацкий картуз с козырьком открывали длинную цепь лет, уходящих далеко за пределы быстрого нашего времени в медленный черед царских лет старой России.

Старик встретился глазами с рабочей женщиной и, подмигнув ей, сказал:

— Все по привычке.

И, получив от женщины с ребенком на руках сочувственную улыбку, оглядел всех, чтобы всем умным тоже так подмигнуть, по-купечески.

Женщины, конечно, поняли, — с этим стариком они тут не совсем-то одни.

— Милые бабочки, — обратился он ко всем, — скажите, в чем тут дело, неужели и правда все только привычка?

— Привыкли! — ответила ему коротко мать, вытирая пот из-под платка.

Когда открылось лицо, показался красивый высокий лоб, большие серые глаза, то в мыслях у каждого сложился образ прекрасной женщины, сложился сам, как складывается дополнительный круг возле месяца.

Поправляя платок, женщина-мать оглядела всех снисходительно, все время и всем улыбаясь только глазами.

Так бы и мы улыбнулись, если бы у нас в доме была большая и дружная семья; мы бы тогда слушали и больших и маленьких, и ученых и простых людей, как будто все они для нас были маленькие.

— Вы спрашиваете, — сказала она модницам, — зачем мы рожаем детей и не боимся ни мук, ни нужды; мук тут, милые, нет никаких, и вопроса о нужде не бывает: я мужа люблю — и дети сами рождаются.

— Какой тут вопрос! — воскликнул старик.

И, видно, раздумывая о чем-то своем пережитом, вслух повторял только одно:

— Ах, бабочки, бабочки! Нет! Что ни говори, а бабочками в жизни своей я был очень доволен.

— А что, дедушка,— сказала мать,— пока булочная откроется, порассказал бы ты нам, какими это бабочками ты был доволен, бывают ведь и зубастые бабочки.

— Еще бы! — подхватил живо старик. — Только и слышишь кругом, жалуется на бабу мужик: один спился из-за бабы, другой удавился. Я это все знаю и высказываю благодарность собственно за себя самого: бабочками в жизни своей я не обижен.

— Не обижен! — подхватила пожилая женщина, сидящая на корне липы. — Знаю я эту прежнюю жизнь: ей-то, бабочке твоей, некуда было деваться; и тебе, коту, от нее все масленица. Желала бы я спросить твоих бабочек, как-то вот они не обижены тобой? Что-то не верится!

— Всем бабочкам поначалу никогда не верится, — ответил старик.

И принялся рассказывать о том, какая у него была красивая первая жена Грушенька, какая справедливая, какая строгая и как ей хотелось ребенка иметь, — и вот только бы еще немного, и быть бы ребенку, но ранней весной Грушенька простудилась и померла.

Вторая жена его не была такой красавицей, как Грушенька, но душой еще богаче, и она-то ему и родила двух сыновей и, наверно, еще бы много родила и мальчиков, и девочек, но как-то раз вышел грех такой: подавилась рыбьей косточкой и померла.

После того его третья жена, Симочка, родила ему трех девочек, и каждая дочка потом родила ему внуков, и их мужья все в дом вошли, все вместе теперь живут. А чем Симочка особенно хороша — это характером: не только не ревновала его к Катеньке, а заботилась о ней, как о родной своей сестрице.

— Какой такой Катеньке, погодите, позвольте! — перебили речь старика сразу и Лиза, и Дуся. — Вы же сейчас, дедушка, сами сказали, — вторая ваша жена подавилась рыбьей косточкой и померла.

Послышался в разных местах смех, и кто-то крикнул: — У старика был гарем, он своим женам и счет потерял.

И чей-то отчетливый голос произнес решение суда, расположенного на скамейке под старой липой:

— Паразит старого времени!

— Погодите, погодите! — замахал руками старик. — Я же вам сказал: моя вторая жена была Верочка, а не

Катенька. И Верочка вправду подавилась рыбьей косточкой и померла, и я остался после нее сиротой с двумя младенцами. А Катенька была наша соседка, у окошка сидела, все видела и стала мне помогать по хозяйству, за детьми ходила, печки топила, стирала, мыла полы, варила.

— Топила, варила! — судили женщины на корнях липы. — И тебе это не совестно? Одна простудилась, другая подавилась, третья ждет у окна, четвертая... Они у тебя как капуста: один кочан съел, другой заменяет. Что же было у тебя незаменимого?

— Вот то-то и удивительно, — продолжал старик, — бабочки мои были одна лучше другой; одна уходит, другая приходит — и мне опять хорошо.

— Капуста, капуста и есть! — судили женщины.

Старик и тут не мог понять, чем это женщины на него обижаются.

— Вы, наверно, за Катеньку обижаетесь, — сказал он. — Но это напрасно: Катенька мной не обижена. Я бы охотно и женился на ней, да у нее был муж где-то далеко, и она его все ждала. А когда я женился на Симочке, только женился, и хлоп! — муж Катеньки где-то далеко от нас помер. Ну, уж, конечно, Симочка была наслышана о Катеньке, был ли у меня с ней грех или нет, другая все равно бы у нее от ревности волосы выдрала...

— У тебя бы самого я выдрала волосы, — сказала рабочая женщина. — И тебе уже сказали: женщина не капуста и не идет кочан за кочан.

В это время солнце вышло из-за тучки, и, как это бывает, светлый луч, пробежав по улицам, открывал у всех глаза: карие, зеленые, голубые. Только у одного старика от света глаза помутнели, погасли, и он уже и не понимал, за что на него накинудись, и все повторял:

— Бабочками в жизни своей я был очень доволен...

Никто уже больше не слушал его и не смотрел в его сторону, а между тем заслоненная рассказом о бабочках какая-то общая мысль среди собравшихся женщин проходила, как облако проходит над лугом и ведет свою тень по земле.

— Вспомнила! — сказала первая женщина с ребенком на руках.

И повернулась к модницам.

— Вы меня спросили, зачем я не воздержалась от жизни и лишнего ребеночка родила.

— Нет, — ответила Дуся, — мы не про лишнего говорили, а пожалели тебя, зачем ты пошла на заботу и муку.

— Это вы от слабости так говорите, — сказала мать, — а мне самой легко. Вы о себе думаете, и у вас потому все забота да мука. Мы же с мужем согласно живем, радуемся каждому нашему ребенку и всех любим равно, а каждого больше.

— Как это? — спросила Дуся.

— Очень просто, — ответила мать. — Жизнь идет своим чередом, а сам все чего-то лучшего ждешь, на что-то надеешься: вот он, новенький, и что-нибудь несет же с собой в мир новое — небывалое. И оттого у матерей получается, что всех любишь равно, а каждого больше.

— Правда, правда! — воскликнули матери, сидящие на корнях липы.

— Правда, правда! — бежали слова по ступенькам от одной женщины к другой.

И о том же самом шумели листья на старой липе. Прислушайтесь когда-нибудь к такому лепету листьев на дереве, и если у вас правда в душе, то и листья будут шептать вам тоже о правде.

А старик, теперь всеми забытый, стоял спиною ко всем у двери и смотрел в щелку, — не пришли ли в булочную люди, и пробовал рукой, не открывают ли дверь.

— Каждый вечер, — продолжала мать, — мы с мужем стелем для всех и каждый раз, укладывая на ночь, пересчитаем детей.

— Сколько их у тебя? — спросила Лиза.

— Я вам потом об этом скажу, а сейчас мне хочется вам рассказать, как у меня вот этот маленький Миша родился.

Было это в один вечер, после работ своих и забот обыкновенных, поужинали мы и стали детей укладывать. Постелили, уложили, стали считать и вот никак не можем одного досчитать.

«Подожди! — говорю мужу. — Не сбивай ты меня». Считаю, считаю... Одного нету!

Тут-то вот и пришла минутка: такая тоска, такая злая тень пробежала, так сердце сжалось! Гляжу на детей: вот они сейчас спят, красненькие, а случись что-нибудь, как это у нас теперь на свете бывает, и опять мы одни.

«Машенька, — говорит мне муж, — надо бы нам с тобой еще одного, про запас!»

Так я вам это уже говорила: мужа своего я очень люблю, а когда любишь, то дети сами рожаются, и мук от этого у женщин нет никаких. Так вот и родился у меня вот этот, самый маленький, Миша.

— Миша, — воскликнула Дуся, — вот этот самый?

— Этот самый, — ответила мать.

— Ну, а тот-то куда делся, которого вы потеряли?

Мать пристально поглядела на Дусю и засмеялась.

— Тот, — сказала она, — тут же, пока я считала, и на-шелся на печке, я ведь о нем только к слову сказала: тут ведь всего одна минутка была, и такая тоскливая... По-нятно?

В это время дверь в булочную открылась, и старик юркнул в нее, а женщины, поднимаясь со ступенек, с кор-ней, с лавочки, все не хотели расстаться с рассказом.

— Да вы же настоящая Мать-героиня! — сказала одна интеллигентная женщина.

— А как же? — ответила мать.

И, придерживая одной рукой Мишу, раскрыла свой ватник.

На кофточке у женщины висел орден «Мать-героиня».

СЫРОЕЖКА



Кто-то сказал мне, и не раз это я уже слышал, будто человек своим взглядом останавливает рост гриба. Услыхав опять в какой-то уж раз эту сказку, я вспомнил что-то записанное мной в разные годы о грибах, и каждый раз около того времени, когда у нас в средней России зацветает рожь.

Перечитав эти записи, я был поражен переменой отношения человека к одному и тому же неподвижному дню в природе под влиянием исторических событий. Правда, в процессе чтения потерялась самая цель поисков старых записей — найти опровержение суеверия. Сильно пострадала во время чтения и мысль о перемене отношения к природе под влиянием исторических событий. Но зато получился рассказ, удивительный для меня тем, что он получился простым сложением записанных жизненных явлений того дня, когда в нашей природе рожь зацветает.

Меня наводят эти записи на мысль, что поезд нашей человеческой жизни движется много быстрее, чем природа,

и вот почему получилось у меня, что, записывая о грибах, я записал о жизни человека.

Так часто бывает, что сам едешь в поезде, а из окна кажется, будто мчится природа. Когда же разберешься хорошенько, то оказывается — природа стоит, а мчимся мы сами в своем поезде. И нет ли того у всех художников природы, что их проникновенный взгляд в природу, их интимный пейзаж есть не что иное, как попытка проникнуть глубоко в душу человека, в ее неудержимое движение, останавливая свой взгляд на природе. Во всяком интимном пейзаже движется сам человек.

ЦАРЬ ГРИБОВ

(Запись 1936 г.)

Облака золотистой оплодотворяющей пыли проносятся беспрерывно над полем, а если взять в руку любой колос ржи, то в теплой руке этот колосок покрывается всеми цветами, какие в колосе ждали выхода на свет от солнечных теплых лучей. Земледельцы опасаются в это время дождя, смывающего на землю пыльцу, и дорожат легким ветерком, переносящим ее, как на крылышках, от колоса к колосу.

Так рожь цветет, и мы всегда в это время собираемся в лес, проверить, не выглянул ли на свет первый «слой» грибов.

Сегодня рано, в предрассветный час, сплошной туман закрыл все поле ржи, и до самого рассвета так и не видно было ни одной звезды в небесах, ни одного огонька на селе.

Когда рассвело и определилось место восходящего солнца, началась всем известная и всегда новая борьба солнечных лучей с туманом. Мало-помалу силы света начали побеждать, и показалось село на той стороне реки, а туман сдался и залег низко на пойме.

В Конякине, где всегда бывает много грибов, мы застали еще в лесу туман. Лучи врывались сверху в окошки лесного полога пучками, и казалось нам в лесу: все горело и не сгорало, или, может быть, это одна за одну летели в лес, собирались Жар-птицы.

Деревья, кусты выходили из тумана, как облитые водой, и оттого и было сначала такое сверканье, похожее на слет разных Жар-птиц. Но скоро сплошное сверканье стало в лесу разбиваться на сверканье капель. Вверху, внизу, по сторонам, в глубине капля блестела и горела своим светом:

зеленым, красным, синим, и желтым, и всяким, каким капля может в лесу блестеть и гореть.

Среди этого блеска лесного в душе всегда зажигаются свои сказки, и такую силу в себе чувствуешь, что, только бы ухватиться за что-нибудь — и повернул бы всю жизнь, как радиоприемник, на прекрасную станцию.

Так всегда потом и остается в памяти: только потому и не повернул, что соблазнился и забыл — увидел большой гриб, одетый блестящей росой. Сколько счастья осталось в прошлом от встреч с такими боровиками в росе! Но только у нас в Конякине растут боровики особенные, таких я больше нигде не видал, и они росе недоступны.

Бывают в болотных лесах холмики, покрытые оленьим мохом. Из этого низкого, почти белого моха показываются черные обыкновенные наши знакомые боровики, покрытые росой. Но это обыкновенный прекрасный гриб, а наш конякинский растет пониже, в толстых и сырых мхах с ягодами черники. Эти грибы невидимо для глаза в глубине моха разрастаются до того, что одного только гриба при поддержке картошки бывает довольно на жареное.

Не так легко, однако, бывает находить такие грибы. Из моха виднеется только небольшой темно-желтый пятачок, самая макушка гриба. Завидев издали желтое пятнышко в темно-зеленом мху, запрещаешь верить себе, и только с неподвижными глазами ближе и ближе подвигаешься к магическому пятнышку. Уверишься в правде, только когда уже запустишь руку в самый мох и нащупаешь ногу гриба, никак не тоньше руки человеческой. После того запускаешь туда нож, подрезаешь невидимую ногу под самый корень и вытаскиваешь на свет гриб огромный, в своей царственной форме вполне соответствующей у животных льву, царю зверей, и орлу, царю птиц.

Распрямить бы мох, освободить бы такой царь-гриб и полюбоваться им таким на нетропутом корне... Но где тут любоваться! Мало того, что не успеешь полюбоваться, — просто ничего не видишь от жадности, ничего не замечаешь в лесу в напряженном ожидании того счастья, когда вдали в темно-зеленой массе показывается коричневый пятачок.

Пока мы собирали грибы, на всех цветах, кустах и травинках даже в лесу куда-то исчезла роса. Мы очнулись и освободились от жадности собирания грибов, только уж когда стало совсем тяжело их носить, да и жарко.

Я успел, однако, захватить и заметить, как две тяжелые капли, задремавшие на ветке осины, вдруг побежали, по-

катились и упали на землю. А еще одна последняя одинокая капля на осиновом листу на глазах наших испарилась и стала невидимой.

МАТУШКА-СЫРОЕЖКА

(Запись 1941 г.)

Вчера весь день то яркое солнце, а то на солнце из ничего пойдет редкими большими теплыми каплями *слепой* дождь. Под вечер весь запад очистился от облаков, раскинулась и скоро отцвела радуга. Тогда косые солнечные лучи низко и прямо в упор понеслись на лес.

Из моего окошка видно, как навстречу вечерним лучам из черных лесных теней отделились погожие комарики и начали под нашей высокой сосной «мак толочь».

— Погода завтра должна быть хорошая, — сказал я, — рожь зацвела. Завтра непременно надо наведаться в Конякино.

— Только давай, — ответила моя подруга, — выйдем как можно пораньше, чтобы грибы были еще в росе.

Никогда в жизни не казались мне эти погожие комарики такими большими и такими золотыми: понимаю — это было дело вечерних лучей в сыром воздухе. Танцующие комарики мне показались кадрилию золотых кавалеров.

— Да погляди же ты! — сказал я. — Такой кадрили ты никогда не увидишь: кадрилию золотых кавалеров и серебряных дам

— Что за декадентство, — ответила она, — кадрилию золотых кавалеров! Нет, я не встану с постели, — завтра надо так рано вставать, да и тебе советую бросить эти поэтические забавы и спать.

Но я не послушался, и даже напротив, вышел на террасу и лег на ворох свежего сена. Ветра вовсе не было, но время от времени сам лес как будто вздохнет, и тогда от этого дыханья чуть-чуть шевелились ветки нашей сосны, и оттого падали крупные серебряные капли, нарушая и разделяя танцы комаров. Это была и на самом деле какая-то страшная кадрили: каждая такая капля сшибала и уносила вниз каждый раз с собою, может быть, десятки комариков. Каждое лесное дыханье бросало с нашей сосны целый дождь серебряных капель. Каждый раз — казалось — вот и конец кадрили, но конца не было: из темного леса прибывали новые танцоры и вступали вновь в кадрили, не обращая никакого внимания на исчезающих.

Мне захотелось попасть туда в эту кадрили и танцевать, несмотря ни на что, — наверно, это был уже сон или самое начало сна, сумерки сознания. Вот будто я и обратился в комарика, вот лечу, вот я со всеми золотыми кавалерами, вот лесдохнул, вот полетели на нас серебряные дамы, вот приближается ко мне роковая, а я все танцую, все танцую...

Мне стало не по себе от своего сна — я стряхнул дремоту и вошел в дом досыпать на постели.

В полумраке рассвета мы собрались было идти за грибами, оставалось умыться. Но, когда я подошел к прибитому у сосны умывальнику, тут я встретился с хозяйским сыном, приехавшим из Москвы ночью на своем грузовике.

— Вы ничего не знаете? — спросил шофер.

И все рассказал. Смешно теперь, что я при вести о начале войны почему-то вспомнил о своих комариках. Но так, конечно, и каждый вспомнил что-то свое из вчерашнего дня. Так и всегда из пустяков создаются легенды: пустяки к делу приходятся.

Ошеломленные известием о начале войны, мы, как стояли со своими корзинками, так и пошли, уже не думая о грибах, по знакомой дорожке, разделяющей поле и лес.

Пока проходили ржаное поле, в руке я согревал расцветающий колос, а в голове повторялось:

«Быть того не может, чтобы наша рожь досталась врагу!»

Как это могло быть, чтобы наша рожь, над которой трудился наш народ, и вдруг досталась бы в руки врагу, — как можно допустить в себе эту мысль? Тоже так думалось и в лесу, и так все больше и больше обнажалась личная беспомощность в этом поднявшемся деле, и тут же думалось иное: что нужно поскорее лететь туда самому...

А грибы находились сами и без всякой радости, как будто их лишили одежд нашего счастья, и они стали нам не на радость, а просто были грибы и грибы.

— На что нам теперь грибы? — рассеянно спросил я.

А подруга моя прошла мимо, как будто она меня не слыхала.

Кто эта женщина: друг мой, жена, мать, сестра? Сколько мне лет: пять, пятьдесят или семьдесят? Во всяком возрасте сохраняется отношение себя к женщине, как ребенка к матери всего живущего.

Когда она прошла мимо меня в суровом раздумье о всей

жизни, я перенесся в то время, когда пятилетним ходил со своей матушкой за грибами, за цветами, за ягодами по полям и лесам и чувствовал себя в своем послушании матери и в своей личной свободе так же прекрасно устроенным, как эти наши русские поля, и леса, и цветы, и грибы... И мать ли это моя или вся моя родная природа: родина моя?..

Довольно долго в раздумье сидел я на пне в такой тишине, что даже папоротники не шевелились, и, значит, не было в лесу даже никаких сквозных ветерков. Вдруг я почувствовал где-то движение, — тень ли трепыхнувшегося листика где-нибудь на сером широком стволе, или мышка, или гусеница проползла, — даже если и гусеница в такой тишине в лесу проползет — и это как событие.

Я собрался в себе, прислушался, прицелился, и вдруг все понял: оказалось, это лезла из-под земли сыроежка, большая, белая. Лезла она, конечно, уже давно, уже голова ее на свету накрылась красным платочком. Лезла она, накапливая усилие в росте своем, и земля над нею поднималась толчками. Был сейчас такой толчок, и это движение я и заметил.

Сколько же она боролась, напрягалась, пока наконец сама земля со всем своим мохом, с ягодами черники сводом не поднялась над нею. Мало того! Эта матушка-сыроежка сама поднималась и выводила на свет целое семейство маленьких сыроежек, и одна из них, побольше, даже успела покрыться, тоже как матушка, красным платочком.

Тогда мне еще больше стало похоже, будто я маленьким хожу за матушкой своей по полям и лесам.

Вот она и аукнула, и опять ко мне подошла.

Оказалось, она слышала мой вопрос о грибах, только значения вопросу моему не придала, и мало того что слышала, увидев меня одного сидящим в раздумье на пне, пожалела и вспомнила мой вопрос.

— Ты спрашиваешь, — сказала она, — куда мы будем девать грибы? Мы их будем, конечно, сушить.

— Правда, — обрадовался я, что есть у нас еще какое-то маленькое обычное дело и на время можно не думать о самом страшном и большом.

И я стал опять собирать грибы. Становилось жарко. Я подумал, что сушеных грибов нам не так-то уж много и надо на двоих: сушеные грибы годятся только для приправы.

— На что нам, — спросил я, — столько сушеных грибов?

— Наступает время, — ответила она, — когда люди

будут думать не о себе только. Людям пригодятся наши грибы, и еще как!

И потом, когда мы, нагруженные корзинами тяжелых сырых грибов, наконец отправились домой, она еще сказала мне:

— А ты забыл разве, что грибы можно еще и солить. Вот увидишь скоро, как друзья наши нас поблагодарят за эти грибы.

Так точно, помню, в детстве говорила мне моя мать, и не этой ли самою силой строится жизнь на земле? Тут я снова вспомнил большую сыроежку, как она поднимала землю над своей головой и как за нею выбирались на свет маленькие.

ДЕРЕВЕНСКАЯ ФОТОГРАФИЯ

(Запись 1942 г.)

Рожь опять цветет. Но с утра до ночи в Конякине слышна стрельба, и мы копаем противотанковые рвы и готовимся, чтобы по первому сигналу бросать все и переходить на партизанское положение.

Наши девушки все заняты на торфяных работах и, когда узнали, что я занимаюсь и фотографией, стали ходить ко мне сниматься и посылать на фронт карточки своим друзьям и родным. За мою работу приносят мне молоко, лепешки, и я этим кормлюсь.

Пришел ко мне сниматься наш бывший лесник, теперь солдат. Он пришел со всем своим семейством: жена и много детей, один другого меньше, как грибы. Пришел с войны на побывку. Я же в это утро успел побывать в лесу, принес только один конякинский царь-гриб и положил его на лавку. Солдат как увидел тот гриб, так взял его прямо в руку, перебросил с руки на руку и спросил:

— Конякинский?

Не было в том ничего удивительного, что он знал, где растут такие грибы: только в Конякине были такие грибы, а он уже много лет был лесником в самом Конякине.

И вдруг что-то случилось с лесником: неподвижными глазами он уставился на гриб, глядел, глядел, лицо его стало перекашиваться больше, больше, и вдруг этот сильный с виду мужчина в цветущих годах, с ясными детскими глазами заплакал, как ребенок.

— Что это ты, дружок? — спросил я.

— Ничего, — ответил он, по-детски улыбаясь мне сквозь слезы, — я это на гриб смотрю, — не вернуться мне

больше в Конякино. не видать мне в жизни больше такого гриба.

Женщина улыбнулась мужу, совершенно как мать улыбается ребенку своему, огладила его рукой по голове со лба на затылок и сказала мне, как бы извиняясь:

— Конечно, выпил немного — не о нас плачет, а о грибах.

Солдат уже успел оправиться и ответил:

— Вот еще — о вас плакать: вы сами плакать умеете, а гриб — тот бессловесный.

Женщина была лицом белая и в красном платочке, и возле нее были мальчики, как гуськи с вытянутыми шейками, и девочки, одна уже порядочная, тоже, как мать, в красном платочке.

Мне напомнила эта женщина ту сыроежку, как она, белая в красном платочке, вылезает из-под земли и поднимает над собою целый свод моховой с ягодами, и с нею выходит целое семейство маленьких, и на свету все маленькие тоже надевают платочки.

В наших глухих местах торфяных болот весь успех деревенской фотографии состоит в том, чтобы мастер считался больше со вкусами заказчика и хорошо понимал деревенского человека. Но, конечно, и такому мастеру необходимо иметь в виду, кроме натуры, и какую-то свою модель.

Устанавливая в позу лесника, я вспомнил одного солдата в метро в тот момент, когда он, очевидно в первый раз в жизни, хотел поставить ногу на подвижную ступеньку эскалатора. Чем-то это ему показалось неловко ставить ногу, как все. Выждав, когда мало будет народу, он устроился, как на ученье, и как прыгнет сразу на пятую ступеньку!

Вот я и солдата своего решил снять так, будто натуживается лихо прыгнуть на картину с широко открытыми глазами и с остатками слез на веселом лице. А для женщины я держал в уме свою сыроежку с маленькими грибками и со сводом земли на голове.

Через пятнадцать минут фотография была готова: я своим особенным скорым способом пропустил через оконный щит луч света в увеличитель на позитивную пленку, промыл изображение и прямо сырое наклеил на картон.

Успех моей работы определился блеском позитивной пленки на белом картоне и тем, что все до одного были вместе, и еще главное, — стыдно сказать, — что взрослые были на себя не похожи и тем самым на картоне казались лучше себя в жизни.

Солдат стал упрашивать меня сделать ему на память отдельно портрет его жены.

Мы жили во флигеле дома лесничества, и тут, обставляя свою временную квартиру, в поисках мебели, в сарае я нашел замечательное старинное кресло и его отремонтировал. В это вольтеровское кресло я усадил свою Сыроежку и стал все устраивать так, чтобы сделать ее прекрасной и на себя не похожей.

Широкое лицо Сыроежки было замечательно тем, что во всех деталях своих оно было некрасиво, но временами на один момент вспыхивал в лице этом какой-то огонек, и лицо становилось лучше красивого. Для себя бы я, конечно, стал делать опытные снимки в поисках счастливого момента, объединяющего глубокой мыслью все части лица и делающего это лицо прекрасным. Но я тоже хорошо знал, что такой мой портрет заказчикам моим может не понравиться, и я должен делать портрет, как надо им.

Лицо Сыроежки я смягчил пудрой. Сделать глаза большими мне ничего не стоило, и над глазами я вывел брови, как два птичьих крыла. Мы нашли у себя бабушкин газовый шарф, накрыли им голову, ткань с головы спускалась на бюст, и под газом обыкновенный простенький ситец становился таинственным.

Вот, говорят, что успех «окрыляет» художника, и как это верно, и я не стыжусь сейчас сознаться, что успех, даже и такой, сколько-то и меня окрылил.

Увидав себя в образе блестящей красавицы в вольтеровском кресле, Сыроежка удержала портрет у себя и мужу его не дала. Лесник, видимо человек добрый, согласился с этим без спора и так сказал:

— Правда, у тебя портрет будет сохранный, береги: такой ты никогда не была и не будешь.

Он это говорил без всякой насмешки. Я же, окрыленный успехом, почел своим радостным долгом сделать портрет жены и для воина.

Когда же я вернулся из темной комнаты с другим портретом, моя Сыроежка лежала в слезах, запрокинувшись в кресле, с портретом на коленях. Муж и дети смотрели серьезно на маму и по-своему понимали ее.

Бывают дни такого горя общего, когда все понимают друг друга. Так тоже и я понял Сыроежку. Эта женщина при виде прекрасного поняла, что не быть ничему такому, что это прекрасное — ложь, и от этой лжи еще тяжелее становится неминуемое.

Предчувствие неминуемого не обмануло женщину: через несколько месяцев пришла похоронная — лесник был убит.

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

(Запись 1947 г.)

Рожь опять после войны выросла и зацвела. Но в Конякино люди до сих пор боятся ходить за грибами: говорят, будто там можно нарваться на мину. Кого из местных людей ни спросишь, с кем ни посоветуешься, и все до одного на этот вопрос: «Не нарваться бы?» — отвечают: «И очень просто».

После моего бедного житья в Конякине во время войны я приезжал сюда просто на охоту, и недобрые вести о mine меня остановить не могли. Я решил, что с палочкой, осторожно ощупывая подозрительные предметы, охотнику можно рискнуть.

Видал я в прошлую войну тяжелые картины, приходилось с артиллерией скакать, пересекая высоты, покрытые трупами, и не очень-то с ними стесняясь. Но при всей ясности картины не возникало в разгаре боя тех гнетущих настроений, как было в Конякине в мирный день.

Простая могила с крестом или со звездой ничего больше о себе не говорит: могила и только могила. Но что подумать о провалившейся земле на ровном месте в лесу? Как могли вырасти на дне этой ямы елочки частым бобриком? Елка же любит хорошую землю, но откуда же взяться хорошей земле в глубине? Если выросли елки, то что могло так удобрить землю? Таких сомнительных могил было довольно.

Не расстаешься с этим чувством истории в природе, даже и когда, заведя макушку царя грибов, запускаешь руку в холодный сырой мох и там нащупываешь ногу гриба не тоньше руки человека.

Из травы глянул на меня шлем с дырочкой в темени. В яме, заросшей раковыми шейками, оказался кузов военного грузовика. Сквозь стебли частых раковых шеек я заметил в кузове молодую ворону. Всякий настоящий охотник до старости остается мальчишкой в отношении птиц и зверей: до смерти хочется все живое погнать, если оно не движется, и поймать, если оно бежит и летит.

Я раздвинул цветы, думая — ворона заметит меня и улетит. Но молодая ворона не двигалась. Я махнул палкой и шикнул, чтобы она вылетела из кузова. Но ворона со-

вершенно спокойно сидела, как барыня в хорошем купе, и глядела на меня из окна, как на пейзаж.

В двух шагах от кузова лежал еще один простреленный шлем, и его странное положение сразу обратило на себя мое внимание: мне показалось, будто шлем как-то неестественно, почти криво приподнят чем-то изнутри.

Не может же быть так, чтобы в земле под шлемом осталась голова?

Конечно, не я это думал, но так оно само думалось. Мне же подумалось самому так, что острым металлическим концом моей палочки можно вдеть в дырочку шлема и отшвырнуть его.

И вот только чуть-чуть я коснулся палочкой шлема, он откатнулся от нее, как живой, как будто в нем было что-то живое или стальная пружина.

И опять, конечно, я это не сам отпрыгнул назад шага на два прямо к той молодой вороне.

Оставалось удрать потихоньку, не оглядываясь, от живой головы, как некоторые делают в таких случаях, и потом всю жизнь рассказывать, когда начинается разговор о мертвецах.

Нет! Я, конечно, не из такого десятка. Я собрался с духом и решил наказать в себе того, кто испугался шлема и прыгнул назад к вороне. Я бросил свою палку, подошел к шлему, наклонился и обеими своими свободными руками поднял шлем.

Под шлемом оказался огромный конякинский царь-гриб, и шлем сидел на нем, как на голове человека: шлем сидел, а гриб под ним понемногу все поднимался, все рос...

Должен сознаться, что до конца стесненности своей я остановить не мог. И, мало того, уходя поспешно в неизвестном для себя из-за спеха направлении, я несколько раз оглянулся, и, наверно, с мыслью — не вернуться ли, не захватить ли с собой этот гриб. И каждый раз повторял про себя:

— Нет, уж лучше уйти!

Шел я все прямо, прямо, и вдруг вижу свет; открывается поляна, и на ней дом, крытый соломой, — жил ли в нем кто-нибудь, или он так стоял после битвы и зарастал? Возле дома было два крытых старой соломой сарая. Когда я подходил к ним и зачем-то на минуту отвел глаза в сторону и опять глянул вперед, мне показалось, будто дом успел за эту минуту повернуться ко мне другой стороной с единственным окошком и недоверчиво, настороженно глядел на меня...

— Нет, уж лучше уйти, — сказал я себе, повертываясь в сторону. И в ту же минуту услышал я бодрый звук рабочей пилы по ту сторону дома.

При этом звуке все смутное в душе моей исчезло, и я уверенным шагом направился на ту сторону, откуда слышался звук пилы.

Обогнув угол, вижу я, у лесопильного станка женщина с молоденькой девушкой продольной пилой режут дерево. Как фотограф, я, конечно, сразу узнал в этой женщине и Сыроежку, и ту сотворенную мною маркизу в вольтеровском кресле. С нею пилила девушка лет семнадцати, и я тоже скоро догадался: это была старшая девочка в красном платочке.

Конечно, и меня они сразу узнали: в свое время я мог так их обрадовать, а уж простые люди, когда с ними при случае умел душой встретиться, остаются навсегда благодарными. Сыроежка бросилась ко мне, как к родному, забыла пилу, повела меня в избу и без всяких слов занялась сначала самоваром и велела девушке принести из погреба весенней «сладкой» клюквы для чая.

За чаем я скоро узнал о всех мелочах в семействе покойного лесника, и что вдова отлично справилась с делами на месте своего мужа, и что старшая девочка уже скоро кончит в техникуме радистом, и что гуськи тоже тянутся в школы, что сейчас мать всех устроила на время в пионерские лагеря. И на мой вопрос: «Не тяжело ли было?» — ответила почти весело:

— Да разве одна я такая?

На стене висела фотография семьи, сделанная отчасти и по мысли о сыроежке, поднимающей землю. Рядом с этой картинкой висела моя маркиза. Но, боже мой! Что сделала жизнь! Это некрасивое во всех деталях лицо тогда минутами мне показывалось собранным в единство и в чем-то собрано лучше, чем красота. За это время явились на лице какие-то впадинки, морщинки. Сам собой образовался тот овал лица, над которым я трудился с помощью туши и пудры.

Но я помнил, я узнавал, оно и тогда мелькало — это выражение женственной силы в лице, но только для меня одного мелькало, а теперь оно утвердилось и просияло.

Вот это самое я и не посмел сделать на портрете тогда, а оно теперь само сделалось. А со стены на это живое, прекрасное лицо глядела моя кукла-маркиза в вольтеровском кресле.

ПОБЕДА

(Запись 1950 г.)

Рожь хорошо выколосилась, и отдельные колоски зацветают. Великаны колосья маячат на высоких соломинах, и маленькие жмурятся в тени. Равных до точности не увидишь в поле ни одного колоска, ни одной соломины. Но все поле ровное, и у высоких нет упрека малым, и у малых нет зависти к высоким.

Каждый колос, каждая соломина, такие все неровные, показывают нам свою великую всеобщую борьбу за жизнь, за свое лучшее, но все ровное поле высокой зацветающей ржи свидетельствует нам о победе.

Смотрю на рожь и вижу поле новых людей, и нет у меня в душе особенной жалости к слабым и нет зависти к высоким. Мне только очень хочется самому подняться повыше и стать свидетелем победы нашего дела на всем человеческом поле.

ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

(Из дневника писателя)

I



После окончания срока моего пребывания в одном подмосковном санатории меня окружили служащие, няни, сестры, женщины-секретари и просили выступить в местной школе, где учатся их собственные дети.

Пришлось выступить. И, как всегда, я выступил с особым приемом, добытым многолетней практикой чтения в школах и всякого рода кружках. Прежде всего я указываю на свое горло и самым тихим голосом, только бы слышно было, умоляю потише сидеть. Собрав тишину, я подготавливаю детей к деятельному участию в нашей беседе.

— Ребята! — говорю я обычным, звучным голосом. — Вы мои книги читали?..

Конечно, они читали.

— А если вы читали, то зачем вы позвали меня? Что же, я такой, каким вы меня видите, неужели лучше того, о чем у меня в книгах написано?

В этом вопросе я всегда чувствую для себя некоторую опасность. Мне каждый раз представляется: найдется кто-нибудь и на вопрос мой «зачем позвали?» ответит просто, что хотелось бы посмотреть на самый источник слова, как хочется каждому возле сруба колодца заглянуть через край и узнать, глубоко ли в колодце вода.

Даже если бы какой-нибудь смельчак сказал: «Нам охота на вас поглядеть», — и то ведь ничего не ответишь на это.

Но никогда еще не было у меня случая, чтобы кто-нибудь из детей осмелился так «просто» сказать.

Конечно, и сейчас из-за почтительного страха все молчат, а я, пользуясь замешательством, креплюсь, молчу, чтобы еще больше собрать тишину, сосредоточить на себе общее внимание и сделать каждого деятельным участником собрания.

— Лучше того, — говорю я, — что мною написано, я дать сейчас вам ничего не могу. Так и знайте! Но, может быть, я что-нибудь не так написал, неясно, непонятно, — укажите мне. Или, может быть, вам хочется, чтобы я написал о чем-нибудь новом? Задайте мне какой-нибудь вопрос, и я начну с этого беседу. И вот наш уговор: зададите вопрос — отвечу, а если нет, то и нет, и не будет у нас ничего...

Теперь каждый про себя работает, и оттого тишина становится напряженной, как в природе бывает: вода совершенно тихая, а маленькие рыбки в ней все плывут и плывут, и рак шевелит усами, и лягушка все глядит и глядит...

Трудно пережить тишину, но приходится. Вот наконец среди сотни неподвижных фигур что-то шевельнулось, и поднялась вверх чья-то маленькая ручка.

По моему знаку подходит к столу маленький мальчик, такой же, как и я был когда-то. Я понимаю его по себе: он один теперь собрал в себе волю ста, он за всех говорит, он их представитель, их выразитель, их вожак. Как же я его хорошо понимаю! Не знаю только, с чем сравнить эту трудность выступления перед всеми со своим собственным словом?

Броситься с мостика в холодную воду?

Нет! Все-таки там же мостик...

Приходилось стоять с ружьем против чела берлоги в семи шагах: жутковато!

Но опять-таки с ружьем приходилось стоять...

Или броситься с самолета на высоте двух тысяч метров?

Не приходилось бросаться, но все-таки ведь и там парашют за спиной.

Самое плохое случилось с мальчиком: он в твердости своего решения обратился в камень и как стал, так стоит и молчит и даже не может моргнуть.

Тут я наклонился к нему, улыбнулся и тихонечко, чтобы никому не слышно было, ласково и совсем по секрету между нами шепнул:

— Ну?

И это словечко было, как огниво на кремь: искра сверкнула, и мальчик сказал решительно и твердо за всех:

— Расскажите нам, товарищ писатель, как вы работаете.

Слышно было в тишине, как облегченно вздохнули учителя и учительницы, страдавшие за свою школу. Теперь все кончено: школа не ударила в грязь лицом. И одна учительница не удержалась и крикнула:

— Молодец, Вася!

Я тоже поблагодарил Васю и начал рассказывать.

II

— Вы думаете, — начал я, — какая нам самая близкая природа — лес, вода, горы, долины, поля, ветер, огонь, земля или небо?

— Земля! — крикнул кто-то догадливый.

— Вот и не догадался, — ответил я ему. — Самая близкая нам природа — это наше тело.

Я это начало успел обдумать и дальше говорил по этому обдуманному, как по-писаному:

— Мы начинаем утром с того, чтобы это наше тело обмыть водой, каждому из нас надо умыться. Очень хорошо пораньше встать, когда роса еще не сошла, и если тогда умываешься на воздухе, у ручья или у речки, то кажется, вместе с тобой весь мир умывается, и в мире этом великом есть твой любящий друг, и он тоже теперь где-то купается и о тебе думает...

Тут я остановился, запнулся... Надо представить себе, что была у нас пластинка напетая и она кончилась, или лучше, иголка в патефоне сломалась, и нет другой. Так у меня вышло с моей речью: сказал все, что придумал, и попал точно в положение Васи. На мгновение мне казалось, будто я все слова позабыл и сказать больше ничего не могу. Но так бывает постоянно со мною при переходе от записанной речи к устной, к тому языку, каким мать моя говорила и учила меня первым словам. Не раз так бывало со мной, и каждый раз мне представляется, что не просто родное устное слово выручает меня, а прилетает крылатое существо с гибкой шейкой, со сверкающими глазками, с острым носиком, как у синички, и что это я сам такой, каким был маленьким. Потому, видно, и называется устная поэзия сказкой, что не писалась она, как теперь я пишу, а *сказывалась*. И потому, наверно, теперь мне кажется эта сказка крылатой и свободной, что я всю жизнь учился, очень трудился над тем, чтобы так, легко, просто и свободно писать, как оно прежде сказывалось. Всю жизнь я стремился к тому и все-таки не мог обратить до конца родное это слово в ту музыку, какая мне слышится в речи простых людей на полях, и в лесах, и на улицах больших городов, и на берегах морей, и у простых деревенских колодцев.

Вот так было и теперь, когда я попал в такое положение, что некогда было обдумывать и записывать. Я стал просто говорить, как все говорят.

Что прошло, то прошло. И я не могу тут повторить то, что детям сказал соловей мой, или пусть синичка перелетела куда-то далеко на другой куст. Я же теперь буду писать, как могу, и если забудусь, как забываюсь в устном рассказе, если прилетит другая моя птичка, то, может быть, выйдет так сердечно и просто, как счастливо удалось мне в этой правдивой сказке при выступлении в школе.

Почему-то в самом начале рассказа моего о том, как я работаю, в нить этой сказки о себе вплелся Ярик, моя собака, бывшая у меня лет сорок тому назад. Я очень давно, наверно еще когда он был жив, написал о нем два маленьких рассказа, и их с тех пор все печатали и печатали. Сколько было у меня собак после Ярика?.. Да десятками надо считать, и все, кроме сейчас живой Жальки (Джали), давно померли. А Ярик все живет! Встречая меня на улице вместе с Жалькой, дети часто спрашивают: «Это Ярик?» И, конечно, как только я сейчас сказал, что со мной купаться на речку ходит моя собака и я назвал ее Яриком, никто не

удивился, как будто так оно и быть должно: Ярик бес-
смертный...

— Так вот, дети, после того как я умылся, напился чаю, собрал свои листочки, карандашики, ножички и брусочек, я отправляюсь в лес на Красную вырубку и зову своего друга...

— Это кто утром с вами купался? — спрашивает чей-то голос.

— Нет, — отвечаю, — все из-за того и выходит так, что друг мой очень далеко от меня, и вместо него идет со мной на Красную вырубку Ярик.

И детям, конечно, приятнее слышать не о далеком, непонятном друге, а о знакомой рыжей лохматой собаке, заменяющей друга.

Ярик так Ярик! А бывает, и зяблик — мало ли что нам может заменить друга в природе! Там из гущи выбилась правильная на редкость елочка — тоже друг! Там замечательный пенёк, весь укрытый зеленым мохом, как плющом; из трещины выходит красный в белых крапинках мухомор — тоже друг и годится мух морить, а на верху пня, прямо на нем, поселилась небольшая березка. Сколько друзей!

Ярик все пни, где я работал, помнит и, забежав вперед, останавливается и ожидает меня, выкатив свои большие карие, продолговатые, как миндалины, глаза, и это у него значит: «Хозяин, мы тут будем работать или дальше пойдём?»

Я устраиваюсь на этом пне, прилаживаюсь с книжкой, подправляю ножичком карандаш и пишу, как всегда, какому-то неведомому другу. Скучное это дело для Ярика, но он переносит его терпеливо. Посидев некоторое время возле моего пня, он понимает, что надолго перемены никакой не будет, и начинает устраиваться на лежку. С силой задними ногами он выбрасывает мох и землю, не обращая внимания, что многое и в меня попадает. И когда образуется возле самого пня ямка, то укладывается в ней кружком, стараясь, однако, непременно прислонить тело свое к моей ноге. Это он делает с такою же целью, как мы на вокзалах прислоняем ногу свою к чемодану: на столе пьешь чай, а под столом чувствуешь ногой свой чемодан чтобы его не унесли.

Недолго приходится ему так лежать. Маленький хвощик стоит перед моими глазами в солнечных лучах, как турецкий минарет, и очень он красив, но я пишу далекому другу и не замечаю, что вот он, милый здешний друг, стоит

против меня сейчас минаретиком и дожидается, не найду ли я для него в себе внимания. Не дожидаться бы ему, но прилетает к нему синяя стрекоза...

Это нельзя не заметить. Я перестаю писать и гляжу, и гляжу, и, может быть, думаю, что в тех странах южных, где строят мечети с голубыми куполами и возле них минареты с такими же площадками для муэдзинов, как чередующиеся кружки листиков по стеблю у хвоща, наверно, тоже где-нибудь и хвощи растут, как у нас, а то с чего же взялись минареты?

Тут разное приходит в голову: и верное и неверное, и нужное и ненужное, а Ярик, почуяв, что я не работаю, потихоньку поднимает голову, и всматривается, и хочет понять, на что же я так неотрывно гляжу. Увидав наконец стрекозу, он понимает, — это я делаю по ней стойку. И раз хозяин сам делает стойку, то разве можно охотничьей собаке спать у его ног?.. Ярик поднимается, вытягивается, хвост его, как большое перо, продолжается прямо вровень со спиной, переднюю лапу с правой стороны он поджимает, но глаза не делаются, как на стойке по птице, безумными, и он как бы нерешительно спрашивает: «Долго ли, хозяин, мы с тобой будем стоять по стрекозе?»

К счастью его, стрекоза улетает.

«Милый друг!» — пишу я опять в свою книжку.

А Ярик, пошвыряв еще немного задними ногами в меня землицы, укладывается, прижав опять свой бок к своему «чемодану».

«Милый друг!» — пишу я и пишу...

Но вдруг на дерево прилетает любимая моя птичка — зяблик, и, как всегда, вернувшись издалека, я вижу обыкновенную птичку не такой, как видим мы, занятые каким-нибудь делом. Мне опять кажется, будто это мой друг прилетел из-за синих морей, и мое дело теперь только смотреть, удивляться, восхищаться, и узнавать, и понимать.

Я долго смотрю и, пока не укусит комар или муха, не замечаю, что ведь и Ярик мой тоже стоит давно по этому самому зяблику, и так давно, что уже розовый язык свесился из-под губы и на самом кончике языка комар надувается кровью.

Вот как он понимает меня! Мы делаем теперь двойную стойку по одному и тому же зяблику. И я понимаю Ярика, что он тоже в какой-то мере поэт, и мы оба с ним стремимся к одному зяблику. Но только я стремлюсь наполнить образ

зяблика своей душой и даже, быть может, кровью своей. А он, бедный Ярик, — бедный, бедный Ярик! — он по своей необразованности думает, как бы все-таки исхитриться поймать эту милую птичку, а может быть, если она вкусная, даже и съесть.

III

Конечно, детям в школе я рассказывал как-то иначе, мне кажется, лучше. И помню, какой дружный хохот раздался, какой радостный смех наградил меня, когда я сказал, что Ярик хотел поймать зяблика по своей необразованности.

После такой счастливой разрядки классной атмосферы отношения мои с аудиторией стали свободными, и Вася сам поднял руку и спросил меня:

— Вы сейчас сказали, что по-разному с Яриком смотрите на зяблика: Ярик хочет съесть, а вы в зяблике видите образ друга. Что это значит — «образ друга»?

— Лучше всего, — ответил я, — зяблик поет, когда ранней весной в лесу разбегаются ручейки и звучат в разных сторонах по-разному. Песенка зяблика рассыпается тоже, как ручьи разбегаются. О самом хорошем думаешь в это время, а что же лучше друга на свете? Потом, после когда-нибудь, увидишь зяблика летом — и вспомнишь, как было весной, и опять друга вспомнишь, и оттого зяблик становится образом друга. Понятно? — спросил я.

— Понятно, — ответил Вася.

Он сказал это из вежливости, и я это хорошо почувствовал, что «образ друга» для всех в аудитории остается неясным и что друга детям надо показать, конечно, в борьбе. Тут я вспомнил, как то же раз было со мной в лесу, на другой стороне той же самой Красной вырубке, где она, постепенно зарастая, переходит в массив леса. По тропинке я тут всегда проходил и часто обращал внимание на корявый куст можжевельника между частыми и бодрыми молодыми елочками. С горечью думал я, что ведь и между ними, можжевельниками, бывают деревца стройные. как кипарисы. Но почему так редко? И вдруг в этот раз, проходя мимо, я увидел этот самый куст, весь покрытый цветами. Оказалось, внутри куста притаился и распространялся шиповник, и когда расцвел, то было мне, будто это сам можжевельник от себя украсился сверху донизу дикими

розами... Но я не о розах рассказываю, а что за можжевельником оказался хороший пенёк, и Ярик, поняв меня, сразу стал вкапываться в мох, и я решил тоже устраиваться для работы на этом пне возле роз.

Вот эти ароматные дикие розы и были причиной моей беды и соблазнили сесть на этот самый проклятый пенёк. А ещё я поторопился потому, что в голове моей складывался тогда рассказ о тонущем в болоте мальчике. У нас эти страшные окнища в болотах называются еланями, и мой воображаемый мальчик попал в такую елань и медленно в нее погружался. Над поверхностью болота оставались только руки, плечи, голова. А мальчика мне надо было спасти. Много дней ходил я и думал, как бы спасти мне этого мальчика. И вдруг, когда я увидел этот проклятый пенёк, мне пришла в голову одна счастливая мысль, и я поспешил сесть на этот пенёк, не очень-то думая о том, где мне сидеть, когда на бумаге буду спасать воображаемого мальчика.

Даже и тут я не образумился, когда подо мною пенёк этот как бы сам тоже немного присел. Такие пни не редкость в природе. До того разрыхлился пенёк, сгнивая, что муравьи обращают на него внимание, и умные насекомые по-своему, наверно, так рассуждают, что чем нам трудиться собирать по бревнышку муравейник, войдем в пенёк всем государством и будем в нем жить, и так образуется муравейник, имеющий форму пня. Вот потому-то он и подался подо мной, что это был не пенёк, а самый настоящий муравейник.

А горячка у меня взялась оттого, что мне уже стало, как и вправду, казаться, что мальчик на глазах моих тонет, и сороки слетаются над ним, и ворон сверху почуял.

И как мне спасти? Ведь я словом должен спасать, мне нужно спешить доставать слова из своего глубокого колодца.

Не так-то легко, друзья мои, достать из себя такое слово, чтобы оно могло спасти человека, и не всякий может достать такое слово, чтобы оно могло тут же стать и делом.

— Ярик, — сказал я, — помоги мне, будь другом.

Я и сейчас вижу эти глаза, как он взглянул на меня. Сколько в них было напряжения, чтобы понять меня, сколько готовности сейчас же для меня все сделать и даже умереть, если только поймет!

И вот чудо! Этот глубокий мучительный взгляд моего

друга Ярика проник в меня. Мгновенно я представил себе, что далекие предки Ярика были дикие звери. Столетия и даже тысячелетия проходили, и нужно было, чтобы каждый человек, имеющий собаку, вкладывал в нее частицу своего доброго человеческого сердца, чтобы в моем Ярике в конце концов осмыслился такой взгляд и собака стала настоящим другом человека в дикой природе.

И как только я подумал о собаке, друге человека, вдруг в этот момент я и достал это нужное слово-мысль из своего колодца. Мысль эта была, как ведро в колодце, чтобы спускать его и доставать слова из глубины; эта мысль была в том, чтобы в рассказе моем спасла тонущего в трясине мальчика собака, друг человека.

Как раз в это время я почувствовал, что муравьи наконец нашли в белье моем выход к телу моему и всей массой по мне побежали. Но нельзя мне было и мгновения тратить на них. Пусть все выдумка, но я-то уже не чувствовал выдумки. Найденная мысль подхватила меня, и мне нужно было скорей спасти мальчика, а не возиться с муравьями.

Было очень больно, почти доходило до крика, когда отдельные муравьи впивались в тело, но те, бегущие во множестве, просто топтали меня ножками, и от этого было хуже, чем если бы все они честно кусали. Выходило так, если по правде сказать, как мне тогда казалось, что у нас состязание: мои мысли бегут, и им надо куда-то успеть добежать, а муравьям надо их догнать и погасить. Тут было, как в состязаниях перед самым финишем: все силы свои я пустил в ход, и они все силы пустили. Конечно, я себя самого спасал в разгар творчества, но я был уверен в том, что я спасал тонущего в болоте мальчика и что, если я вскочу и стану освобождаться от муравьев, мой мальчик утонет. Ворон уже кружится над ним, сороки стрекочут.

К счастью, мне удалось пересилить себя, удалось забыть свою боль и вывести рассказ так, что мальчик особенным человеческим словом, нежным и сильным, сумел подманить к себе собаку, схватил ее за ногу, и собака спасла человека.

Как, бывает, пружина, сильно скрученная, выпрыгнет из рук, вырвется и со звоном взлетит, так и я, закончив спасенье мальчика, прыгнул со своего пня, и в разные стороны полетели моя книжка, карандаши и ножик с брусочком. А Ярик, поняв, что это я зайца увидел, тоже

вскочил. Ему, охотничьей собаке по дичи, строго запрещено бегать за кошками, зайцами, лисицами и всякими зверями, на то у нас гончие. Но теперь, увидев, что и сам хозяин поддался искушению бежать, догонять, во весь дух пустился за воображаемым зайцем...

Я закончил свою беседу в школе такими словами:

— Много человек за тысячи лет вложил доброго в собаку, чтобы сделать ее своим другом. Но, сами видите по Ярику, не совсем это тот самый друг, к кому стремится наша душа. Скорее, это только подобие, образ друга. Но пусть хотя бы и подобие, — разве этого мало, что мы в диком звере создаем подобие друга человека? И не к этому ли ведет все наше преобразование природы?

ЗАПОЛЯРНЫЙ МЕД

I



Люблю сейчас иногда вспомнить кого-нибудь в прошлом и навести на него луч настоящего. Тогда в небольшом ясном кружке резко, как в телевизоре, показывается желанное существо, выходит на свет и на суд. В этой очень интересной охоте с телевизором не нужно ни стрелять, ни гонять, с дичью тут ничего не делается, а нам, охотникам за самой жизнью, поучительно отразить свое про-

шлое в текущей минуте жизни.

Начинаю подозревать, что и большинство стариков занимаются такой охотой, и в особенности старухи, когда вяжут чулки. Я по няне своей это помню, как, бывало, взглядишься в нее, маленький, и спросишь:

— Няня, куда ты ушла?

А она придет в себя, кончит вязанье, воткнет спицу в клубок и заторопится:

— Сейчас, сейчас, деточка!

И так жалко станет, что ей помешал и вызвал ее откуда-то сюда. Чтобы поправиться, скажешь ей:

— Няня, ты живи и ни о чем плохом не думай. Когда я вырасту и стану на ноги, я тебя не брошу.

И, вспомнив, как в деревне об этом говорят большие мужики, твердо ей объявляю:

— Я тебя, милая няня, когда сам на ноги стану, допою, докормлю и похороню.

Тогда эта няня, вся няня, со всем своим прошлым живым, всей жизнью невыжитой, обращается ко мне, обнимает, целует и плачет от радости, что ее, старую, еще кто-то любит.

Сейчас очень подозреваю — старым людям вовсе не так плохо живется, как мы это себе представляем в молодости. Есть сладость в том, как, наученный опытом долгих лет, вызываешь в своей памяти прошлое и расставляешь по-своему все на места.

Вот, помню, зубрили мы, дети своего девятнадцатого века, о плодородии Нила.

— В чем заключается плодородие Нила? — спрашивал нас учитель.

— В плодородии ила, — отвечали мы.

Теперь я думаю, что даже наша Ока была бы для нас не худшим примером плодородия, чем египетский Нил. Выйдешь весной на крылечко, и не узнать ничего прежнего. Где тут лес, где река, где село? Это море, а села — это острова, и к каждому дому привязан челнок для перевозки пчел по этому морю в далекий, невидимый лес.

Когда вода начинает спадать, плодородный ил нашего чернозема садится на старую траву, и весь луг на необозримом пространстве становится чернобархатным.

Никто из нас не читал в географии ничего о чернобархатных лугах, но глазами и всей душой, какая только была тогда у нас, мальчишек, мы видели на лугах черный бархат ила и никак не думали, что как раз это и есть ил, определяющий плодородие Нила. За наши ответы о плодородии Нила нам ставили хорошие и плохие отметки, но что такое ил в действительности, мы не знали.

По мере того как вода стекает в реку или уходит под землю, дожди осаждают бархат ила вниз, зеленые травы мало-помалу закрывают естественное удобрение, и на заокские луга из старых липовых и дубовых лесов вылетают пчелы. Тут нежданной весной по дренажным канавам во множестве развертывается ива, эта апрельская невеста, украшенная еще на голых ветвях набухшими желтыми шариками ароматных соцветий. Тысячи таких маленьких

деревьев расцветают по дренажным канавам, и на каждое деревце хватает гостей. Пчелы, шмели, бабочки слетаются, и когда все гудят, удивляешься молчанию бабочек: до того они нежно касаются целомудренной апрельской невесты, что только тут-то, кажется, наконец и становятся вполне понятны известные слова: «Разговор — серебро, а молчание — золото».

Солнце, небо, цветы, пчелы с утра до ночи работают вместе, и каждый день все больше и больше собирается меду в ульях. Давно бы нашим поэтам следовало прославить бархатные луга за Окой, чтобы нашим детям ложилась прямо на сердце родная Ока, а потом уже на этом черноземе само собой вырастало понимание невиданного египетского Нила.

А какие были на Оке пчеловоды! Очень славился в мое время наш сосед Иван Устиныч. Я скашивал на него из-за куста свои глаза, боясь повернуть голову, шевельнуть ветки и обратить на себя внимание пчел. Никогда он не пользовался сеткой, чтобы защитить свое лицо от пчел. А и так сказать, какое это было лицо! Это был небольшой кружок темно-красного цвета, вроде яблока апорта, упакованного в седой бороде. Но дымок он всегда держал возле себя, незаметно попыхивал дымарем и подбавлял. Бывали особенные дни, когда женщины не идут, а бегут, укрытые верхними юбками, и всех на ходу предупреждают: «Пчелы роятся!» или «Устиныч пчел огребает!» А было раз, довелось мне видеть из-за куста, как поднялась туча пчел, серое облако, и среди облака стоял Устиныч — открыто и высоко — с большим мокрым березовым веником в руке. Он не обращал никакого внимания, что пчелы во множестве впивались в его руки и щеки, как будто чего-то выжидал, чтобы сразу по-своему распорядиться судьбою многих тысяч этих живых существ. Выждав какой-то момент, он резко махнул веником в серую тучу, окунул веник в кадку, еще прибавил дождя, еще и еще, и пчелы начали оседать, собираться в один черный комок на изгороди.

Никогда после не приходилось мне видеть такого повелителя, и когда еще мальчишкой я стал разбираться в людях и разделять людей — что одни живут для себя, а другие работают для всех и эта работа называется *службой*, — то из всех служащих или «старших», мне казалось, по-настоящему служил только Иван Устиныч.

С той далекой детской поры прошло уже семьдесят лет! Мне, однако, хорошо помнится, как на соседнем заводе

кровных орловских рысаков родилась чудесная кобылка, а через несколько дней кобылка оказалась слепорожденной. Иван Устиныч взял кобылку себе, выходил и назвал по деликатности своей не Слепухой, как следовало бы, а Зиной. И вскоре она стала ему очень полезна. Первая польза была, что она давала ему прекрасных зрячих коней, и вторая польза, что, может быть, именно эта Зина и навела его на мысль о кочевом пчеловодстве.

Сам ли мудрец высидел эту мысль или где-нибудь взял, — трудно сказать. Непонятно тоже, почему с благодати бархатных лугов Иван Устиныч уезжал куда-то подальше: скорее всего там где-то было получше, и, чтобы не затруднять пчел дальним полетом, сам туда подъезжал. А то и так тоже было, что луга-то лугами, а когда зацветала греча, надо было подвезти пчел к грече. Собираясь в кочевку, Иван Устиныч ставил свои колоды на телегу низом вверх, чтобы наверху в свободном пространстве пчелы могли *выкучиться*. Это стремление пчел собраться в один комок на толчках от шума и всякого беспокойства мы хорошо понимаем по нашим стадам, когда коровы собираются в тесный кружок против волка, и еще ближе по себе самим, когда говорим: на людях и смерть красна. Вот тут Зина была незаменимой помощницей: слепая лошадь так осторожно ступала, что пчелы почти не тряслись. Ехали по ночам с открытыми должеями, а на дневку останавливались там, где хорошо, и пчелы с близких цветов накоротке прямо и носили мед в ульи.

Подумать только, что было это семьдесят лет тому назад, наших скорых лет конца девятнадцатого и первой половины двадцатого столетия! Не могу теперь верно сказать, знал ли о кочевом пчеловодстве Иван Устиныч или открыл его для себя, а другой, сосед, как было с открытием Америки, поглядел на открытое, поставил под ним свое имя — и распространил. Не могу об этом верно сказать, да и не в том моя мысль. Мне кажется, что сотрудничество наше с пчелами влияет на характеры людей. Пчелы приучают не соваться с самим собою вперед, не делать резких движений и пользоваться в деле не так физической силой, как силой внимания. Вот отчего я представляю себе ясно, что Иван Устиныч и глазом не моргнул в сторону авторства при открытии новой системы пчеловодства: какое дело ему до того, чьим именем назовется открытие, — он своим открытием занял первое место и на нем будет твердо стоять.

Смотрю теперь и вижу, как в телевизоре, свою старую родину и понимаю теперь, что всегда ее любил, но всегда чего-то не хватало, и я не мог не только сам ею хвалиться, но не очень верилось, когда кто-нибудь другой говорил, что так-то уж очень она хороша. Не в поисках ли какой-то новой, лучшей родины бродил я по Северу и записывал народные сказки? Не помогали, однако, и сказки, и грандиозные явления северной природы. В сердце этих сказок и этой чудесной природы, конечно же, был человек, и при свете полуполночного солнца и северного сияния мне показывался человек еще более жалкий, чем на моей обыкновенной родине. У нас там все-таки соловьи пели, цвели яблони, а тут даже не было пчелки, собирающей мед.

Теперь, когда мне открылась вся моя родина, понял я, что и тогда что-то родное там, на Севере, я себе находил. А то почему же среди великих, почти ежедневных открытий я схватился именно за северный мед, и так крепко, что захотелось всем рассказать, как он открывался и какие милые люди его открывали.

Сейчас на столе у меня в хрустальных вазочках под электрическими лампочками играет отсветами это душистое, сладкое, ароматное и целебное вещество, известное человеку очень давно и бывалое в природе с тех пор, как первая пчела нашла где-то цветок. Но это известное и бывалое в природе вещество привезено к нам из такого места, где пчел никогда не было, и обильный мед, заключенный в нектарниках цветов тундры, без пчел человеку был недоступен. Вот этот-то мед, что светится сейчас на столе, можно сказать по полному праву, создан не одними пчелами, но еще и особенно усилиями людей, устроивших нашу русскую родную пчелу заокских лугов на работу в Заполярье, возле Хибинских гор, и под Мончегорском, и дальше, у Мурмана, и еще севернее — почти под семидесятым градусом, за Баренцевым морем, у Печенги.

Трудно рассказывать верно о вещах, связанных с чувствами вкуса, запаха, цвета: на вкус и цвет товарища нет. И совсем уже трудно говорить о меде из тундры, меде, какого еще никто не пробовал, о меде небывалом. Трудно, и в то же время как хочется, как интересно самому первому сказать о том небывалом, о чем никто еще никогда не говорил! Мне показалось, что мед заполярный много вкуснее нашего и что разница между медом южным и заполярным

такая же, как между северной и южной природой в отношении света. То, что на юге у художников называется *тоном*, на севере раскладывается на десять и больше тонов, и оттого светá нежнее и тоньше, а вместе с тем, конечно, и тени, и облака, и воды, и горы — все вокруг на севере нежнее и тоньше, больше интимного человеческого начала, чем природного, больше радости, связанной с трудом человека, чем радости-счастья, получаемого на юге даром.

Так вот этот мед, собранный с цветов заполярной тундры, коснулся меня больше со стороны человеческого усилия, направленного в сторону небывалого.

III

В наши дни открыты миллионы пудов меда, заключенного в цветах заполярной тундры, и теперь можно уверенно сказать, что со временем у каждого северного человека будет по желанию за столом свой северный мед особенного и превосходного вкуса.

Среди множества текущих открытий в нашей стране это открытие еще совсем незаметно, и никто не может назвать Колумба этой новой медовой страны за Полярным кругом. Мало ли было на свете открытий, начиная с той же Америки, когда открытие страны открывало путь к грабежу и к истреблению ни в чем не повинного населения! Каждый творческий труд должен кончаться непременно открытием. Но чистое имя тружеников не должно пропадать, оно не должно затеряться, и дело автора, описывающего открытие, есть тоже и дело открытия этих имен.

Трудно, однако, сказать сейчас, кого больше следует благодарить за мед северному человеку: агронома ли Демиденко В. Н., который в 1934 году с участием Анкиновича Г. Б. и Наумова В. завез на пятнадцать дней пчел на кочевку в Заполярье, главного ли агронома совхоза «Индустрия» Лозиса С. М., Общество ли охраны природы в Москве или же энтузиастов Мурманского облисполкома и обкома. Среди сотрудников Института пчеловодства упомянем в этой связи доктора биологии Г. А. Аветисяна. Он воспитывался и вырос в солнечной стране, в виду знаменитой горы Алагез. Казалось бы, какое счастье родиться, расти и жить в краю столь древней культуры, в соседстве с горой Арарат! Но наш энтузиаст-пчеловод нашел свое счастье в Заполярье, в тундрах, где березка за пять-

десять лет вырастает на высоту двадцати сантиметров.

— А что тут удивительного, — сказал нам доктор Аветисян, — климат севера и юга располагается на земле не только в ширину, но и по высоте: возможно, и на самой горе Алагез на известной высоте вы найдете ту же березку-старушку в двадцать сантиметров высотой.

Из этого нашего разговора выходил такой смысл, что не все ли равно, куда двигаться по земле, в ширину ли или в высоту по горам: важно, что в состав сложного чувства родины входит движущая сила неизвестного, небывалого, нового.

Летом 1949 года доктор Аветисян отправился в Заполярье и, сделав опыты с несколькими семьями пчел, до такой степени сумел разжечь патриотическое чувство мурманцев, все они так горячо взялись за дело освоения нектара Заполярья, что теперь уже и не разобраться, кому больше обязан северный человек открытием необъятной палестины заполярного меда — научной мысли или патриотизму местных деятелей.

Мне бы хотелось, однако, изобразить это открытие заполярного меда как цепь усилий определенных людей, утвердить имена хотя бы немногих главных и от человека к человеку добраться до самого заполярного меда.

Для себя же мне хочется в этом правдивом рассказе так войти в дело открытия, чтобы самому совсем и не надо было бы что-нибудь сочинять.

Мне все думается так, что если бы автору можно было совсем близко стать к самой жизни, сделаться самому свидетелем рождения небывалого, то все выдумки сочинителя сами собой бы стали смешными и ненужными. Вот почему я не хочу играть с читателем в прятки и выдаю вперед самый конец: мед был открыт. Мое же дело, свидетеля рождения небывалого, рассказать, как оно родилось и кого в этом деле нам следует помянуть добрым словом.

IV

Доктор так говорил:

— Солнце в Заполярье недаром светит в сутки двадцать четыре часа, и недаром все эти часы работают зеленые растения: нектарники цветов на севере заполняются больше, чем на юге, и короткая *межень* (северное лето) может дать меду больше, чем долгое лето на юге.

Вот золотые слова! Но как им поверить простому

местному человеку, хорошо знающему, что только десятого июня здесь распускается березка и уже в конце июля начинает желтеть? Как поверить золотым словам, если только в половине июня начинается взятки у пчел и кончается в начале августа?

Местный человек очень давно в одиночку боролся с лесом, водой и камнем. Пусть на лес, на воду и камень теперь нашлась хозяйская рука, но эта же хозяйская рука хорошо знает цену вещам, чтобы так-таки просто поверить словам и отпустить на опыты громадные деньги.

Не в самом веществе меда главное дело, а в том, что и в полярных ночах и в полярных днях наши труды венчаются медом, что и мы тут можем жить и достигать не хуже других.

— Мысль о преобразовании природы виднее при свете полуночного солнца, — говорил доктор, — полярною ночью электрический свет горит ярче.

— Золотые слова твои, доктор! — должны были согласиться с ним. — Твоими устами да мед пить! Давай мед.

— К осени у вас будет мед! — ответил доктор.

И вот началось! В крупнейший совхоз Кольского полуострова «Индустрию» первая Заполярная экспедиция вывозит пять семей пчел. Эта экспедиция организована Обществом охраны природы и Институтом морфологии Академии наук СССР. В нее входят два работника пасеки Тимирязевской академии Г. Б. Анкинович, А. А. Любимов и учитель С. Н. Холуев.

Дружно работали заполярники в совхозе «Индустрия», и когда Хибинские горы окрасились в их обычный осенний бронзовый цвет, руководитель экспедиции доктор Аветисян вынул первую запечатанную пчелами рамку заполярного меда и поехал в Мурманск к начальству.

Каждый может представить себе, какие лица были у мурманцев, когда они пробовали свой собственный местный заполярный мед! И в какой сказке может быть конец волшебней, чем в нашем правдивом рассказе о том, как закончилось первое лето опытов с пчелами: 3 сентября 1949 года состоялось постановление Мурманского исполкома и бюро обкома об организации широкого производственного опыта в 1950 году с устройством пасек в Хибинах, возле Мурманска, в Мончегорске и в Печенге.

Очевидцы рассказывают, что будто бы радость о постановлении совпала с каким-то большим гуляньем в самом Мурманске. Молодые люди в штанах с широкими клешами

вели под руки девушек с букетами анютиных глазок, выращенных в местных теплицах на берегу Северного Ледовитого океана.

V

Вскоре после решения закупить сто семей пчел и перевезти их для устройства пасек в Заполярье стал вопрос, из какой же местности лучше всего взять пчел. К вопросу подходили с разных сторон, и когда все сошлись на том, что пчелы прежде всего должны быть зимостойкими, отпали Кавказ, Украина и все южные районы. Тогда Управление пчеловодства Министерства сельского хозяйства РСФСР предложило взять пчел из Московской области. После небольших колебаний все сошлись на пчелах с тех самых бархатных лугов за Окой, где в детстве моем наш местный пчеловод Устиныч кочевал на своей славной слепой лошадке Зине. Так удивительно сошлись события в ходе открытия заполярного меда с событиями моей собственной личной жизни, и я почувствовал себя как бы восприимчиком чего-то совершенно нового и небывалого, и мне стало казаться, если я расскажу обо всем этом новом, как выходило из-под рук у хороших людей, то без всякого обмана этот рассказ будет не хуже других, чисто волшебных.

В идее своей этот опыт перевозки с Оки в Заполярье ста семей пчел ничем не отличался от кочевки Ивана Устиныча; вся разница была только в том, что тут пчел было много и перевозка происходила не на слепой кобыле, а с помощью современного транспорта и на огромное пространство от Оки до Северного океана.

Так пришла весна того года. Мурманцы проводили первый в мире опыт продвижения пчел на Крайний Север. Сразу же встало первое препятствие. Пчелы будут, а пчеловодов в Заполярье нет.

В «Индустрии» организуются пчеловодные курсы.

Выучиться говорить может и грач, и попугай, а записывать может даже инструмент, и еще точнее, чем сам человек. Но самое дело было в том, чтобы тут создался интеллигентный человек и действовал не как грач-попугай и машинка, а как может действовать только один человек, сам человек, царь природы.

Тысячи лет в одни числа с небольшим отклонением ранней весной на Севере показывались белые пуночки, на мокром снегу появлялись черные точки насекомых, потом

начинали петь жаворонки, распускаться березы, и так все такое тысячи лет прилетало, показывалось, улетало, исчезало по сезонным кругам. Но пришел человек, стал записывать время прилета птиц, и когда распускаются какие цветы, и когда местные шмели вылетают на цветы, и когда вылетала паша привозная пчелка, и сколько меда прибавилось в контрольном улье. Точность записи, кажется, дело до чего уж несложное, но для человека простого точность оказалась выходом к научной работе, к открытию законов управления самой природой. Так преобразование природы в целях получения бесполезно пропадающего меда началось преобразованием самого человека.

Им, этим простым работникам Севера, было суждено решить судьбу пчеловодства на Кольском полуострове.

Не для себя лично они хотели меда: лично каждый стремился для себя к лучшему, чтобы только было от этого хорошо всем товарищам. Мне кажется, оно так и было всегда у каждого простого человека, когда он вступал в храм науки, но, кроме простых сердцем людей, на тот же путь шли другие, и это привело к расхождению путей на две дорожки: на трудную — нашу и на легкую — в пасть волкам.

Ученики доктора шли по трудному пути, и если бы писать книгу об открытии меда на Севере, нужно бы записывать этапы развития сознания каждого работника. Вот теперь становится понятным, почему на этом пути сознания непременно возникают имена: всех работников невозможно назвать, и мы называем лучшего.

Так и тут пусть будет за всех одна женщина, бригадир по овощам, донская казачка Анна Ефремовна Сомова. Рядом с наблюдением над пчелами при собирании ими меда она вела точные наблюдения по опылению ими огурцов, и теперь уже трудно сказать, чем полезней человеку на Севере пчела: собиранием меда или опылением растений. Анна Ефремовна теперь доказала, что работа одной семьи пчел заменяет работу ста двадцати человек при ручном опылении огурцов.

А из тундры в самый разгар отела оленей Областное управление вызывает по этому делу своего старшего зоотехника, замечательно энергичную девушку Эльзу Владимировну Быстрякову, и направляет ее в Москву. Мы думали, явится какая-то новая амазонка в оленьем костюме, но приехала милостивая девушка в прекрасном синем пальто, с обычной неудобной дамской сумочкой в руках. Ее дело было, впрочем, такое, что без сумочки не обойдешься:

дела денежные. После хлопот с кредитами в банке и о вагоне-холодильнике для перевозки пчел явилась трудность: найти проводника, знатока пчел и такого любителя, кто не побоялся бы взять на себя риск и ответственность перевозки пчел в Заполярье. Казалось, для этого надо было, по правде говоря, воскресить Ивана Устиныча и дать ему высшее образование. А то кто же возьмет на себя риск везти пчел из лесов десятки верст на лошадях, трясти их потом тысячи верст по железной дороге и студиться вместе с ними самому в вагоне-леднике, потом качать пчел по Баренцеву морю и опять мотать по неровной дороге на машинах до Печенги?

Вопрос стал, как на войне, когда в трудных случаях вызываются охотники, а Москва наполнена охотниками всякого рода и среди них, конечно, и пчеловодами. Скоро оказалось, не надо было воскрешать Ивана Устиныча: мы, любители, все знали по себе, что такой человек есть среди нас и даже сейчас живет между нами, и только нам не приходит в голову подумать о нем, а он сам не смеет назваться. Но пришло время, и по указанию из центра появился человек совершенно в том же духе, каким был Иван Устиныч, только бородка была стрижена, сидела маленьким седым пучком на подбородке, и общий облик был человека пожилого, с высшим образованием. Но душа его представляла собой совершеннейший пчелиный улей с гармоническим пением пчел, как у Ивана Устиныча, но, помоему, Константин Сергеевич Роднонов был и в отношении душевного состава выше его.

Чтобы служить пчеле, тому нужно было видеть пчелу, слушать ее, дымить на нее. Константин Сергеевич, научный сотрудник Института пчеловодства, мог, и не видя пчелу, любить ее не меньше Ивана Устиныча. За особенное пристрастие к пчелам в институте его называли «последним из могижан», но мы, и с нами все Заполярье, будем понимать его и доктора Аветисяна как первых из могижан, как зачинателей небывалого дела на Севере.

Может ли кто-нибудь из произносящих слово «могижане» сказать, о чем мы думаем, когда произносим это слово? Мне кажется, мы думаем о чем-то очень хорошем, но исчезающем неизбежно и несправедливо. Мало того! Мы как будто с этим должны помириться и жить в будущем без могижан. Но я лично никогда с этим не мирился; начитавшись с детства книг об индейцах, я бунтовал и боролся, как всегда мне казалось, вместе с могижанами за свободу.

И это не случайно вышло, что наш первый из могикан на своем первом шагу в деле расширения горизонтов своей родины столкнулся с тем, что, напротив, стремится не расширить, а закрепить прежние достижения.

Заведующий райсельхозотделом на Оке отказал Родионову продать сто семей пчел. Тогда молниеносно по телеграмме Родионова на место явилась Эльза из тундры.

Какой волшебной силой обладала эта принципиальная девушка! Она из тундры была так глубоко проникнута идеей освоения человеком Заполярья, так презрительно усмехнулась, услышав, что за Окой в колхозах-миллионерах не найдется ста семей пчел для Заполярья, что заведующий сразу же оторопел.

И правда, его кругозор в сравнении с кругозором девушки нового строя был деревенским кругозором, ограниченным зубчиками леса. Эльза из тундры, не ограниченная никаким лесом, сразу это поняла и прямо сказала ему:

— Товарищ, разберите свой плетень!

Заведующий оторопел.

А она ему:

— Вы здесь оплелись плетнем со своими богатыми колхозами в заокских лугах. Но мы надеемся в нашей тундре добывать меду больше, чем вы добываете в своих бархатных лугах. И разве не в этом одна из главных мыслей нашего времени, чтобы отсталых людей сделать первыми?

После этих слов заведующий все понял и объяснил свое сопротивление борьбой за свой район.

— Ваш мед не пропадет! — ответила Эльза. — Он прославит вашу Оку.

Заведующий совсем пришел в себя и ответил:

— Наши бархатные луга перекликнутся с вашей заполярной тундрой.

Так достойный местный работник ловко перескочил за пределы своего плетня, и Эльза из тундры, набрав огромный букет всех медоносных представителей бархатных лугов, покинула край.

VI

Случилось этим летом, что покос на лугах несколько зажали дожди. Но вдруг, когда Родионову для перевозки пчел понадобились люди, дождь перестал, и, как у нас это исстари повелось, стар и млад бросились на луга. С пчела-

ми сидеть на месте не было возможности: в дождливые дни они поедали запасы; поздно было надеяться на будущие ведренные дни. В дороге могло не хватить корма: план был рассчитан, что пчелы переседут в Заполярье на своем запасе и попадут прямо на заполярный медосбор.

Нельзя было и дня сидеть на месте с пчелами, а люди все бросились на луга, и вразумлять их, как Быстрякова вразумляла заведующего райсельхозотделом, не было возможности. К счастью, в каждом уголке нашей родины непременно таится «умственный» человек с более широким кругозором. Сейчас это был старый пчеловод Яков Иванович Попов, подобный моему детскому Ивану Устинычу.

Кажется, так давно были у нас кулаки, но собственнические приемы, перенесенные в общественное дело, нет-нет и покажутся. Кое-где стремились подсунуть для Заполярья семейку пчел похуже, а себе оставить получше. И если бы не Яков Иванович, плохо бы пришлось первому из могикан: слишком большая была его задача, слишком это было далеко от Оки, где-то в Заполярье. Но Яков Иванович — на что уж местный человек! — а, как ястреб, бросался на каждого, кто действовал по завету «не обманешь, не продашь», и всей душой служил Заполярью.

Была одна *зеленая ночь*, как потом ее называли. По недостатку машин, а может быть, по бездорожью, приходилось из леса лугами на лошадях перевозить пчел и через Оку на железнодорожную станцию. Пчеловодам, хорошо знающим повадки пчел, было тревожно на душе, как врачам перед операцией. Довольно было хоть одной только пчеле вырваться из улья, ужалить лошадь, чтобы иная разнесла бы телегу. А если бы один только улей разбился и рой вырвался, то жала только двухсот пчел были бы смертельными для лошади. Но и лошадей была не одна, и у каждой кобылы был еще сосунок. Вот почему Яков Иванович всю эту ночь с дымарем ходил от подводы к подводе и беспрерывно дымил в подозрительных местах, а Родионов спешил к тому месту с ведром глины и промазывал всякого рода щелки и трещинки, возникающие в ульях на трясках местах.

Так ехали в непрерывных заботах целую ночь, и всю эту ночь вертелась в душе одна только забота — как бы не вылетела из улья пчела. Тут в голове человеческой — забота, а там, на лугах, летней ночью у кузнечиков была забота пилить в одну ноту, пилить и пилить, а перепелки всю ночь тоже одно выбирали свое «пить-полоть», а дергач

тоже все одно свое драл всю ночь за всех: «Трудно, батюшки, трудно, матушки!»

Вот отчего Родионов потом нам говорил, что ночь эта была зеленая.

Но всех больше в сочувствии своем перекочевке пчел в Заполярье удивил нас начальник станции, где была оставлена партия пчел, привезенных в прошлую ночь. Конечно, к пчелам приставлен был сторож, но как раз тут в его личной жизни случилась какая-то беда, и он, подумав, наверно, что на станции с пчелами ничего не случится, удрал. А любитель-пчеловод, начальник станции, стал на его место и простоял всю ночь, пока не подъехала вторая партия пчел, и вся эта ночь ему, наверно, тоже была *зеленая*.

VII

Как ни хотелось бы открытие заполярного меда свести к организованному усилию всех занятых этим делом людей, но невозможно понять и оценить труд пчеловода, не зная, какой нежный и чувствительный материал представляет собой пчела. Стоит немного поговорить с любым старым пчеловодом, и начинает думатья: не сказку ли рассказывает любитель пчел?

Яков Иванович рассказывал, что еще в старое время в день солнечного затмения за Окой с утра пчелы полетели на луга обычным порядком, но часа за два до тех пор, как людям стало заметно начало затмения, пчелы большой серой трубой вернулись и густо облепили ульи. Потом, когда началось затмение, все дивились тому, как это пчелы могли вперед знать о затмении.

Но если у собак есть особое топографическое чувство, позволяющее на многие версты в лесу терять хозяина и в дождь, смывающий все следы, находить его; если птицы в небесном пространстве плавают лучше и точнее, чем мы в океане, — то почему бы и пчелам не обладать особым чувством положения солнца на небе?

Давно ли на танцы пчел смотрели как на сказку пасечников, а теперь точной наукой доказано, что танцы пчел — это их пчелиный язык, что объяснение пчел-разведчиков рабочим пчелам — топографический рассказ о положении медоносов между тремя точками: улья, медоносов и положения солнца. Из этих трех точек две постоянные, а третья — положение солнца — меняется. И рассказ раз-

ведчиков, в сущности, есть начертание угла, под которым падают в настоящую минуту солнечные лучи на медоносную полянку.

Так вот, если в каждое время пчелы-разведчики могут сделать по-своему доклад о положении солнца на небе, то почему бы этим пчелам-топографам не доложить в улье о смущении солнца перед затмением и всем пчелам вместе не смутиться перед «концом света» и не броситься под укрытие своих убежищ?

Ничего в этих явлениях нет фантастического, но, зная, какой чувствительный материал представляют собой пчелы, как не подумать о риске переправы их на кочевье в Заполярье?

Нелегко было при нашей общей сложной и спешной работе достать для переправки пчел в Заполярье вагон-холодильник и поставить его в график на пассажирскую скорость. Но раз это сделано, то никакого времени для поиска рабочих нет, никакого раздумья быть не может, останешься даже и один проводником — вези: взялся за гуж, не говори, что не дюж.

— Подумай, друг, как ты поедешь один? — говорил поминутно Яков Иванович, помогая вместе с другими пчел грузить и ставить ярусами в вагоне ульи.

— Надо ехать! — неизменно отвечал Родионов.

У пчел было много расплода, и, значит, за дорогу, особенно если выйдет задержка в пути, расплод поест запасы и погибнет, а пчелы осыплются.

— Как ты поедешь? — спрашивал Яков Иванович все более смущенно.

А Родионов понимал хорошо, чем он смущается: старику казалось, что ему бы самому надо сбросить с шеи свои семьдесят лет, тысячу дел семейных и колхозных и ехать проводником вместе с Родионовым.

— Друг, — уговаривал он, — откажись, не дрова везешь.

Но отказаться — это значило поставить крест на сезоне: вагон уберут, другой не скоро достанешь, а там непогода, там доставать сахар...

В спешке забот о пчелах научный сотрудник совсем забыл о себе и дал телеграмму своему приятелю, тоже любителю пчел, привезти ему чемодан с необходимыми вещами и хлеба.

Иван Николаевич Взородов, инвалид, ничем не замечательный, с чемоданом явился всего за полчаса до отхода поезда и, ни о чем не думая, стал солодкой подтыкать те мес-

та, где, по его мнению, ульи на ходу должны были друг о друга тереться. Наверно, он сразу смекнул положение друга и все работал, не обращая никакого внимания на звонки. И, ничего не говоря, прямо с ходу укатил в Заполярье.

VIII

Бывает, в трудные дни все представляется надвое: по одной дорожке пойдешь — будет тебе очень трудно, а пойдешь по другой — будет сначала легко и приятно, а потом непременно волки съедят.

Так и у наших друзей-пчеловодов дорожка раздвоилась, да еще и так, что неизвестно им было, где трудная сторона, а где волки. При упаковке ульев были вынуты из них магазинные рамки, чтобы пчелам было место выкучиться, а сверху прибита натянутая сетка, чтобы они не могли вылететь. При первом же ударе молотка пчелы, конечно, потеряли покой, но все это пустяки в сравнении с тем, что началось в ульях, когда вагон понесся с пассажирской скоростью.

На потолке вагона-холодильника болталось множество металлических крюков для подвески мяса, на которые нацепили шесть медогонок, и когда поезд покатился, все это, ударяясь друг о друга, колоколами зазвенело над пчелами. То же самое одновременно давала и недостаточная нагрузка. Пусть было погружено сто ульев с магазинами, с медогонками, с разными инструментами для северных пасек, пусть вагон был так набит, что едва было место для двух проводников, но что это был за груз в сравнении с тем, как обычно нагружают вагон, и какую же, значит, раскачку и тряску должен был испытывать вагон с пчелами, бегущий на пассажирской скорости.

Скоро определилось в пути, что пчелы поглощают массу корма и, выкучиваясь в смятении сильней и сильней одна к другой, невероятно высоко поднимают температуру. Лед быстро таял. Требовалось довольно частое наполнение льдом. Но при первом же наполнении оказалось: наполнить вагон льдом в короткое время стоянки пассажирского поезда невозможно. Вагон отцепили, и в ожидании следующего поезда пропали целые сутки.

Вот так и подошло нашим пчеловодам то самое положение, с чего я начал, — дорога на Север к цветам тундры разбилась на два пути: если пользоваться для охлаждения льдом, дорога растянется на многие дни, корма не хватит и пчелы осыплются с голоду; если же не пользоваться

льдом, то пчелы поднимут высоко температуру и от жары с расплодом своим задохнутся.

Но, кажется, всегда, если делается что-нибудь новое, небывалое, на какой-то ступени творческой работы пути расходятся, примеров, на что бы поглядеть, нет, приходит жизнь беспримерная.

Вот даже сейчас, сплю минуту, когда я погружен в начертание этого совершенно правдивого рассказа и у меня самого расходитя дорожка моя надвое, мне хочется бросить трудный путь правдивого изображения и взяться за сказку и войти в нее, где в трудных местах на помощь появляется фея...

Некуда было смотреть пчеловодам: в таком количестве, наверно, никто на Крайний Север пчел по железным дорогам не возил.

А может быть, у людей есть счастье и можно схватиться и нашим пчеловодам за счастье?

— Ваня, — сказал Родионов, — давай на счастье пропустим станцию с холодильником.

— Поглядим сначала, какая температура, — ответил Ваня.

Внизу оказалось +9, нормальная, а наверху +18, тоже не так уж очень страшно.

— Рискнем? — спросил Родионов.

— Рискнем, дядя Костя, — ответил Ваня.

И пчеловоды рискнули и на счастье свое пропустили станцию с холодильником.

Трудно сказать, отчего это вышло, но скорей всего это вышло оттого, что растаяли последние остатки льда, и тогда температура в ульях катастрофически быстро начала повышаться.

Положение экспедиции стало приближаться к тому, когда говорят: утопающий хватается за соломинку. А тут даже и соломинки не было.

Внизу для пчел было еще неплохо, но людям холодно и неуютно, пол под ними ходуном ходит, нет ничего мягкого и теплого, и к тому же темно. Сидят среди ульев, как два зяблика в кустах в непогоду, и когда рукам становится теплее, сердце стынет все больше от страха за пчел.

— Ваня, что-то теплеет, возьми термометр, вот тебе огарок, полезай-ка наверх.

— Не спеши, дядя Костя, — ответил Ваня, — давно ли мы глядели, постарайся заснуть.

И только бы заснуть — вдруг новая напасть. То ли от

жары, то ли от чего-нибудь еще и от всего вместе, только некоторые непокорные пчелы принялись бегать — искать выход из улья. И, конечно, от вагонной тряски замазанные глиной щелки там и тут открылись, и беспокойные пчелы-разбойники сквозь эти щелки нашли себе выход на волю. Летать в темноте они не могли и сползли вниз с улья верхнего на нижний и на пол.

— Ползучие пчелы жалят, совсем не как обыкновенно жалят пчелы с лету: жало ползучей пчелы тупее, больнее...

Так рассказывал нам после Родионов, и я не знаю, правда ли это, или просто так им казалось в темноте холодного вагона.

Но кто был в научных экспедициях или на войне, — а кто на войне теперь не был! — тот знает, какие это все пустяки, не имеющие никакого значения в ходе всего дела. Только одно плохо, что как тыпнет такая ползучая пчела, так сильнее и острее тут же тыпнет и мысленка об ответственности за пчел.

И не то опять страшно, что придется за пчел отвечать, а что руки от всего отваливаются и становится как-то все ни к чему.

— Нет, Ваня, спать невозможно, пожалуй, я сам ползу.

— Дядя Костя, я тоже не сплю, давай огарок сюда.

С огарком в руке и термометром с улья на улей поднимается Ваня.

Вот он там, вверху, на третьем ярусе, стоит, держит термометр, ждет сколько-то, вот подносит термометр к глазам... Вдруг огарок погас. Ваня потерял равновесие, покатился по ульям, а термометр упал и разбился.

Нелегко было ощупью в темноте разыскать термометр, но ползали усердно, попадали на ползающих пчел, покривали, поругивались и нашли.

— Сколько же ты увидел, Ваня?

— Страшно сказать, дядя Костя: термометр показал плюс двадцать два, — все пропало.

— Ошибка была наша: нельзя было отказываться от льда.

— А если бы опять отцепили вагон и пропал бы день или два?

Вот то-то и есть, что когда первым идешь по пути к неизвестному новому и до тебя туда еще никто не ходил, то дорожка непременно раздваивается. Так и нам сейчас, не бросить ли путь правды, не обратить ли открытие меда

на Севере в сказку и не отдать ли все дальнейшее в руки феи?

Нет! И вот почему. Так мало поэтов на свете, но в душе почти каждый поэт. А если так это, то и в самой жизни, как в своем домике, живет и поэзия, и кто любит жизнь, может быть, из самой жизни выйдет правдивая фея? Доверимся жизни и не будем бросать наш правдивый путь.

Два бедных пчеловода сидели между ульями невеселые, но не унывали. И мы не будем унывать и войдем в их положение: с их стороны сделано все, что только было возможно, а дальше остается знать, что без опасностей нет пути к небывалому. А поезд между тем все катился. Время от времени проводники мочили тампоны из тряпок и рассовывали их по ульям, на сетки, чтобы пчелы могли утолять возрастающую от жары жажду. Немало проходило времени, пока пили все сто семей путешествующих пчел. А поезд все катился и катился, и одна за другой проходили какие-то станции. И вдруг на какой-то станции в дверь раздается стук...

Вот теперь иди сюда, друг мой, и порадуйся: мы выбрали верный путь. В год испанской революции прибыло к нам множество сирот — испанских детей, и среди них была девочка Пакита. Без отца, погибшего в революцию, без матери выросла в наших снегах, на наших хлебах воспиталась, выучилась у нас испанская девушка, и — подумать только! — испанка с горячей южной кровью сделалась начальником холодильника. И теперь эта самая Пакита в черных кудрях и в красной шапке начальника холодильника вошла в вагон.

Конечно, добрых и разумных женщин у нас не меньше, чем в Испании, но все-таки у них там апельсины, ананасы, прованское масло, серенады, Гвадалквивир, и все это вместе, соединяясь, делает испанку в картузе начальника холодильника ближе к сказочной фее, чем русскую обыкновенную добрую женщину. Материнским чувством своим женщина сразу поняла невозможные трудности положения экспедиции, горячо стала на сторону пчеловодов, вместе с ними добилась задержки поезда, чтобы набить вагон льдом, нашла им взамен разбитого термометра новый, сама принесла соломы для постели и даже успела напоить их чаем с вареньем.

Иди же, иди, друг мой, сюда, смотри на Пакиту, — чем она хуже сказочной феи? — и радуйся: мы выбрали верный путь, и волки нас не съедят.

На Севере, за Полярным кругом, бывает, являются цветы целыми горами: стоит гора вся белая — это морошка и черника цветут. А то бывает, стоит в июле гора вся розовая — это начал зацветать Иван-чай, а то рябина, то полуденник, багульник, герань и мало ли что! И подумать только, в каждом цветке нектара здесь в два, три раза больше, чем у нас, и каждый цветок ждет пчелу, а пчелы за Полярным кругом не водятся.

Помню, в молодости в сухую погоду я сам ходил днями по этим цветам в Заполярье, и не от росы, а от меда одежда моя была мокрая, и я не мог подумать тогда, не мог собрать в себе доброго внимания к жизни, чтобы догадаться, чего хочет, чего просит от человека для себя сама природа Кольского полуострова.

Тем и привлекательно теперь наше открытие, что не в убыток природе мы открываем заполярный мед, что миллионы пудов меда только затем и были в цветах, чтобы привлечь к себе для опыления пчелу, а пчел-то и не было, и мы их привезли.

Цветы ждали пчел, а если цветы ждали, значит, и солнце тоже их ждало, и если мы о цветах по себе говорим, то почему же не сказать и о солнце, что солнце, дающее нам жизнь, нуждалось в пчелах. Солнце, цветы, люди — все ждали.

Есть вещи на свете первоначальные в своем добре и всем понятные, соединяющие в себе природу и человека древним союзом, и среди этих вещей первое — хлеб. Но только надо быть очень голодным, чтобы в хлебе почувствовать солнце, и нам легче это видеть на веществе меда. Вот отчего множество людей, ожидавших прибытия пчел на станции Апатиты в Хибинах, были в добром духе и радовались, как на большом празднике.

И даже когда откатилась дверь вагона-холодильника и те ползуны-пчелы, завидев свет, вылетели и принялись жалить кого в щеку, кого в нос, кого в левую сторону, кого в правую, кого сквозь рубашку, кому под рубашку, то все, глядя друг на друга, покатывались со смеху.

Так просто и весело начали жизнь свою пчелы за Полярным кругом.

Больше половины пчелиных семей осталось здесь, в Хибинах, и сейчас же на машинах, в сопровождении так заботливо подготовленных пчеловодов, были привезены на

пасеки в совхоз «Индустрия», в Ботанический сад и в Мончегорск.

Но и тут, как всегда в новом деле, упустили позаботиться о запасе сахара на случай, если пчелы придут голодными. Вот почему первая радость встречи скоро сменилась тревогой.

Ни на ком вины в этом не было, но летнее солнце на Севере, когда надо бы ему дать всем покой и скрыться за горизонтом, тут не скрывается. И кажется тогда, что это оно из-за тебя остановилось, стоит, смотрит с упреком и спрашивает:

— Почему ты не позаботился?

Надо очень привыкнуть к местной природе, чтобы вечный глаз этого полуночного свидетеля твоей жизни не мешал бы тебе спать.

И как же тихо бывает в Заполярье в эти солнечные ночи! Жук пробирается между стеблями цветущей черники — и так слышно! Вот какая бывает тишина, что слышно, как храпят ночующие в кронах деревьев глухари.

Ночь проходит без времени, в неизменном свете полуночного солнца, и рассказывать об этой ночи — значит говорить о себе: каждый переживает по-своему. Общая жизнь начинается игрою на солнце, и тогда немного знобит, крикнут полярные куропатки — и, как по сигналу, все умываются, и все начинает сверкать.

Отлично тихая, и светлая, и теплая была у пчел эта первая ночь. Усталые и голодные пчелы, наверно, хорошо спали, и слышно было, как они «гудели». Однако и в эту ночь матка в улье червила.

При первом живом утреннем свете солнца пчелы проснулись и тут же, конечно, выслали разведчиц. В это время в тундре цвела вся черника, морошка, мышиный горошек, багульник, начинал зацветать Иван-чай. Недолго летали разведчицы, вернулись и по-своему, танцами своими, дали знать, где что цветет, что поближе, что подальше и куда и кому лучше лететь. После того рабочие пчелы полетели за взятком, а матка червила.

В этот первый день усталые, измученные и голодные пчелы в среднем собрали на семью по два килограмма меда, а были такие сильные семьи, что напесли в один первый день по четыре килограмма на семью!

Конечно, и вторую ночь солнце на ночь остановилось и осталось на небе свидетелем души человеческой, но пчеловоды были счастливы, не глядели на свидетеля и спали.

Было записано на пасеках, что в первый день пчелы работали за полночь и уснули в половине второго, на второй же день легли до двенадцати, а встали в четыре утра, в третий день работали с восьми утра до десяти вечера.

Х

Вторую партию пчел научный сотрудник Родионов привез в совхоз «Арктика» возле Колы. Устанавливая ульи на пасеке, он ничего не знал о судьбе пчел, оставленных им в Апатитах. Лично он присутствовал при вылете пчел здесь, в Заполярье, впервые только тут, возле Колы. С волнением он открыл летки и еще больше взволновался, когда увидел, что пчелы облетелись, а потом поднялись и пошли за взятком.

Вскоре прибежал какой-то мальчик с криком:

— Скорей, скорей, идите, бегите, глядите на пчел!

И, схватив за руку, потащил Родионова, повторяя:

— Дяденька, дяденька, они все упали!

В тревоге бежал за мальчиком пчеловод, напрасно повторяя вопрос свой:

— Куда упали?

Мальчик отвечал:

— В реку, дяденька, в реку упали.

Прибежали к реке Коле, и тут все стало понятно. Берег Колы — широкая песчаная отмель. На эту отмель прибывает вода и уходит не вся: в ямках вода остается, и вся волнистая отмель была сейчас, как тысячи чашек с водой, и на краях всех этих чашечек вплотную одна к одной сидели пчелы и, с дороги мучимые жаждой, пили и пили заполярную воду.

Как тут не обрадоваться!

После недолгого отдыха на водопое пчелы покидали отмель и скрывались из глаз за рекой.

При обыкновенных полетах за взятком так не бывает. Но недолго пришлось об этом раздумывать. Скоро потом на тропинке за рекой с большим букетом заполярных медоносов показалась девушка, и Родионов узнал в ней Эльзу из тундры, столь славно убедившую заведующего райсельхозотделом на Оке продать пчел.

Встретясь, новые друзья, конечно, обменялись общей фразой:

— Как свет невелик!

И после того она сказала:

— Идемте скорее на пчел смотреть! Они на том берегу сидят на этих самых цветах.

И когда пчеловоды пришли в тундру, там сплошь на цветах были пчелы, и каждая пчела сидела на своем цветке.

А вечером было и в «Арктике», как в «Индустрии», и в Ботаническом саду, и в Мончегорске: каждая семья собрала меду от двух килограммов до четырех.

XI

Последняя партия пчел совершила путь по Баренцеву морю и потом из Печенгской губы на машинах в самую Печенгу. Особенно трудно было с пристани на руках подавать ульи на корабль, высоко поднятый приливом, и обносить висящие шлюпки. Опасно было везти пчел на машинах по неровной дороге, но тем радостней было потом встретить их уже почти под семидесятой широтой со взятком, превышавшим нормы на более низких широтах Заполярья. И тут определилось довольно отчетливо правило, что чем северней и чем больше света, тем больше нектара в цветах и тем больше ежедневный у пчел медосбор.

На этом можно было бы и кончить рассказ об открытии заполярного меда, но я начал с описания моего детства на Оке среди пчеловодов и теперь чувствую, будто оно продолжается на Севере. Я так много отдал души своей Северу, что кажется, будто Север стал продолжением моей родины, и кто-то со стороны задает мне вопрос:

«Ты же сам, своими глазами видел в тундрах великое множество цветов, ты сам говоришь, что в сухое время приходил из Хибинской тундры в мокрой от меда одежде, так почему же ты сам в свое время не предложил Обществу привезти на Север пчел? Каждый цветок на Севере ждет пчелу, и ты мог бы сделать такое доброе дело: ты отдал бы в распоряжение северных кочующих с оленями людей миллионы пудов питательного и целебного вещества?»

Ответом на этот вопрос я и закончу свой рассказ об открытии заполярного меда и устройстве там пасек летом 1950 года.

Было это без пяти лет тому назад столетия, когда я бродил пешком по Северу и записывал сказки. Где пешком, где на случайной повозке, где на лодке — берегом моря, выбрался я на Кольский полуостров и очутился совершенно один в заполярной пустыне.

Лежали спящие и тогда никому не ведомые в горах апатиты, курились в облаках, как люди в сонных грезах, лапландские вараки (сопки), и в тишине полярной ночи непрерывно работала на себя безработная для нас тогда река Нива.

Моя душа была тогда, как северные цветы, переполнена медом несознанного таланта, медом, ожидающим прилета пчелы. Вот отчего, наверно, внутренний мир мой разделялся как бы роковой чертой: на одной стороне талант, как возможность великого счастья и радости жизни, на другой — темная, мрачная пустыня. В соответствии с этим и внешний мир разделялся той же роковой чертой — на светлый мир незаходящего солнца и мрачный мир полярной ночи. Через эту роковую черту, казалось, не смела перелететь и пчела.

И так мне было, будто я, сказочник по природе своей, пустыню пройду в светлое время, унесу с собой ее сказки, отдам их счастливым, а бедные северные люди останутся без меня переносить беспросветную ночь.

Каждая курящаяся варака, казалось, шептала мне: «Проходи, проходи!»

И грубое слово «проходимец» кололо меня.

Сказки мои, записанные в то время на Севере, песни, былины говорили о садах, соловьях, ягодах: вишне, малине, — а в действительной жизни тогда здесь не могла расти даже картошка.

Но разве и на моей прекрасной родине в бархатных лугах, где были и сады роскошные, и соловьи, цветы, и Тургенев, и милые деды на пасеках, тоже было в существе своем не так же, как и в Лапландии? Почему же ведь и назывался в моем родном краю крестьянин мужиком, что этим словом человек заключался в неподвижность при самом рождении, как негр заключался в черную кожу, презренную для белого рабовладельца. Какие-то жалкие сажени земли назначались нашему негру, и они все уменьшались при размножении людей и при переделах.

В этом чувстве обреченности мы воспитывались с колыбели. При первом луче нашего сознания нас встречала легенда о проклятии человека с изгнанием из рая и вечным наказанием в поте лица зарабатывать себе хлеб. А дальше, в юности, когда разум начинал бороться с легендой о проклятии человека, нас встречал чудовищный «закон» Мальтуса, отдающий человека в вечное рабство природы: человек будто бы размножается в геометрической прогрессии,

а средства существования растут в прогрессии арифметической. Еще дальше, когда наш взрослый человек поступал на государственную службу, он давал присягу верности царю, венчающему косность человека в природе.

Вот отчего, наверно, и я, в своей доле тоже раб своего века, проходил по тундре в одежде, мокрой от меда, и не догадался сделать усилие и доставить на Север пчелу.

Это чувство обреченности распространялось на все — и на то, что пчелы в зависимости от местных условий не могут жить на Севере. И каждый так, будучи в тисках мрачного духа, ограничивал в себе право таланта переступать будто бы роковую черту. А честнейший человек жил по правилу нашего времени: сначала социалистическая революция, а потом раскрытие таланта, подобного личному счастью.

Теперь там, где я когда-то бродил в смущении перед чем-то неизбежным, похожим на смерть, выросли настоящие города, полярной ночью стало светло, как днем, разные овощи стали вырастать, как и у нас. И вот на столе моем в хрустальных вазочках, играя отсветами при электричестве, лежит ароматное целебное вещество, заполярный мед, небывалый в природе и обязанный своим бытием только усилию нового, освобожденного человека.

НАШ САД

(Рассказ старого садовника)



Было это давно, еще в царское время, и даже не при последнем царе. Мы жили тогда в небольшом рыжем домике — три окошка на улицу и позади сад. В нашем небольшом городке в каждом доме было: окна на улицу в пыль, а позади сад, разделенный заборами. Так было всюду в старое время, и сама Москва ничем не отличалась от провинции. Только в последнее время становится заметным, что сады, скверы и парки в Москве как бы выходят вперед, и это для меня, садовника, самая большая новость и радость.

В наше старое время было правило, что впереди для всех пыльная улица, а позади дома сад для себя.

Так вот я хочу рассказать, как в одном городке, где мы жили, время переходило, и сады тоже в конце концов вышли вперед.

Было как-то раз, приходит в наш домик на Дворянской улице мужичок средних лет в синей блузе. Волосы его были русые, длинные, сапоги высокие смазные, глаза голубые, и на конце лица висела острая бородка.

— Здравствуйте, добрые люди! — сказал мужичок. — Хлеб да соль.

— Милости просим! — ответила мать.

За спиной у гостя была сумка, в правой руке палка-писанка самодельная, в левой оказалось самое главное: ящик с красками.

— Я художник, — сказал он матери. — Нельзя ли у вас остановиться на все лето?

— Рада бы, — ответила вежливо мать, — да поглядите сами: тесно, куда я вас дену?

— Баня у вас в саду свободная, — сказал художник, — я бы жил в ней, а когда плоды поспеют, я бы сад караулил.

А это такая правда была о карауле: бывало, как только плоды начинают поспевать, у нас по всему городу воры зубы на яблоки точат, прямо настоящая война начинается, и хозяева даже и спят в садах с ружьями.

Возможно ли было нашей бедной матушке с малыми детьми охранить сад от разбойников! Еще хорошо, что сад был с плодами не каждый год. Но как раз в этот год, когда пришел к нам художник, яблоки и груши завязались с большой силой и урожаем ожидался очень большой. Вот почему предложение художника очень понравилось матери, и она ему так сказала:

— Я вдовой осталась с кучей маленьких детей, мне очень трудно сад караулить. Я бы, конечно, и очень рада была вас пустить в баню, да только мне совестно: вы же не знаете, какая эта баня внутри — не баня, а завалюшка, мы же больше в ней не моемся, а сколько в ней мусору!

— Крыша еще не разъехалась? — спросил нас художник.

— Единственно только крыша, кажется, и ничего: даже не каплет, — ответила мать.

— Не каплет, — повторил художник, — а что еще нужно? Мусор же, какой бы он ни был и сколько бы его ни было, я уберу и мешать вам не буду: обед буду варить себе сам.

Мать, конечно, обрадовалась такому жильцу и пустила художника в баню.

И как же нам с Сережей понравился этот художник! Может быть, это детство наше так сказывается, но мне кажется, во всей своей долгой жизни я не встречал таких добрых людей. Он с того начал в саду, что возле самой бани вырыл глубокую яму и велел нам таскать в нее всякий хлам из бани: обломки кирпичей, гнилушки, железки, тряпки, ведра без дна. Набралась целая яма всякой такой дряни. После того мы яму со всех сторон засыпали землей, утоптали, и баня стала чистая. Мать пришла поглядеть, принесла белые тряпочки, столик, постелила, похвалила нашу работу и позвала художника обедать.

— Сделайте милость, никогда меня не зовите и ничего больше для меня, пожалуйста, не делайте: у меня такой принцип, чтобы делать все по возможности самому и людей своей особой не затруднять, особенно людей таких хороших, как вы. Я и так не знаю, как вас благодарить за сад: как хорошо он зарос, какая тишина: ни один листик не шевельнется.

— Да, — ответила мать, — погода стоит прекрасная. Только старайтесь ничем не задевать соседа: у нас с ним, как и всюду в этих маленьких домиках, спор постоянный, почти что война. И только все из-за одного дерева. Вышло так, что почти половина веток с дерева свешивается через забор, и груши падают на его сторону. Мы, однако, не из-за того с ним спорим: что пало, то и пропало для нас, то пусть и будет его. Спорим мы с ним из-за того, что он всякими способами нахально помогает грушам падать на его сторону.

«Дерево, — говорю я, — стоит у меня — мое дерево, и плоды мои».

«Не все дерево стоит на вашей земле, — отвечает он, — у вас только корень, а ветки мои; у вас оно только стоит, а меня оно любит». Так ведь мало того, что трясет на свою сторону с тех веток, еще и длинным шестом с гвоздиком достает груши и с нашей стороны. В чем-нибудь он и к вам непременно придерется и вас достанет своим проклятым шестом. Это очень дурной человек, и недаром ему дали прозвище...

Мать не посмела выговорить прозвище соседа.

— А я очень люблю эти народные прозвища, — сказал художник. — Если можете, то, пожалуйста, скажите.

Мать ответила:

— Впрочем, ничего особенного. Его все в нашем городе называют *Проглотом*.

Вот теперь подходит рассказ мой к тому самому, из-за чего я на всю жизнь определился садовником, и люблю это самое дело больше всякого, и могу по-настоящему делать только сады. Скорее всего, думаю, любовь моя эта к саду пришла ко мне от художника, это он, наверно, обратил глаза мои навсегда в ту сторону.

Все лето он писал наш запущенный сад, и как это у него выходило чудесно, я до сих пор понять никак не могу. Начинает он писать какой-нибудь листик или веточку, грушу или яблоко — просто похоже, и больше ничего. После того за этой обыкновенной грушей или яблоком пишет уже не так явственно, зато более привлекательно: глядишь, и тянет тебя не к этому первому, а куда-то подальше. С каждым шагом в этом саду на картине тебя тянет все сильнее и сильнее вдаль. Кажется, будто кто-то взял тебя за руку и уводит, и чем дальше, тем становится все лучше и лучше, и плоды разные умоляют тебя их попробовать...

Слышал не раз я, что сны такие бывают, но сны-то ведь проходят, а картина, сделанная художником, остается. Я и теперь, на старости лет, в руке держу ведро с коровьим жидким навозом, обмазываю яблоньки, а сам вижу тот незабываемый сад без невзрачных старых заборов. Картину сделал художник, — так почему же я не могу сделать такой сад? Вот из-за этого я и сделался на всю жизнь садовником.

Наш жилец хорошо выполнял свое обещание стеречь сад. Он всегда ставил свой мольберт против той груши, что стояла в нашем саду, а ветками любила соседа. На мольберт он ставил свой большой холст на подрамнике, и сосед никак не мог видеть, что же именно делает художник. День проходит за днем, и разбирает соседа любопытство, а может быть, и досада: если так художник все лето будет торчать, закрываясь холстом, как же тогда воровать наши груши?

И вот однажды Проглот не выдержал, подзывает нас с Сережей и спрашивает:

— Что он там делает?

Мы ответили:

— Художник пишет груши.

Так прошло сколько-то времени, груши начали желтеть. Проглот опять нас подзывает:

— Что он сейчас пишет?

Мы отвечаем:

— Художник пишет груши.

Проглот разозлился:

— Все одни только груши и пишет?

— Зачем одни: раньше писал зеленые, а теперь пишет желтые. Как они вкусны, спелые желтые груши! Поди-ка их съешь!

И показали ему языки. Он же рассердился и кинул в нас палкой, но не попал. Мы же эту палку — обратно, и ему пришлось прямо по шее. Художник расхохотался, а Проглот всем нам кулак показал и крикнул:

— Вот вы дождетесь, скоро всем вам покажу кузькину мать!

Ну и, конечно, показал нам, и вот как это было.

Обед готовил себе художник всегда сам, и, видно, в этой заботе он находил себе отдых от работы. Мы же ему с базара все приносили: гречневую крупу, масло, чай, сахар, лук, селедки, огурцы, рыбу. Что скажет, то и принесем: базар был рядом.

Было раз так, что художник сел за обед и кот чей-то желтый, тигровый, роскошный приходит и тоже садится за стол рядом с художником.

Поласкал его, а кот поднял хвост и запел.

Долго любовался художник котом, и даже мы с Сережей, маленькие люди, поняли, как бедному художнику трудно жить одному, если он коту этому, как милому другу, обрадовался.

И что же, подумайте! На другой день, точно в тот час и минуту, кот является к обеду. День за днем проходит, и кот не пропускает ни одного обеда. Мало того! Как-то раз после обеда кот идет за художником на место работы, трет-ся щекой о мольберт.

А художник и говорит ему:

— Перебирайся-ка, друг, к нам совсем, будем с тобой жить хорошо.

В ответ художнику кот повел себя так, будто он понял предложение жить и согласился. Только на какие-нибудь десять минут он убежал и опять появился совсем.

Плохо было, что все эти разговоры с котом Проглот слышал и хорошо понял, каким большим другом нашим сделался кот.

Сказать, что кот так-таки непрерывно и жил у нас, я не могу. Он жил, как все коты: уходил надолго, показывался на чужих крышах, на заборах. Обедать, однако, он всегда приходил и спал постоянно на одной постели с художником.

Случилось однажды, художник очень увлекся своей

картиной, и мы тоже замерли в удивлении: груши, яблоки, плоды всякого цвета свешивались массами, и людей никого не было в этом саду, а нам отчего-то казалось, будто мы там, в саду, невидимками, и много детей всяких, и все — невидимками.

Какой это чудесный был сад на холсте! Куда девались все наши почерневшие от времени заборчики! Никаких заборов на картине — один сплошной сад, и в нем невидимками люди.

Вдруг, очнувшись, мы видим: на той стороне забора нашего сада Проглот держит в руке нашего кота и надевает ему на шею петлю...

Мы толкнули художника.

— Что ты делаешь? — закричал он.

— Я обещал вам, — ответил Проглот, — показать кузькину мать. Вот и глядите: он съел у меня сорок цыплят.

— Отдай кота, — сказал художник, — я тебе за цыплят заплачу.

— Ладно, — отозвался Проглот, — по гривеннику за цыпленка дадите, я погожу вешать кота.

Мы получили приказ взять в бане новые штаны художника и бежать, бежать на базар что есть духу, продать не меньше как за четыре рубля и немедленно возвращаться с деньгами к Проглоту.

В один миг прибежали мы на базар и тут одумались.

— Как же быть, Сережа, — говорю я, — нехорошо будет художнику остаться без новой одежды. Погодим продавать, подумаем.

Сели мы на чью-то лавочку возле одного домика, стали думать и ничего другого не могли найти, как бежать обратно к маме и все ей рассказать.

— Вот что, детки, — сказала нам дома мать, — вы очень хорошо сделали, что пришли со мной посоветоваться. Даю вам четыре рубля, а брюки у меня оставьте. Только смотрите, не говорите, что у вас есть деньги, скажите проклятому Проглоту — денег достать не могли и хотите заплатить грушами: по груше за цыпленка, как раз сорок груш. Если же не согласится, заплатите четыре рубля и возьмите кота.

Мы так и сделали. Пока художник обедал, мы натрясли Проглоту сорок груш, взяли кота, вернули художнику, а брюки мама сама ему принесла.

— Я же вас просила, — сказала она, — не связываться с Проглотом. Зачем вы это сделали? Вот он и показал вам кузькину мать.

Вот эта какая-то страшная кузькина мать оставалась у нас в душе с тех пор. И чем я старше делался, тем ясней мне становилась эта злая сила между людьми, разделенными друг от друга заборами. В каждом домике, в каждой лачужке, самой ветхой, в старое время невидимо жила эта злоба и разделяла людей.

Много с тех пор прошло времени... На старом месте насадили мы новый большой сад впереди домов, обнесли его решеткой с узорами и покрасили в зеленый цвет. Много людей работало над этим садом, и я всегда был у них старшим садовником. И как видел я на картине сад без заборов, так и мы теперь делали этот самый сад. Какие дорожки в нашем саду, какие загадочные воротца между деревьями, какие встречи бывают между людьми на дорожках!

С утра до ночи я за садом приглядываю и указываю разное моим помощникам. Только уже когда совсем стемнеет, ворота в нашем саду запираются. Живу я тут в маленьком домике, и ключ от ворот у меня.

Так у нас вышел сад и стал впереди домов. Да и в Москве тоже так делается: раньше сады были позади домов — для себя, а теперь они выходят вперед — и для всех.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ЧЕРТ, ИЛИ НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ



Помню, было это в самом начале царствования Александра III возле здания мужской гимназии в Ельце. Был день праздника коронации, и наш учитель физики пообещался показать электрическое солнце. Весть об электрическом солнце обежала весь город, и, когда вечером под керосиновыми фонарями загорелись плашки и кое-где рассыпались «бенгальские огни», наша мужская гимназия была окружена несметной массой народа. Слуховое окошко на чердаке гимназического здания было круглое и величиной как раз такое, чтобы в свете вольтовой дуги сойти за солнце.

Все глаза несметной толпы со стороны Манежной улицы были устремлены в это отверстие, и, как будто от силы такого внимания, наконец там загорелся желтый огонек и осветил голову нашего учителя физики Клушина.

Ах, до чего нам хотелось тогда этого солнца!

При желтом свете керосиновой лампы в слуховом окошке Клушин то показывался, то исчезал, учитель держал что-то в руке, вертел, подпиливал, подчищал. У него, очевидно, что-то не ладилось, чего-то не хватало, и, наконец, он отчетливо послал кого-то к черту.

Мы начинали падать духом: не видать, верно, нам электрического солнца!

Терпение в толпе истощалось, а учитель опять кого-то к черту послал.

— Дело плохо, — сказал мой сосед, — когда ученый человек обращается к нечистой силе за помощью.

Правда, я потом всю жизнь наблюдал, как не любит простой, когда образованный человек его же повседневными словами *неприлично* чертыхается и ругается. Но эта какая-то связь ученых людей, вернее сказать, борьба их за науку с чертом тянется к нам из средних веков: черт определенно мешает прогрессу.

...И вдруг учителю что-то удалось. Все вокруг осветилось чудесным невиданным светом. Я теперь не могу описать наш восторг и ни с чем его сравнить не могу. Разве вот только, если бы так повернулось в истории, что атомная энергия пошла бы вдруг людям на добро и на самолетах бы стали все люди просто как птицы летать, а не сбрасывать с них бомбы на города. Вот бы люди обрадовались, и вот с этим-то и можно сравнить, как мы тогда обрадовались первому электрическому солнцу в слуховом окошке нашей гимназии.

Было одно только мгновение чудесного света, и опять все погрузилось во мрак, а учитель Клушин крикнул в окошко:

— Больше ничего не будет!

А тот человек возле меня сказал:

— Не нужно было черта тревожить: это с ним черт пошутил.

По-своему, по-детски, я понял тогда, что учитель с чертом боролся за свет и черт победил учителя и вернул нас к свету керосиновых фонарей, усиленному немного для праздника коронации светом копчушек или плошек, распо-

ложенных на особых чугунных низеньких столбиках рядом с фонарями.

А то еще помню из далекого прошлого и тоже про черта, этого врага рода человеческого или образа неизбежного зла, повергающего человека в пессимизм бытия, останавливающего все порывы, все вдохновение юности. Было это в другой гимназии, за Уралом, в сибирском городе Тюмени.

Учитель с большой русой бородой, с белым мелом возле черной доски доказывал нам формулами математическими, что человек никогда не будет летать. Этот учитель, Иван Яковлевич Словцов, был самый либеральный учитель, обращался с нами дружески, как товарищ. Но он был из ссыльных, и, наверно, недешево досталось ему право преподавания. Теперь, в век авиации, можно понять, что математические формулы являлись плодом его пессимизма, усталостью в борьбе с тем врагом рода человеческого.

И вот, когда Иван Яковлевич, кажется, вполне доказал, что человек не будет летать, вдруг один мальчишка вскочил и крикнул:

— Иван Яковлевич! Человек непременно будет летать!

— Докажи! — предложил учитель. И улыбнулся как будто даже сочувственно, как будто с некоторой даже и надеждой на то, что человек будет летать.

— Нечего доказывать, — ответил Миша Алпатов. — Почитайте Гоголя «Ночь перед Рождеством», как там Вакула-кузнец оборол черта, сел на него верхом и заставил лететь к царице за башмаками для своей невесты.

Все мы весело посмеялись над использованием летательной способности черта и вспомнили, что Пушкин тоже на это указывал:

Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной высоте

Мало ли писателей и поэтов указывали на летательную способность злого духа, но, кажется, один только Гоголь предложил использовать злую силу для работы. В сказке «Ночь перед Рождеством» прямо говорится, что Вакула оборол черта. Да еще ведь и как оборол! Черт стал *печальным*. И когда это в детстве читалось, то печальный черт становился похожим на рабочую лошадку, понукаемую человеком.

Так вот, сколько книг было прочитано за жизнь свою о Гоголе и его черте, а как свою собственную душу про-

чтешь, то все получается иначе. Мне лично Гоголь представляется великим оптимистом, верящим в возможность успешной борьбы человека с Кашеевой цепью зла. Да чего и ходить далеко, если сам Гоголь заключает свою сказку «Ночь перед Рождеством» такими словами:

«Итак, вместо того, чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен».

ЗАВЛЕКАЮЩИЙ РАССКАЗ



На моей памяти еще наша Русь была вовсе неграмотная. Бывало, мастеровые люди, особенно портные и сапожники, помогали своей работе пением: шили, стучали и пели. Случалось, пели очень даже неплохо.

Посмотришь на прошлое с одной стороны — кажется, века пережил, посмотришь с другой — вот вчера только, кажется, в подвальных помещениях свистели и пели, а теперь везде заливается радио.

А что случилось, спрашиваешь себя, с теми пожилыми людьми, кого грамотное время застало врасплох? Как они справились, когда без грамоты стало жить невозможно?

Ходить далеко не надо мне для разрешения этого вопроса.

По правде говоря, председатель нашего маленького колхоза, старик Федор Иванович, человек не очень грамотный. Подписать свое имя или разобрать бумагу он, конечно, может, но что это за грамота! И все-таки он, очень неглупый человек, живет, как современный, вполне грамотный гражданин.

Секрет его грамоты в том, что он не выключает своего радиоприемника и соответственно никогда не выключает в себе внимания к слышанному. Так он добивается понимания жизни, как грамотный. Если же в политике является ему что-нибудь, своими средствами не объяснимое,

он при очередном своем походе в район по делам спрашивает.

Вот и я тоже, когда в жизни что-нибудь недопонимаю, то при случае обращаюсь к таким мудрецам.

— Скажите мне, Федор Иванович, — обратился я к нему в этот раз, — почему это я, старый писатель, часто бываю недоволен писаниями молодых? Остарел ли я сам и не могу их понять, или у них что-нибудь неладно?

— Нет, — ответил он, — глупеют к старости люди глупые, а умный человек в старости все твердеет.

— Значит, — говорю я, — если дело не во мне...

Вопрос мой всколыхнул старика до всех основ, и в этом деревенском человеке на мгновение мелькнули мне древние типы времен Шуйского и Годунова.

Как он прищурился, как подмигнул, как языком показал и вдруг щелкнул всеми пальцами!

— Я скажу! — молвил он, но не сразу ответил.

Раздумывая, он протянул веревочку перед самым челом печки, снял сапоги, развесил на веревочке сырые портянки и только уж после этого сел на лавку рядом со мной и так сказал:

— В наших новых книгах и статьях все хорошо, и быть лучше не может ни в какой стране. Я этому радуюсь, знаю: к хорошему ведут писатели. Только мало у молодых против старых — Гоголя и Пушкина — завлекательности, и, бывает, услышишь начало — и про себя скоро догадываешься о том, какой будет конец. Читаешь, конечно, читаешь, все очень полезно, а завлекательности нет: вперед знаешь — кто добрый, кто злой и чем кончится.

СЕКРЕТ МАСТЕРСТВА

Вскоре после этого разговора с председателем колхоза о художественной литературе я с новым горячим чувством вернулся к вопросу о «завлекательности».

Лично я беру первую примету достойного рассказа у Льва Толстого: он увлекает нас тем, что люди у него всегда живые, а за живым человеком охотно идешь.

Вторую свою примету беру у себя как читателя: поднимет ли рассказ в себе самом пережитое, затрагивает ли чем-нибудь тебя самого.

В живом рассказе о живых людях мы все узнаем этих людей и в их лицах, как в зеркале, отчасти видим себя.

И несомненно, что если бы все могли писать правдиво и живо, то насколько сократился бы срок ожидания голубя с зеленой веточкой мира.

А если так, если мы договорились до этого и каждый писатель это хорошо понимает, то, несомненно, у каждого шевельнется вопрос: почему же у нас так обидно мало пишется хороших рассказов?

Нельзя ли, спросим и мы, понять причину возникновения хорошего, настоящего рассказа и взять это дело в свои руки, подобно тому, как взял же Мичурин в свои руки дело преобразования и управления природой?

Вопрос этот до крайности серьезный, и приходится обратиться к своему собственному опыту. Пишу я уже ровно полстолетия, и самое дорогое мне в моем достижении — это несколько детских рассказов, удостоенных места в хрестоматиях. А ведь это немало, не всякий писатель удостоен такой награды.

Вот почему я и буду разбираться в том, как мне удалось написать первый удачный рассказ.

Давно, давно я вышел за пределы эгоизма роста, и, говоря как будто о себе, я говорю только о той золотоносной жиле, на которую удалось мне натолкнуться, говорю о себе не по гордости обладания, но, скорее, по слабости своей, по бессилию своему перед открывшимся мне великим богатством жизни, в чаянии, что придут на зов мой другие и помогут поднять драгоценные пласты.

Мне посчастливилось в молодости, и первое, что я услышал о себе, было: «Это талант божией милостью».

Ужасно, вот именно *ужасно* было приятно: словом *талант* я был поставлен в такое положение, что стою где-то высоко на месте, все глядят на меня и ждут с вопросом: ну что же дальше?

А я стою на месте и не могу тронуться, и за что-то взяться, и понять, откуда же пришло мне такое ужасное счастье.

Кажется, вот тебе все тут: рассказ, как вкусный блин, сошел со сковороды, вот она, горячая сковорода, пеки блин другой. Но тут, в деле искусства слова, оказывается, что на каждый новый блин требуется новая сковорода.

Ах, если бы можно было уйти назад от этого ужасного счастья, если бы можно было вернуться к тому простому делу, которому учился много лет.

Но искусство необратимо, после каждого шага назад все обваливается, идти можно вперед и только вперед.

Вскоре я понял, что талант, как причина моего счастья, ничего не значит, что талант к чему-нибудь есть почти что у каждого, и счастье не в том, что у тебя есть какой-то талант, а в том, что ты сам нашел его в себе и стал им управлять, как человек управляет природой.

Но разве я управляю своим талантом, если стою на месте в упоении своим счастьем и не могу тронуться?

Так оказывается, что объяснить происхождение моего рассказа талантом все равно, что объяснить одно неизвестное другим неизвестным.

В далекое старое время искали происхождение живых образов в поэтическом вдохновении, но это было совершенно такое же неизвестное, как и талант.

Потом перешли к мастерству, заняв это слово у средневековых художников, своими руками составлявших краски.

В наше время слово «мастерство» стало излюбленным, и о себе самом я уже много раз читал: «Замечательный мастер» — и, признаюсь, оставался в деле осознания моего творчества не дальше, чем при первой похвале: «Талант божией милостью».

Правда, мастерство в наше время применяется в смысле превосходства человеческой организующей силы против стихийной силы природы: талант — это природа, а мастерство — человеческая способность преобразования, или творчества.

Туман как будто расходится.

Мне самому всегда казалось так, что талант — это что-то вроде коня, на котором я еду, и пусть уверяют меня, что мой конь хорош. Это, конечно, очень приятно, только ведь этого коня я же сам вырастил, выходил, выездил, и я сам, а не кто-нибудь, им управляю и еду в ту сторону, куда я сам хочу.

Обиднее получается, если сравнивать талант не с конем, а с собакой. Стали бы все хвалить мою охотничью собаку и совершенно забыли бы, что это я нашел на помойке выброшенного щеночка, я подобрал его, выпоил на коровьем молочке, выходил в поле, научил, и собака моя получила золотую медаль.

Но спрашивается опять: где же научиться такому мастерству?

Если взять школу, даже и высшую, то эта школьная выучка, без сомнения, очень полезна и мало-мальски способного сделает грамотным литератором, но поэтом при помощи такого мастерства в стихах и прозе не сделаешься.

Некоторые думают, что в литературе так же, как и в живописи и в музыке: пили-пили смычком с малолетства — и заиграешь на скрипке. Пиши-пиши хорошо — и допишешься до картины, как: стреляй, стреляй — и достреляешься до белой лебеди.

Откуда-то взялась и распространилась такая мысль о литературных делах, что литературной специальности можно научиться всякому, как и зубопротезированию. В свое время я сам был на этом пути и мысль эту понемногу распространял.

Понимаю теперь, откуда это взялось. Первое было в том, что мы, старшие писатели, после революции очутились как бы в огромном классе всего народа учителями и, понятно, брали пример с наших классических учителей: тоже задавали сочинения на тему с последующими грамматическими поправками.

В этой плоскости понимания искусства слова, конечно, все зависело от мастерства.

Второе было в общем заблуждении, будто литературное искусство движется по тем же законам, как живопись или музыка, и требует такого же к себе отношения. Вот откуда появились такие выражения, как «писатели больших полотен» и т. п.

А между тем в обучении искусству слова и живописи нет ничего общего. Мы учимся искусству слова с первых дней жизни от матери и потом от всех окружающих нас людей, в школе нас с первых лет учат родному языку и теоретически, и практически.

Позвали меня однажды в один литературный кружок, и я — казалось, при общем хорошем внимании и понимании — часа два трудился рассказывать о своих собственных путях, показывая, с чего настоящие писатели берут свое начало.

Я был так уверен, что меня молодые люди хорошо поняли, и осмелился сказать такие слова:

— А вот так-то писать романы, чтобы только «мастерить», этому каждого я могу научить в два месяца.

Послышались голоса:

— И напечатают?

Я ответил:

— Мало ли печатают вещей...

В ответ послышалось:

— Научите, научите!

Молодых людей тургеневского времени соблазнял очередной идол: так называемый *стиль*. Сам Тургенев, великий стилист, смеялся над этим идолопоклонством в искусстве.

Вот и в наше время надо тоже зорко следить, чтобы голое умение не заняло место этого поверженного идола.

Надо уберечь детей наших от соблазна «мастерить» произведения искусства и печь их, как печет повар блины, — сотнями на одной сковороде.

Без достаточного опыта никак не объяснить, почему повар искусства, или артист, должен для каждого своего блина готовить новую сковороду.

Может быть, тут и таится загадка таланта, стиля, вдохновения, всех родов мастерства: почему каждое новое произведение искусства требует для себя новой формы, почему настоящий актер трепещет, выходя на сцену в старой роли, почему художник не может в точности скопировать свою картину, почему Рафаэль и Рембрандт существуют в одном экземпляре, почему Лев Толстой сам не может точно переписать свою рукопись...

ТВОРЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

И вот для общего дела надо мне спуститься в глубочайшие погребя своего творчества и догадаться по тем пластам отложений опыта о происхождении немногих, мною самим любимых и с почетом устроенных в хрестоматиях вещей.

В этой глубине пережитого с первых детских шагов я застаю себя в вечной борьбе того, что мне самому Хочется, с тем, что Надо моим старшим. При каждой встрече этого моего лично желанного с родительским необходимым происходит катастрофа с криком, слезами и шлепками.

После наказания я всегда в душе сознаю, что они правы по-своему.

В то же самое время я не могу отказаться от своего Хочется, и не по детскому упрямству, а потому, что я тоже прав: мне хочется.

В постоянной борьбе этих двух начал моей жизни малопомалу складывается мой характер и мое поведение.

Вот теперь я могу верно и твердо сказать: последняя причина возникновения поэтического произведения — не

талант, не вдохновение, не стиль, не мастерство романтическое, не мастерство рационалистическое, последняя причина есть поведение самого мастера, скажем: *творческое поведение*.

Очень далеко это поведение от того поведения, каким нас в детстве встретила жизнь. То мое поведение определилось неудовлетворительными отметками в графе моего кондуитного журнала. То поведение было одностороннее, оно отмечалось только с точки зрения моего гимназического Надо.

Другая сторона творческого поведения, с точки зрения моего личного Хочется, конечно, не могла отмечаться в гимназии.

Так, под этим гипнозом одностороннего поведения я закончил высшее образование. Установилось даже хорошее мое общественное положение.

Но совершенно случайно я однажды попробовал писать, и это было, как если бы я нажал кнопку электрического тока или поджег шнур зажигательный к складам динамита моей души.

Однако этот взрыв не был концом борьбы общественного Надо с моим личным Хочется... Борьба продолжалась в том же духе, но это новое творческое поведение уже не было односторонним.

Теперь я, взрослый, законченный человек, сам определял свое поведение.

И если я определял его правильно, то сочинительство мое выходило хорошо, если делал самовольно, без отношения или даже вопреки тому, что Надо, выходило неправильно.

Теперь я вижу, что правдивости и жизненности не добьешься никаким умением без особого усилия, почти геройства и что геройство, скорее всего, стало сейчас свойством самых обыкновенных, простых людей, делом их поведения, определяемого точками схождения личного с общественным.

Русская классическая литература выделяется из всей мировой литературы тем, что наши люди называют правдой; чем питалась издавна народная наша культура и что я, пока не найдя своего подходящего слова, называю творческим *поведением*.

Это бы и надо сейчас нашим критикам делать и этим поднимать целину: раскрывать секреты творческого поведения русского художника слова, делающие мастерство

легким, как всякое любимое дело становится легким через любовь к той конечной цели, во имя которой это дело делается. Тогда человек говорит: «Своя ноша не тянет».

ДОРОГА К ДРУГУ

Каждый простой человек думает, и сколько их таких мне лично высказывались: «Если бы мою жизнь описать! Вот бы получилась книга!» Не знает этот человек, что, может быть, из-за того-то и пишут романы и рассказы о других, что нет ничего труднее, как описать свою собственную жизнь. Но кажется, что это очень легко и соблазнительно.

Я был в свое время одним из таких простаков, уверенных в том, что собственная жизнь непременно должна быть очень интересна, если ее описать.

Но, конечно, с первых же шагов оказалось, что себя в себе нельзя увидеть и, чтобы увидеть себя, надо смотреть на другого.

Так я повел свой дневник, как путь от себя к другому человеку, своему другу, и в дневнике так с самого начала и обращался: «Друг мой!» — хотя прямо глазами друга этого не видел.

Так я и думаю сейчас, что поведение писателя — это его дорога к другу, мастерство же должно состоять в том, как бы пайти ему такую форму, чтобы читатель видел в героях не самого писателя, а догадывался бы больше сам о себе.

У великих творцов мастерство, может быть, и является формой их поведения и приходит к ним само на пути к другу-читателю, как приходит аппетит во время еды. Как нужно нам теперь, чтобы простой человек — писатель — в борьбе за мастерство не истратил бы свое поведение!

Может быть, по такой-то исключительной трудности быть совершенно простым и правдивым в рассказе о себе «мастера» слова изобретают искусство рассказать жизнь другого человека, как жизнь собственную.

Вот, наверно, почему иногда мастера слова, увлекаясь сравнительной легкостью рассказа внешнего о другом человеке, чем о себе, превращаются в словесных жонглеров, вот почему возникает формализм — «искусство для искусства».

Вот почему совершенный профан в словесном деле, не в пример другим искусствам, является часто не плохим, а даже решающим судьей.

Великие писатели потому великие, что они, владея всем возможным мастерством в словесном деле, сохранили в себе веру самого наивного, самого простого человека в возможность рассказать свою жизнь, собственную и единственную, в свете правды нашей общей жизни.

И это писательство продолжается всю мою жизнь. в дневник, из дневника друзьям и от друзей, по совету их, частично в печать.

Все произведения Толстого являются исповедью или огромным дневником, а Гёте сам о себе высказал, что его сочинения являются единым дневником, отрывками единственного произведения — его исповеди. С этого началось и мое скромное писательство, с писем какому-то другу в форме своего дневника.

Мысль художника находится в сердце нашего времени, и вот почему дневник писателя — все, что он пишет: повести, поэмы, романы, — все это есть лицо его дня.

ЧУВСТВО СОВРЕМЕННОСТИ

В то великое и страшное время, когда умирала царская Россия и рождалась Советская, литературный мир разделялся, с моей точки зрения, на две стороны: на одной были «мастера», или декаденты, на другой — таящие в себе поведение, которому мастерство должно подчиняться. На этой второй стороне в то время был и Горький.

Мы не раз с ним беседовали о том, что простым мастерством в люди не выйдешь. Итак, каждый, если захочет, может научиться хорошо писать, но он должен для этого думать не только о мастерстве, а, главное, о своем поведении в отношении смысла своего дня, его *современности*.

Мало-помалу все художники, поэты, все работники на пути человеческого сознания стали разделяться во мне на тех, кто остается с людьми после себя, и на тех, кто остается рабом своего времени и вместе со временем, по времени, как по воде, уплывает от нас.

Тогда передо мной встал вопрос: кого же считать *современным* художником: кого время берет себе, как, скажем, автора «Санина», или кто временем овладевает, становится его хозяином, как Пушкин, как Шекспир, как Толстой.

Я очень приблизился к закону поведения художника, когда твердо остановился на том, что современ-

ный художник только тот, кто успевает скакнуть на свое время, как на коня, оседлать его, стать хозяином его и управлять им.

Долго разбираясь в себе, в своих опытах, я понял еще, что чувство современности есть основная материя всякого настоящего таланта, что настоящий художник живет на своем пути, как птица на пути перелета своего с Крайнего Севера в Африку.

Никаким умом, никаким ученьем не воспитаешь *сам* это чувство в себе.

Некоторые называют современным то, что держится минутку на поверхности дня и потом навсегда исчезает, и чем кто ближе к этой минутке, тем он и современней.

Но некоторые, напротив, понимают дни нашей жизни как море: на поверхности ходят волны, а в глубине тишина, и оттого из глубины можно видеть проходящие волны.

Вот только тот, по мнению таких людей, и может быть назван человеком действительно современным, кто смотрит на проходящие волны из глубины своего дня.

А какая глубина в дне нашей жизни — можно судить по Шекспиру: проходят столетия — а мы читаем его «дневник» теперь, и нам кажется, будто шекспировский день и сейчас для нас продолжается.

Я утверждаюсь в современности не по башенным часам, а в том, как в эту безлико текущую механическую минуту башенного часа определяется и вкладывается моя собственная живая душа.

Часы — это просто счет, дневник — это моя личная жизнь, это мое дело в отношении современности.

Современность для нас, как я понимаю, это что-то вроде суда или проверки каждого из нас на живого человека: живой он живет или мертвый показывается.

Вот современность подходит к каждому из нас и разделяет живых и мертвых.

Есть тысячи выработанных в веках приемов обходить запрос современности, принимая на себя формальное обличие, — на этом пути остаются мертвые. А живым остается в своей наивной простоте доказывать перед современностью наличие жизненности своего существа.

Так вот и живут мертвые по башенным часам, заменяя самую жизнь счетом («время — деньги»), а живые определяют свою личную жизнь каким-нибудь поступком: декабристы шли на виселицу, Пушкин заключал себя в слово и в нем встречал свою современность.

СЧАСТЛИВЫЙ РЫБАК

Раздумывая обо всем этом, я вспомнил из своей скитальческой жизни одного рыбака. Он вытащил из озера огромную щуку и с ней прошел по селу. Голова этой щуки торчала выше плеча рыбака, и продетая сквозь жабры веревочка не давала щуке дальше съезжать по спине. Хвост же рыбий, хотя человек был очень высокий, волочился по земле и поднимал пыль.

— Вот это счастье! — сказали на селе.

Так было и мне, когда я начал писать охотничьи рассказы, то же самое говорили:

— Вот это талант!

И я думал, думал об этом и спрашивал сам себя: что же это значит — «талант»?

Как не чувствуешь своего голоса, записанного на пластинку, так сам и своего таланта не чувствуешь. А люди понимают талант как заготовленное от рождения счастье.

Это самое переживал, по-моему, и тот счастливый рыбак: ему казалось — он сделал особое *усилие*, и заслужил свою щуку; они же его усилие называли «счастьем».

Село было большое, народу встречалось много, и все говорили:

— Какое счастье, как же ты ее вытащил?

Рыбак спокойно и чуть-чуть насмешливо всем отвечал:

— Без труда не вынешь рыбки из пруда!

Сколько лет прошло с тех пор — не помню, но рыбак не только не выходит из памяти, а, напротив, все яснее, и бывает, что я даже сам себя понимаю теперь по тому рыбаку и на похвалу «таланту» повторяю про себя:

— Без труда не вынешь рыбки из пруда!

ПУБЛИЦИСТИКА

ОХРАНА ПРИРОДЫ

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 25/IX-46 года № 642 «Об охране природы на территории РСФСР», Исполком Мособлсовета 14/II-47 года утвердил Оргбюро Московского отделения Всероссийского общества охраны природы. И как только это постановление вместе с составом Оргбюро было опубликовано в «Вечерней Москве», ко мне, как к председателю Оргбюро, начали поступать приветственные письма, похожие на те, которые посылаются при получении ордена. Меня поразило в этих письмах какое-то празднично утвержденное отношение к природе с повторением слов «культурное отношение», и я стал раздумывать, откуда это взялось.

На самом деле наша природа наполнена борьбой за существование, борьбой с агентами смерти, с бактериями, микробами, всякого рода вирусами, с врагами крылатыми, четвероногими, двуногими; наша природа наполнена врагами, а эти люди от слов «охрана природы» приходят в восторг. Очевидно, эта природа, исполненная вражды к человеку, и природа, которую мы хотим охранять, — понятия разные, противоположные. И когда Совет Министров стал говорить об охране природы, само собой все понимали, что эта природа есть дорогой материал советского хозяйства, некое геологическое данное, кладовая океана, земли и солнца.

Мне лично дороги и близки в этой великой кладовой наши леса. Вспоминая теперь свои путешествия, я замечаю единство процесса смены покрова нашей земли. Вот хотя бы Тигровая сопка во Владивостоке. Лет пятнадцать тому назад я был на этой сопке, уже совершенно оголенной, и старожил рассказывал мне: он помнит на этой сопке тайгу. С тех пор, как я был там, прошло еще лет пятнадцать, и очень возможно, что люди начали вновь сажать на этой сопке деревья.

А вот тоже на Кавказе, по пути от Нальчика к подножью Эльбруса: горы уже почти обезлесены, пепельные и пылят. А снизу надвигаются на голые горы великолепные сады с большими пасаками. Такой точно процесс, говорят, вполне закончился в Японии: леса сменились садами и парками; так тоже было и в Англии, так теперь происходит в Китае, везде. Прошли времена, когда люди плакали о смене дикой природы культурными садами и парками; мы теперь о другом плачем: мы плачем о некультурном отношении самого человека к богатствам кладовой океана, земли и солнца.

Из бесчисленных примеров, оставляющих в душе культурного человека раны, я беру самый маленький.

Вблизи Переславля-Залесского, за озером Плещеевым лежат большие сфагновые болота, и в ту сторону к ним из озера течет речка Векса, с жидкими берегами, покрытыми желтыми цветами и черной ольхой. Только в одном месте берега Круча высоко поднимается, и на этой довольно широкой площади еще недавно стоял вековой чудесный сосновый бор. Пришло время начать разработку торфа на сфагновых болотах, прилегающих к чудесной борине. Мы это приветствуем, нам это надо, мы хотим побережь наши леса и топить наши фабрики торфом. Но нельзя было начать дело с того, чтобы, ни с кем не считаясь, срубить вековые сосны и рабочий поселок предоставить непосредственному воздействию солнца, ветра, песка, малярийных комаров.

Когда смотришь теперь на жалкие бараки в бегучих песках, на бедных ребят, обжигаемых солнцем, и представляешь себе эти самые домики, этот самый Дом культуры или клуб, этих самых ребят среди великолепного прежнего бора, то начинаешь нехорошо думать: кажется, будто это недобрые силы природы, с которыми человек борется день и ночь за свое существование, одолели его, вошли внутрь, подменили его человеческие силы и действу-

ют согласно со всем гнусом природы против всех лучших его достижений.

Так вот понемногу и раскрывается эта природа, которую мы должны охранять: это не та природа, с которой мы боремся с утра до ночи за свое человеческое существование, а природа — великий помощник и друг в борьбе за достоинство человека, как царя природы, это природа — кладовая океана, земли и солнца.

В советское время слово «культурный» стало употребляться нашими народами в смысле слова «священный». И в письмах, которые я получил после постановления Совета Министров о необходимости охраны природы, это слово везде повторяется. Так вот откуда взялся радостный тон этих писем и праздник: люди, хорошо сохраняющие в душе своей радость природы, торжествуют, что Совет Министров взялся бороться с нашей некультурностью в отношении природы.

Задача Всероссийского общества охраны природы, после нашего вступления, представляется простой и ясной.

При большой протяженности РСФСР и обилию природных богатств мы для наших практических целей можем пользоваться понятием природы в том смысле, что природа является великим складом материалов нашего советского хозяйства. Всероссийское общество охраны природы за время своего существования, при участии авторитетных лиц, выработало целую сеть культурных мероприятий, рассчитанных в осуществлении своем на многие годы.

По целому ряду причин, однако, мы не можем эти мероприятия взять и целиком перенести на Московскую область. Наша область имеет такие особенности, которые всему нашему Московскому отделению создают совсем иное лицо и требуют от нас мероприятий скорее не хозяйственного или биологического характера, а, пожалуй, педагогического.

Самой главной особенностью нашего отделения является необходимость включить в свою деятельность охрану природы города Москвы. Но включение природы столицы в круг забот нашего Общества чрезвычайно расширяет кругозор деятелей по охране природы. Москва, это и я еще помню, и об этом я еще когда-то писал, была воистину городом певчих птиц. Много-много, бывало, переловят и выпустят мальчишки щеглов в поисках замечательного

певца щегла-турлукана, и все эти замеченные птички, выпускаемые на волю, бывало, продолжают жить тут же на бульварах или в садах. Куда теперь делось все это певчее богатство? Куда девались эти любители птичьего пенья, эти самой природой воспитанные ее охранители? Последних воробьев мальчики наши сейчас добивают из рогаток.

Здоровье детской души очень много зависит от разумного общения детей с животными и растениями. Очень много значит, что дети сами им помогают жить и расти. Посмотрите же на эти сады, скверы, о которых так много теперь заботится правительство: как безобразно обращаются с ними дети! Нет никакого сомнения, что в Москве первым предметом охраны природы должно сделаться физическое и нравственное здоровье детей. Москва дает нам эту великую задачу, и, распространяя наше внимание на область, мы скоро увидим, что от этой задачи нам и в области не удастся уйти.

В Московской области, исторически так далеко ушедшей вперед в отношении культурных навыков населения, самые агрегаты, составляющие понятие природы, выступают в ином освещении, чем повсюду. Возьмем для примера дикое дерево, подлежащее в Московском районе особой охране.

Вот мой знакомый дачный поселок, в котором за советское время определился неизвестный в прежнее мое время тип «мичуринца». Этот садовник-мичуринец ограничил свое внимание к природе рамками своего забора и в этом ограничении обрел свою особую силу. Мичуринство — это новое истинно культурное явление, вошедшее в наш быт у всех на глазах.

И вот у такого мичуринца среди его сада-огорода стоит охраняемая горсоветом огромная дикая сосна, огромный насос, выпускающий в воздух напрасно половину влаги всего владения мичуринца. Вполне понятно, что представитель новой культуры вступает в борьбу с диким деревом. Понемногу, незаметно он подрубает нижние сучья, потом все выше и выше, пока, наконец, сосна не превращается в подобие пальмы. Тогда он принимается за корни и ножовкой под землю подпиливает связи дерева с землей. При первой буре дерево валится, разрывая провода, разрушая заборы. Но через несколько часов являются от горсовета могильщики, и последний из могикан увозится. И так дачный поселок мало-помалу освобождается от дикого леса, выходит из него со своими садами и огородами.

Таков характер всей нашей работы по охране природы в Московской области. В Обществе Всероссийском, в законе, действующем на огромные пространства, дикое дерево или вообще охраняется, или вообще рубится: охранять — так охранять, рубить — так рубить. А тут, в Московской области приходится всматриваться в дело какого-то мичуринца, скромного проводника новой культуры, и защищать его от устаревшего закона в отношении охраны дикого дерева.

Я теряюсь, просто даже не знаю, куда мне отнести в смысле охраны природы работы художников: Левитана, Кончаловского, Поленова. Эти художники создали особую, подмосковную природу, или, может быть, это московская природа их создала? Множество москвичей теперь смотрят на эту подмосковную природу глазами художников, и так выходит, что охрана Третьяковской галереи есть тоже дело охраны природы.

А то вот, я помню, в каком-то из Тишинских переулков живет замечательный управдом, за много лет создавший вместе с детьми этого дома двор-парк. Стен в этом дворе не видишь: они закрыты деревьями. Особенно весной, когда тополя распускаются, блестящие, яркие, ароматные почки в условиях города вызывают в душе необычайное волнение; но к этому надо прибавить, что за парком ухаживают сами дети, что игры детей находятся в полной гармонии с жизнью парка и что такое чудо в деле охраны природы мог сделать один-единственный человек — страстный любитель природы — управдом.

Я бы мог привести здесь множество примеров чрезвычайной готовности детской души идти навстречу делу охраны природы. Вот помню тоже, один энтузиаст вздумал с помощью беспризорников создать подвижной зоопарк. Я видел этот парк десять лет тому назад в Филях, у них были там разные животные — от белой мышки, кажется, до небольшого льва. Но особенно привлек мое внимание черный козел с хорошей расчесанной шерстью. За этим козлом ухаживал один мальчик-сирота, нашедший в уходе за этим козлом подобие дома. Этот зоопарк сколько-то лет странствовал по нашей стране и, как многие такие начинания, порожденные личной инициативой, затерялся и был забыт.

Нет, однако, никакого сомнения в том, что в душе ребенка существует отличная и великая сила, которой мы могли бы воспользоваться с большим успехом для дела охраны природы. В прежние времена мы частично пользова-

лись этой силой в деле воспитания в наших детях чувства природы через охоту. Принципом этого воспитания было устранение от детей влияния той принудительной добродетели, которой мучили нас в свое время в гимназиях. Вместе с охотой в нас вливалось чувство полнейшей свободы, которая потом без всякого принуждения приводила нас к добродетели охраны природы.

При таком методе воспитания русская культура создала особую природу натуралистов — охранителей природы, из которых довольно назвать хотя бы одного только Пржевальского. Не могу сказать, чтобы они и сейчас перевелись. Я могу назвать десятки имен людей той же породы, в ком честное и самоотверженное дело служения охране природы вышло именно из чувства охотника с его диалектикой: чтобы охотиться, нужно сохранять размножение дичи.

Так не пора ли нам наконец, опираясь на все эти примеры, сделать окончательный вывод в отношении определения точки зрения, с которой мы будем смотреть, приступая к делу охраны природы в Москве и Московской области. Для Всероссийского общества мы уже определили. С этой точки зрения природа, подлежащая нашей охране, является нам как некое великое данное, склад богатств, полезных нашему хозяйству. Та же самая точка зрения, конечно, остается и для деятелей Московского отделения Общества: мы немало имеем и тут богатств и так же хозяйственно должны ими пользоваться.

Но, кроме того, в силу наличия в области великой столицы, в силу особенности развития культурных навыков населения, мы должны здесь иметь особую точку зрения на дело охраны природы. В наших условиях в деле охраны природы внимание наше должно быть обращено не так к самым внешним богатствам, как к самому человеку, к богатствам его здорового тела и здоровой души. В нашем деле охраны природы мы будем понимать эту желанную природу как здоровое условие, определяющее здоровье души наших детей.

Имея это в виду, мы должны соответственно организовать дело охраны природы в Москве и Московской области: первое место мы здесь должны предоставить не экономистам и биологам, а педагогам, высокоавторитетным организаторам молодежи, способным направить ее к делу охраны природы. Пионерские и комсомольские организации должны быть повернуты к делу охраны, в каждой школе нашей области должна быть создана ячейка охраны, в каждом

районе отделение, при условии самой широкой самодеятельности нашей молодежи, которая непременно в конце концов не только вернет в Москву певчих птиц, но, может быть, даже создаст из родного города сад. И так разрешит миром многовековую борьбу природы и человека, деревни и города.

*Председатель Оргбюро Московского
отделения Всероссийского общества
охраны природы
М и х а и л П р и ш в и н*

*Москва,
31 мая 1947 года.*

К ВЫСТУПЛЕНИЮ НА СЛЕТЕ ЮНЫХ ТУРИСТОВ

1. НАПУТСТВИЕ ПИОНЕРАМ

Пионеры! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять — их надо открывать и показывать.

Для рыбы нужна чистая вода — будем охранять наши водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные животные — будем охранять наши леса, степи, горы.

Рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес, степь, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу — значит охранять Родину.

Вот сейчас, когда я пишу эти строки, в Москве царствует свет: началась весна света. Крыши еще белеют снегами, следы котов на снегу, а каждая тень, падая на белое, голубеет.

Никогда весна не приходит опять такой, как была, и лето, и осень, и зима новые придут не такими, как были.

Все это новое надо заметить и людям открыть. И мы с вами, пионеры, отправляясь в природу в новом году, будем смотреть не теми глазами и не то видеть, что в прошлом.

Вот бы нам не пропустить этого нового, вот бы заметить, вот бы об этом людям сказать и открыть этот новый мир.

Мы все это можем, если захотим и разумно возьмемся за дело наше, дело пионеров — открывать новый мир.

2. ПРИРОДА

Чтобы понимать природу, надо быть очень близким к человеку, и тогда природа будет зеркалом, потому что человек содержит в себе всю природу.

Вся природа содержится в душе человека. Но в природе не весь человек. Какая-то ведущая часть человека, владеющая словом, вышла за пределы природы и теперь больше и дальше ее.

Только оглянувшись назад, в свое прошлое, человек в зеркале своем видит свою собственную природу.

В природе рождается человек, и потому мы часто говорим: мать-природа. Из этого факта является у нас милость к природе. Но в природе человек умирает от нападения на него видимых и невидимых врагов. Он умирает в борьбе с этими врагами своими, включенными в природу. Природа является местом борьбы человека за существование. Значит, природа человеку и мать, и злая мачеха.

Из этого начались все наши сказки.

Природа старается бороться со смертью количеством своих семян: сколько-то выживет, — и так продолжается жизнь.

И когда от природы вернешься к себе, то представляется, что мы, люди, за свое бессмертие боремся не количеством, а качеством; и так стараемся создавать бессмертные вещи.

Отчасти мы и достигаем: есть произведения искусства очень древние, и все-таки они нас и сейчас восхищают.

Так елки сеют своими шишками, осинки, одуванчики. Так тысячи тысяч людей берутся за кисть, за перо, за смычок, чтобы один вырос и дал посев.

Природа, как и жизнь, не поддается логическому определению; и спросите любого, что он понимает в слове «природа». Никто не даст всеохватывающего определения: одному — это дрова и стройматериалы, другому — цветы и пенье птиц, третьему — небо, четвертому — воздух, и так без конца. В то же время каждый из этих потребителей знает, что это не все.

Недавно это нечто большее, чем свой личный интерес,

мы почувствовали к природе во время войны, и как мы это почувствовали общий интерес: это Родина, дом наш.

Природа явилась нам, как Родина, и Родина-мать обратилась в Отечество.

3. ЧУВСТВО РОДИНЫ

Как вострепнется человек, услышав где-нибудь крик родной птицы, слышанной в детстве, или песенку, или запах цветка! Как Тургеневу запахло родной коноплей на полях Германии!

Но если это верно, что родина там, где родился, то почему же, когда попадешь куда-нибудь далеко от родины, с природой совсем незнакомой, где звуки иные и воздух совсем другой, а земля пахнет иначе, тоже весь вострепнешься в узнавании, в понимании невиданного, неслышанного. и кажется: всю жизнь шел сюда и наконец-то пришел, и теперь начинаешь дивиться всякому пустяку — что вот у нас вороны серые, а здесь черные, что сороки у нас черные, а здесь голубые.

Поймешь, что не вся та родина, где родился и вышел на свет из темной утробы, что и то есть родина, куда пришел, — и это чувство родины есть движение к свету.

Каждый из нас, путешествуя, непременно что-нибудь открывает для себя вдали новое. И, вернувшись домой, открывает свои глаза на знакомое и тем самым обогащает и расширяет свою родину.

В юности я поехал на Кавказ и лето прожил среди снежных гор, похожих на облака. Когда я вернулся домой, то впервые увидал у себя на родине облака. Никакого внимания раньше на них я не обращал, но после снежных гор понял облака над равниной Елецкого района с ее ржаными полями, васильками и ромашками. Так снежные горы в моем растущем поэтическом сознании превратились на родине в облака, и благодаря поездке на Кавказ я в душе своей стал поэтом родных облаков.

Так и нужно понимать, что наше чувство Родины складывается из любви к тому месту, где родился, и устремлением вдаль, путешествием, расширяющим и обогащающим нашу родину.

Может быть, потому наша любимая наука география, благодаря такому составу нашего чувства Родины, разделя-

ется на две области: большая география, представляющая себе Земной шар в обстановке Вселенной, и малая география, или микрогеография, открывающая нам жизнь Вселенной в текущей жизни природы возле себя.

4. ОХОТА

Постоянно упрекают нас, охотников, за жестокость милые голуби, но все-таки если бы можно было обернуться в птицу, сохраняя свой человеческий опыт, я бы обернулся не в голубя, а в охотника-ястреба, и тогда и сам бы остался жив-здоров, и голуби остались целы. «Как же голуби-то целы остались?» — спросят меня. «Так, — отвечу я, — целы бы остались голуби, что и простой ястреб в своем саду не берет птиц, а ястреб с человеческим разумом тем более». Глубоко убежден в том, что если бы не было на свете ястребов-охотников с постоянной их заботой об охране природы, то милые жалостливые люди давно бы всю дичь съели в ресторанах.

Если бы можно было, сохраняя свой человеческий ум и сердце, обернуться в голубя или ястреба, я бы выбрал себе ястреба, и после того положил ум свой человеческий и сердце, чтобы всех охотников обернуть в ястребов. Так вот представьте себе, что это уже совершилось: мы, настоящие кровные охотники, представляем собой особое племя человекообразных ястребов.

Обыкновенный ястреб живет для своего гнезда — вот и все.

Но человекообразный ястреб-охотник, сохраняя в себе страсть жить для себя, живет для других, — он является лучшим охранителем природы и защитником своей Родины. Широко распространилось мнение, что охотники потому первые воины, что обрели себе на охоте полезные для войны навыки. Это и правда, и нет. Правда, потому что, конечно, знание природы есть большое преимущество воина. И не совсем правда, потому что самое сближение с природой исходит из глубочайшего душевного родника человеческой души ястреба-охотника: из его чувства Родины.

Спросят нас: однако что же будет с голубями, если все охотники обратятся в ястребов? Так спрашивают нас постоянно люди с добрым сердцем, но лишенные того сложного чувства природы, которым обладают в полной мере охотни-

ки. Трудно сделать себя понятным людям, у которых нет живого охотничьего чувства природы, и мы отвечаем намеками:

— Не беспокойтесь, вспомните народное поверье, что в своем саду своих птиц ястреб не клюет. — И это правда, в нашем саду мы, охотники, не убиваем и не ловим. Остается только раскрыть, что же это такое наш лес, где мы, будучи страстными охотниками, разводим живое и обогащаем повседневно наши леса, поля, реки, моря.

Для того чтобы увидеть этот наш чудесный лес, где ястреба не клюют голубей, нам стоит только назвать для примера несколько имен самых страстных ястребов-охотников: в науке Миклухо-Маклай, Пржевальский, в поэзии Тургенев, Некрасов, Лев Толстой. И это выбраны только немногие из всех вершин нашей страны, не говоря уж о богатых долинах, где все прячутся от глаза в высокой траве.

В том-то и дело, оказывается, что ястреба, обогащенные человеческим сердцем и разумом, не разоряют, а обогащают угоды нашей Родины. Вот и ответ на вопрос мягких сердцем людей, и нам остается раскрыть перед начинающими охотниками, пионерами, комсомольцами, как это могли известные и неизвестные замечательные охотники свой любимый охотничий спорт сделать средством и познания, и возвеличения своей Родины. Трудно это, а надо! Каждый разумный человек-охотник, если вдуматься в свою жизнь, в свой опыт, может и должен ответить на этот вопрос. Так вот и я тоже сейчас силюсь раскрыться, чтобы моим путем шли молодые охотники. И вот замечательно: чем больше я силюсь, тем больше все путается. А как только брошу думать и выйду на свою охоту, так все мне становится ясным, понятным. Вот рассказ, как это было со мной всего только час тому назад.

Придет весна воды, и, конечно, я, как все охотники, отпраздную ее на местах, но весной света я всегда охочусь в большом городе, и не знаю ничего прекраснее такой охоты мысли за солнечным лучом, внезапно пересекающим переулок, за блестящим слоем стрел сосулек, за следами весеннего кота на крыше. И особенным чудом бывает остановиться в виду замороженной водяной колонки. Придет человек с ломом, пробьет для ведра ямку, нальет воды и удалится. А на ближайшем дереве ходит воробей, сидит и ждет. Вот человек удалился. Вода в ямке еще не замерзла.

Воробей слетает в нее, купается, и брызги летят от него и радужно сверкают, а воробей торжествует.

И вдруг слышу: зовут меня... Остановился в стороне, чтобы не мешать прохожим. Передо мной кирпичная стена высокого дома, как это бывает, когда один дом построили, а другой не успели к нему прислонить. В такой стене везде бывают печурки, величиной в один кирпич: одни для чего-то, наверно, делают, другие и сами собой образуются, когда выпадает кирпич.

И слышу я: воробей там в одной из таких печурок невидимый неустанно чирикает, как живые часы, повторяя одно и то же: «Здравствуйте, здравствуйте!» Подумалось: до чего же у охотника обострено внимание к жизни природы, что на улице, в толпе людей, я услышал голос певца весны света и так услышал, что как будто кто меня позвал в свою голубую дверцу! И только-только я определил печурку, откуда исходил неустанный зов, как, смотрю, уже и другой человек стоит рядом со мной, слушает, и улыбается, и показывает мне пальцем: «Вот он где, шельмец!» — «Ошибаетесь!» — отвечаю. Пospорив, мы согласились. И мы уже знакомы.

Мне осталось только записать, о чем щебетал воробей в Москве весной света. Он отвечал нам просто на трудный вопрос, как сделать охотничий и любой спорт средством познания и возвеличения нашей Родины.

Первое — это хранить радость жизни, заключенную в чувство охоты. Второе — надо воспитать в себе то внимание, каким я мог на улице открыть воробья. И третье — о дружбе. Не нужно заботиться, она само собой явится, как на охоте за воробьем явился мне другой такой же охотник, когда я обрадовался зову и обратил внимание на воробья.

Радостью жизни, сосредоточением внимания и дружбой питали наши великие предки живущее в нас чувство Родины.

О МИРЕ

Разве перелетная птица, направляясь с Севера в Африку, пользуется счетом и мерой пути по карте? Так и писатель в самом таланте своем хранит чувство современности. Не знаю, как сейчас в науке, найден ли в организме птицы орган, помогающий птице определяться в по-

лете. Я оставил науку в то время, когда еще механизм этот в птице не был открыт.

Но речь идет у нас не о птице, а о человеке, художнике слова: нельзя ли художнику слова разобраться в себе и ответить на вопрос нам, как он определяется во времени, чтобы в своем полете опуститься именно туда, где ждут его современники? Другими словами: можно ли художнику, разбираясь в своем творчестве, прощупать свойственный ему орган чувства современности? Или вопрос этот, как птичий полет: у птицы — крылья, и она летит в Африку, у художника — талант, и он через это становится современным.

И даже больше: во всяком настоящем таланте содержится неведомый нам орган самоопределения художника в современности.

По-моему, каждый настоящий талант содержит в себе чувство современности, и как птица на перелете верно направляется в огромном пространстве с Новой Земли в Центральную Африку, так и писатель движется во времени точно, как птица в пространстве, и нет писателя вне современности, хотя бы он писал о египетских пирамидах или о листке осины, трепещущем на своем стебельке.

И вот, когда перелистываешь страницы дневников, и вдруг задерживаешься, и хочешь сделать из какой-то странички рассказ, то в выборе материала решает это чувство современности.

Я называю эту способность выбора чувством, а не мыслью потому, что сам действительно не могу разобраться в этом движении своем, как сороконожка не может понять, какой ногой вперед ей надо сейчас ступать.

...Что это за чувство современности? Это никак не та способность стрелка попадать в летящую птицу и подбирать ее мертвую. Напротив, современность рождает в себе нечто новое, и его надо не убить на лету, не просто указать, а угадать, когда поднять и, может быть, воспитать.

Часы на башне идут для всех одинаково, но каждый из нас по-своему переживает и создает час своей жизни. Так и проходит время надвое для всех счетов на башне, и у каждого по-своему счет — скоро или медленно: один против счета на башне спешит непомерно, другой медлит.

И есть еще третий счет времени, и не по башне, и не по человеку, а как бы по движению всей судьбы человеческой.

Людей, понимающих этот третий счет, мы называем людьми современными, а не понимающих — несовременными. И так бывает в этом третьем времени, что вперед в нем можно забегать сколько угодно, и чем дальше уйдешь, тем современной будешь.

Так полстолетия с чем-нибудь назад мальчик из старших классов гимназии, марксист, был современнее министра Витте или Столыпина. Точно так же Столыпин, истративший жизнь свою на устройство кулаков-единоличников, был человеком несовременным.

Можно легко понять механику часов на башне, согласованную с движением нашей планеты. Каждый из нас легко может, разбираясь в себе, понять, почему он спешит или отстаёт от времени на часах: тут каждый человек хозяин в себе.

Но исторический ход времени невозможно ни считать, ни разбирать, почему и отчего. Этот ход жизни можно только чувствовать, и писатель в этом отношении, как птица перелетающая.

...Мне, как писателю, это самое дорогое — чувствовать время, катиться капелькой по ниточке времени и не упасть в конце, не застрять узелком, а когда время придет, когда солнце взойдет, испариться и улететь.

Так вот сейчас призыв к миру — это знамя времени, и я по себе чувствую. Началось это еще в гимназии особым русским чувством неправды, и потом это чувство, разрастаясь, обернулось к войне как к воплощению неправды. И с этого началась наша эра... Просится, вертится, как птица в клетке, какая-то мысль у меня в душе, и никак не могу я обратить ее в свою форму сказки или просто пером описать.

Общими словами сказать, как заглавие сказки, — мысль эта есть общая всем нам мысль о мире всего мира. Но это не только все мы, а и наши враги на свой лад повторяют и каждый день клянутся в газетах, что они не воюют и гонят оружие на дело мира во всем мире.

Друг мой, я исповедуюсь вам в том, что сам лично верю в возможность мира, и не по форме, а душой стою до конца, до смерти за слово... Но ведь опять-таки, этими словами каждый, даже наш враг, маскируясь, может вслух для видимости исповедоваться своим друзьям. Я же, как писатель для всех, должен сказать об этом своими словами. Я должен сам обратиться в слово.

Вот почему в такой великой задаче сказать о мире всего мира своими собственными словами так верно, как если бы

мать говорила о своем собственном ребенке, я обращаюсь к себе самому, к материнской утробе моей собственной души. И в какую бы даль времени, в какой бы скрытый уголок своего жизненного пространства я ни заглянул, — везде я встречаю одного и того же врага мира, убивающего всякий порыв нашей веры в чудесные возможности жизни.

Помню я, лет шестьдесят тому назад — подумать только, что всего полстолетия с чем-то! — седой, бородатый, достойнейший во всех отношениях учитель математики с мелом в руке стоит возле черной классной доски и доказывает нам, мальчикам, что человек никогда не будет летать, что абсурдна сама мысль о полете. Прошло немного лет после того — и человек полетел: значит, был враг творчества новой жизни и в то же время был где-то положительный представитель жизнетворчества. Был же, значит, в то время моего детства какой-то враг творчества новой жизни, останавливающий движение мысли. Но я могу, углубляясь в себя, вызвать на свет тысячи таких врагов и проследить изначальные формы гасителя творческой жизни до нынешнего дня моей жизни.

Я сам очень хорошо понимаю, что если передо мной стоит предмет для изображения, то неплохо обойти его и посмотреть, как он выглядит сзади. Такое сомнение в лице предмета вполне законно, если оно состоит на службе творчеству и углубляет его.

Но с какого-то времени, когда-то, где-то само сомнение вырвалось из службы жизни на самостоятельный путь и стало отравлять самую жизнь. В мое время такого рода паразитическое сомнение называлось «скепсис», и, конечно, это состояние духа с давнего времени порождало самих врагов жизнетворчества...

Про себя люди в Москве до того преданы миру, до того не хотят войны, что дела свои домашние выполняют в точности по словам: «Помирать собирайся — рожь сей».

Отчего же и голуби в Москву возвратились, и любимые собаки всех пород забегали по улице, и опять заходили высоко на крышах коты?

Отчего же и люди в таком множестве, как никогда не было, свое чувство радости свету новой весны перенесли на то время, когда раньше могли это чувствовать только очень немногие, самые чуткие. Это значит: испытав утраты, люди поняли, до чего же сама жизнь хороша!

А это, что жизнь хороша, что мы люди, не трава на ветру и не сено, что мы и от себя что-то можем сделать навстречу

знойным и иссушающим ветрам, — это все зарождается в городе...

...Чувство современности в том смысле, что не приходит со временем, а сами делаем новое время.

МАТЕРИАЛЫ К ВЫСТУПЛЕНИЮ НА ВТОРОМ ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕЩАНИИ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Н а днях С. Я. Маршак мне сказал, что от нашего с ним времени блестящего развития поэзии остаются сейчас два поэта: Блок и Бунин, остальные твердыни, вроде Брюсова, все пали... Спрашивал я себя, что в нас содержится такое, из-за чего один иерархический замок, поднимающийся на относительную высоту, держится дольше другого, чем определяется его прочность, его положение?

И мне вспомнилась моя старая мысль, где-то счастливо напечатанная в советское время. Я сказал тогда: «Кто из нас думает больше о вечности, у того из-под рук выходят более прочные вещи».

А сейчас, вероятно, приблизившись к старости, я начинаю подумывать, что не от вечности, а все от любви: высоко подняться может каждый из нас всевозможными средствами, но держаться долго на высоте можно только силой излучаемой любви.

А что есть любовь? Об этом верно никто не сказал. Но верно можно сказать о любви только одно, что в ней содержится стремление к бессмертию, а вместе с тем, конечно, как нечто маленькое и само собою понятное и необходимое, способность существа, охваченного любовью, оставлять после себя более или менее прочные вещи, начиная от сказки для маленьких детей и кончая шекспировскими строками.

Красота светит всем, но не каждому: не каждый в состоянии встретить ее. Но бывает, — не красота, а что-то другое лучится в улыбке, в глазах, и в этом каждый оживает.

Русская литература, конечно, в красоте вырастает, как всякое искусство, но ее поддерживает вот это нечто, существующее в жизни вне красоты. Что это? Вот «Война и мир», и в ней лучатся глаза некрасивой княжны Марьи...

Начинаю понимать, что я не просто живым детям пишу, а тем, какие остаются, сохраняются и не сохраняются, — вернее сказать: какие должны бы у всех нас для нашего счастья сохраняться в душе. Может ли быть художник в любом искусстве без такого ребенка в душе? Едва ли...

Но больше! И не у художника, а и у всякого рабочего в его мастерстве, когда ни с того ни с сего откуда что взялось — и вдруг вышло совсем новое и небывалое, — так не этот ли самый спящий младенец шевельнулся, брыкнул ножками, а мастер обрадовался и создал что-то новое, небывалое.

Испытанием таланту писателя для взрослых может служить маленькая вещица, годная в детскую хрестоматию. Напротив, это плохой детский писатель, кто может писать только для детей.

Мы в себе носим все и в течение жизни своей разными способами открываем из всего богатства кое-что.

Из каждой удачной моей попытки писать выходит всегда больше, чем я задумывал, и мне открывается как бы само собой то, чего я не знал.

Мне кажется тогда, что писал не я, малоуважаемый мною человек, а кто-то другой, во мне таком заключенный.

Есть у писателя болезнь отчужденности. Теперь это у нас учли, как «отрыв от масс» — и создали творческие командировки.

Но я чувствую по себе, что если есть очень глубокая мысль в самом себе, то отрыва никакого не может быть даже в лесу. Если есть в себе этот процесс, назовем его — движение глубокой мысли, то не только люди в коридорах коммунальных квартир, — на улицах отражают ее в себе или, наоборот, в людях она, и ты от них ее получаешь себе, но и в лесу, где нет людей, — деревья, цветы, птицы, насекомые, зверьки являются представителями человека и подсказывают нужную мысль.

Весь вопрос, в себе эта «мысль» или где-то вне себя, и там где-то вдали ее надо найти и в поездку за ней брать «творческую командировку» (бедный, у него от этих командировок... чемодан материалов лежит. Издательство закрылось, и его «творчество» остановилось).

Как это выходит, что вот хорошо знаешь какую-нибудь вещь или понятие, но если найдешь для них свое собственное слово и выразишь в своих собственных словах, то и эта знакомая вещь выступит как новая, небывалая, и понятие раскрывается совсем по-новому из своей глубины.

Вот думаешь: «Мне это кажется», — но пришел кто-то, почитал ему, и он тоже: «У меня как будто глаза открылись». Сердце забьется от радости, но опять приходит сомнение: «Скорей всего это он по дружбе моими глазами на вещи глядит, и мы вместе обманываемся».

Но когда редакция одобрит, когда напечатают, когда от неведомых друзей письма начнешь получать, то сомнения исчезают: оказалось, что это действительно так — верно сказанное от себя слово о чем-нибудь прибавляет что-то новое к вещи, к понятию, и так выходит, что старая вещь как бы вошла в меня и вновь вышла из меня, как новая, как будто она вновь родилась.

Ощупью в своих сомнениях и с невозможной для взрослого человека удивленностью обращался я к таким вещам или существам, которые были с человеком десятки тысяч лет.

Я тогда еще искал достоверности в самих вещах и думал так, что если с чем человек сжился давно, то оно все так и есть; и если я об этом напишу, как о всем знакомом, то оно и будет самое верное; но когда я об этом стал писать, то как раз тут и заговорили о том, что я «оригинальнейший писатель».

Это было мне тогда очень тяжело переживать, понимая через читателей, что «не вечную» природу я описываю, а себя самого, свое собственное, но правильное слово нахожу в себе и им называю. И через это древнее вечно бывалое входит в меня и выходит из меня, как новое, молодое («какая свежесть!») и небывалое.

Но это теперь хорошо, когда я понял. А тогда я очень страдал.

О стариках мы обыкновенно говорим: «Он все такой же!» Мы этим про себя хотим сказать, что старый человек уже вошел в ритм природы, повторяется, и от него нечего ждать, как от всей природы, чего-то особенного: в природе все уже было.

Мы же, молодые, все надеемся показать людям что-то еще небывалое.

Миллионы лет были на земле атомы и работали тайно, пока наконец их не открыли. Так что они, конечно, были, и были очень давно, и мы их не сделали, не сотворили, а только открыли.

А можно ли такое открыть, чего не было? Можно, только это называется не открыть, а сотворить.

Приветствую вас, молодые товарищи, уверяю вас всех, пишущих стихами и прозой, и работающих в разных других областях, и просто любящих свой труд, свой дом свою Родину, что сердце нашей мирной жизни есть поэзия. И в сердце всякого поэта, пишущего и не пишущего, содержится особое чувство современности. В том смысле чувствую я себя с вами сейчас современным, что не время уводит нас за собой, а мы сами делаем время наше, новое и великое.

Мы с вами счастливейшие поэты всех времен: вы тем счастливы, что вступаете прямо с места в борьбу за мир всего мира, и я счастлив, что дожил и пришел к новому времени не с пустыми руками и могу с прямой душой встретить вас и сказать:

— Пожалуйте!

Первое, что хочется сказать вам из своего опыта, — это что каждому писателю надо найти непременно особое свое поведение в отношении своего таланта, что в таланте и времени есть какое-то соотношение, что не случай, а именно *поведение* твое, друг мой, решает вопрос, сколько времени ты проживешь после себя в сердцах людей.

Я вижу сейчас у каждого писателя как бы две жизни. Первая похожа на дерево молодое, растущее в тени, под пологом леса. Трудно выбиться дереву на свет, трудно пробить полог леса, и тут нечего особенно задумываться о поведении: тут помогает эгоизм роста. Дереву надо полог леса пробить и выйти на свет, писателю — стать известным.

Вторая жизнь — когда дерево выбилось на свет и увидело, как далеко ему до солнца расти, и что если в одиночку и дойдешь до него, то сгоришь. А вокруг на необозримом пространстве нашего великого леса все вершины глядят на тебя. Так по себе понимаешь такое дерево, но и в природе оно так.

Когда елка встречается над пологом леса со светом, она слепнет и на некоторое время перестает расти, чтобы пере-

строить свои теневыносливые клеточки на светолюбивые. И писатель слепнет, когда становится известным, и тут особенно нужно ему поведение в отношении своего таланта. Вот мне и хочется, и я считаю это своим долгом старого писателя, предупредить молодого...

Сейчас в Москве мартовская весна света. Прежде, бывало, в марте свет пропадал в своей грязной работе над снегом, уплотненным зимней ездой на санях. Прежде москвичи, я это помню, не так рано встречали весну, как теперь, не так скоро приходили в радость торжествующей природы.

Это и понятно: грязь убирается в Москве далеко до прихода света, и он теперь не гаснет в грязи, а бросается к людям и будит сердца.

Люблю это время в городе больше всего. Сколько лиц, сколько глаз!.. Опьяненный светом, брожу без дела в огромной городской толпе. Мне и в голову не приходит приглядываться к лицам смутным, старым и морщенным. Но вдруг старушонка, самая ничтожная, дерзко толкнула меня в бок костылем.

— Ты что, глухой? — спрашивает.

— Нет, бабушка, — отвечаю. — Что тебе надо?

— Кричу, кричу — и не слышит. Скажи, где бы мне тут напиться?

Разделавшись со старухой, на некоторое время теряю счастье света и вижу людей желтых, сморщенных, с тусклыми, недобрыми глазами. Зачем они тут? Непонятно.

И это честно сказано: непонятно счастливому дереву, пробившему лесной полог, положение оставшихся в тени. Но человек же, к счастью нашему, не дерево: он может создать себе поведение, достойное в отношении обойденного судьбою товарища.

И тут я понимаю, за что меня колотила старуха.

Мне кажется, дорогие мои поэты и прозаики, это поведение содержится в самом нашем слове, если черпать его из глубины собственного своего колодца, а не хватать даром или не брать напрокат из чужого. Поговорите, товарищи, и об этом на съезде, а я постараюсь скоро закончить свой труд и представить вам на рассмотрение свой собственный опыт в отношении слова и поведения.

Второпях я забыл вам сказать самое главное, с чего и началась моя мысль и потом я упустил: это что ведь и величайшее слово в нашей современности, «мир», будет пусто. если не берется из глубины своего собственного слова-источника, если не подтверждается личной борьбой за мир, личным своим поведением.

Вчера на выступлении и хорошо было, что хорошо принимают, и плохо, что один из всех пришел с качеством, а все — с количеством «грамотных мастеров». Но мои слова о поведении против мастерства были сказаны крепко.

...На мгновение мне было так, будто я все слова позабыл и сказать мне теперь нечего. Но так бывает постоянно со мной при переходе с записанной речи к устной, к тому языку, каким мать мне говорила и учила меня его первым словам.

Каждый раз, когда я, забыв на мгновение все, чему меня учили, берусь за эти родные слова, мне кажется, будто не слово приходит ко мне, а прилетает крылатое существо с гибкой шейкой, со сверкающими глазками, с острым носиком, как у синички, и это — я сам. Потому, видно, и называется устная поэзия сказкой, что сказка эта сказывалась. И потому она мне кажется, эта сказка, крылатой и свободной. что я всю жизнь трудился, учился так же свободно писать, как она сказывается. и все-таки не мог обратить родное слово в ту музыку, какая мне слышится в речи простых людей на полях и в лесах, на улицах, на берегах и у простых деревенских колодцев.

Надо не забыть: какая дружная, восторженная и возвышенная была эта аудитория молодая. когда я выступал.

Почему вместе выходит у них так хорошо, когда я им сказал:

— Поздравляю с новой весной, грачи прилетели!..

Из моей статьи в «Литгазете» напечатали только первый отрывок. Что бы это было, если б всю вещь напечатали, и что бы это было, если бы раскрылись все возможности, во мне заключенные!

Хорошо только одно, что я сам себя чувствую живым.

Не надо искать опору себе в людях отдельных: друг живет не в отдельности, а в целом человеке, когда он, собираясь, слышит живое слово, и кричит, и хлопает руками от радости, или когда-то и где-то шепнул вам задушевное слово, или выглянул глазком из толпы.

Или вон против вас там в вагоне сидит и глядит куда-то вдаль с какой-то мыслью, а солнышко с той стороны лица раззолотило кудри, и одни реснички того глаза тоже светятся вместе с кудрями.

Ничего-то не нужно ей, этой милой девушке, от вас, и вы тоже боитесь спугнуть ее даже своим взглядом. Но оба где-то в себе радуетесь, что вместе куда-то едете в один и тот же чудесный весенний день вашей жизни.

Нечего, нечего загадывать выкладывать кирпичные домики будущего, — будущее само о себе позаботится. Надо чувствовать и ловить в себе пра-феномен нашей русской нравственной жизни; и я думаю, что его можно даже называть: это друг — в этом все. Только друг! И тем самым определяется и недруг.

Друг наш придет не за страх о своем роду-племени, а по решению нашей совести, не за страх придет, а за совесть.

Вокруг меня идут люди, бросившие все свое лучшее в общий костер, чтобы он горел для всех, и что мне говорить, если я свой огонек прикрыл ладошками и несу его и берегу его на то время, когда все сгорит, погаснет, и надо будет зажечь на земле новый огонь. Как я могу уверить моих ближних в жизненном строю, что не для себя лично я берегу свой огонь, а на то далекое время?

ВЫСТУПЛЕНИЕ М. М. ПРИШВИНА, ПРОЧИТАННОЕ НА XIV ПЛЕНУМЕ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Дорогой Алексей Александрович, благодарю Вас за Вашу телеграмму!

Как никогда, хотел принять участие в работе Союза, готовился выступить со своими наблюдениями новой колхозной жизни. К несчастью, очередная пневмония не дает мне возможности приехать на пленум.

Как старейший агроном, я близко принял к сердцу вместе с народом новейшие реформы в области земледелия.

Это всеобщее сейчас чувство радости просится перекинуться в нашу область искусства слова.

Сущность земледельческой реформы особенно при-
шлась по душе нашим дунинским колхозникам той своей
стороной, что необходимые налоги ложатся теперь главным
образом только на землю, и тем самым освобождается
деятельная инициатива самого земледельца.

Мне же пришлось она вот с какой стороны: так точно,
как в земледелии, в искусстве слова есть и своя «земля»,
и свой сеятель, и свои необходимые тяготы, и своя свобода.
Мне хочется, чтобы и на этой дорогой моей земле искусства,
как и на той колхозной земле, совершилась бы та же самая
реформа: там и тут необходимые налоги собирались бы
с земли и через это само творчество человека со всеми его
возможностями освобождалось.

Говоря проще, я хочу, чтобы необходимые усилия всех
лиц, обязанных поправлять и направлять движение нашей
мысли, включая сюда не одних редакторов, но и товарищей
по перу, и особенно самих читателей, — чтобы эти условия
были смелы, щедры, благожелательны и бережны для
наших поисков и дерзаний в искусстве.

Я хочу, чтобы это освобождение от страха перед осу-
ществлением нового замысла в поисках лучшего, от страха
перед возможностью иногда ошибки, иногда блужданий,
как это случается и в живой жизни на неизвестной еще
дороге, — чтобы это освобождение сделало нас разными,
неповторимыми и в то же время слитыми воедино чувством
истинного товарищества и общей высокой целью.

С искренним уважением

Михаил Пришвин

*Деревня Дунино
Звенигородского района*

КОММЕНТАРИИ



СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Собр. соч. 1956—1957 — М М Пришвин Собр. соч. в 6-ти томах.
М., Гослитиздат, 1956—1957

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и
искусства, Москва

ЛЕСНАЯ КАПЕЛЬ

В самом начале 1940 года Пришвин приступил к работе над лирико-философским произведением по дневникам — «Лесная капель». Первой частью книги стала поэма «Фацелия». Пришвин признавался, что «во всех своих книгах он оставался автором записок о непосредственных своих переживаниях». Этому признанию «Фацелия» отвечает больше других его книг. В феврале «Фацелия» была закончена, а летом Пришвин пишет вторую часть «Лесной капели», которую сначала называет «Мой дом», а потом дает ей то же название, что и всей книге — «Лесная капель».

Осенью 1940 года сокращенный вариант «Фацелии» печатается в журнале «Смена» (№ 9), полностью — в «Новом мире» (№ 9), и там же, в № 10, печатается вторая часть «Лесной капели» (разделы «Дерево», «Вода», «Лесные гости»). К сожалению, вместо окончания «Лесной капели» в следующем номере «Нового мира» была напечатана статья, в которой Пришвина упрекали в аполитичности, в «несвоевременном обращении к цветочкам и листикам». Его мировоззрение объявлялось «органически и непримиримо чуждым мироощущению человека, живуще-

го подлинной, не отгороженной от борьбы и строительства жизнью» (Мстиславский С. Мастерство жизни и мастер слова — «Новый мир», 1940, № 11-12, с. 272) В январе 1941 года Пришвин пишет редактору «Нового мира» В. П. Ставскому: «Борьба за «Лесную капель» для меня есть такая же борьба за Родину, как борьба за ту же Родину на фронте ...Я очень боюсь, что литераторы умышленно не хотят понимать, что за моими цветочками и зверушками очень прозрачно виден человек нашей Родины» (Подробнее об этом см. в кн.: В. Д. Пришвин а. Круг жизни М., «Художественная литература», 1981, с. 132—134)

Отдельным изданием книга вышла в издательстве «Советский писатель» только в ноябре 1943 года, в самый разгар войны, сразу же получив высокую оценку читателей и критики, назвавшей «Лесную капель» «симфонией в прозе», «гимном радости жизни и любви» Известно, что узники фашистских лагерей смерти передавали друг другу переписанные от руки миниатюры «Лесной капели»

Текст печатается по изданию: *Собр. соч. 1956—1957*, т. 3, сверенному с автографом, хранящимся в ЦГАЛИ

Стр. 8 *«Вся жизнь — одна ли, две ли ночи»*. — Строка из стихотворения А. С. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824)

Стр. 9 Запись: «Бывает, человек до последнего доходит. » — имеет и другую редакцию, в которой после слов: «Виноват ли отдавший свое человеческое чувство собаке?» — следует: «Чем он виноват, если не было в нужный момент человека? Где же он был, человек? Он был чем-нибудь занят или до крайности раздражен добыванием пищи и в этом раздражении прошел мимо своего человека и не заметил его» (ЦГАЛИ).

Стр. 11. *...Ариша спросила..* — Об Арише см. в повести «Неодетая весна» (наст. изд., т. 4).

Стр. 13. *Росстань* — перекресток дорог.

Стр. 15. *...вспомнил мысль Гёте о том, что природа создает безличное...* — По-видимому, Пришвин имеет в виду мысль, высказанную Гёте в статье «Природа» В отличие от Гёте, для Пришвина природа всегда лична. Об этом он постоянно пишет и в «Лесной капели», и в «Глазах земли»; см., например, запись «Лицо природы» (наст. изд., т. 7). Расходясь с Гёте в понимании индивидуального характера природы, Пришвин в целом высоко оценивает Гёте и как философа, естествоиспытателя, и как писателя (см. автобиографический роман «Кашеева цепь», а также многочисленные ссылки на Гёте в «Глазах земли» и в дневниках последних лет).

Стр. 21 *Бочаг* — яма на дне болота, реки, озера

Сказано у Гёте недвусмысленно, что, созерцая природу, человек есе лучшее, о чем он говорит, берет из себя — Видимо, имеется в виду мысль Гёте: «Все, что вне нас, — это только элемент, но глубоко в нас лежит

созидательная сила ..» См.: Гёте Годы странствий Вильгельма Мейстера — Собр. соч. в 10-ти томах, т. 8, 1979, с. 267.

Стр. 22. ...вспоминаю старосветских помещиков, как они были для Гоголя. — После этих слов в рукописи: «и как они людьми до сих пор еще не поняты».

«*Circulus vitiosus*» (лат.) — «Заколдованный круг».

Стр. 31 *Эолова арфа* — древний музыкальный инструмент, струны которого приводятся в колебание движением воздуха

Стр. 35. *Лесной ручей*. — О том, как возникла эта запись, Пришвин вспоминает в дневнике «Мне постоянно кажется, что есть какой-то свободный вход в природу с какого-то крыльца или конца и что если войдешь с этого входа, то безо всякого труда будешь понимать все. Так однажды я шел ранней весной берегом ручья и это почувствовал. Вынув записную книжку, я на ходу стал записывать все в том порядке, как возникали во мне впечатления. После, дома, переписав с карандаша на машинке, я получил рассказ «Лесной ручей» (*Собр. соч. 1956—1957*, т. 6, с. 740)

Стр. 41 *Любовь* — О создании этой записи Пришвин рассказывает в дневнике. «Сегодня я опять уверял ее, что люблю, и опять вспомнил кусок хлеба, что отдам ей последний кусок, если она заболит — не отойду, и много такого наговорил ей и насулил. И она, выслушав все, ответила «Но ведь так все сделают». — «Кто же это все?» — спросил я «Все хорошие люди», — ответила она спокойно и уверенно.

И тогда мне вспомнилось, что я сам клявту себе давал, когда впервые пришел ко мне успех от моего писательства, чтобы писать только о хороших людях. Мне бессмысленно казалось тогда обращать внимание людей на пороки, потому что обращенное на порок внимание его только усиливает. Мне казалось, что нравственность всего мира попала на эту удочку греха: пороки беспрепятственно бичуются моралистами и растут.

Так почему же я забыл о своей клятве писать только о хорошем? Ночью я пробудился, написал маленький рассказ в темноте карандашом и утром переписал его на машинке, а вечером прочитал его ей» (*Собр. соч. 1956—1957*, т. 3, с. 759—760)

Стр. 43 *Полбе* — талая вода на льду

Стр. 50 *Река Нерль*.. Ее приток *Кубря* — реки на территории Ярославской области, любимые места поездок Пришвина в 30-е годы. Многие записи в «Лесной капели» — об этих местах.

...была похожа на Лаокоона, обвитого змеями. — Лаокоон — в греческой мифологии троянский прорицатель, противившийся введению в Трою деревянного греческого коня, в котором были спрятаны вражеские воины, был наказан Афиной, покровительницей греков, наставшей на Лаокоона и его сыновей задушивших их змей.

Стр. 57 *Желна* — черный дятел

Стр 58 *Гайно* — беличье гнездо

Стр. 61 . *я, человек, сын похитителя огня* . — По греческому мифу, Прометей, участвовавший в создании людей, похитил для них с Олимпа огонь Зевса, за что был им наказан

Стр 66. *Пауки*. — Записи под этими названиями относятся к 1930 г и представляют собой тематическую подборку, которая готовилась Пришвиным к печати под названием «Первые ткачи» и «Лесные ткачи»

Стр 71 *я поддался дачному антропоморфизму и анимизму* — Антропоморфизм — представление, будто животные, растения и явления неживой природы обладают человеческими свойствами — мыслями, чувствами, волей, анимизм — представление о существовании у каждой вещи духа, души

Стр 72 *Карамора* — большой комар, долговязый и долгоногий. *после Ильина дня гнус не уменьшался* — Ильин день — 2 августа по н ст ; по народной примете «Муха кусает до Ильина дня»

Стр 75. *Витютки* — дикие голуби

Стр 91 *чудаки Ф среди лета бросились дачу искать* — Ф — художник В. А. Фаворский и его семья, жившие, как и Пришвин, в 30-е годы в Загорске. В 1934 г. В. А Фаворский иллюстрировал «Жень-шень». Об отношении Пришвина и Фаворского см.. Н. В Ре-
форматская О Пришвине — Сб «Пришвин и современность», с 165.

Стр 92 . *через два дня Семик* — Название «Семик» — от седьмой недели после Пасхи

Стр 101 .. *это говорит мне, что недаром были цветы* — После этих слов в рукописи «И так от черемухи мыслью возвращаешься к людям, имеющим в наших условиях возможность получить личное счастье Сила, только великая сила, напряженность безмерная дают оправдание теперь такому личному счастью. Так смело, так сильно им надо воспользоваться, так самому процвести, чтобы с цветов этого личного счастья пчелы успели бы собрать большие запасы меда для нас всех, для нашей родины» (ЦГАЛИ).

Стр. 103. *Гектор и Андромаха*. — В греческой мифологии Гектор — сын Приама и Гекубы, главный троянский герой в «Илиаде» Гомера; Андромаха — верная и любящая жена Гектора

Стр. 105. «*Уж... не Егорьев ли день?*» — Егорьев день — 23 апреля по ст ст С этого дня начинался выгон скота в поле

Стр 109.*млявые вороны* — сонливые, вялые.

Стр 113 *Смотрел еще раз Левитана...* — Речь идет о картине И И Левитана «У омута» (1892)

Я обдумываю сказку о строительстве Беломорского канала — Речь идет о романе «Осударева дорога», над которым Пришвин работал в эти годы.

Стр. 114 *Серая Сова говорит*. — Серая Сова (Вэша Куоннезин; 1888—1938) — хранитель бобрового заповедника в Канаде, писатель, автор книг «Странники лесной глуши», «Саджо и ее бобры», «Рассказы опустевшей хижины»

Стр. 115. *«Корень жизни»* — первоначальное название повести «Жень-шень»

Мне однажды привелось пробыть на Кавказе больше трех месяцев .. — Пришвин имеет в виду свою поездку в Кабардино-Балкарию в 1936 г (см. об этом В Д Пришвина Пришвин в Кабардино-Балкарии — «Охотничьи просторы». М, 1967, кн 25, с. 73—81).

Стр. 116 *..все догадки о кладах Ивановой ночи*. — Ночь на Ивана Купала — с 23 на 24 июня (по ст. ст.). По преданию «Папоротник расцветает в ночь на Ивана Купала и открывает клады» (В. Даль).

Стр. 117 *..расположились в тот особенный порядок.. как.. пятна времени... о которых говорил еще Леонардо*. — Пришвин имеет в виду мысли, высказанные Леонардо да Винчи в трактатах об искусстве Например «Рассматривая стены, запачканные разными пятнами, ты сможешь увидеть пейзажи. » (Л. да Винчи. Суждения об искусстве — Избранное М, Гослитиздат, 1952, с 82; а также: Л да Винчи Трактат о живописи, § 67 — В кн. «Мастера искусств об искусстве», т 2. М, «Искусство», 1966, с 137—138).

Стр. 121. *Акын* — народный певец у казахов и киргизов.

Стр. 124 *Антей* — в греческой мифологии сын Посейдона и богини земли Геи, герой, черпавший свою силу от земли

РАССКАЗЫ О ЛЕНИНГРАДСКИХ ДЕТЯХ

«Рассказы о ленинградских детях» принадлежат к числу произведений, явившихся прямым откликом Пришвина на события Великой Отечественной войны

Записи о подвигах ленинградцев и героических защитников Ленинграда появляются в дневниках Пришвина с осени 1941 года. Для Пришвина, как и для многих советских людей, Ленинград стал символом человеческой стойкости и мужества Осенью 1942 года, живя в эвакуации в Усолье, в районе Переславля-Залесского, Пришвин узнал, что в четырнадцати километрах, в усадьбе Ботик, поселили вывезенных из осажденного Ленинграда несколько сот детей в возрасте от трех до восьми лет Писатель принял горячее участие в их устройстве, стал постоянно их посещать, совершая трудные для него пешие походы по бездорожью, в осеннюю непогоду

В октябре 1942 года он записывает в дневнике: «Я отправляюсь на Ботик в колонию детей Ленинграда, проникнусь этими материалами и напишу «Дети Ленинграда», — а в декабре того же года «Я решил в это

утро написать книгу, и вся книга, может быть, и назовется коротко и выразительно «Мама» (сб. «Повесть нашего времени» Ярославль, 1957, с 280, 288) В Д Пришвина вспоминает об этом времени «Конец зимы, весна и лето 1943 года прошли у нас в походах на Ботик и в работе над «Ленинградскими детьми» Работа захватила Михаила Михайловича Осенью была закончена повесть о детях она состояла из ряда рассказов, плотно связанных единым сюжетом» (В Д Пришвина Жизнь, как слово — «Москва», 1975, № 12, с 174—175)

Живое общение Пришвина с детьми Ленинграда продолжалось больше года В дневнике 1942—1943 годов много волнующих записей о его встречах с маленькими Колей и Борей, Катей и Зиной, испаночкой Марией Терезой и десятками других детей, которых война оставила сиротами.

Далеко не все материалы, собранные Пришвиным на Ботике, получили отражение в цикле рассказов При сопоставлении собранных им материалов и многочисленных набросков с завершенным циклом виден тщательный отбор, произведенный художником, который отталкивался от фактов жестокости войны и любовно собирал свидетельства высокой человечности и выполнения патриотического долга.

Пришвин писал. «Тот же самый голод — открывал подлинного человека, и тот человек, настоящий, бескорыстно и беспрестанно, не сдаваясь, действовал» (М Пришвин Дорога к другу М., «Молодая гвардия», 1957, с 8). Таких настоящих людей Пришвин находил среди тех, кто под бомбами вывозил детей из блокадного Ленинграда в глубину России, кто своей постоянной заботой и вниманием становился для них близким и родным Пришвин открывал внутреннюю красоту в простых русских женщинах, которые совершали чудеса. «когда ночами, не смыкая глаз, боролись за жизнь больных детей или в поисках продовольствия для них по десятку километров пешком под дождем месили грязь» (*Собр. соч 1956—1957*, т 4, с 558).

В октябре 1943 года в газете «Красная звезда» были напечатаны первые четыре рассказа цикла. «Ботик», «Родина» («Дети»), «Папа-генерал», «Бабушка и внучка», а в январе 1944 года восемь рассказов цикла были опубликованы в «Новом мире». Помимо уже известных читателю, сюда вошли. «Жизнь возле пня», «Папа-доктор», «Козочка», «Роман».

Посылая рассказы в «Новый мир». Пришвин писал в дневнике «Серия этих рассказов имеет внешне вид чрезвычайно простых очерковых миниатюр, лишь тематически связанных между собою. На самом деле «простота» эта и есть труднейшее достижение и содержит в себе огромную работу автора, прошедшего школу фольклора. Если всмотреться в вещь, то каждая миниатюра является одной из необходимых граней, создающих цельное впечатление у бойца на фронте о любовном отношении к детям, оставленным им в глубоком тылу Все рассказы

целиком пересажены мною из жизни на бумагу» (*Собр. соч. 1956—1957*, т. 4, с. 715). Недаром эпитафией к рассказам Пришвин собирался поставить слова Достоевского «Через детей душа лечится».

Первые публикации рассказов вызвали много откликов читателей. Они производили сильное впечатление «своей сердечностью, тонким пониманием психологии ребенка и животворным оптимизмом» (А Макарова. Большое сердце — В кн «Пришвин и современность» М, «Современник», 1978, с 194)

Всего при жизни Пришвина в разное время было опубликовано девять рассказов этого цикла. И лишь в 1957 году весь цикл, включающий пятнадцать рассказов, был опубликован в сборнике «Дорога к другу» под названием «Рассказы о прекрасной маме» (М, «Молодая гвардия»), где наряду с законченными рассказами были напечатаны также и наброски: «Прекрасная мама», «Спасайте детей!» и «Французское чувство».

Текст печатается по изданию *Собр. соч. 1956—1957*, т. 4. Рассказы «Жизнь возле пня» и «Предрассветный час» печатаются по сб. М Пришвин Дорога к другу М., «Молодая гвардия», 1957

Стр 126 *Ботик* — Первоначальное название рассказа «Плещеево озеро»

расположена усадьба Ботик, где хранится ботик Петра Первого — Усадьба Ботик — дворец памяти Петра I на берегу Плещеева озера, где было положено начало русскому флоту. Название происходит от «дедушки русского флота» — «Ботика», построенного Петром.

Двадцать лет тому назад мы жили здесь... — В 20-е годы в районе Переславля-Залесского, на Ботике, Пришвин работал на биологической станции и писал свои «Родники Берендея» (см.: *Собр. соч. 1956—1957*, т. 3, с. 17—22)

...в Петров день — 29 июня по ст. ст. (12 июля по н. ст.), день Петра и Павла.

Стр. 127 *...был написан грозный указ царя...* — На памятнике Петру I выгравировано: «Надлежит вам, воеводам переславским, беречь остатки кораблей, яхт, галер. А буде опустите, взыскано будет на вас и на потомках ваших, яко пренебрегших сей указ».

..Это было так прекрасно понято Фальконе и Пушкиным — Имеются в виду памятник Петру I, созданный французским скульптором Э.-М. Фальконе (1716—1791), и поэма А. С. Пушкина «Медный всадник».

Перед рассказом «Дети» Пришвин собирался дать рассказы «Прекрасная мама» («Родина»), «Спасайте детей!» и рассказ «Французское чувство».

Стр. 130 *Маленькая девочка Мария Тереза...* — Мария Тереза — героиня рассказа «Бабушка и внучка». Уже взрослой девушкой Мария

Тереза Папита приветствовала Пришвина на юбилейном заседании в честь его восьмидесятилетия и вручила ему журнал с переведенным на испанский язык рассказом «Заполярный мед» с надписью: «От героини рассказа — Папиты В Вашем лице мы благодарим советскую литературу, которая воспитывает нас настоящими советскими людьми».

Стр. 139 Прототипами образа прекрасной мамы были воспитательницы детей в 96-м детдоме Анастасия Ефимовна Андрианова и Нина Семеновна Соколова См о них в дневнике 1943 г (сб «Повесть нашего времени» Ярославль, 1957, с 302)

Пришвин записал в дневнике об отклике на этот рассказ, полученный детдомом 96: «Женщина, два года живущая в боевой обстановке, имеющая не одну награду за боевые заслуги, написала страстное письмо, прочтя мой рассказ, что она просит оставить Терезу ей в дочери» (*Собр соч. 1956—1957*, т. 4, с 715).

Стр 142 ...*попасть на Острова* — Имеется в виду Центральный парк культуры и отдыха на Кировских островах в Ленинграде

ПОВЕСТЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Повесть отражает реальную обстановку жизни автора во время войны и очень близка к его дневниковым записям того времени В этом можно убедиться, обратившись к дневникам Пришвина военных лет (сб : «Повесть нашего времени» Ярославское книжное издательство, 1957, с. 202—321) и к воспоминаниям В Д Пришвиной об усольском периоде жизни писателя (В. Д. Пришвина Жизнь, как слово.— «Москва», 1975, № 12, с. 161—274).

Судьбы людей, живущих в тылу, особенно женские судьбы, привлекают к себе внимание Пришвина. Действие повести происходит в небольшом поселке вблизи Переславля-Залесского, где живут и трудятся многие ее герои. Рассказ об их жизни ведет не сам автор, он поручает его старому слесарю Алексею Михайловичу, философу-самоучке, правдоискателю, ищущему ответы на сложные вопросы жизни. С волнением он входит в судьбы близких ему людей, старается понять все окружающее, приходит к мысли о необходимости возмездия: «Все понять, ничего не забыть и не простить»

Герои повести, ушедшие на войну с этим как бы напутствием рассказчика, возвращаются после перенесенных страданий с новым пониманием человеческих отношений и жизни, которая не может уже созидаться на прежнем нравственном уровне. Размышляя о повести, Пришвин записывает в дневнике сначала в мае 1944 года: «Повесть нашего времени тем неправильна, что в ней показано не наше время, а уже прошлое: смысл нашего времени состоит в поисках нравственного оправдания жизни, а не

возмездия эта сила уже исчерпала себя» (*Собр соч 1956—1957*, т 6, с 803), — а затем в ноябре 1945 года «Я сейчас думаю, что в каком-то смысле надо и забыть, и простить, потому что дети со своей игрой и радостью жизни вырастают в забвении. И разве зеленые листики помнят о прошлогодних листьях, ставших теперь удобрением? Чтобы им быть — им надо забыть. И разве каждый живущий не хоронит ежедневно такого себя, который не может забыть, и не рождается ежедневно, не встает, забывая скорбь вчерашнего дня в надежде на что-то новое, небывалое?»

Все это побуждает Пришвина изменить конец повести

Теперь авторская мысль реализуется через устремленность героев повести к новому творчеству жизни. Вот почему второй темой повести является тема любви, по мысли Пришвина, главной организующей силы в мире

Повесть глубоко философична. Автор уходит далеко от своего первоначального намерения — просто перенести в нее впечатления от ульянской жизни военных лет. Повесть становится притчей, где все символично, все имеет глубинный подтекст. Она — о смысле жизни, о борьбе в ней живого и мертвого, о победе светлого начала в этой борьбе

Не сразу нашел Пришвин название для своей повести, которое ввело бы читателя в глубину ее мысли о жизни. «Победа», «Странник», «Ключ правды», «Мирская чаша» и, наконец, «Повесть нашего времени». Под этим названием она была закончена и подготовлена автором к печати

При жизни Пришвина была опубликована лишь часть повести под названием «Милочка» в журнале «Советская женщина» (1946, № 1). Эта же часть печаталась в сборниках «Мои тетрадки» (М., «Советский писатель», 1948), «Неодетая весна» (Псковское областное книжное издательство, 1950) и других

Впервые «Повесть нашего времени» была опубликована только в 1957 году в сборнике под тем же названием в Ярославском книжном издательстве и почти одновременно вошла в *Собр. соч. 1956—1957*, т 6

Текст печатается по *Собр соч 1956—1957*, т. 6, с ранее не печатавшейся авторской поправкой в конце повести и некоторыми уточнениями по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ

Стр 149 ..Как царь Соломон вознес ее в Песни Песней — Царь Соломон — израильский царь X в до н э, автор некоторых библейских текстов, в том числе Песни Песней, прославляющей любовь, Пришвин в повести часто обращается к библейским текстам под впечатлением перечитанной во время войны Библии (см. об этом В. Д. Пришвина *Жизнь, как слово* — «Москва», 1975, № 12, с. 165).

Стр. 150. . русского летописца Нестора — Нестор — русский писа-

тель XI—XII вв., монах Киево-Печерского монастыря, составитель «Повести временных лет», автор «Чтения о Борисе и Глебе», «Жития Феодосия Печерского».

...читая с благоговением «Русскую историю» Ключевского. — Ключевский В. О. (1841—1911) — русский историк. Собрание его сочинений Пришвин хранил в своей библиотеке.

Для примера я возьму Мирона Ивановича Коршунова. — Прототипом этого героя явился давний знакомый Пришвина, крестьянин из деревни Хмельники, философ-самоучка Дмитрий Павлович Коршунов (Митраша) (см. об этом и других прототипах «Повести нашего времени»: В. Д. Пришвина. Круг жизни. М., 1979, с. 103—106).

Стр. 155. ...в небольшом итееровском домике. — Итееровскими домами в 30-е годы называли дома, которые строились для инженерно-технического персонала в промышленных районах.

Стр. 166. ...редкая птица может долететь до середины Днепра. — Неточная цитата из повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» (гл. X).

Стр. 173. ...читал я сегодня о том, как у сеятеля одно семя упало на добрую почву, другое — на каменистую. — Евангелие от Матфея, гл. 13, 5, 6, 8.

Стр. 182. ...огонек дает разные отражения на окладе, и, может быть, от этого лицо Матери над младенцем такое скорбное... — Речь идет об иконе Скорбящей божьей матери, образ которой в повести Пришвина символизирует страдающую мать-родину.

Стр. 184. «Чи отца твоего...» — Одна из евангельских заповедей (Библия, Исход, гл. 20, 12).

Стр. 185. ...белые дадановские ульи — особый тип ульев, введенный американским пчеловодом конца XIX в. Ц.-П. Даданом.

...будто привели на суд блудницу... — Пересказ притчи о грешнице (Евангелие от Иоанна, гл. 8, 3).

Стр. 187. Дальше в этом лесу идут, чередуясь, борины... — Борины — острова на болоте.

Стр. 195. ...манерка на поясе — походная солдатская фляга для воды.

Стр. 199. ...огненные слова «не мир, но меч»... — Евангелие от Матфея, гл. 10, 34.

КЛАДОВАЯ СОЛНЦА

В 1945 году Министерством просвещения РСФСР был объявлен конкурс на лучшую книгу для детей. В течение одного месяца — первого месяца победы Пришвин создает для конкурса повесть-сказку «Кладовая солнца». Краткие дневниковые записи этого времени свидетельствуют о том, на каком подъеме работал Пришвин в эти дни: «9 мая. День Победы и всеобщего ликования. Все мои мысли о связи живых и мертвых... Пишу

свой рассказ для детей». «17 мая. Пишу во весь дух книгу для детей». «24 мая. Сюжетный ритм рассказа, или подсознательное распределение материала. Через неделю закончу...» «4 июня. Закончил и выправил сказку» (ЦГАЛИ).

Повесть получила первую премию на конкурсе и была напечатана в июльском номере журнала «Октябрь». В следующем году она вышла отдельным изданием в библиотеке «Огонька» тиражом сто тысяч экземпляров и тогда же в Детгизе тиражом сто пятьдесят тысяч экземпляров.

Пришвин собирался написать о двух осиротевших в войну детях, свидетелем жизни которых он стал в Усолье, и первоначальный замысел повести был прост: «...брат и сестра пошли в лес за клюквой, их тропа в лесу разделилась, дети заспорили и разошлись. Вот и все. Остальное навернулось на этот сюжет само собой во время писания» (Собр. соч. 1956—1957, т. 5, с. 716). Но внешне простой сюжет как бы повел художника за собой, помогая увидеть и осмыслить глубину человеческих характеров — в их движении, развитии, становлении на пути к правде жизни.

Название «Кладовая солнца» было найдено писателем не сразу. В архиве Пришвина остались названия, которые автор подыскивал для повести: «Золотая курочка и Мужичок в мешочке», «Друг человека», «Друзья», «Тропа испытаний», «Сладкая клюква», «Правда Антипыча», «Блудово болото». Происхождение названия «Кладовая солнца» Пришвин объясняет в предисловии к сборнику «Весна света»: «Однажды в далеком прошлом я встретил, как находку, в одном ученом исследовании уподобление торфяных болот, хранящих в себе огонь и тепло, кладовой солнца. Ученый не претендовал на измышление художественного образа, он назвал явление точно» (М., «Молодая гвардия», 1953).

Пришвин впервые называет созданную им повесть сказкой-былью. Это жанровое определение было не случайным для писателя, мечтавшего о создании новой сказки, которая жила бы в реальной жизни. «Я хотел создать сказку без Ивана-царевича и Бабы Яги, сделаться современным сказителем», — писал он в 1934 году, уже тогда думая о «сказке, заключенной в категории пространства и времени» (Собр. соч. 1956—1957, т. 4, с. 313). Пришвин возражал Каверину, сравнивавшему его с Г.-Х. Андерсеном: «Я ответил, что мои вещицы больше сказок: они на глазах у читателей превращают действительность в сказку» (Собр. соч. 1956—1957, т. 6, с. 559).

Действительно, форма сказки оказалась самой подходящей, чтобы, связав времена, поведать о победе высокого человеческого начала в мире.

В «Кладовой солнца» поэтически реализуется мысль Пришвина о единстве человека и природы. Это удивительнейшим образом раскрыва-

ется в центральном кульминационном событии повести — спасении Митраши собакой Травкой, обученной ее прежним хозяином человеческому закону — «жить не для себя». Через образ старого Антипыча с его собакой Травкой автор проводит основную идею «Кладовой солнца» «Правда есть вековая суровая борьба людей за любовь» Недаром первоначальное название «Кладовой солнца» было «Друг человека».

Критика сразу же отнесла «Кладовую солнца» к числу самых замечательных произведений Пришвина послевоенного времени. Повесть стала хрестоматийным произведением, и она включена в обязательную школьную программу.

Текст печатается по *Собр. соч. 1956—1957*, т. 5, с уточнениями, сделанными по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ.

Стр. 216 *Блудово болото* — болото вблизи деревни Усолье, под Переславлем-Залесским.

Митраша был моложе сестры на два года. — Прототипами героев были усольские дети Соня и Боря: «Соне лет десять, Боре одиннадцать. Два года тому назад у них мать умерла, а вскоре затем и отец. Все крестьянское хозяйство — изба, огород, корова и мелкие домашние животные остались на детей» (дневник от 7 апреля 1943 г. — М. Пришвин. Повесть нашего времени, с. 303).

Стр. 219. *Манки* — свистки, которые применяют охотники для приманивания птиц.

Стр. 220. *...шмыгнула к загнетке...* — Загнетка — углубление в русской печи, куда сгребаются горячие угли.

Стр. 228. *...возле сторожки Антипыча...* — Антипыч — герой многих произведений Пришвина. Прототипом этого героя был старый лесник Антипыч, живший недалеко от Усожья; Антипыч под именем Антоныча — герой очерков «Берендеева чаща» (наст. изд., т. 4). В. Д. Пришвина вспоминала: «...во время последней войны мы уже не застали лесника в живых. Но через несколько лет он появился у Пришвина в «Кладовой солнца», опозитизированный до неузнаваемости» (В. Д. Пришвина. Круг жизни, с. 34).

Стр. 235. *...Блудово болото, со всеми огромными запасами горючего торфа...* — Об этом отрывке Пришвин писал: «Надо не оставлять найденное мною в «Кладовой солнца» пользование в рассказе вставкой, как бы новеллой-интермедией. Человеку, конечно, близок тоже человек, а не какой-нибудь торф. Но, затронув интерес к судьбе человека, можно воспользоваться необходимостью передышки и вставить повестушку о торфе, о лесе. Так делал Тургенев, вставляя рассказ о прошлом героя.

Между тем у меня описывается мальчик в болоте, и я пользуюсь интересом к судьбе мальчика, чтоб дать понятие о болоте. Так можно, мне думается, открыть в поэзии дверь для знания и соединить одно с другим

в понимании. Этот опыт я хочу сделать во второй части «Кладовой солнца», где будет изображен северный лес» (*Собр. соч. 1956—1957*, т. 5, с. 719—720)

Стр. 245. ...*наждав ревущую по зайцу собаку*...—Наждать — подстеречь или выждать

В. Круглеевская

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1938—1953 ГОДОВ

РАССКАЗЫ

ВЕСНА СВЕТА

Впервые — «Огонек», 1938, № 8-9

В дневниках последних лет Пришвин писал: «В Москве уже лет тридцать и больше я наблюдаю чудесное время, названное мною весной света, когда первый воробей запоет по-своему в стенной печурке, желоб высунет из себя ледяной язык, и с него закапает, и поперек тротуара побежит первый маленький ручей.

После великих событий нового времени я заметил, что люди много любовнее стали относиться к весне света и многие даже впервые поняли великую прелесть этого времени. Лет пятьдесят я уже веду пропаганду весны света» (*Собр. соч. 1956—1957*, т. 6, с. 372—373).

Не случайно последний прижизненный сборник произведений писателя, вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в 1953 году, получил то же название — «Весна света». Когда автор за три дня до нового, 1954 года получил сигнальный экземпляр сборника, он записал: «Мало ли что в нашей жизни было разбито, но я спас и вывел людям весну света...»

Печатается по первой публикации.

Стр. 255. ...*богиня Дриада*. — В греческой мифологии дриады — нимфы, покровительницы деревьев. Считалось, что сажающие деревья и ухаживающие за ними пользуются их особым покровительством.

Стр. 256. *Страна вольных сванов*. — Сваны — этнографическая группа грузин. Сванские племена в древности занимали обширную территорию, расположенную на южных склонах Большого Кавказа и получившую название Сванетии. В середине XVI в. часть Сванетии подчинялась имеретинскому царю и делилась на Вольную Сванетию и Княжескую.

МОИ ТЕТРАДКИ

Впервые — под рубрикой «Переписка с читателем» в «Литературной газете», 1940, 31 декабря, № 63.

В своей автобиографической новелле Пришвин ведет доверительный разговор о любви «всякого рода мастеров» к своему ремеслу и вспоминает о том далеком времени, когда зародилась у него любовь к русскому слову. В черновике к рассказу он точно указывает год этого важного события в своей жизни, который по праву можно считать годом рождения его как писателя: «С этого счастливого дня в 1904 году я пишу каждый день что-нибудь в тетрадке, и эти тетрадки стали кладовой моих богатств, моей радости, счастья» (ЦГАЛИ).

Печатается по первой публикации.

Стр 259 *В 1919 году пришел к нам в Елец Мамонтов...* — Генерал К. К. Мамонтов (1869—1920) командовал белогвардейским конным корпусом. Совершая глубокий рейд по тылам Южного фронта Красной Армии, занял Елец 1 сентября 1919 г.

ПРАЗДНИК

(Из блокнота)

Впервые — «Литературная газета», 1941, 1 мая, № 18.

Рассказ был помещен под общей рубрикой «Из первомайского блокнота», которая объединяла лирические зарисовки, стихи и рассказы Ф. Гладкова, И. Эренбурга, М. Зощенко, С. Сергеева-Ценского и других. Так же как и рассказ «Мои тетрадки», он посвящен проблеме писательского мастерства. Пришвин раскрывает перед читателем свою творческую лабораторию, обобщая и анализируя многолетний литературный опыт.

Печатается по рукописи, хранящейся в ЦГАЛИ.

ГОЛУБАЯ СТРЕКОЗА

Впервые — литературно-художественный иллюстрированный сборник «Вперед за нашу победу!» М., Гослитиздат, 1941, № 1, под названием «Моему другу на фронт»

Страшная весть о войне застала писателя в Подмоскowie, под Старой Рузой, где Пришвины жили с весны до начала лета 1941 года. Пришвин написал здесь свой первый рассказ военного времени «Моему другу на фронт» (см. дневниковую запись от 5 июля 1941 г. — «Литературное обозрение», 1983, № 2, с. 103), который заканчивался такими словами: «наше чувство природы есть не что иное, как чувство родины, как тайная

сердечная уверенность в том, что и в темноте все равно голубая стрекоза летает над заводью великой исторической реки человеческой. Да, именно человеческой, потому что мы не только за самих себя воюем с фашистами, мы за человека воюем, мы хотим в единство собрать всего человека».

Позднее автор переработал рассказ и дал ему другое название — «Голубая стрекоза». В таком виде рассказ включался в последующие издания.

Печатается по изданию: М Пришвин Весна света М., «Молодая гвардия», 1953.

Стр. 265 ...*листки телореза*... — Телорез — растение, погруженное в воду и всплывающее только во время цветения. Растет в стоячих и медленно текущих водах, образуя большие заросли.

СОЛОВЕЙ-ТОПОГРАФ

Впервые — «Красная звезда», 1941, 26 января, № 21, под общим названием «Рассказы охотника», объединившем два рассказа: «Таинственный ящик» и «Соловей-топограф»

Весной 1941 года по заданию редакции газеты «Красная звезда» Пришвин побывал в командировке в Весьегонском военно-охотничьем хозяйстве. Результатом этой поездки и явилась подборка материалов об охоте.

Затем «Соловей-топограф» выделился в самостоятельный рассказ об охотничьей собаке. Восхищаясь необыкновенной топографической памятью гончих собак, их поразительным чутьем, Пришвин писал: «Охотничья собака — это ключ от дверей, которыми закрываются в природе звери и птицы» («Охотничьи собаки»; ЦГАЛИ).

Охота в понимании Пришвина-художника — это и процесс творчества. В неопубликованном рассказе «Отдых» (Из поездки в охотничий дом отдыха), датированном — «Весьегонск, 7 мая 1941 г.», мы читаем: «Охоту с ружьем я заменял охотой с фотокамерой и на всевозможные лады осуществлял свою охоту за той мыслью, которая являлась мне в час отдыха и потом, бывало, держала меня за работой годами» (ЦГАЛИ).

Печатается по изданию: М. М. Пришвин. Избранные произведения в 2-х томах, т. 1. М., Гослитиздат, 1951.

Стр. 267. *Подстоять* — то есть выждать и подстеречь.

Не позывисгы — не послушны зову, призыву.

Стр. 268. *Хорошо помню, что железка горела*... — Железка — железная печка.

ДРУЖБА

Впервые — «Вокруг света», 1946, № 1

Первая редакция рассказа под названием «Лыжа с гвоздиком» была опубликована в газете «Красная звезда» (1941, 9 февраля). В архиве М. М. Пришвина хранятся копии авторских машинописей с еще одним названием — «Сломанная лыжа». Первоначально рассказ входил в раздел «Рассказы охотника». Окончательный его вариант («Дружба») наиболее точно выражает основную мысль автора о том, что «дружба через друга дает глухому уши, слепому — глаза».

Печатается по авторизованной машинописи (ЦГАЛИ).

Стр 271. ...кого охотники зовут «профессорами» или «химиками». — В цикле охотничьих рассказов Пришвина «Рассказы егеря» есть небольшая новелла, которая так и называется — «Зайцы-профессора»: «...когда покажутся следы по первой пороше, высыпает на них из города все охотники, стар и мал. Это бывает зайцам самый страшный экзамен, после которого в лесах остаются только «профессора». Так у нас их постоянно и называют охотники: «зайцы-профессора» (см. наст. изд., т. 3, с 407).

КАК ЗАЯЦ САПОГИ СЪЕЛ

Впервые — «Огонек», 1942, № 52.

Пришвин считал, что каждый настоящий художник должен обладать глубоким чувством юмора. На Всесоюзном совещании по художественному очерку, которое происходило в Москве летом 1934 года, в преддверии Первого съезда советских писателей, он говорил, что для создания талантливого произведения это условие необходимо. О юморе, присущем произведениям самого писателя, о его своеобразии писала В. Д. Пришвина: «...в моем понимании юмор Пришвина — это улыбка сочувствия, это рука друга, это голос надежды «Юмор как отдых человека на тяжелом пути его к истинной правде» (Пришвин)... Пришвин ни над чем не смеется, смеется он всегда *чему-то*, и чему-то непременно хорошему...» (В. Д. Пришвина Круг жизни. М., «Художественная литература», 1981, с. 209, 214). Отмечал это особенное свойство таланта Пришвина и известный французский писатель Луи Арагон в предисловии к сборнику советских рассказов, вышедшему во Франции в 1956 году (Арагон. О советской литературе. — «Иностранная литература», 1957, № 3).

В этом смысле рассказ «Как заяц сапоги съел» наиболее характерен. Автор с доброй улыбкой и мягким юмором рассказывает о подлинном случае, передавая необычайное богатство и точность народной речи, ее

разговорные интонации. В. Д. Пришвина вспоминает, что эту историю рассказал писателю во время войны председатель колхоза Иван Яковлевич и потом «из этого у Михаила Михайловича вышел рассказ, о котором сразу скажешь добрая шутка, а потом задумаешься. Да, именно шутка, народная шутка, но в минуты величайшего народного страдания не придуманная в городском кабинете, а родившаяся у самой земли и переданная из уст в уста. В русской народной шутке таится, как в сокровищнице, вся сила, вся доблесть, вся выносливость, вся храбрость русского человека, русского солдата, с его чудесной способностью шутить под пулями» (В. Д. Пришвина *Круг жизни*, с. 216).

Печатается по первой публикации.

Стр. 275. *Мы поглядели на свет стволы — ни одной раковины* — Раковины — углубления в металле во внутренней части ствола, являются серьезным дефектом огнестрельного оружия.

Стр. 279. *«Пчелки»* — Во время войны так называли близко пролетающие пули

БОЛЬШАЯ ДОРОГА

Впервые — «Советская культура», 1973, 2 февраля.

Рассказ написан Пришвиным в 1943 году. В это время писатель жил в деревне Усолье Ярославской области. Он хорошо знал и любил ярославскую землю. «Огромное большинство моих охотничьих и всяких других рассказов за тридцать лет написано не только по материалам, но тут же на месте, где происходили мои охоты и разные целевые и бесцельные странствования в ярославском краю... В этом краю в свое время охотился великий народный поэт Некрасов, и стоит только перечитать его книги с мыслью о ярославской природе, как вся она из строк возникает перед глазами читателя. Возможно, что с детства чтимый поэт таким образом переманил и меня в этот край, и так надолго, что он стал мне наравне с родиной <..>. Я даже был в тех же самых Вежах, где Некрасов с дедом Мазаем бил дупелей. Там до сих пор сохранились постройки на сваях, как описано у Некрасова, и целы огромные дубы, обвитые хмелем, и жителей я встречал, не одного, с фамилией «М а з а е в ы» (из чернового варианта к рассказу «Большая дорога» под названием «Любимый край» (Биографический очерк); *ЦГАЛИ*).

Рассказ пронизан глубоким патриотизмом, гордостью за свой народ, любовью к исстрадавшейся родной земле. В основе его — действительный случай, который произошел с писателем во время войны.

Архивные материалы красноречиво свидетельствуют о том, как постепенно изменялся авторский замысел и соответственно менялось название рассказа: «Троица-Нерль» (по названию села, куда направляются герои), «Любимый край», «Лягушка сломана». Ни одним из этих вариантов писатель не был доволен. Об этом позволяет судить отрывок

черновой рукописи «Поэт и генерал», которая наиболее близка к окончательному варианту.

Печатается по первой публикации

Стр 280 . *самой прекрасной для нас реки Нерли.* — См. коммент к с 50 наст. тома.

Стр 282 *Похоже стало на сцену из Шекспира в военном лагере Брута. Когда поэт там сунулся со своими стихами к Бруту во время военных действий, Брут ему просто сказал «Уйди прочь, дурак!»* — Вероятно, автор имеет в виду следующую реплику Брута из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (1599):

Но места своего не помнит он.
Что на войне нам делать с дураками?
Пошел, приятель, вон!

(Перевод М П Столярова)

...когда «божественный глагол до уха чуткого коснется»... — Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт» (1827). Цитируется Пришвиным неточно: «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется...»

Все, все, что гибелью грозит .. — Строки из поэмы А. С. Пушкина «Пир во время чумы» (1830).

ГОРОД СВЕТА

(Автобиографический очерк для чтения на юбилейном вечере)

Отдельные материалы к рассказу публиковались в «Ленинградском альманахе», 1955, кн. 10; впервые полностью в сб.: М. Пришвин Дорога к другу. М., «Молодая гвардия», 1957.

На военные события Пришвин отозвался несколькими рассказами. Среди них — «Город света» (1943). Писатель развивает в рассказе свою сокровенную мысль о всеобщем человеческом братстве, об интернациональном чувстве русского человека, о его умении восхищаться чужим народом, как своим. С болью и тревогой пишет Пришвин об ответственности народов за общее дело мира.

Писатель предполагал прочесть этот рассказ на вечере, посвященном его семидесятилетию.

Печатается по авторизованной машинописи (ЦГАЛИ).

СТАРЫЙ ГРИБ

Впервые — «Красноармеец», 1945, № 18.

Прототипом рассказа является Николай Александрович Семашко (1874—1949), товарищ Пришвина по Елецкой гимназии, первый на-

родный комиссар здравоохранения В романе «Кашеева цепь» Н. А. Семашко изображен под именем революционера-большевика Ефима Несговорова (см. наст. изд., т. 2). С искренней благодарностью пишет о нем Пришвин и в повести «Охота за счастьем» (см. наст. изд., т. 3)

«Старый гриб» был одним из самых любимых рассказов писателя. 23 апреля 1953 года он записывает в дневнике: «Лечат меня, как лечат! А вот опять всю ночь прокашлял и не спал Разбитый, потный, старый, вспомнил почему-то свой «Старый гриб», стал его сравнивать и не нашел ни у кого такого правдивого, простого и красивого рассказа. От этого раздумья мне стало хорошо на душе».

Печатается по первой публикации.

Стр. 290 *Мочежинки*. — См. у Даля: «Мочажина, мочажинка — искаж. богачи . потное место на земле» (т II, с. 353)

ЗАГАДКА

Впервые — «Неделя», 1960, 4 июня

Главный герой рассказа — реально существовавшее лицо, родственник Пришвина по отцовской линии, Михаил Николаевич Горшков. Именно о нем идет речь в четвертом звене романа «Кашеева цепь» (главы «Золотая книга» и «Италия»). «Назывался художником, всю Россию обошел, черным хлебом питался, принял на себя великий подвиг, а картины ни одной не написал» (см. наст. изд., т. 2, с. 162). Пришвин изобразил его и в рассказе «Наш сад» (см. наст. том, с. 404).

Печатается по первой публикации.

Стр. 294 *Тенишевская аудитория* (или Тенишевский зал) — находилась в здании Тенишевского реального училища на Моховой улице в Ленинграде.

БОЛЬШАЯ ЗВЕЗДА

Впервые — «Огонек», 1947, № 47.

В первой публикации печатался с подзаголовком — «Рассказ из моей жизни». Пришвин вспоминает о своих студенческих годах, об участии в работе марксистского кружка и знакомстве с руководителем марксистских групп в Ельце и Риге В. Д. Ульрихом. События этих лет оказали большое влияние на становление личности будущего писателя, на формирование его мировоззрения. «Стремясь раскрыть в этой книге движение моего личного чувства родины, я не могу оставить этот период моей жизни,

породивший во мне первое представление о социалистической родине. Этот побег юноши от «чистой науки» в социалистическую страну к женщине будущего столь же характерен, как и побег из гимназии от латинской грамматики мальчика в небывалую страну и ребенка в страну голубых бобров и младенца из темной утробы в солнечный мир» («Женщина будущего»; *ЦГАЛИ*). Об этом важном для себя периоде Пришвин рассказывал Горькому (см. наст. изд., т. 2, с. 459).

Рассказ, имевший первоначальное название «Мировая катастрофа», был включен Пришвиным в биографическую книгу «Моя страна» (раздел «На практике»).

Печатается по изданию: М. Пришвин. Моя страна. М., Государственное издательство географической литературы, 1948.

Стр. 297. В. Оствальд (1853—1932) — немецкий физик и химик, философ-идеалист.

Стр. 303. «Штрэнд» — берег (от нем. Strand).

Я пришел в себя только уже на квартире Ульриха... Около меня же стоял его мальчик... — Писатель рассказывал об этом эпизоде: «.. случилось со мной несчастье в Риге: я купался и в бурю захлебнулся, потерял сознание. Меня вытащили. Я очутился в квартире Ульриха, самого крупного революционера, марксиста в Риге, начинавшего в то время очень серьезное рабочее движение. Сын его Василий Васильевич Ульрих, председатель Верховного суда, был тогда Вася, он у меня на коленях сидел в 8 лет. Василий Васильевич как-то мне позвонил по телефону и спросил — не тот ли он Вася, которого я описал. Конечно, это был этот же Вася» (из выступления на заседании секции народного творчества ССП, ноябрь, 1945; *ЦГАЛИ*).

СТАРШИЙ СУДЬЯ

(Из рассказов охотника)

Впервые — «Вокруг света», 1947, № 12.

В *ЦГАЛИ* хранится первая редакция рассказа. Назывался он «Золотая медаль» и заканчивался так: «Судьи-то, судьи-то наши каковы! — повторял он. — Судьи хорошие — это правда, а медали? Видали мы с вами медали!» Там же — запись Пришвина о том, что рассказ «заострен на борьбу с карьеризмом». А в одном из черновых вариантов («Бульдожинка») автор предполагал закончить рассказ следующими словами: «Правда дороже всего...», а «медали дело наживное: бульдожинка редко передается в потомство, вот увидите: каждый щенок ее получит золотую медаль» (*ЦГАЛИ*). Над этой главной темой — темой правды художник работал до конца своих дней. Рассказывая о «Корабельной чаше», он говорил: «...хочу выразить своими словами ту правду, к которой стремится

мой родной народ» (М Пришвин Дорога к другу М, «Молодая гвардия», 1957, с 438).

Печатается по первой публикации

Стр. 304. *Псовина* — длинная шерсть на ногах и на хвосте у собак

ЗОЛОТОЙ ПОРТСИГАР

Впервые — М. Пришвин Дорога к другу М, «Молодая гвардия», 1957.

Тема войны, тема победы русского народа нашла свое отражение во многих произведениях М. М. Пришвина «Золотой портсигар» — рассказ об отношении к войне простого русского человека, о его мужестве и красоте, о любви к Родине.

В неоконченной первой редакции рассказа, имевшей подзаголовок «О простом человеке», Пришвин писал. «Вот это слово простой наводит теперь меня на размышления о необыкновенной сложности и гибкости этого любимого русским народом эпитета. Что это и в самом деле значит по-русски простой человек? <...> Про много скажут человека простой в смысле хороший <...>. А то бывают люди с простинкой или с пыльцой в голове, и это значит больше разиня, чем глупый. Тоже вот Иван-дурак, конечно, простой, но тем не менее он побеждает в деле достижения счастья богатых и умных, и те в раздражении говорят: дуракам счастье, или как нашу победу иностранцы одно время понимали, как «чудо».

Много и еще можно найти оттенков в значении этого гибкого и подвижного слова: душевный, сердечный, умный, в согласии с сердцем...

Как писатель я всегда понимал слово простой, как совершенно законченный. Нет ничего трудней такой простоты, и все русские писатели за это боролись, и в таком простом виде мы получили от них наше наследство. Душевный смысл этой простоты, как подземный пласт горячего, сложен в душе нашего народа, и если бы воскресить извозчика, возившего Тургенева, и спросить его, какой человек был наш самый изысканный писатель, он сказал бы: простой.

И всегда мне казалось, что эта простота и этот простой человек родились в русской культуре» (ЦГАЛИ).

Печатается по первой публикации.

МОИМ МОЛОДЫМ ДРУЗЬЯМ

Впервые — «Комсомольская правда», 1948, 14 февраля, под рубрикой «Охота — спорт смелых!». В это время вопросы промысловой и спортивной охоты широко обсуждались в печати.

Среди архивных материалов писателя сохранилась авторская машинопись под названием «Наша охота», текст которой полностью совпадает с текстом первой публикации. Об охоте как о системе воспитания и идет речь в рассказе «Моим молодым друзьям». В другом рассказе на эту же тему, «Охота и Родина», Пришвин, выражая свой взгляд на охоту, сыгравшую большую роль в его творчестве, писал: «Для меня охота никогда не была потехой... Охота мне была рабочим процессом, методически воспитывающим меня в целостности и единстве всестороннего восприятия природы, в словесном выражении присущего мне и многим охотникам чувства родины или поэзии» («Охотничьи просторы», кн. 6. М., Государственное издательство «Физкультура и спорт», 1956, с. 71).

Рассказ «Моим молодым друзьям» — последнее произведение М. М. Пришвина на охотничью тему. Это как бы своеобразное «завещание» страстного и опытного охотника.

Печатается по изданию: М. П р и ш в и н. Весна света. М., «Молодая гвардия», 1953.

Стр. 311. *Самостоятельно выправляясь при сколе...* — «Скол» (о х о т н.) — производное от глагола «сколоться», то есть сбиться со следа. Самостоятельно выправиться — значит без помощи охотника снова найти след

Стр. 313. *...в книгах канадского писателя-индейца Серой Совы.* — См. коммент. к с. 114 наст. тома, а также коммент. к с. 80 т. 4 наст. изд.

ВАСЯ ВЕСЕЛКИН

Впервые — «Огонек», 1949, № 20.

Вася Веселкин — любимый герой Пришвина. Читатель встретится с ним во многих рассказах — «Молодой колхозник», «Москва-река», «Москворецкий мост», «Лесной хозяин» (см. наст. том) и в повестке-сказке «Корабельная чаша». Рассказ посвящен дунинским ребятам. Об истории создания некоторых рассказов последних лет вспоминает Пришвина (см. об этом подробнее в кн.: В. П р и ш в и н а. Наш дом. М., «Молодая гвардия», 1980, с. 218—226).

Печатается по первой публикации.

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Впервые в сокращении — «Пионерская правда», 1956, 7 сентября; полностью в сб.: М. П р и ш в и н. Дорога к другу. М., «Молодая гвардия», 1957.

Почти о каждом действующем лице в произведениях Пришвина можно дать фактическую справку в отношении его прототипа, недаром

он постоянно повторял, что «не умеет выдумывать, чего нет в жизни»

Рассказ «Хороший человек» навеян воспоминаниями о Евдокии Николаевне Игнатовой, двоюродной сестре М М Пришвина Нардоволка, она на свои средства открыла в деревне под Ельцом школу и много лет работала там учительницей. Умерла в Доме ветеранов революции в Москве в 1936 году. Она является персонажем автобиографического романа писателя «Кашеева цепь» (Дунечка). Подробно писал о ней Пришвин и в своей статье-рецензии «Фильм о сельской учительнице», проводя параллель между главной героиней фильма и близким ему человеком «Тоже и я учился у одной такой учительницы и, может быть, ей больше всех обязан теми основами поведения, которые — хочу этому верить, а отчасти и знаю — определяют характер моего жизненного творчества.. Вместе с братом своим попала прямо в Париж, в Сорбонну. Окончив университет, она вернулась домой и всю жизнь работала в сельской глуши Елецкого уезда, на границе Тамбовской губернии. . Последние годы жизни она провела в Москве, в Доме ветеранов революции (Дом Ильича), продолжала и тут каких-то ребят учить, следила неустанно и за моей жизнью, и за жизнью всех членов своей огромной семьи» («Литературная газета», 1947, 3 декабря).

Печатается по авторизованной машинописи (ЦГАЛИ).

Стр. 322. ...лично мне когда-то знакомый *Шаляпин*... — Встреча Пришвина с Горьким и Шаляпиным состоялась в 1914 или в начале 1915 г.

МОСКВА-РЕКА

Впервые — «Огонек», 1950, № 16

Пришвин за полвека долгой работы создал свой художественный стиль, стал признанным мастером прозы. «Искусство рассказа достигло у нас, в русской литературе, необыкновенного совершенства. Назовешь имена Чехова, Толстого, Горького, и кажется, что в области рассказа не только трудно, но и невозможно дальнейшее совершенство. Однако прочтите рассказы Пришвина, и вы увидите, что совершенство содержания и формы, совершенство языка вступает в рассказах его на какую-то новую и прекрасную ступень... «Кладовая солнца», «Мои тетрадки», «Москва-река», «Лесной хозяин» — какие это замечательные картины русской природы, какие это ценные страницы из великой истории русского человека наших дней!» — писал Всеволод Иванов в статье «Большой свет», посвященной творчеству писателя (В с И в а н о в Собр. соч в 8-ми томах, т. 8. М., «Художественная литература», 1978, с. 394)

В архиве писателя сохранились черновые материалы к рассказу «Москва-река». Среди них рукописный план, по которому видно, что

вначале Пришвин задумал целый сборник рассказов со своими иллюстрациями под названием «Река Москва» — «1. Ледоход: а) корзиночная ива; б) непослушное дерево; в) борьба льдин. 2. Жулька и трясогузка. Жулька и бабочки. 3. Как помирились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем (рассказ по картинке: Река Москва вошла в свои берега!).

Мы живем под Звенигородом на реке Москве. Если стать лицом к городу Москве, то направо будет наша деревня Дунино, а налево на том берегу деревня Козино. Школа в Козине, и ребята дунинские зимой переходят по льду, а летом — по мосткам. А когда лед идет — отдых: Ваня смолит лодку.

В. Приготовить фото ледохода, мостков, лодки и по фото строить рассказы. Один из них, когда школьники пошли по мосткам (будущий рассказ «Москворецкий мост». — Л. П.). Когда ребята подошли ко мне, то предложили мне рассказать сказку» (ЦГАЛИ). Работая над рассказом «Москва-река», Пришвин записал в дневнике за 1949 год: «13 декабря. «Москва-река». Рассказик очень занимает меня, не потому, что простота, непринужденность рассказа мне кажется в нем совершенная, а какой-то шаг я сделал вперед и этим шагом пойду к новой повести». (Речь идет о повести-сказке «Корабельная чаща», над которой работал в то время писатель. — Л. П.)

Печатается по первой публикации.

Стр. 327. .. *леса Богемские*. — Богемский лес — название горного хребта на границе Чехословакии и Германии.

ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН

(Рассказы)

Впервые — «Смена», 1950, № 15

Своим творчеством Пришвин неустанно пропагандировал чувство бережного отношения к природе, особенно к ее вековой гордости — русским лесам. «Лесной хозяин» — это своеобразные зарисовки с натуры, в которых писатель повествует о своих ежедневных открытиях, сделанных в звенигородских лесах.

«Лес для меня является средоточием всей моей радости, и еще больше: в нем мое упование... Когда я вхожу в лес, то все мои мысли, догадки, желания оставляют меня, разбегаются по сучкам, по листикам, травкам и я остаюсь неуверенным в том даже, что я существую; и только чувствую, что по мне, как по стволу дерева, проходят какие-то живительные соки. ..» (ЦГАЛИ).

О способности художника перевоплощать свои наблюдения о природе в художественные произведения писал известный советский скульптор, народный художник РСФСР Сергей Коненков: «Щедрой рукой природа раскинула перед человеком свои богатства: миллионы форм цветов, разно-

образие и чудесные грани снежинок, палитра радуги, кипение волн. Кто не испытал на себе врачующую власть природы!

Для того чтобы понимать и видеть природу, нужно чуткое ухо и зоркий взгляд. Тот не художник, кто не приложил своего уха к земле-матери, кто не чувствует соков земли и не видит корней, которыми растения пьют влагу. Подлинным счастьем общения с природой обладал наш современник, советский писатель Михаил Пришвин» («Красота и искусство» — «Огонек», 1956, № 45, с. 15).

Печатается по авторизованной машинописи (ЦГАЛИ).

ЗОЛОТАЯ РУКА

Впервые — «Огонек», 1954, № 46

Пришвин не однажды говорил, что лично пережитое, автобиографическое лежит в основе всего, что он написал. Этот рассказ создавался во время болезни писателя в феврале 1950 года. Художник обратился к одной из своих постоянных тем — теме о хороших людях. Прототип героини рассказа — медицинская сестра К. И. Ладыженская. Составляя краткий план будущего рассказа (предварительное название «Миллионер»), автор наметил его канву: «...муж убит, Клавдия, медицинская сестра, кормит мать и мальчика 6 лет Сашу. Каждый день Саша спрашивает: кем ему быть, чтобы маме было лучше. Вторая часть будет ответом ему: «будь как мама». Материалы: пенициллин (у докторши); собака Джали. (щенок: все грызет, все тащит)» (ЦГАЛИ).

Появлению рассказа предшествовала большая подготовительная работа. Приступив к разработке темы, автор сделал для себя следующую пометку. «Провести такую линию, что и собаки лечатся травой, и человек плесень накладывает на рану. Но то «самотек», а тут метод, там инстинкт, тут разум, там колдун, тут доктор, там по наследству, тут сам, там о б щ и й у м, тут разум, там природа, тут человек сам, овладевший природой. Значит, есть власть над природой». И на бланке для рецептов Пришвин перечислил для себя вопросы, которые он обязательно должен выяснить: «1. Точный перевод слова «пенициллин». 2. Откуда пенициллин берется. 3. Связь с народной медициной. 4. Кто и когда изобрел пенициллин. 5. Какая борьба и между кем происходит при применении. 6. Что означает, например, 100 000 единиц» (ЦГАЛИ).

Размышление писателя над действительными событиями и фактами идет в нескольких направлениях. Но главное для него — это человек. В окончательной редакции Пришвин отказывается от названия «Пенициллин» и называет рассказ «Золотая рука». Позже в дневнике писателя за 1953 год появится такая запись: «На днях умерла Клавдия Ивановна, милая медсестра. У нее глаза всегда улыбались».

Печатается по авторизованной машинописи (ЦГАЛИ).

Впервые — «Огонек», 1955, № 5.

В послевоенные годы художник много пишет о детях и для детей, считая их героями современности, и называет свои произведения современными сказками, сказками-былями. 27 ноября 1945 года, выступая на заседании секции народного творчества ССП «Писатели и народная сказка», Пришвин говорил: «...когда я задумал написать мою «Кладовую солнца», я именно задался целью написать современную сказку, без традиционных старинных Иванов-царевичей, но с тем же оптимистическим сказочным содержанием настоящего дня. И хотя она была написана для наших детей, но я надеялся, что, как настоящая сказка, по моему определению, связывающая людей и поколения, она написана и для ребенка, живущего в душе взрослого человека, для которого через творческие усилия все в будущем и непременно это будущее с хорошим концом» (из стенограммы заседания, ЦГАЛИ).

Эти слова в полной мере можно отнести к рассказу «Молодой колхозник», в котором удивительно сочетается сказовая манера повествования с остросовременным содержанием, тем более что и сам автор назвал его «рассказом-сказкой». Чрезвычайно требовательный к себе, Пришвин много работал над этим произведением. Родившись из первоначальной дневниковой записи, рассказ переименовал около девяти названий («Хорошая жизнь даром не дается», «Солдатская мать», «Пацан», «Чудная бабушка», «Золотые слова», «Арина, мать солдатская» и др.). Вначале он назывался «Арина, солдатская бабушка». Автор предпослал ему эпиграф из поэмы Н. А. Некрасова «Орина, мать солдатская» (1863):

И поведала Оринushка
Мне печаль свою великую.

На черновике Пришвин пометил: «В последнюю войну Арина уже стала не солдатская мать, как у Некрасова, а солдатская бабушка.» (ЦГАЛИ).

В дневнике он уточняет для себя замысел рассказа: «Рассказ «Арина» в последней фазе: через него самому себе являются обе половины морали, из-за которой раскололся весь мир на одной половине земли, в Америке, человек руководствуется сначала своим личным счастьем, начинает с себя, достигает чего-то и потом занимает положение в обществе, согласно своему «цензу». На другой половине человек начинает со службы обществу, уверенный, что при его отличной работе коллектив не бросит его. Эту мысль я хочу развить в рассказе о старухе и мальчике» (Собр. соч. 1956—1957, т. 5, с. 407—408).

Рассказ был написан в 1950 году, а опубликован уже после смерти автора. Он получил высокую оценку критики, отметившей глубину и актуальность поставленной писателем темы.

«Кажется, что рассказ этот вышел из самого сердца русского народа, — таковы в нем речь людей и слово писателя. Пришвин не только говорит о самых злободневных наших, самых современных делах, он показывает, откуда и где идет у нас дорога вперед, в будущее.

М. Пришвин снискал любовь и признание миллионов читателей нашей страны и своим прекрасным языком, и точным изображением природы, но всего более характерно для него смелое и прямое углубление в трудные жизненные обстоятельства, в душевные переживания человека, которые требуют от художника честного и верного решения...

Пришвин в своем рассказе смело заглянул в глубину души человека и рассказал читателю, какой человек у нас при настоящем реальном соотношении сил растет в деревне, кто противостоит и кто помогает ему в этом росте» (Н. Емельянова. В поисках жизненной правды — «Октябрь», 1955, № 6, с. 167—168).

Печатается по авторизованной машинописи (ЦГАЛИ).

МОСКВОРЕЦКИЙ МОСТ

Впервые — «Молодой колхозник», 1954, № 12.

Первоначально «Москва-река» и «Москворецкий мост» составляли один рассказ — в черновиках Пришвина есть об этом запись: «Москва-река. Рассказ первоначальный раскололся из первой части сделан рассказ. И вторая часть «Мост» — ждет обработки» (ЦГАЛИ; см. в наст. томе коммент. к рассказу «Москва-река»).

Печатается по авторизованной машинописи (ЦГАЛИ).

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

Впервые — М. Пришвин. Дорога к другу. М., «Молодая гвардия», 1957.

Предварительный набросок рассказа писатель сделал 1 марта 1950 года, и в апреле рассказ был им закончен. Художник придирчиво выбирает название своему новому произведению: «Мать-героиня», «Бабочки», «Как Миша родился» — и останавливается на варианте — «Обеденный перерыв».

Печатается по авторизованной машинописи (ЦГАЛИ).

СЫРОЕЖКА

Впервые — Собр. соч. 1956—1957, т. 4 В этом же году была напечатана в сб.: М. Пришвин. Дорога к другу. М., «Молодая гвардия», 1957.

Лирико-философский рассказ «Сыроежка», написанный в послевоенный период (1951 г.), непосредственно примыкает к «Повести нашего времени».

Перед читателем предстает образ безымянной русской женщины, олицетворяющей собой неисчерпаемые внутренние силы русского народа, его мужество и оптимизм. Это символ продолжения жизни вопреки социальным и личным трагедиям. Выбирая из своих дневниковых записей материал для рассказа, Пришвин писал, что художником при отборе материала всегда руководит чувство современности: «...я не хотел рассказа с томящим безвыходным чувством, какое, хорошо помню, было в падающем обществе конца первой мировой войны» (*Собр. соч.* 1956—1957, т. 6, с. 378), и заключительные слова рассказа полны твердой уверенности в том, что человеческий разум одержит победу «на всем человеческом поле».

Рассказ создавался трудно. В дневнике за 1951 год Пришвин записывал: «19 мая. Суббота. ...Кончаю «Сыроежку»... 26 августа. Воскресенье. ...Поправляю рассказ «Сыроежка» и завтра шлю в «Новый мир»... 12 сентября. Среда. Твардовский прислал отказ моей «Сыроежке». При неудаче является сладкий соблазн признать невозможность писательства и послать его к черту. Но ведь есть же отдельные борцы-победители в разных областях, пусть их мало, но именно и спрашивается теперь с нас то самое, чего мало..»

Лучше всех дела у доктора Филатова: придет к нему человек слепой, а уйдет зрячий. Мы тоже в какой-то мере могли бы давать людям свет. Давайте! ...5 октября. Пятница. Письмо Твардовскому: «Мне самому что-то не нравилось в моем рассказе. И мне досадно только, что я сам не могу найти причину своего внутреннего нерасположения...»

Первоначально рассказ в основном составляли записи, посвященные вопросам творчества, поэтому их объединяло и общее название — «Дневник писателя»: 1. Мастерство и поведение (запись 1951 г., июль). 2. О потной земле. 3. Царь грибов (запись 1936 г., июнь). 4. Матушка-сыроежка (запись 1941 г., июнь). 5. Деревенская фотография (запись 1942 г., июль). 6. Записки охотника (запись 1947 г., июнь).

В окончательном варианте композиция рассказа была изменена, появилось вступление, количество записей уменьшилось, и расположились они в хронологическом порядке. Материал из первой и второй записей вошел в измененном виде в «Завлекающий рассказ», а в рассказ «Сыроежка» была включена запись 1950 года: «Победа». Запись 1936 года «Царь грибов» имела в одном из вариантов рассказа еще одно название — «Конякинский гриб» (ЦГАЛИ).

Печатается по авторизованной машинописи (ЦГАЛИ).

ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

(Из дневника писателя)

Впервые — «Огонек», 1951, № 18.

В феврале 1951 года Пришвин выступал в средней школе в Барвихе. Результатом этого выступления явился рассказ, представляющий собой попытку писателя рассказать детям о своем методе работы. Один из его вариантов так и назывался «Как я работаю». Он также состоял из трех частей 1. Трудный вопрос 2 Как я работаю 3 Моя борьба В предварительных набросках к рассказу Пришвин заметил: «Как-то не нравится мне условие работы художников: прикованы в упор к модели и ходят в лесу непременно с ящиками. То ли дело у нас: в кармане только маленькая книжечка и огрызок карандаша, а душа свободно вертится во все стороны, собирается, набирается, улетает, все покидает, возвращается Чудесное наше искусство слова, и нет ничего, по-моему, прекрасней, как работать в лесу, где-нибудь сидя на пне» («Стойка по зяблику» или «Двойная стойка»). А на одной из рукописных страниц читаем и другую его пометку: «Было, конечно, ошибкой моей и неудачей, что ребята подумали, будто чувство друга в природе мне так просто дается: сел на пенек и пиши. Все равно как другие купят ружье — и считают себя охотником! Не в ружье дело, и не в бумаге, и не пне, а в борьбе за мысль свою» (ЦГАЛИ).

Печатается по авторизованной машинописи (ЦГАЛИ).

Стр. 374. *Ярик, моя собака... Я... написал о нем два маленьких рассказа...* — Имеются в виду рассказ «Красная вырубка» в журнале «Охотник» (1924, № 4) и рассказ «Любовь Ярика» в журнале «Красная нива» (1926, № 25). Позднее оба эти рассказа вошли в «Календарь природы», в цикл «Лето», где первый рассказ получил название «Ярик» (см наст. изд., т. 3, с. 263).

Стр. 376. *...и возле них минареты с такими же площадками для муэдзинов.* — Муэззин, муэдзин (от араб. муаззин, муаддин) — слуга мечети, призывающий мусульман к молитве

ЗАПОЛЯРНЫЙ МЕД

Впервые — «Новый мир», 1951, № 3.

Конец 40-х — начало 50-х годов — время, когда Пришвин подводил итоги пережитому, перечувствованному, выношенному в жизненной борьбе Писатель работает с огромным напряжением Множество творческих замыслов ждут своего воплощения. «Самое главное, это что в позднем возрасте одолевают темы и столько всего хочется написать, что знаешь наверняка: не уписать тебе за всю жизнь» (из письма пчеловоду Красноярского края В. Ф. Шалагину от 28 июля 1953 г. — «Енисей», 1960, № 26, с. 129).

Продолжая работу над крупными произведениями, Пришвин остается верным своим излюбленным жанрам — поэтической миниатюре, рассказу, очерку «Заполярный мед», написанный Пришвиным в конце жизни, перекликается с «Колобком» — произведением, созданным в начале его творческого пути. Рассматривая «прошлое в поле зрения современности», автор показывает, какие глубокие изменения произошли в жизни советского народа.

Появление очерка вызвало широкий отклик советской общественности. «Идея повести шире избранной автором темы. Не в пчелах здесь суть, не в ульях, расставленных ныне в Заполярье. Тема у М. Пришвина — лишь повод для глубоких философских обобщений, для раздумий художника, для большого разговора о творческом характере советского человека, о душевном богатстве и внутреннем благородстве наших людей, борющихся за всеобщее счастье, за мир во всем мире. И разговор этот проведен писателем с неподдельной искренностью».

«Заполярный мед» — гимн новаторству и новаторам, советскому человеку, покорителю природы» (И. А. Рамилев. Гимн новаторству. — «Литературная газета», 1951, 31 марта).

Рассказ получился не сразу. В дневнике писателя много записей, связанных с его созданием, — они появляются с октября 1950 по апрель 1952 года. «Мед» писался мучительно и долго, — читаем мы в его дневнике от 12 декабря 1950 года, — но есть надежда, что я скоро закончу этот маленький и, оказалось, такой трудный рассказ». Первым напечатанным вариантом Пришвин был неудовлетворен, и для последующей публикации («Библиотека «Огонька» М., «Правда», 1951) очерк был им переработан. 9 мая 1951 года Пришвин запишет: «я не ставил себе задачу написать исследование действительного открытия заполярного меда. Я горячо желал лишь доступными мне художественными средствами обратить внимание общества на великий успех в деле преобразования северной природы» (предисловие к книжке «Огонька»). Книгу своих последних рассказов «Заполярный мед», вышедшую в массовой серии Гослитиздата в 1952 году, писатель подарил А. А. Фадееву. В письме к нему Пришвин писал: «...в свете нового времени я понял свои многолетние труды как единый личный путь к современной идее общей нашей борьбы за мир людей на земле».

Думаю — этим и объясняется, что мои последние произведения, по-видимому, приходят все ближе и ближе к читателю, что в этих вещах я в свои годы не старею, а, может быть, и молодею» («Книжное обозрение», 1973, 2 февраля, № 5, с. 12).

Печатается по изданию М. Пришвин. Весна света. М., «Молодая гвардия», 1953.

Стр. 383 Должая — продольное отверстие в пчелиной колоде

Стр. 385 знаменитой горы Алагез — Алагез (тюрк), Арагац

(а р ч) — горный массив в Армении, расположенный к северо-западу от Еревана. Высшая точка Закавказского нагорья.

Стр. 387. *если только в половине июня начинается взятки у пчел и кончается в начале августа?* — Взятки — сбор меда пчелиными семьями за сезон. Сильные пчелиные семьи заготавливают за сезон по сто — двести килограммов меда.

Стр. 388. *..показывались белые пуночки..* — Пуночка — небольшая птица отряда воробьиных. Оперение самца белое с черным, самки — буроватое. Гнездится на островах Северного Ледовитого океана и в зоне тундры. На зиму откочевывает в зону лесостепи и степи.

Стр. 395. *При упаковке ульев были вынуты из них магазинные рамки, чтобы пчелам было место выкучиться..* — Магазинные рамки — деревянные рамки в улье, где помещаются соты. Каждая рамка состоит из верхнего и нижнего брусков и двух боковых планок. Пчелы «выкучиваются» из улья, то есть покидают улей и свиваются в большой неподвижный рой. Благодаря этому в гнезде уменьшается теплообразование и снижается температура.

Медогонка — машина центробежного действия для откачивания меда из сот.

Стр. 398. *Гвадалквивир* — река на юге Испании, в Андалузии.

Стр. 403. *Лапландия* — территория на севере Норвегии, Швеции, Финляндии и в западной части Мурманской области СССР. Население — лопари, или лапландцы. Жизнь и быт лопарей Пришвин подробно описывает в очерках «За волшебным колобком» (см. наст. изд., т. 1).

..чудовищный «закон» Мальтуса.. — Мальтус (1766—1834) — английский буржуазный экономист, идеолог реакционных слоев землевладельческой аристократии. Согласно выдвинутому Мальтусом «естественному закону», соответствие между численностью населения и количеством средств существования должно регулироваться эпидемиями, голодом, войнами. Антинаучный, реакционный характер теории Мальтуса был разоблачен Марксом, который показал, что абстрактного закона населения не существует, что каждому общественному строю свойственны особые, имеющие исторический характер законы населения (К. Маркс. Теория прибавочной стоимости. — Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, изд. 2, т. 26, ч. 2, гл. 9).

НАШ САД

(Рассказ старого садовника)

Впервые — «Огонек», 1952, № 20

Рассказы М. М. Пришвина чрезвычайно лиричны, их отличает интонация непринужденной беседы, часто повествование ведется от первого лица. Относя «Наш сад» к блестящим образцам жанра короткого рассказа, писатель С. Антонов отмечал:

«Явственная, своеобразная и неповторимая интонация является, по моему, одной из составных частей произведения, увеличивающих его художественную силу, одним из каналов, по которым читателю передается позиция автора. И прелесть некоторых рассказов, например, М Пришвина, была бы гораздо меньше, если бы сквозь строки этих рассказов так отчетливо не звучал голос человека, наделенного драгоценным свойством — любовью к родной природе и страстно желающего научить читателя этой любви. Прочтите хотя бы рассказ М Пришвина «Наш сад» («Огонек», № 20) и вы сразу почувствуете характерную «пришвинскую интонацию» («Литературная газета», 1952, 27 декабря, № 155).

Один из ранних вариантов рассказа представлял собой вполне законченное произведение «Противный сосед», но при последующей работе, оставив тот же внешний сюжет, Пришвин отодвинул образ противного соседа на второй план. Рассказ получил новое название «Художник». В дальнейшем писатель еще раз переделывал это произведение. «Рассказ «Художник» не вышел из-за необходимости социального плана. Намечался детский рассказ, но когда прибавился социальный план, то рассказ перестал быть детским, а как взрослый рассказ потребовал глубокой разработки, и все смешалось. Откладываю его как материал и буду писать новые рассказы из прошлого» (запись из дневника от 5 февраля 1952 г.)

Печатается по авторизованной машинописи (ЦГАЛИ).

ПЕЧАЛЬНЫЙ ЧЕРТ, ИЛИ НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

Впервые — «Литературная газета», 1969, 1 января.

26 января 1952 года в дневнике Пришвина появляется первый набросок рассказа — «Печальный черт». Обдумывая сюжет, Пришвин вынес в качестве эпиграфа к рассказу слова Гоголя из его повести «Ночь перед Рождеством»: «Итак, вместо того, чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен», — и назвал рассказ «Ночь перед Рождеством». Затем он отказался от эпиграфа, но название вошло составной частью в окончательный вариант.

В рассказе получили свое воплощение раздумья писателя о значении технического прогресса, о том, что любые открытия могут быть использованы как на благо, так и во вред человеку: «Пусть самолеты сейчас делают злое дело. Пусть атомная энергия идет в бомбы. Мы знаем, что сила может служить и добру, и мы продолжаем бороться со злой силой, уверенные, что победим и обратим все новые открытия на добро» (Собр. соч. 1956—1957, т. 6, с. 544).

Пришвин утверждает, что можно не только бороться со злом, но и использовать его в качестве полезной силы, как это сделал Вакула-

кузнец у Гоголя «Таним словом Гоголю нужно было сказать в сказке, а нам теперь после него можно и совсем просто сказать о черте, что русский человек очень хорошо понимает, что черта в действительности нет, а если такой есть, у каждого народа свой метод борьбы со злом» (ЦГАЛИ).

Печатается по авторизованной машинописи (ЦГАЛИ)

Стр. 415 *Мчатся бесы рой за роем..* — Из стихотворения А. С. Пушкина «Бесы» (1830)

ЗАВЛЕКАЮЩИЙ РАССКАЗ

Эти литературные заметки написаны в дни подготовки ко Второму съезду советских писателей и относятся к последним дням жизни Пришвина. Впервые были напечатаны (без главы «Чувство современности») в журнале «Новый мир», 1954, № 11. Конец «Завлекающего рассказа» — «Счастливый рыбак» — был включен автором в роман «Кашеева цепь» (см. наст. изд., т. 2, с. 452—453).

Пришвин давно мечтал написать главную свою книгу, в которой он представил бы «искусство слова как поведение». «Вы только не думайте, что книга эта будет состоять из каких-нибудь мистических рецептов, нет, я в ней буду делиться только своим личным опытом» (1943 г.; ЦГАЛИ); В «Завлекающем рассказе» художник рассматривает проблему мастерства именно с позиции своего творческого метода, обращаясь прежде всего к молодым писателям. Нельзя наивно полагать, «что если будешь умело мастерить со словами, то сделаешься хорошим писателем», — запишет он в своем дневнике в конце сентября 1953 года. Проводя основную мысль о единстве жизни и творческого труда, он писал, что писателям «кажется; будто все их дело великое зависит только от мастерства и что вот только разгадать бы им секрет мастерства — и напишешь новую Голубиную книгу.

Нет! Это не так. Разве Лев Толстой или Максим Горький только своим мастерством привлекли читателей со всего света? Осмелюсь сказать, что русская классическая литература выделяется из всей мировой литературы не мастерством своим, а чем-то более глубоким, что наши люди называют то правдой, то добром, то этикой, и вообще тем, чем жив русский человек, чем питалась всегда наша русская культура, искусство и что я, пока не имея своего подходящего слова, называю поведением. Вот почему простой русский человек всегда был убежден, что хорошую книгу пишет и хороший человек.

Это бы и надо сейчас нашим критикам делать и этим поднимать целину. не секреты мастерства раскрывать, а секреты поведения.

Повар печет блины на одной сковороде и может их на той же сковороде тысячи печь. Но художник для каждого блина должен сделать новую свою

сковородку, и это живое непрерывное сочетание формы и содержания входит отчасти тоже в поведение художника

Давно я уже задумал разработать со всех сторон этот вопрос этики художника-писателя и, наверное, когда-нибудь об этом расскажу в заключение пятидесятилетней своей работы» (из главы «Мастерство и поведение», входившей первоначально в рассказ «Сыроежка»; ЦГАЛИ).

Печатается по авторизованной машинописи (ЦГАЛИ)

Стр 424 .. Гёте сам о себе высказал, что его сочинения являются единым дневником, отрывками единственного произведения — его исповеди — Вероятно, Пришвин имеет в виду следующий отрывок из книги мемуаров Гёте «Из моей жизни. Поэзия и правда»: «..все, что радовало, мучило или хотя бы занимало меня, я тотчас же спешил превратить в образ, в стихотворение; тем самым я сводил счеты с самим собою, исправлял и проверял свои понятия о внешнем мире и находил внутреннее успокоение. Поэтический дар был мне нужнее, чем кому-либо, ибо моя натура вечно бросала меня из одной крайности в другую. А потому все доселе мною опубликованное — не более как разрозненные отрывки единой большой исповеди, восполнить которую я и пытаюсь в этой книге» (И.-В. Гете. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 3. М., «Художественная литература», 1976, с. 239).

...время берет себе.. автора «Санина»... — М. П. Арцыбашев (1878—1927) — русский писатель. Его произведения отразили упаднические настроения периода реакции. М. Горький в статье «Разрушение личности» (1908) писал: «Ныне линия духовно нищих людей обидно и позорно завершается Саниным Арцыбашева» (М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах. М., ГИХЛ, 1953, т. 24, с. 47).

ПУБЛИЦИСТИКА

Материалы некоторых статей и выступлений Пришвина частично публиковались в прессе и в *Собр. соч. 1956—1957*, т. 5 («Глаза земли»), т. 6 (Дневники последних лет). Впервые полностью в сб. М. Пришвина. Дорога к другу. М., «Молодая гвардия», 1957. Все тексты, за исключением статьи «Охрана природы», которая печатается по сохранившейся авторизованной машинописи (ЦГАЛИ), даются по этому изданию.

ОХРАНА ПРИРОДЫ

С первых лет существования советского государства вопросам охраны природы уделялось серьезное внимание. В 1924 году по инициативе ученых и общественных деятелей, среди которых были — А. Е. Ферсман,

А В Луначарский, Н. А. Семашко, Н. К. Крупская, было учреждено Всероссийское общество охраны природы. В послевоенные годы, когда перед страной наряду с решением задачи восстановления народного хозяйства встал проблема сохранения природных богатств, их рационального использования, Совет Министров РСФСР принял Постановление «Об охране природы на территории РСФСР». Исполком Мособлсовета, состоявшийся 14 февраля 1947 года и отметивший, что охрана природных богатств на территории области поставлена неудовлетворительно, решил организовать Московское отделение Всероссийского общества. Председателем Оргбюро был утвержден Пришвин. Сообщение о первом заседании Оргбюро поместила в одном из своих выпусков «Вечерняя Москва»: «На днях в исполкоме Мособлсовета состоялось заседание оргкомитета по организации Московского общества охраны природы. Председательствовал писатель М. Пришвин».

Намечены практические меры к сбережению и развитию природных богатств области. Вводится паспортизация редких и ценных лесных и парковых участков. Будут взяты на учет все имеющие научное или культурно-историческое значение памятники живой природы для организации их охраны...» (1947, 4 марта). В архиве писателя сохранился протокол этого заседания от 25 февраля 1947 года, «Обращение к трудящимся Московской области», датированное Пришвиным 3 марта этого же года, в котором он призывал охранять природные богатства, предостерегал от излишней расточительности и небрежности в отношении к природе. На склоне лет прославленный старейший писатель не оставался в стороне «от небывалых в истории человечества, поистине титанических работ по преобразованию природы, которые начались и непрерывно идут в нашей стране», — писал К. Г. Паустовский («Литературная газета», 1953, 5 февраля).

К ВЫСТУПЛЕНИЮ НА СЛЕТЕ ЮНЫХ ТУРИСТОВ

Второй Всесоюзный слет юных путешественников проходил с 7 по 8 января 1948 года. Пришвин принимал в его работе самое активное участие — он выступал на слете, встречался с участниками, знакомился с экспонатами выставки, подготовленной юными краеведами. Много писала об этом «Пионерская правда».

Спустя месяц после слета (6 февраля) редакция газеты от имени своих читателей поздравляла Пришвина с 75-летием. Вся третья полоса «Пионерской правды» была посвящена писателю. Здесь были помещены его фотографии, рассказ «Лимон», письма юных читателей и вместе с портретом Пришвина было опубликовано его напутствие пионерам, с подписью и датой — 4.2.48.

Стр. 432. *Как Тургеневу запахло родной коноплей на полях Германии!* — Пришвин вспоминает слова героя из повести И. С. Тургенева

«Ася» «Помнится, я шел домой, ни о чем не размышляя, но с странной тяжестью на сердце, как вдруг меня поразил сильный, знакомый, но в Германии редкий запах. Я остановился и увидел возле дороги небольшую грядку конопли. Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней»

О МИРЕ

Этот материал готовился Пришвиным для «Литературной газеты». «Вчера был у меня Рюриков от «Лит. газеты», обещал твердо кончить дело с «Серой Совой», и я обещал дать в газету статью о мире» (*Собр. соч. 1956—1957*, т. 6, с. 365).

По всей вероятности, статья не была завершена автором и в газете не публиковалась

МАТЕРИАЛЫ К ВЫСТУПЛЕНИЮ НА ВТОРОМ ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕЩАНИИ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Совещание молодых писателей, созданное ЦК ВЛКСМ и Союзом советских писателей СССР проходило с 15 по 23 марта 1951 года. Триста начинающих литераторов были его делегатами. Известные мастера литературы — поэты и прозаики, критики и драматурги руководили творческими семинарами. Пришвин выступил перед участниками совещания 21 марта. Краткую схему своего выступления он записал в дневнике (см. *Собр. соч. 1956—1957*, т. 6, с. 387). «Литературная газета» писала: «Аплодисментами встречают участники совещания одного из старейших советских писателей — М. Пришвина ..

— Поздравляю вас, товарищи, с началом весны! Секрет поэзии — в чувстве времени, — говорит писатель. — В каждом настоящем таланте содержится это чувство времени. Второе в таланте — чувство открытия чего-то нового. Еще в состав таланта входит чувство дружбы».

В ЦГАЛИ сохранилась авторизованная машинопись статьи, подготовленной Пришвиным для «Литературной газеты» Писатель назвал ее «Слово и поведение» (Моим современникам). Небольшой отрывок из этой статьи был напечатан в одном из номеров газеты, посвященном итогам закончившегося совещания, в подборке напутственных пожеланий молодым литераторам («Счастливого пути, товарищи!»).

В «Материалы к выступлению на Втором Всесоюзном совещании молодых писателей», публикуемые в настоящем издании, текст статьи вошел полностью.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА XIV ПЛЕНУМЕ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

XIV пленум Правления Союза советских писателей СССР, на котором обсуждался вопрос о состоянии и задачах советской драматургии, проходил с 21 по 24 октября 1953 года. С докладами выступили К. Симонов и Б. Лавренев. Пленумом было принято решение созвать осенью 1954 года Второй Всесоюзный съезд писателей. В это время Пришвин был тяжело болен и не смог принять участие в работе пленума. Получив телеграмму А. Суркова, он написал ответ, который был зачитан на заседании 24 октября: «Вчера закончился пленум, в заключение прочитано было мое письмо, как говорит Замошкин, с триумфом», — записал Пришвин в дневнике 25 октября 1953 года (ЦГАЛИ).

Л. Платонова

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ЛЕСНАЯ КАПЕЛЬ

Фацелия (<i>Поэма</i>)	6
Лесная капель	43

РАССКАЗЫ О ЛЕНИНГРАДСКИХ ДЕТЯХ	126
--	-----

ПОВЕСТЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ	148
----------------------------------	-----

КЛАДОВАЯ СОЛНЦА	216
---------------------------	-----

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1938—1953 ГОДОВ

Р а с с к а з ы

Весна света	254
Мои тетрадки	257
Праздник	262
Голубая стрекоза	264
Соловей-топограф	267
Дружба	269
Как заяц сапоги съел	275
Большая дорога	280
Город света	284
Старый гриб	288
Загадка	292
Большая звезда	295
Старший судья	304
Золотой портсигар	308
Мои молодым друзьям	310

Вася Веселкин	314
Хороший человек	319
Москва-река	323
Лесной хозяин	328
Золотая рука	334
Молодой колхозник	339
Москворецкий мост	349
Обеденный перерыв	354
Сыроежка	359
Друг человека	371
Заполярный мед	380
Наш сад	404
Печальный черт, или Ночь перед Рождеством	410
Завлекающий рассказ	413
П у б л и ц и с т и к а	
Охрана природы	424
К выступлению на слете юных туристов	430
О мире	435
Материалы к выступлению на Втором Всесоюзном совеща- нии молодых писателей	439
Выступление М. М. Пришвина, прочитанное на XIV пле- нуме Союза советских писателей СССР	445
К о м м е н т а р и и	448

Пришвин М. М.

П 77 Собрание сочинений. В 8-ми т. Т. 5. Лесная капель; Рассказы о ленинградских детях; Повесть нашего времени; Кладовая солнца; Произведения 1938—1953 годов/Подгот. текста и коммент. В. Круглеевской и Л. Платоновой; Худож. Ф. Домогацкий.— М.: Худож. лит., 1983.— 486 с., ил.

В пятый том Собрания сочинений включены произведения, созданные М. М. Пришвиным в конце тридцатых — начале пятидесятих годов. Среди них — такие известные и пользующиеся любовью читателей, как «Лесная капель», «Повесть нашего времени», «Кладовая солнца».

П 4702010200-257
028(01)-83 подписное

ББК 84Р7
Р2

Михаил Михайлович

Пришвин

Собрание сочинений

том 5

Редакторы

Т Беднякова

и Ю Козловский

Художественный редактор

Г Мастяненко

Технический редактор

О Ярославцева

Корректор

Д Эткина

ИБ № 2742

Сдано в набор 16.11.82 Подписано к печати
20.07.83 А 13124 Формат 84×108¹/₃₂ Бумага
типогр. № 1 Гарнитура «Обыкновенная но-
вая» Печать высокая Усл. печ. л. 25,62 Усл.
кр.-отт. 25,62 Уч.-изд. л. 26,3 Тираж 150 000
экз. Изд. № 11-522 Заказ 672 Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Художественная литература»
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басман-
ная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Тру-
дового Красного Знамени Ленинградское
производственно-техническое объединение
«Печатный Двор» имени А. М. Горького
Союзполиграфпрома при Государственном ко-
митете СССР по делам издательств, полигра-
фии и книжной торговли 197136, Ленинград,
П. 136, Чкаловский пр., 15

20506